

Н О В Ы Й
М И Р

10

1965

ИЗВЕСТИЯ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания ХLI

№ 10

Октябрь, 1965 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КАЙСЫН КУЛНЕВ -- Из новой книги стихов. Перевел с балкарского И. Гребнев	3
Е. ГЕРАСИМОВ -- Дикие берега	7
Р. КИРЕЕВ -- <i>Мать и дочь</i> , рассказ	44
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ -- Как будто облако упало, стихи	63
А. МАРЬЯМОВ -- За тюлькой	65
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР -- Баллада об охоте и зимнем винограде	72
ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС -- Из разных книг, стихи. Перевел с испанского М. Салаев	74
В. КОНАШЕВИЧ -- О себе и своем деле (Записки художника). Окончание	78

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ -- <i>Взрослые и страна детства</i>	130
--	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ШЕРВИНСКИЙ -- <i>Восход на западе</i>	152
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

П. ВОЛИН -- <i>Продиктовано жизнью. Заметки о практической экономике</i>	176
--	-----

К 70-летию со дня рождения С. А. Есенина

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ -- <i>Встречи с Есениным</i>	189
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О. ЧАЙКОВСКАЯ -- <i>Природа и время (Заметки о пейзаже в современной литературе)</i>	202
--	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

	Стр.
Н. П. СМЕРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ — <i>Последняя находка</i> . Подготовила к печати С. П. Близникова	213
К АВТОБИОГРАФИИ И. БУНИНА. Публикация, вступительная заметка и комментарий А. Нинова	222

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 231

А. Кондратович. Накануне войны.— А. Лебедев. Дороги, которые мы выбираем.— Г. Макаров. Книжки-близнецы.— А. Меньшутин. Пути русской поэзии.— М. Ландор. Дар надежды.— М. Чулакова. По строгим законам науки.

Политика и наука 251

Ю. Шарапов. Рассказывают московские большевики.— О. Лаис. Новое надо отстаивать.— Г. Старушенко. Арьергардные бои идеологов колоннализма.— Алексей Эйсер. Они сражались за Испанию.— А. Монгайт. Новые методы в археологии.— Д. И. Щербаков. Преображенная гайга.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 271

КОРОТКО О КНИГАХ 289

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 287

КАЙСЫН КУЛИЕВ

★

ИЗ НОВОЙ КНИГИ СТИХОВ

С балкарского

ДОЖДЬ ИДЕТ

Дождь, снова дождь, и небеса во мгле.
Ты подойди и встань со мною рядом.
Дождь о своей любви твердит земле,
Он говорит,— мне говорить не надо.

Дождь, снова дождь, а нам не привыкать,
Под дерево иди, постой со мною.
А может быть, не дождь идет опять,
А молодость проходит стороною.

Дождь, снова дождь, а может статься вдруг —
Все вспять пошло, и стали мы моложе.
Я стих, как птицу, выпустил из рук,
Но ничего и он вернуть не может.

Дождь, дождь идет, я слушаю рассказ,
Как любит он любовью неземною.
Дождь, дождь идет, он говорит о нас,
Иди скорей сюда, постой со мною.

* * *

Мила мне в сильных слабость, в слабых сила...
Гром грохотал, раздув свои меха,
Могучий дуб гроза не повалила,
Но выдержала бурю и ольха.

И вот теперь, когда проплыли тучи,
Простая песнь с моих слетает губ,
В которой славлю я не дуб могучий,
А слабую ольху, стоявшую, как дуб.

* * *

Унеси, река, печаль и горе,
Все, что я ношу в своей груди.
Унеси мои невзгоды в море,
От беды меня освободи.

Унеси, река, своим теченьем
Или же поглубже спрячь на дно
Все мои надежды и стремленья,
Если сбыться им не суждено.

Помню я изгнанья и скитанья,
Не страшнуй мне груза, тяжело мне,
На моих плечах воспоминанья,
Словно камни у тебя на дне.

Память я несу по белу свету,
Я нет-нет, да оглянусь назад.
У тебя воспоминаний нету,
И мои тебе не повредят.

Самому мне справиться едва ли.
Груз тяжелый с плеч моихними!
Унеси, река, мои печали,
Плечи мне и спину распрями!

* * *

Не верю тем, чьи никогда
Глаза печалью не туманятся,
Я знаю: плачет и вода
Пред тем, как льдом она затянется.

Река грустит, как мы с тобой,
Хотя и знает: все изменится,
Раствает лед и вновь листвою
Ольха на берегу оденется.

Без грусти лист не упадет,
Без боли ветка не сломается.
Без тяжких мук не тает лед
И льдом трава не покрывается.

Мне видится в закате дня:
Стекает на дорогу пыльную
Слеза крестьянского коня,
Что тянет тяжесть непосильную.

Поэты, знаете ли вы
Печаль травы, под корень скошенной,
Боль выгорающей листвы
И женщины, любимым брошенной?

Уменье жить и не страдать —
Благое свойство не любившего
Заботой согнутую мать
И брата своего погибшего.

Не станет людям веселей
От показного молодчества,
Легко любить все человечество,
Соседа полюбить сумеи.

Я ДОЛЖЕН БЫТЬ БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ

Судьба, склоняюсь низко пред тобой,
Благодарю, что в пору лихолетий
В огне, под снегом или под водой
Мой смертный час нигде меня не встретил.

Я мог и за решетчатым окном,
Где моего никто б не слышал зова,
Окончить жизнь и в мерзлый глинозем
Лечь, не увидев края дорогого.

Ты предо мной не застилала свет
И все, на что потратил я чернила,
Что для себя писал я столько лет,
В конце концов ты в книги превратила.

Судьба, благодарю тебя за честь
Быть человеком, жить на белом свете,
Что у меня есть руки, ноги есть,
Что я не слеп, не глух и не бездетен.

Благодарю за песню в тихий час,
За то, что я родной землей обласкан,
За то, что видел в жизни я не раз
Цветы на склонах и на свадьбах пляски,

Что ты вернула мне, пока я жив,
И снег Казбека, и рассвет Чегема,
За то, что был я только молчалив
В те дни, когда другие были немы.

Прости меня, судьба, я жив и рад
Тому, что не пропал в огне и стуже.
Хоть знаю, сколько не пришло назад
Людей из тех, кто был меня не хуже.

Я вижу полдень, полночь и зарю,
Я жизни рад, хоть сам порой не знаю,
Я за себя судьбу благодарю
Или за тех, погибших, проклинаю?

КОГДА ЦВЕТЕТ БОЯРЫШНИК

Когда цветет боярышник весной,
Я лучшее отыскиваю слово,
Мне кажется, что небо надо мной
Не замутится облаками снова.

Когда весной боярышник цветет,
Мне кажется, что в мире горя мало,
Что я и сам вовек не знал невзгод,
Что жизнь моя из празднеств состояла.

Весна — цветет боярышник опять,
И кажется, ничья мечта не лжива,
Что нам ни войн, ни горестей не знать,
Что в мире все светло и справедливо.

Перевел Н. Гребнев.



Е. ГЕРАСИМОВ

★

ДИКИЕ БЕРЕГА

Прошлым летом я изменил своим излюбленным местам летнего отдыха на маленьких подмосковных речках и отправился на большую реку, в далекие от Москвы края. Там в двух соседних предуральских городках живут мои давние знакомые. Они писали мне, что год по всем приметам обещает быть удачным для рыболовов. Иван Сергеевич Еремин сообщал при этом, что уже сейчас хорошо берет сорожка, а Григорий Андреевич Трофимов соблазнял хорошими уловами крупной палтухи, и оба сулили шук — пока еще не берут, но скоро и им придет срок, тогда только успевай подсачком хватать. И тот и другой расхваливал свои берега — дикие, медвежьи. А мне-то как раз их только и не хватало в Подмоскovie. Ну как было не соблазниться!

Сначала, решил я, поеду в Карготьму к Ивану Сергеевичу, половлю сорожку, а потом отправлюсь в Электрогорск к Григорию Андреевичу на палтуху, а там и шукам придет черед.

Чтобы добраться до Карготьмы, мне нужно было сначала пролететь два часа на турбовинтовом самолете со скоростью шестьсот километров в час на высоте в девять тысяч метров, а потом пересесть на старенький пароход, на котором еще купцы гуляли в царские времена, и плыть от устья реки вверх несколько сот километров.

Некоторые пассажиры, устроившись в своих каютах, выходили на палубу с морскими биноклями в руках. Да, подумал я, глядя, как они шарят окулярами по реке, ища ее скрытый в солнечном блеске воды низкий дальний берег, да, кажется, Иван Сергеевич и Григорий Андреевич не зря позвали меня — если уж в таких обширных водоемах нет рыбы, то где же ей тогда быть!

Однако рыба рыбой, а главное все же берег — такой бы мне, где можно закинуть удочки и никто не будет топтаться рядом и глядеть на мои поправки.

Подпертая плотиной река в своем устье уподобилась морю, и встречаемые пароходы, баржи-самоходки и номерные катера появлялись на горизонте будто из воды и позади исчезали так же, как киты в пучине океана.

Берег приблизился к нам только на закате солнца. Наглухо укрытый сверху темным хвойным лесом, он спускался к воде красными глинистыми откосами, зелеными овражками, песчаными и каменистыми мы-

«Дикие берега» завершают цикл произведений Е. Герасимова, опубликованных в «Новом мире» за последние годы: «Шелковый город», «Семья Алешиных», «Куда течет речка».

сиками, между которыми было много заманчивых заливчиков, гихих, укромных заводей: Вот тут бы, под этой огромной елью, простершей свои лапы над крутым обрывом, и поставить бы мне шалашик,— подумал я. И только подумал, как увидел в этом заливчике стоявшую на приколе моторку и в ней удильщика в одних трусиках и в городской шляпе из голубой капроновой соломки. А потом и на берегу разглядел легкую, сбитую из жердей избушечку, стоящую как раз под той елью, где мне захотелось поставить свой шалашик. Возле избушки горел костер с котелком на огне.

Вот забрался уже сюда и избушку успел сколотить, сидит в заводи один-одинешенек, а наверху, наверное, только медведи и волки бродят,— позавидовал я... Но что за наваждение? Я уже проводил взглядом моторку с удильщиком, избушку, костер, а у меня перед глазами на берегу опять все то же — моторка, удильщик, избушка, костер. Берег, необитаемый наверху, внизу, у воды, оказался густо заселенным удильщиками, бог весь откуда понаехавшими сюда на моторках и поставившими тут избушек, будок, палаток, шалашей. Конца не было этому летнему поселению городских рыболовов, очень напоминавшему садовые участки под Москвой.

Стемнело, берега уже не было видно, но цепочка горевших на нем костров все еще сопровождала наш пароход. У больших освещенных окон ресторана танцевала под радио молодежь, а я все глядел на огни береговых костров и думал, что тесен стал земной шар — не укроешься уже на нем, когда хочется побыть наедине с собой, в такой тишине, чтобы слышно было только, как река течет и плескает рыба.

1. Херсонесский мыс

С Иваном Сергеевичем Ереминным, который сейчас живет в Каргольме, мы случайно познакомились в первые послевоенные годы на рыбалке в Подмоскowie.

В ту пору я был еще чужд рыболовной страсти и никогда бы не пошел с удочками куда-то на ночь, если бы не один мой приятель, владевший мотоциклом с коляской, палаткой, резиновой лодкой и спальным мешком на двоих. После долгой езды в коляске, заваленной всем этим грузом, я вылез на берегу торфяного озера едва живой, а потом пришлось дотемна возиться с палаткой, пока она была кое-как поставлена, так что я и сказать не могу, как после всего этого мне удалось еще забраться вместе со своим приятелем в спальный мешок. Утром я проснулся от холода и был уже в мешке один — приятель куда-то исчез. Солнце только взошло, озеро укрывал густой туман, и лишь у берега была видна темная вода со струящимся по ней на солнце дымком. Немного погодя, пока я прыгал на берегу, чтобы согреться, из тумана выступил травянистый островок, покачивавшийся на воде, как плот, а затем — и мой исчезнувший приятель. Он уже успел надуть свою резиновую лодку, комфортабельно расположился на ней за этим островком в частокле длинных удочек и подавал мне знаки, чтобы я тоже скорее брался за удочки — клюет! Но я решил, что раз рыба клюет, то надо скорее разводит костер, готовится варить уху на завтрак, и пошел по берегу собирать сушняк для костра.

Тут, за кустами, я и встретился с Иваном Сергеевичем, сидевшим на берегу со своей молодой женой — маленькой и кругленькой Лидочкой. Оба были в солдатских ватниках и кирзовых сапогах, оба — с удильщиками в руках. Познакомиться нам помогла удивительная способность Лидочки в одну минуту выложить первому встречному все, что у нее на

уме. Иван Сергеевич забыл взять с собой на рыбалку спички, и когда он, увидев меня, собиравшего рядом сушняк, спросил, не дам ли я ему огонька, жена его бурно запротестовала: не надо, не надо давать — дожил до тридцати лет не куря, и если на войне не привыкся курить, то зачем сейчас, в мирное время, привыкать. Я, конечно, не смог отказать человеку в огоньке, и пока Иван Сергеевич молча закуривал, Лидочка успела сообщить мне, что беда ей с мужем: задумываться стал, придешь с ним на рыбалку и надо следить за его поплавком, а то глядит на него и не видит, что рыба клюет. — очень весело рыбачить с таким мужем! И тут же я узнал, что Ивану Сергеевичу нельзя курить, потому что у него грудь прострелена двумя пулями, но он все-таки стал привыкать и все из-за того, что из головы у него не выходит Херсонесский мыс.

Я тогда собирался писать о севастопольской обороне, разыскивал и расспрашивал участников ее, так что человек, у которого из головы не выходит Херсонесский мыс, был для меня счастливой находкой. Бросив собранный для костра сушняк, я подсел к Ивану Сергеевичу, готовый уже вместо удочки вооружиться блокнотом и карандашом. Но Иван Сергеевич явно не расположен был к военным воспоминаниям. Он закурил, выслушал меня и продолжал молча глядеть на поплавок. Мне стало неловко, я собирался уже встать и уйти, но Лидочка подзадорила:

— Вот сами видите, что за человек — задумается и сидит, как глухарь. Попробуйте-ка, попробуйте поговорить с таким молчуном!

И тогда он, не оборачиваясь ко мне, сказал:

— А что я вам расскажу о Херсонесе? Простить себе не могу, что не пустил себе там пулю в лоб.

— Ах вот как! — воскликнула Лидочка, трахнув его по голове удильцем, и сейчас же рассмеялась: — Ну что — получил?.. Слышали? — заговорила она затем, призывая меня в свидетели. — Подумайте только, какие идиотские мысли лезут ему в башку.

После этого Иван Сергеевич заулыбался, мы с ним понемногу разговорились, и кончилось тем, что я помахал рукой своему сидевшему в лодке приятелю и пошел к новым знакомым на уху из нескольких рыбешек, которых они выудили.

Жили они неподалеку от этого торфяного озера, в рабочем поселке при старой хлопчатобумажной фабрике, куда из Москвы не так-то легко добраться — с электрички надо пересаживаться на паровичок, который с прошлого столетия раз в день таскает туда три скрипучих вагончика с такой скоростью, что грибники, наезжающие и в эти места, соскакивают с поезда и вскакивают в него на ходу, где им вздумается. Дома в поселке деревянные, с садиками и огородами, улицы отличаются от деревенских только тем, что вместо колодцев на них стоят водоразборные колонки.

Иван Сергеевич и его жена работали на фабрике: он — начальником цеха, она — бухгалтером. Тут они и поженились незадолго до того, как я познакомился с ними, тут бы им жить и жить в домике под лесом, с родителями Лиды, всю свою жизнь проработавшими на местной фабрике. Все здесь было Ивану Сергеевичу по душе, да и не охотник он стал после войны до перемены мест.

Мы сидели у него в тенистом уголку садика, где под старой липой было что-то вроде беседки, ожидали, пока Лида приготовит уху, и он рассказывал, как тяжело раненный в грудь лежал на Херсонесском мысу в столпотворении перемешавшихся там частей, которые прикрывали эвакуацию войск из Севастополя и после окончания ее были предоставлены своей судьбе, как с трудом приподняв тогда голову, он увидел толпу с белым флагом, потянулся к пистолету и потерял сознание.

Я спросил, чего же в таком случае он не может простить себе. Иван Сергеевич сказал, что надо было раньше кончать с собой, но была еще надежда, он не терял ее, пока не увидел белого флага, и этим оправдывал себя в плену, а сейчас стал думать иначе. На днях вот он ездил в Москву, в главк, и там ему предложили работу в какой-то Карготье: в Карготье можно, а под Москвой в его должности, раз был в плену, нельзя — получено такое указание, он сам читал бумажку. Поэтому-то и стал теперь думать иначе: не доверяют, значит не оправдал доверия — надо было не тянуть, а сразу застрелиться, не застрелился вовремя, так поезжай в Карготью.

Иван Сергеевич не обижался, не возмущался, принимал все как должное. И напрасно прибегавшая к нам несколько раз Лидочка обещала выбить у него из головы эти идиотские, как она говорила, мысли — он снисходительно улыбался: ну что она понимает? Девочка еще, ей все равно где жить, в Карготье так в Карготье, только бы он не задумывался сильно.

По отношению к Лидочке это было, конечно, несправедливо, потому что если она и готова была отправиться с мужем хоть к черту на кулички, то совсем не по своему легкомыслию. Я понял ее, когда она, позвав нас к столу, на террасу, притащила своих стариков, чтобы и они выпили с нами. Оба они, выпив по рюмочке, стали вспоминать всех своих умерших детей, которым давно уже счет потеряли: чуть ли не каждый год в молодости рожали, а через месяц-два хоронили. Всего их было не то двенадцать, не то тринадцать, и только одна Лидочка выжила каким-то чудом, за что они до сих пор благодарят судьбу, но вот сейчас она уезжает с мужем в какую-то Карготью... Нет, совсем не так-то легко было Лидочке уехать, как это казалось...

Они уехали через несколько дней, но наше знакомство не оборвалось. Иван Сергеевич все-таки согласился записать для меня свои воспоминания о севастопольской обороне. Он присылал их из Карготьи кусочками, потом сам задумал писать большую книгу о пережитом в годы войны и написанное присылал тоже кусочками, спрашивал, стоит ли продолжать. Ему все казалось, что он пишет что-то не то. Я советовал ему, не мудрствуя лукаво, строго следовать тому, что было на войне и в плену, ничего не утаивая, он соглашался, что так только и надо, а потом почему-то начинал сомневаться, стоит ли писать о себе — какой он герой! И в конце концов вместо себя сочинил выдуманного героя, и хотя этот герой у него не получался, уперся на том, что так будет лучше, скромнее.

2. И в Карготье можно жить

С парохода Карготьи не видно было: закрывала гора с корабельными соснами наверху, спускавшаяся к реке крутыми глинистыми обрывами и каменистыми осыпями, образовавшими внизу гряду скалистых нагромождений.

Под этой суровой горой одиноко ютилось несколько старых амбарных построек и ветхая, сильно осевшая одним боком в воду пристань с множеством навешенных по избитому борту бревенчатых и пеньковых кранцев.

Что-то знакомое, подумал я и вспомнил: так ведь я когда-то бывал в Карготье, давно, лет тридцать, если не больше, назад. Город улетучился из памяти, а пристань нет, и тогда она была уже такая же кособокая.

С великой осторожностью причаливал наш пароход, и все же пристань так содрогнулась и закрипела от его прикосновения, что кто-то

из стоявших на капитанском мостике сначала громко охнул, а потом тихонько выругался:

— Черт бы ее драл, эту Карготьму!

Еремьны встречали меня. Иван Сергеевич стоял у трапа под руку с женой, и, не будь ее рядом, я не узнал бы его — лицо у него не из запоминающихся. Лидочка сильно располнела, стала еще более круглой и румяной. Я не успел поздороваться, как она, страшно озабоченная тем, чтобы поспеть к автобусу, который ходит тут редко, только к пароходу, схватила меня за руку и потянула на берег:

— Скорее! А то придется пешком тащиться.

Иван Сергеевич, приветственно поднявший шляпу, так и сбежал на сходни, держа ее над головой. Он опомнился и надел шляпу на голову только на берегу. Пассажиры уже толпились у автобуса, один через другого закидывали в дверь мешки, корзины, чемоданы.

— Ну, тут уж не зевать! — предупредила Лидочка, но нас с Иваном Сергеевичем оттолкнули, и мы потеряли ее в толпе, а потом увидели, когда она замахала нам руками из окошка автобуса. Она прокричала, что места заняла и чтобы мы не были тетерьями, а то ей не удержать их, потому что есть еще такие нахалы, что могут сесть женщине на голову. Мы втиснулись в автобус последними, однако Лидочка все же сумела удержать за собой два места. Она пихнула нас на них, а сама уселась рядом на мой чемодан, поставив его в проходе на попу, и сразу же по-домашнему, с видом довольной хозяйки, наконец-то оторвавшейся от плиты и севшей за празднично накрытый стол, заговорила со мной:

— Ну вот как хорошо, что собрались к нам! Давно бы пора. Ах, если бы вы знали, какой это праздник для нас — гость из Москвы! И как хорошо, что угадали как раз под выходной — мы уже договорились, компания будет большая, как только приедем, сейчас же и отправимся. Лодка с мотором, можем забраться, куда захотим... Вот только бы водитель не свалил нас сейчас под откос.

Тронувшись с места, автобус стал объезжать грузовую машину, стоявшую у складского сарая на узкой дороге между горой и крутым обрывом к реке. Иван Сергеевич, придерживая рукой шляпу, высунул голову из окна.

— Ну как проедем, не сорвемся? — спросила его Лидочка.

— Проехали уже, — ответил он.

— А запросто могли сорваться, — поспешила обрадовать меня Лидочка. — Каждый раз тут так, привыкли уже ездить по самому краю пропасти... А о рыбе не беспокойтесь: в ведре уже плавает. Выгрузимся на берег, разложим костер и сразу будем уху варить, а то наши рыбаки не любят ждать, пока наловят. Сначала как следует заправятся у костра, а потом если ноги еще держат, то за удочки возьмутся, а нет, так спать завалятся и до утра храпят так, что на другом берегу медведи пугаются. — Она громко засмеялась и сказала мужу: — Правду я говорю, Еремьн? Ну что молчишь? Отвечай!

Всю дорогу от пристани до города, отпихивая от себя наползавшие на нее со всех сторон мешки и корзины, Лидочка расписывала мне, что за дыра эта Карготьма и как она им сперва не понравилась, а потом стала нравиться все больше и больше, потому что оба они с мужем такие — не нужны им большие города, метро, троллейбусы, стадионы, главное для них, чтобы фабрика была ближе к дому и чтобы до реки и леса недалеко ходить, смеялась и поминутно, хитро заглядывая в глаза мужу, как приговорку, смешливо повторяла:

— Правду я говорю, Еремьн?..

Иван Сергеевич не отвечал, но его улыбка говорила мне, что, может быть, это правда, может, и нет — какое это имеет значение? Если

Лидочка думает, что все ему в Карготье нравится, то и хорошо, лишь бы только не беспокоилась за него, а то еще похудеет, побледнеет, что совсем не к чему. И я тоже, глядя на них, будто самым богом созданных друг для друга, думал: какое это имеет значение, если при всех превратностях своей судьбы люди счастливы!

И в Карготье, как раньше в Подмоскovie, оба они работают на одной фабрике: он — главным инженером, она — бухгалтером, и, может быть, поэтому-то, кстати сказать, Лидочка и взяла себе в привычку называть мужа по фамилии — пусть никогда не забывает, что он Еремин, с которым у нее не только семейные, но и служебные отношения.

Конечно, Карготья — дыра, старый захолустный городишко, который только сейчас взялся за реконструкцию своего допотопного водопровода. Нам пришлось сойти с автобуса у грозно стоящей среди деревянных лагун железной трансформаторной будки с тремя предупреждениями: «Стой! Высокое напряжение», «Опасно для жизни», «Не трогать, смертельно!» — и, пробираясь дальше, балансировать по доскам, перекинутым через глубокие рвы, и карабкаться по навалам выброшенной из них глины.

Небольшая ткацкая фабрика, закинутая сюда при эвакуации и оставшаяся тут навсегда как дар войны, — единственное в городе промышленное предприятие, о котором стоит упомянуть. Ему принадлежат несколько новых четырехэтажных жилых корпусов, стоящих особняком от деревянной карготемской старины. Сюда и привели меня супруги Еремины к себе на квартиру, где нас встретила в передней сучавшая в полном одиночестве длинная, коротконогая черная собачонка со свисавшими до полу ушами. Но как только мы вошли, квартира стала быстро заполняться людьми, шумно появившимися один за другим — кто в резиновых, кто в яловочных сапогах, брезентовых куртках или в старых, залоснившихся ватниках, все с грузом на плечах и в руках, который они сваливали у дверей в общую кучу.

Это и была поджидавшая нас компания карготемских рыболовов. Завалив переднюю двухпудовым лодочным мотором, веслами, удочками, спиннингами, сачками, битком набитыми рюкзаками, сумками, ведрами и массой рваного тряпья, они загоропили хозяев, чтобы скорее собирались: вечер обещает быть тихим, рыбаков на реке будет тьма-тьмушая, близко нигде не приткнешься, придется ехать далеко. А здороваясь со мной, говорили, что раз я приехал в Карготью на рыбалку, а не по какому-нибудь делу, то нечего время терять — выпьем на дороге по стопке, а закусим уже там, на реке.

На столе мигом появилась бутылка «московской» и кучка вяленых рыбешек, похожих на воблу. Выпили по стопке, пощипали рыбешку и, пока хозяева передевались в другой комнате, поговорили о Москве — как там люди живут. Один, высокий, в синем берете и кожаной куртке на молнии, сказал, что Карготья, конечно же, не Москва, но и в Карготье можно жить, нужен только хороший мотор для лодки, и если Иван Сергеевич предпочтает мотору весла, то только потому, что никакой он не рыбак — ему лишь бы посидеть на берегу с Лидочкой, без Лидочки его не вытянешь из дому. Поговорили и вдруг спохватились, что я одет совсем не для рыбалки. Тот же высокий в берете тотчас выскочил на лестницу, куда-то побежал, принес сапоги и комбинезон, порывшись в грязь, взятом с собой для подстилки, нашел драный ватник, кинул мне, велел живо передеваться, и все стали разбирать свое сваленное в кучу снаряжение.

Я еще и не знал, что это за люди, но уже чувствовал себя здесь своим человеком.

3. Ночь на рыбалке

● От этих новых, кучкой стоящих на краю города домов, где живут Еремины, до реки пять минут хода по тропинке, которая прямо со двора спускается в замусоренный овраг, а потом идет огородами горожан и исчезает на заболоченном полои! водой низком берегу. Много ведущих из города к реке тропинок, не дотянувшись до нее, исчезает в этой долго не просыхающей с весны грязи, и по всем тропинкам в тот субботний вечер вереницами тащились к своим лодкам тяжело нагруженные рыболовы.

Мы с Ереминными шли в хвосте нашей растянувшейся компании, и Лидочка, пользуясь случаем, спешила сообщить мне на ухо, что это за люди собрались с нами на рыбалку. Оказалось, что все они соседи по дому, живут на одной с ними лестнице, и Лидочка особенно советует мне познакомиться с Лешкой — это тот высокий, в синем берете, что идет впереди с жогором на плече.

— Порасспросите его, он столько расскажет, что можно роман написать в трех томах: и вором был когда-то, и десантником-парашютистом был, и геологоразведчиком, и нефтяником, и мотористом на катере, и даже водолазом, чего только не изобретал, а теперь наша Валечка пришила его к своей юбке, и оба они работают на фабрике электриками. Валечка тихая, но с характером — ни на шаг не отпустит его от себя: только он взвалит мотор на плечи — и она уже шагает за ним с веслами. А вдвоем им не следовало бы ехать на рыбалку: вдруг да на городской электростанции что-нибудь случится — а у них там часто что-нибудь случается, — кто будет запускать движок? Ну чего молчишь, Еремин? Ты главный или нет?.. Ну что вы скажете? Молчит и только улыбается, будто я какие-то глупости говорю. Да ну тебя, Еремин. — Махнув на мужа рукой, она продолжала шепотом на ухо мне: — А тот вот, с кепкой на носу, что удочки тащит, Федот Федотович — секретарь парткома колхозно-совхозного управления. Без рыбалки не может жить, но при своей солидности стесняется на людях ходить с удочками и думает, что если кепку на нос насунет, то его никто не узнает. А вот Евгений Иванович, хоть и начальник производственного управления, а не стесняется. Он не только на рыбалке, но и в парке, на тащплощадке может позволить себе появиться с дамой. И чего ему стесняться: жена в Карготьму не едет, стережет квартиру в области, к тому же он кандидат наук, знает, что на сегодняшний день главное. Не то что наш Федотович, который ляпнул раз при самом секретаре обкома, что на сегодняшний день главное у нас в кормовом балансе — древесина. До сих пор на веточный корм ориентируется... А тот вот, толстенский, с ведром и сумкой, — Юрий Александрович. Секретарь нашей карготемской газеты, весь белый свет объездил и лучшего места, чем Карготьма, не нашел. Между прочим, про Федотовича говорит, что он сам древесина в кормовом балансе... Стоп! — сказала она. — Теперь только бы не утонуть нам в грязи, а то оба наши сектора — и промышленный и сельскохозяйственный — останутся без руководства, пропала тогда Карготьма.

Наша компания, шагавшая по тропинке гуськом, уже перестроилась и, выискивая в болоте менее топкие места, продвигалась вперед рассредоточенной цепью, как пехота в наступлении под огнем противника. По всему нижнему берегу, и вправо и влево, насколько моим глаз хватало, шло такое же движение: с моторами, удочками и веслами на плечах, с ведрами и сумками в руках спустившиеся с горы карготемцы враспынную преодолевали длинное, дугой охватившее гору болото, по ту сторону которого на реке, у сухой прибрежной кромки, стояло на цепях и

замках множество всяческой речной посуды. Вовлеченный в это массовое движение карготемской рыболовной рати, я сразу же с двумя сумками в руках провалился по колено в топкую грязь, попытался вытянуть одну ногу и увяз другой еще глубже, хотел ухватиться за что-нибудь и упустил из рук сумки.

Лешка в своих высоченных резиновых сапогах, с двухпудовым мотором, вскинутым на плечо, как пулемет, уже выходил на сухой берег; уступом влево от него шегольски порхал с кочки на кочку, на лету скрешивая ноги, начальник производственного управления Евгений Иванович; уступом вправо грузно, как медведь, топал напрямик через лужу секретарь парткома Федот Федотович. За ними продвигались вперед и другие наши рыболовы. Один я беспомощно стоял, все глубже и глубже завязая в болоте, пока мне не пришла в голову счастливая мысль использовать в качестве упора для рук свои брошенные в грязь сумки.

— Ничего, не смущайтесь. Подумаешь, какая беда — промокли, вывалялись... Зато по крайней мере будете знать, что такое Карготьма. У нас в Карготьме без этого не доберешься до лодки. Слава тебе богу, что еще не утонули, — смеялась Лидочка, страшно довольная тем, что я успел уже познакомиться с Карготьмой и теперь век свой не забуду ее.

А Иван Сергеевич так сконфуженно улыбался, что я подумал, не жалеет ли уж он по своей шепетильности, что дернул его черт позвать меня в Карготьму на рыбалку. Евгений Иванович, ухитрившийся перебраться через болото почти не запачкав своих зеркально начищенных хромовых сапог, глядя на меня, покачивал головой.

То ли он удивлялся, как это меня угораздило, то ли выражал свое сожаление — его можно было понять и так и этак. А вот Федот Федотович, поглядев на меня и дернув за козырек кепки, чтобы еще поглубже натянуть ее на нос, махнул рукой с откровенной досадой: все, мол, пропало, какая уж тут рыбалка! И Юрий Александрович, стоявший поодаль, издали давал мне знать своей улыбочкой, что я поряточная шляпа.

Лешка, возившийся в лодке с мотором, не придавал случившемуся со мной никакого значения. Мельком глянув на меня, он сказал:

— Пустяки. Ничего с товарищем не станет. Садитесь, сейчас поедем и дадим ему капли от простуды.

И все решили, что, конечно, не возвращаться же назад — надо скорее ехать и скорее принять капли, а то промокший насквозь товариш может продрогнуть на ветру.

Подумав, что возвращаться назад — это значит снова лезть в болото, я бодро сказал:

— Ну, ехать так ехать.

Осталось только дожидаться вислоухой Томи, которая, увязавшись с нами на рыбалку, добиралась до лодки своим особым собачьим путем, в обход не проходимого для ее коротеньких ножек болота.

Пока мы топтались в грязи, Томи сделала под горой большую загогулину и теперь, обжевав болото, во всю свою прыть семенила назад сухой кромкой берега, мотаясь на бегу из стороны в сторону и тыча носом то туда, то сюда, как слепая. В лодку она заползла, по-змеиному извиваясь своим длинным гладким телом, и сейчас же улеглась, свернувшись в клубок у ног Лидочки.

Лешка завел мотор, и наша вместительная ладья с высоко поднятым носом поплыла узким рукавом реки к ее главному руслу, которое, скрываясь за большим низким луговым островом, проходит стороной от Карготьмы, представляя ей довольствоваться этим медленно текущим среди болот и озер протоком. Да так и было — пока карготемцы ходили на веслах, не многие из них тогда выбирались из за острова на стрежень.

Теперь же, на моторе, только перетащи его через болото — до главного русла десять минут хода. Поэтому-то и говорят карготемцы, что и в Карготье можно жить, если есть мотор.

Наша ладья, управляемая Лешкой, сидевшим у мотора и обозревавшим путь через головы всех нас, оказалась самой быстроходной из того множества посудин, которое устремилось по протоку на стрежень. Мы обгоняли одну лодку за другой и когда выплыли из-за острова, то были уже в голове всей флотилии карготемцев, выехавших под выходной день на рыбалку.

Карготья скрылась позади, начались безлюдные берега: один — низкий, с лугами, болотами и зарослями тальника, другой — высокий, поросший наверху сосновым бором, а внизу сплошь заваленный каменными глыбами. После того, как я побывал в болоте, меня, естественно, больше прельщал каменный берег, но Лешка держался болотистого. Я ждал, когда же он наконец найдет тут какое-нибудь сухое местечко, чтобы скорее развести костер, но он гнал лодку все дальше и дальше.

Навстречу нам по реке быстро скользили большие моторные лодки, глубоко осевшие в воду под тяжестью высоких копен свежей травы. Издали казалось, что эти зеленые копны плывут прямо по воде. Одна такая копна, вынырнув из-за зарослей прибрежного тальника, чуть было не полоснула нас по борту острием торчавшей из нее косы. Федот Федотович погрозил кулаком сидевшему у мотора под копной дядьке и прокричал ему вслед, что выплет за косьбу на колхозных лугах.

— Еремин! — окликнула мужа Лидочка. — Сколько мы с тобой живем уже в Карготье? Шестнадцатый год или семнадцатый, а? А слышал ты когда-нибудь, чтобы колхозы косили на этих заречных болотах? Был такой случай?.. Может быть, вы, Федот Федотович, вспомните? И вы не вспомните. А скоту на корм лес рубите?.. Чего улыбаетесь, Евгений Иванович? Наверное, думаете, что если я работаю в промышленном секторе, то уж и разобраться не могу в вашем кормовом балансе?

Жена Лешки Валечка, сидевшая с Лидочкой на одной скамейке и жавшаяся к ней, как ласковая кошечка, замурлыкала:

— Так, так их, Лидочка, правильно говоришь. Что они, мужики, соображают в кормовом балансе. Без нас с тобой сами бы на одной древесине сидели.

Между тем Лешка, оставшийся ко всему этому безучастным, выключил мотор, и мы на веслах тихонько подгребли к берегу, где среди заболоченных полой водой зарослей тальника чернел выгоревший в траве пятачок с жердью на двух воткнутых в землю рогатинах.

Сердито надувшийся Федот Федотович сдвинул козырек кепки с носа на самую макушку и сразу повеселел. Все возбужденно прыгали из лодки прямо в воду, торопливо перетаскивали на берег сумки, ведра и прочее рыболовное снаряжение. По всему чувствовалось, что нам посчастливилось захватить какое-то особенно богатое рыбой место и сейчас важно только не упустить время, когда она клюет. Это чувствовал даже Томи, с радостным визгом выскочившая из лодки первой и заматававшаяся по берегу, к чему-то приносящаяся то тут, то там.

Лешка быстро притащил кучу, наверное, заранее заготовленного и припрятанного где-то сухого тальника, плеснув в него бензина, разжег костер, повесил над ним дочерна закопченное на рыбалках ведро с водой и велел мне сушиться у огня. Все разбрелись с удочками по заросшему кустами берегу. На виду у меня остался один Лешка, начавший забрасывать спиннинг с лодки, и Томи, которая, обнюхав весь берег, вернулась в лодку, словно решила, что если рыба будет, то скорее всего тут, возле Лешки.

И эта вислоухая собачонка оказалась права, в чем я убедился через каких-нибудь полчаса, когда Лешка принес к костру второе ведро. Поставив его передо мною, он сказал как ни в чем не бывало:

— Теперь давайте будем чистить рыбу и варить уху.

С этими словами, сузив руку в ведро, он выбросил из него на траву большого белобрюхого судака. В ведре плавало еще несколько судачков поменьше и с десяток крупных красноглазых плотниц, или сорожек, как их называют здесь.

Я не понимал, откуда взялась эта рыба. Подсушиваясь у костра, я не спускал с Лешки глаз, ожидая случая поучиться у этого, видимо, многоопытного рыболова вываживанию пойманной рыбы на берег, но такого случая мне не представилось. Неужели прозевал и Лешка столько наловил в те минуты, когда я сколупывал со своих штанов подсохшую у костра грязь? Спросить у Лешки, откуда взялись эти судаки, было как-то неловко. Не зря, видно, Лидочка еще в автобусе бросила загадочные слова о рыбе, которая уже поджидает нас в ведре.

Начало темнеть, и вскоре все стали возвращаться к костру. Всем не повезло, ни у кого ни разу не клюнуло, за исключением Лидочки и Валечки, выудивших сообща с десяток пескарей, но это не было принято на счет, потому что ловили они не всерьез, а для забавы, чисто поддамски, на первом попавшемся, самом неподходящем месте и самыми примитивными детскими удочками, с удилищем наподобие хворостинки, годной только чтобы погонять гусей.

Однако хоть все вернулись с пустыми руками, никого несколько не удивил богатый улов Лешки, будто так это и должно было быть. Все, заглянув в ведро, в котором уже кипела уха, и потянув носом, довольно потирали руки, как это всегда бывает, когда люди возвращаются к очагу. Только Федот Федотович остался равнодушен к ухе, но у него были на то особые причины. Его, забравшегося куда-то дальше всех, постигла страшная неудача из-за того, что он не взял с собой удочки и псадки, необходимые для сома. А сом был, да еще какой! Он собственными глазами видел его.

— Закинул удочки, — взволнованно рассказывал Федот Федотович, — сижу, сижу — не клюет, хоть бы один поплавок шевельнулся. Что за черт, думаю, сорожка тут в заводи всегда хорошо берет. А какая тебе тут сорожка, когда, смотрю, у самого берега сом ворочается, огромный, как бревно. Ну, конечно, это он, проклятый, всю рыбу распугал.

Федот Федотович разволновался не на шутку, что при его солидности было удивительно и даже трогательно, но все наши компаньоны, занятые хозяйственными хлопотами у костра, оставались равнодушны к постигшей его неудаче. Видно, все уже привыкли к тому, что Федоту Федотовичу на рыбалке всегда не везет и свое невезение он страшно переживает, так же как привыкли к удачам Лешки, который и глазом не моргнет, вытащив из реки ведро рыбы.

Один я посочувствовал Федоту Федотовичу, и пока у костра продолжалось коллективное колдовство над ухой, что-то в нее подсыпалось, что-то подливалось, мы с ним, уединясь в сторонке, поделились своими рыболовными страданиями, которые, как это выяснилось, у обоих нас начались только на старости лет, потому что в молодости нам не до рыбалки было. Разговорились, вспомнили комсомольские годы, и оказалось, что оба почти в одно время были заворотделами укомов комсомола и даже в соседних губерниях.

— Батюшки мои! — воскликнул Федот Федотович. — Так давай же, старик, знакомиться по-настоящему! — И он стиснул меня в своих медвежьих объятиях.

Лидочка звала нас на уху, но Федот Федотович, весь уйдя в прошлое, крепко держал меня за руку и спрашивал:

— Сеньку Пыжова помнишь?.. Ну как же не помнишь, он же в девятнадцатом был у вас секретарем губкома и таких делов наворотил. Его потом к нам перебросили, когда наш Ванька Румянцев погорел. Нехорошо, нехорошо, старик, молодость свою забывать. Традиции нашей молодости святы. Я всех своих секретарей губкома помню. После Сеньки Пыжова был Лешка Медведев, тот вот у нас делов наворотил, долго расхлебать не могли. — Хлопал меня по плечу, говорил: — Молодец, хорошо еще держишься. Я, как видишь, тоже, только вот иногда сердце пошаливает, когда намотаешься по колхозам, но ничего не поделаешь, всюду надо самому побывать, иначе людей не расшевелишь. Только тем и держусь, что иногда на рыбалке свободно подышу, а держаться нам, старик, надо, мало нас осталось, старых кадров...

Нам уже хором под управлением Евгения Ивановича кричали, что если мы сию минуту не явимся, то уха будет съедена без нас, но Федот Федотович все вспоминал и вспоминал секретарей своих давних комсомольских лет. Всех их он называл по именам — Гришка, Митька, Мотыка, Иоська — и спрашивал:

— А где они сейчас? Ну скажи — где?

Вопрос повисал в воздухе, и получалось действительно так, что из старых кадров комсомола ныне здравствует чуть ли не один Федот Федотович.

Кончилось тем, что у Лидочки лопнуло терпение, она юдбежала, взяла нас обоих под руки и потащила на уху.

Все подозревали, что мы потихоньку распили тайно припасенную бутылочку, однако перед ухой нас, конечно, не обнесли, и Федот Федотович, хлебнув из кружки, опять стал делиться со мной воспоминаниями, теперь уже о годах коллективизации, когда его перебросили с комсомольской работы на хозяйственную и он стал возглавлять разные районные конторы по заготовкам сельскохозяйственного сырья и продуктов, но какой бы конторой ни заведовал, все равно с ранней весны до поздней осени мотался по колхозам как уполномоченный, проводя на селе линию районного руководства. Руководство в районе менялось, а районные уполномоченные оставались все те же. Больше десяти лет, до самой войны, Федот Федотович как уполномоченный тянул на своей спине по очереди то один колхоз, то другой.

— Вот как в то время ковались кадры! — сказал Федот Федотович, кинув укоризненный взгляд в сторону Лидочки, которая по своему легкомыслию, конечно же, недооценивает то время и поэтому-то кое-чего недопонимает и в сегодняшнем дне.

— Ну кто же не знает, что вы у нас железный кадр! — воскликнула она и, обернувшись к Евгению Ивановичу, спросила его, знает он или нет, почему вдруг на базаре сразу подскочили цены на редиску и яйца. — А Федот Федотович вот знает, спросите его, он вам расскажет... Ну что ж, Федот Федотович, молчите, рассказывайте. А, скисли уже, а еще железный. Ну хорошо, тогда я сама расскажу, как вы проработывали ермашовского председателя за то, что он самоустранился от заготовки яиц в индивидуальном секторе. Говорил он вам, что у них колхозники кур не держат, потому что все огородами живут? Говорил, да и сами вы знаете, что во всей Ермашовке одни петух, да и тот хромой, за одной курицей и то не угонится. А вы что ему на это сказали? Сказали, что если пет кур, то есть редиска, а раз есть редиска, которую они продают на базаре, то пусть там купят у таких же, как они, спекулянтов по десятку яиц и отнесут в магазин. Не разорятся, купят, а в крайнем случае, чтобы покрыть разницу в базарных и заготовительных це-

нах, могут содрать на пять копеек за пучок редиски дорожке, все равно продадут, потому что одни они, ермашовские, носят в город редиску. Вот и подскочили цены сразу и на редиску и на яйца.

— Да бросьте демагогию разводить, — рассердился Федот Федотович. — Не мы планы устанавливаем, мы их только выполняем, и это наше святое дело: как хочешь вывертывайся, а выполняй.

— Федот Федотович! — воскликнула Лидочка. — Да скажите мне, пожалуйста, сколько лет вы газет не читали? Или то, что в газетах пишут, Карготьмы не касается?

Федот Федотович встал, махнул рукой — что с бабами разговаривать! — сердито надулся и пошел к костру посмотреть, не вскипел ли чайник.

— Евгений Иванович, ну чего вы все улыбаетесь? — спросила Лидочка. — Плакать вам надо, а не улыбаться.

— С чего это? — сказал Евгений Иванович, продолжая улыбаться. — Вы же сами, Лидочка, знаете, газеты к нам в Карготьму часто запаздывают, а бывает и так, что Федот Федотович иногда впопыхах не разглядит и возьмет газетную подшивку за прошлый или за позапрошлый год, ну вот и даст потом маху, как с этими яйцами. Со всяким может случиться такое, если он заматается. А что касается «вывертывания», то это просто неудачно сорвавшееся слово. Я бы употребил другое — «маневрирование».

— Ах вот что! — расхохоталась Лидочка, схватилась за живот, замотала головой и застонала. — Ой, не могу! Не могу! Умру сейчас! — Притянула к себе Валечку, повалила ее на бок, зашептала ей что-то и снова застонала, корчась от смеха. — Ой, не могу! Ой, расскажу...

— Да чего уж там, говори, — подтолкнула ее Валечка.

— Ой, сейчас расскажу... Дай только отдышаться... Знаю я, как вы, Евгений Иванович, маневрируете, когда возите по колхозам свое начальство...

Нет, все-таки иногда пеловко чувствуешь себя, когда попадешь невзначай в компанию людей, которые живут в одном доме на одной лестнице и на рыбалку ездят на одной лодке и ты среди них единственный посторонний. Может быть, думал я, Лидочке не стоило бы при мне выбалтывать то, что не предназначено для чужих ушей, а то Евгений Иванович, хотя он и очень интеллигентно улыбается, но внутри, должно быть, клокочет, как Федот Федотович, который, глянув в чайник, пошел за хворостом, чтобы подкинуть в костер, и так сердито ломает тальник, что треск кругом идет.

Но Евгений Иванович нисколько не клокотал. Он рассмеялся и сказал, что Лидочка просто отстала от времени — все это давно не секрет, потому что того начальства, с которым он маневрировал, и в помине уже нет, а маневрировать с ним нужно было, иначе пришлось бы распихать все клеверница.

Иван Сергеевич во время этого разговора слова не проронил: лежал на боку, подперши голову рукой, и задумчиво глядел на Лидочку. Юрий Александрович, сначала очень оживленно похаживавший, заложив руки в карманы и поминутно подтягивая штаны, потом стал лениво ковырять спичкой в зубах с таким скучающим видом, словно все это тысячу раз слышал, надоело уже.

— А чай будем сегодня пить или нет? — спросил он под конец ворчливо.

Когда стали пить чай, обнаружилось, что Лешка куда-то пропал и лодка исчезла.

— Никуда он не денется, — беззаботно сказала Валечка. — Наверное, на пристань смотался, чтобы позвонить на фабрику, не забарах-

лила ли городская станция, придется тогда ехать и запускать свой движок.

Она все время жалась к Лидочке, ласково терлась носом о ее плечо.

После чая посидели, поговорили о том о сем, а потом увидели чью-то лодку, бесшумно, как тень, проплывшую через лунную дорожку на реке, со склонившимся над бортом рыболовом, и Федот Федотович стал ругать рыбный надзор за то, что просыпается раз в год, накроет когонибудь с сетью на реке и снова засыпает на целый год, а между тем сетями ловят не раз в год, а каждую ночь, иначе откуда бы в Каргольте взялось столько вяленой сорожки: к кому ни зайдешь — у всех на закуску сорожка, а на удочку много ли ее поймаеть... Он сердито бурчал, пока Лидочка не объявила, что Лешку ждать нечего, он все равно на рыбалке ночью не спит, пора уже укладываться, а то проспим самый клев и действительно ни черта не поймаеть.

Вместе с Валечкой она мигом раскидала кучу разного тряпья и стареньких одеял, чтобы всем было что подстелить и чем укрыться. Улегшись под одним одеялом, Лидочка с Валечкой натянули его себе на головы, но им еще долго не спалось — все шушукались и хихикали чего-то. К ним, как в норку, заползла под одеяло Томи.

Евгений Иванович пошел промяться перед сном и минут десять ходил своей легкой, танцующей походкой, то скрываясь в темноте, то снова появляясь на свет костра, а потом, положив руки на бедра, стал подтягиваться на носках с глубокими вдохами и выдохами — видно было, что товарищ систематически поддерживает свое здоровье, поэтому, наверное, и на рыбалку ездит.

Федот Федотович, сидя на корточках, ломал сухой тальник и понемногу подбрасывал его в костер, подвигал палочкой поближе к огню одиноко тлевшие в золе головешки, шевелил угольки, один уголек поднял и долго забавлялся, перекидывая его с руки на руку, пока он наконец не погас, и тогда швырнул его от себя прочь. Юрий Александрович тоже долго не отходил от костра. Скрестив руки на груди, он глядел на огонь с надменно застывшим лицом — и подумать нельзя было, что это он только что лениво ковырялся в зубах.

Иван Сергеевич, по-прежнему лежавший на боку, смотрел на костер своими круглыми, задумчиво отсутствующими глазами, напоминавшими мне пашу первую с ним случайную встречу на торфяном озере в Подмоскowie. Не верилось, что с тех пор прошло уже шестнадцать или семнадцать лет.

Поднявшись, Иван Сергеевич подошел ко мне.

— Что ж, будем укладываться? — сказал он так, словно мы с ним уже долго сидели рядом и разговаривали.

— Давайте посидим еще немножко, — предложил я.

Давно уже нам с ним пора было поговорить. Он подсел ко мне в старой помятой кепке, замусоленном ватнике, в грязных сапогах, такой же, как тогда на рыбалке, в Подмоскowie, совсем не постаревший, со свежим, как у тридцатилетнего, лицом, и я, вспомнив, как Лидочка выбивала у него дурь из головы, смеясь, спросил:

— Ну как, Иван Сергеевич, больше не задумываетесь о Херсонском мысе?

— Как сказать, — ответил он.

— Неужели еще не прошло?

Иван Сергеевич промолчал, и тогда я заговорил о книге, над которой он все еще упорно работал, опять стал убеждать его, что с выдуманым героем он вряд ли справится, да и зачем выдумывать его, ко-

гда и живой совсем не плох. Он слушал молча, и я чувствовал, что все мои убеждения бесполезны.

Все уже улеглись, вскоре и мы с ним легли рядом. Закинув руки под голову, немного полежали, глядя на огоньки костров, мигающие, как далекие звезды, на другом берегу реки под черной лесной горой, где некоторые рыбаки еще бодрствовали, и Иван Сергеевич вдруг заговорил о том, что фабрика в Карготье маленькая, в цехах тесно, и они разбросаны по городу, но сейчас совнархоз взялся за эти маленькие фабрички, созданы производственные объединения их и есть перспектива, что скоро начнется реконструкция, смена устаревшего оборудования, работать будет интереснее, так что нет, он не жалеет, что застрял в Карготье. Конечно, захолустье, дыра, из которой зимой только на вертолете и можно выбраться, до железной дороги больше ста километров, в снежные заносы ни на какой машине не доберешься, но все же есть у Карготья и свои преимущества. Недавно вот его приглашали на крупный комбинат, ставка чуть ли не вдвое больше, квартира со всеми удобствами, он съездил, комбинат ему понравился, а город нет, хотя и новый: дома многоэтажные, все одинаковые, голые коробки и все в куче, а вокруг пусто — ни речки, ни леса вблизи. Лида в ужас пришла, когда он рассказал ей, что это за город, и они решили, что останутся в Карготье.

Я спросил, не думают ли они вернуться в Подмоскovie, у Лидочки ведь там старики. Иван Сергеевич сказал, что раньше думали, и очень даже думали, а теперь перестали, потому что привыкли к Карготью и слишком уж много желающих перебраться поближе к столице, как-то неловко даже стало хлопотать об этом. Да и зачем? Старики не скукают, потому что они с женой поделались с ними детьми: сыновей сами воспитывают, а дочку отправили к бабушке с дедушкой. Лида решила, что так будет справедливо, и говорит, что по крайней мере ни на какой курорт не потянет, если дочку можешь повидать только в отпуск.

Я представил себе, как Иван Сергеевич со всем своим семейством каждое лето отправляется в далекое путешествие, чтобы навестить свою младшую, сейчас уже десятилетнюю дочку, живущую под Москвой у бабушки с дедушкой, представил, как она там, в памятном мне садике, встречает папу с мамой и двух старших братьев, которых видит один лишь месяц в году, и не стал спрашивать, почему он, каждый год бывая под Москвой, ни разу не удосужился заглянуть ко мне — до того ли ему там!

Прежде чем заснуть, мы поговорили еще о том, какое это великое дело в наше время, когда привыкнешь к своему местожительству и тебе уже кажется, что лучше его нет другого места на свете, хотя бы ты жил в самой захолустной дыре. Сидели же в свое время люди всю жизнь в одной дыре и никуда их из нее не тянуло.

4. Дождь зарядил

Я проснулся на рассвете, когда вся наша уже поднявшаяся на ноги компания что-то громко обсуждала, столпившись у костра, в который Федот Федотович подкидывал сырой зеленый тальник. Дым валил словно на пожаре. Костер трещал, стреляя вверх длинными очередями красных, как трассирующие пули, искр. Я подумал, что, наверное, поймали какую-то небывалую рыбу, и вскочил, чтобы скорее поглядеть на нее.

Никакой рыбы не было — ругали Лешку: туча идет, надо сейчас же возвращаться, а он угнал лодку, пропал на ней черт его знает где. Федот Федотович, не отказавшийся еще от намерения поймать хоть

одну сорожку, предлагал рубить тальник и строить шалаш, чтобы переждать в нем дождь, но вдруг на реке застучал мотор, к берегу приткнулась лодка, и Лешка, выскочивший из нее, сказал:

— Довольно половили, хватит,— и велел быстрее собираться домой.

Но ехать было уже опасно: ветер всюю трепал и гнул прибрежные кусты, волны заплескивались в лодку.

— Да что вы, с ума сошли слушать Лешку,— сказала Валечка — Он ведь, чтобы отделаться от меня, всех готов перетопить в реке. Не выйдет это у тебя, Лешка. Я остаюсь.

Лидочка заявила, что она тоже не сумасшедшая, и большинством было решено, что все же придется строить шалаш.

— Ну, смотрите сами. Я за вас не ответчик. Шалаш так шалаш, если хотите промокнуть. Садитесь в таком случае потеснее, и я вас сейчас всех накрою,— невозмутимо сказал Лешка.

Все сели у костра кучей, и он быстро закидал нас одеялами и разным подстилочным тряпьем, а потом стал рубить тальник и валить его на нас поверх тряпья. Уже голову трудно было поднять, а он все валил и валил на нас этот веточный корм, точно мы сидели в силосной яме, так что я даже не услышал, когда полил дождь, а то, что он полил как из ведра, сразу почувствовал, потому что под нас стала сильно подтекать вода. Федот Федотович поднял переполох.

— Змея! Змея! — закричал он, в потемках приняв за змею скользкий хвост заползшей в нашу нору и успевшей уже вымокнуть Томи.

Вода подтекала под нас ручьями, и вскоре все мы так вымокли, что в нашей норе захлюпало действительно, как в силосной яме. С полчаса решали, что лучше — стоять под дождем или сидеть в воде и во тьме, и наконец стали один за другим выползать из своей норы. Дождь уже не лил, а сыпался, как мелкий песок. Лешка, непромокаемый в своих высоких резиновых сапогах и черном пластмассовом плаще с поднятым капюшоном, стоял в лодке и крутил спиннинг.

— Ну как, берет? — спросил тотчас поспешивший к нему Федот Федотович.

Лешка пошарил в лодке, вытащил и, как фокусник, показал всем большого, подцепленного под жабры судака, после чего Федот Федотович, ничего не говоря, опрометью кинулся разыскивать свои где-то брошенные вечером в досаде удочки.

Когда человека, с которого вода течет, охватывает такой азарт, что он в прилипших к ногам штанах мечется под дождем как угорелый, торопясь скорее закинуть удочки, то если ты летел на самолете из Москвы выше облаков, а потом тащился сутки на стареньком пароходе, чтобы половить рыбу в Карготье, тебе как-то неудобно, дрожа и стуча от холода зубами, глядеть на него и думать: да пропади она пропадом, эта проклятая рыба, вернуться бы только в Москву живым. Мне было уже совсем не до рыбы, но надо же было показать, что не зря тащился на дикие берега, и я тоже поторопился схватиться за удочку. К счастью, дождь опять пропустил, и благоразумие в нашей компании взяло верх: Лешке было велено тотчас заводить мотор.

Пока он сматывал лесу на катушку, а другие вытаскивали из-под кучи нарубленного им тальника наше мокрое тряпье, я, взяв ведро, начал вычерпывать из лодки натекшую в нее воду и... Ну разве я мог предполагать, что сорожки кишат в лодке, как в садке! Что за чудеса? — подумал я и воскликнул:

— Смотрите! Смотрите!

— Сейчас, сейчас, не все же сразу,— сказал Лешка. Взяв подсачок, он выловил плавающую в лодке рыбу и перекидал ее в багажник, под

сиденье на корме, предоставив мне полную возможность думать о его рыболовецких делах все что угодно.

Вереницей тянулись по реке лодки с уныло возвращавшимися домой рыболовами, мы быстро обгоняли одну за другой, и Лидочка, расхваливая Лешкин мотор, говорила, что никто за нами не угонится, потому что ни у кого в Карготье нет такого дьявольского мотора, хотя Лешка собрал его почти что из ничего и не стоил он ему ни одной копейки. Золотые руки и золотая голова! На фабрике и дома все время придумывает или усовершенствует какие-нибудь механизмы, приборы. И рыболовные снасти у него не обычные, не покупные, а своего собственного изобретения, даже крючки и то какие-то особые.

Когда мы, промокшие до шутки, вернулись домой и на лестнице разошлись по квартирам, я сказал своим хозяевам, что все же никак не пойму, почему у одного только Лешки рыба всегда клюет.

— Есть, видимо, какой-то секрет,— сказал Иван Сергеевич и вздохнул.

А Лидочка засмеялась.

— Все дело в технике. Сами знаете, какие она нынче чудеса творит. А Лешка — великий изобретатель, поэтому-то и рыба сама идет ему в руки... Ну, давайте скорее переодевайтесь, а то вода льет с вас, а вы ломаете себе голову по пустякам.

Да, подумал я, великое это дело техника, кто не владеет ею, тому, видно, нынче и на реку соваться не следует, разве только чтобы познаться с тайнами жизни какой-нибудь Карготьи — где они тебе еще могут открыться, как не на рыбалке в хорошей компании.

Переодевшись, Лидочка сказала, что мужчинам прежде всего надо немного согреться. И мы стали согреваться, закусывая яичницей с большой сковородки, которую Лидочка так быстро выставила на стол, как если бы яичница уже поджидала на плите нашего возвращения с рыбалки. Одной сковородки не хватило, потому что подошел Юрий Александрович и пожаловался, что вторую неделю живет на холостяцком положении — жена уехала в область на какой-то семинар по усовершенствованию врачей, а пока она усовершенствуется, в доме хоть шаром покати, вот он и собрался было пойти в столовую, но вышел на лестницу и сразу почувал, что у соседей жарится яичница.

— Смешно вам было для этого тащиться в столовую, сразу бы могли догадаться, где вас скорее всего накормят яичницей,— сказала Лидочка и, выставив на стол вторую большую сковородку, объявила, что они с Ереминым летом тоже живут как бы на холостяцком положении. Младшая у бабушки с дедушкой, а мальчишки в пионерском лагере, раз в неделю навестит их — и все семейные заботы с плеч долой. Иначе что за жизнь! Зимой с детьми волей-неволей крутишься, и до работы и после работы, полгорода знакомых, а в гости если кто заглянет — хорошо, а самой никогда не выбраться. Только тогда и можно встретиться с людьми, когда отправишь мальчишек в лагерь. Тогда уж дома все делается на скорую руку. Такой у них с Ереминым договор, и он на нее не обижается. А она вот на него злится.

— Это вы закрутили ему голову,— вдруг накинулась она на меня.— Придет с работы и до ночи корпит над своими воспоминаниями. Не дай бог писателем заделается и совсем от людей отобьется, что я тогда с ним буду делать? Ну, ладно, заболталась я тут с вами. Картошка варится, все остальное на столе, а мне бежать надо. Машина сейчас пойдет в лагерь, еще опоздаю...

Лидочка ушла, а вскоре и Ивану Сергеевичу пришлось уйти — не зря говорил, что городская электростанция всегда может забарахлить: забежала Валечка, сказала, что у них потухла электроплитка,

света нет и Лешка уже пошел запускать фабричный движок. Сказала и побежала вдогонку за мужем, а Иван Сергеевич, немного еще посидев молча, вышел на кухню и, переставив картошку с потухшей плитки на керосинку, вернулся и сказал:

— Вы уж меня извините, на минутку оставляю вас, придется и мне заглянуть на фабрику,— и попросил Юрия Александровича присмотреть за керосинкой.

— Ну что ж, пойдем присматривать,— сказал Юрий Александрович, когда мы остались с ним в квартире вдвоем, без хозяев.

Мы пошли на кухню, где на столе посреди грязной посуды стояла керосинка и на ней варилась картошка. Юрий Александрович ткнул вилкой в кастрюлю с картошкой, подкрутил фитили керосинки, а потом, обернувшись, вдруг уставился на меня и спросил:

— А не кажется ли вам, что мы уже давно с вами знакомы?

«Когда? Где?» — думал я.

А Юрий Александрович, стоя у керосинки, хитро поглядывал на меня.

— Вспомните-ка коридоры Дворца труда. Москва, Солянка, двенадцать,— сказал он.

Эти бесконечные коридоры я сразу вспомнил. Как не вспомнить было, если я некогда обегал этими коридорами все крупнейшее здание Дворца труда и к ужасу своему оказывался у тех же дверей, из которых несколько минут назад выбежал сломя голову, торопясь со срочным командировочным заданием редакции на поезд или самолет. Чтобы вернуться к тем же дверям, достаточно было впопыхах пропустить нужный тебе выход на улицу, так как выходов там было множество, все в разные стороны и все как один.

— Вот-вот, этим-то, наверное, и объясняется, что я вас вспомнил, а вы меня нет,— засмеялся Юрий Александрович.— Вы же постоянно были впопыхах, с одной стройки на другую порхали, а я и тогда был такой же, как сейчас, рабочей лошадью, которая, не вылезая из-за стола, тащит на себе весь редакционный воз... А керосинка-то у нас с вами, кажется, тухнет,— озабоченно заметил он.— Ну, конечно, так и есть, керосина уже нет, а картошка еще не доварилась. Посмотрите, там в передней где-то канистра стоит, тащите сюда, сейчас подольем.

Канистру я притащил, но надо было еще найти воронку, и мы все перерыли в чужой кухне, пока разыскали ее в фанерном ящике с разной ветошью; пакетами стирального порошка и засохшими в банке из-под краски малярными кистями. Не так-то легко оказалось присматривать за керосинкой. Пока мы наполняли ее из канистры, на кухонном столе и под ним на полу натекли лужи керосина. Пришлось, засучив рукава, взяться за тряпки. А потом, управившись с керосиновыми лужами, мы долго стояли с растопыренными руками у водопроводной раковины, ожидая, пока из крана потечет вода, не дождавшись ее, стали поливать друг друга воду на руки из стоявшего на плите чайника, а тем временем и из крана закапало.

Наконец-то порядок на кухне был восстановлен, Юрий Александрович зажег керосинку, поставил на нее довариваться картошку, и мы с ним смогли вернуться к прерванным воспоминаниям о тех давних временах, когда строились первые гиганты советской индустрии.

— Коридоры помните, а людей нет,— посмеивался Юрий Александрович, расхаживая по кухне.— Где вам, энтузиастам, приехавшим из Днепропетровской за командировкой на Магнитострой, заметить было скромного человечка, который, сидя за дальним столом день-деньской, не разгибая спины правил рабкоровские заметки и гранки... Ох, как я завидовал вам, разъездным спецкорам! — сказал он и вдруг уставился на

керосинку с таким же надменно замкнутым лицом, как вчера на рыбалке, когда перед сном стоял у костра, глядя на огонь.

Заглянув в кастрюлю и еще раз ткнув в нее вилкой, он снова повеселел и стал рассказывать, как его вдруг осенила блестящая идея: чего сидеть в московской редакции за дальним столом, к которому людям и протолкнуться-то трудно, когда на всех крупных новостройках создаются свои многотиражки, газетчики всюду парасхват, и именно такие, как он, грамотные литправщики без всяких претензий. Поработает на одной стройке, потом на другой, на третьей, всюду побывает без всяких командировок и все повидает еще лучше, чем разъездные спецкоры.

— А кастрюлю мы с вами все-таки закоптили, но ничего, без этого не бывает,— сказал он, снимая ее с керосинки.

Мы вернулись в столовую и продолжали свой сильно затянувшийся завтрак.

Оставивший нас на одну минутку Иван Сергеевич через час позвонил по телефону и извинился, что ему придется еще задержаться на фабрике.

— Было бы только что на столе, а хозяева нам не обязательны.— ответил ему Юрий Александрович и, повесив трубку, сказал мне:— Ужасно деликатный человек, боится, что мы с вами тут скучаем.

Нет, мы с ним не скучали. Он вспоминал о Магнитострое.

— Так мы и там же, наверное, встречались?!

— А вы не помните? — смеялся он.

Оказалось, что и на Кузнецкстрое встречались. А познакомились только в Карготье на рыбалке спустя десятки лет — вот как бывает!

— А это помните,— говорил он,— как в тридцатых годах закреплялись кадры на всю пятилетку, обязательство подписывали? Я говорил тогда: а почему спецкоры, как птички, летают, и им это в честь идет, а редакционная лошадь должна годами сидеть за столом, как прикованная. Куда только не носило меня — Магнитострой, Кузнецкстрой, Балхашстрой, Караганда, Хабаровск, Чита, Магадан, Камчатка, Сахалин. Где год просижу, где два, но не больше. Не то чтобы не нравилось, лучшего искал или с начальством ругался, а просто хотелось побывать еще где-нибудь подальше. Почему не побывать, если люди всюду нужны?.. Да что говорить — того, что было, уже нет. Давайте выпьем за старых лошадей, которые сейчас сидят прикованные.

— Как же это вас приковали? — спросил я.

— Очень просто, на курорте, в Сочи, на пляже взяли под руку и прямо в Карготью повезли. Почти до пятидесяти лет холостяком прожил, а тут сдался и вот уже десять лет сижу прикованный. Говорят, что паршивее Карготьи города трудно сыскать: в жару пыльница, в дождь грязища, а меня вот никуда больше не тянет. Жена говорит: «Ты хоть и газетчик, но сам ничего не пишешь, только правишь да верстаешь — зачем тебе было всю жизнь таскаться черт знает куда?» Действительно, зачем? Времена были такие, теперь этого уже не понять... Смотрите, а дождь-то все льет и льет. Если надолго зарядит, то и на улицу не выберетесь без резиновых сапог.

Весь день пришлось просидеть за столом, и нельзя уже было сказать, завтракаем мы еще или уже обедаем, обедаем или ужинаем, или просто так разговариваем, время от времени подкрепляясь тем, что невзначай появляется на столе.

Пришел с фабрики Иван Сергеевич и, поставив на стол кое-что прихваченное по пути в магазине, сказал:

— Пока запускали движок, смена два часа простояла — не доходят руки у Карготьи до своего энергетического хозяйства, водопроводом заняты, а фабрика расширяется, надо серьезно думать об энергетике.

Вернувшись из пионерского лагеря Лидочка, скинув с себя мокрый, такой же розовый, как ее щеки, плащ, торжественно подняла над головой набитую грнбами авоську.

— Живем, товарищи,— масляки уже пошли! Выпрыгнула из машины в лесу и в один миг набрала. Сейчас нажарю вам,— объявила она.

Вскоре подошел Лешка с Валечкой, по-соседски поставили две глубокие тарелки с жареной рыбой и сами уселись за стол рядышком.

— Ну и скандалисткой же оказалась суиружница у Евгения Ивановича! — сказала Валечка.

Лидочка подскочила на стуле.

— Как?! Приехала в Карготьму?

— Так вы тут еще ничего не знаете? — Валечка в ужасе покрутила головой.— Что за люди? Чем вы тут занимаетесь? Весь город об этом говорит с самого утра. Я еще по дороге на фабрику услышала. Вчера вечером эта мадам пожаловала к нам. Только мы отправились на рыбалку, подкатила на такси. С двумя чемоданами притащилась, а его дома нет, сколько ни стучала, никто не открывает. Наконец Феклуша наша из третьей квартиры услышала стук, выглянула на площадку. «Кого вам?» — спрашивает. «К мужу, говорит, приехала».— «К какому мужу?» — «Евгению Ивановичу».— «А-а,— говорит Феклуша,— а мы-то думали, что он холостой, женить его хотели, чтобы не срамил свою должность на танцплощадке». Повернулась и дверью хлопнула. Представляет себе картинку?

Лидочка выскочила из-за стола, заплескала ладошками:

— Ай да Феклушка! Ну и молодец-баба! Молодец! Молодец!.. Вот и люблю за это Карготьму, что в Карготьме бабы язык за зубами не держат! — воскликнула она.

— Конечно. Феклуша молодец,— подтвердила Валечка.— Чего ей стесняться с этой барыней. Испугалась Карготьмы, отпустила к нам своего мужика одного, так посиди теперь у нас ночью в гостинице на своих чемоданах... Да разве я отпустила бы куда-нибудь Лешку одного, тем более в Карготьму? Да его бы тут наши ткачихи без меня на кусочки разодрали.

Поругав мадам, которые отпускают мужей в Карготьму одних, а потом устраивают скандалы им, что они тут держат себя холостяками, Валечка приластилась к своему Лешке, потерялась щекой о его щеку и замурлыкала, какой он у нее хороший: проклятые бабы прохода ему не дают, а он никакого внимания на них не обращает, если и исчезнет ночью, то это случается только на рыбалке и только чтобы позвонить с пристани на фабрику — не нужен ли он там сейчас, такой уж беспокойный характер у человека, а ведь был когда-то беспризорник, вор и бродяга.

Лидочка живо подхватила:

— Взялись бы за него, товарищ писатель. Ничего выдумывать не надо, не жизнь, а роман и тема современная — чудо-человек!

— Что же,— сказал Лешка,— вполне можно. Засядем с вами и наваяем роман, какой вам захочется. Можно о рельсовой войне на линии Пинск—Гомель. Что там было, когда я спустился на парашюте к партизанам Полесья, а потом к нам спускали парашюты с взрывчаткой— фантазмагория! И имейте в виду, что мне было тогда всего шестнадцать лет от роду, а раньше я работал вором на поездах и пароходах. Можно и о водолазах — как мы подымали на Черном море затопленные немцами корабли. Вам же героика нужна. Я это отлично понимаю.

После этого разговор за столом перекинулся на литературу — не увидшь от нее нынче даже в Карготьме.

— Учат вас, учат, а вам все невдомек, о чем надо писать,— сказала Лидочка.— Еремин мой ходит в литобъединение при редакции, кажется, десять лет его там учат, а он все никак не может решить, что надо, чего не надо, только зря мучается и бумагу изводит. Да и Юрий Александрович тоже хорош: вместо того, чтобы писать о героической действительности, переводит каких-то никому не нужных французских поэтов... Да чего уж, признавайтесь, признавайтесь, Юрий Александрович, кого это вы переводите по ночам. Жаловалась мне ваша жена. Наверное, какие-нибудь жуткие модернисты, раз их у вас не печатают. Ну чего улыбаетесь? Да ну вас всех, мужиков,— только и знаете, что улыбаться, когда вам правду говорят.

Юрию Александровичу пришлось признаться, что он иногда переводит кое-что, но просто так, для собственного удовольствия, когда случится раздобыть что-нибудь новенькое через своих московских знакомых — он ведь кончил филологический по западному отделению, хотел специализироваться по французской литературе, но начались пятилетки, не до французов стало, пошел в газету.

Он был смущен, будто его уличили в чем-то постыдном, сконфуженно говорил, что стихи для него баловство, которым он занимается от бессонницы, а потом сказал, что раз дождь зарядил и на улицу все равно не выйти, то может прочесть кое-что из своих французских переводов, стал читать и читал так долго, что Лешка под конец всхрапнул за столом и меня тоже стало клонить ко сну.

И когда соседи Ереминых разошлись, я с облегчением подумал, что сейчас хозяева, наверное, уложат меня спать. Но хозяин сидел за столом, такой же свеженький, как утром, будто только что встал, умылся и сейчас с удовольствием позавтракает, а хозяйка гремела на кухне посудой и громко разговаривала еще с кем-то, должно быть, с Томи, потому что там никого больше не было. Ну и неугомонная же, думал я, закрывая рукой рот, чтобы не видно было, как зеваю. Иван Сергеевич не замечал этого, он будто ждал, что теперь-то мы с ним поговорим, и собирался с мыслями. Стараясь разогнать зевоту, я первый заговорил.

— Так как, все еще задумываетесь?— спросил я, имея в виду Херсонесский мыс. Это было первое, что пришло мне в голову.

— Бывает,— сказал он и, немного помолчав, стал рассказывать, почему намеревался перебраться куда-нибудь из Каргольтемы.

На фабрике случаются кражи, и директор позволяет себе иногда то, что не следовало бы позволять, но дело не в этом только. Один товарищ на фабрике, которого он считал честнейшим человеком, оказался вором. Впрочем, это не доказано, но он сильно подозревает, что это так.

— И уличить не могу, и доверия больше нет, вот это мсняя и мучает. Как же работать с людьми, которым не можешь доверять? И в то же время сомнение гложет: а вдруг ошибся, зря подозреваю? Это еще больше мучает, в глаза человеку смотреть не могу... Не хочется уезжать из Каргольтемы, и жена не хочет, а я опять начинаю подумывать, может быть, все-таки лучше куда-нибудь перебраться. Никак не могу решить,— говорил Иван Сергеевич.

Лидочка, управившись на кухне, постелила мне в столовой на диване, сказала, что пора кончать разговоры, и ушла в другую комнату, я стал раздеваться, а Иван Сергеевич все еще сидел за столом, говорил:

— Жена обвиняет меня в мягкотелости, но я не мягкотелый,— и вспоминал, как в последние дни обороны Севастополя своей рукой расстрелял перед строем старшину роты за то, что тот вынул из солдатского котла баранью ногу и обменял ее на спирт.

— Рука не дрогнула, только глаза в последний момент зажмурил,— сказал он и поднялся.— Ну, я вижу, что вы уже засыпаете.

Мне страшно хотелось спать, но я еще долго не мог заснуть, как это бывает, когда заработаешься за столом до поздней ночи. Чего только не мерещилось мне в полусне. То как Иван Сергеевич, лежа тяжело раненный на Херсонесском мысу, тянется к пистолету, не может дотянуться и судорожно скребет пальцами землю. То как он жмурится, стреляя в краснорожего старшину с выпученными в ужасе глазами, и сам отчаянно жмурился, будто это я стрелял. То как мечусь по бесконечному коридору и не могу найти из него выход, а поезд, на который мне обязательно надо попасть, уже отходит. А потом стала мерещиться настоящая чертовщина: Лешка стоит в лодке по колено в рыбе и все черпает и черпает ее из реки ведром, как воду, Юрий Александрович, покупая у бабы на базаре редиску, надменно разговаривает с ней по-французски, а над базаром висит огромное полотнище с призывом: «Граждане, сдавайте яйца в магазины».

5. Электрогорск — это не Карготьма

Не повезло мне с рыбалкой в Карготьме. Два дня шел дождь, перестанет и снова припустит. Еремины, позавтракав со мной, уходили на работу, а я не решался вылезти на улицу: сидел у окна, глядел, как карготемцы в плащах и резиновых сапогах карабкаются и скользят по навалам выброшенной из водопроводных трубшей глины, курил и терпеливо дожидался погоды. Но на третий день, когда оказалось, что в Карготьме курить больше нечего — с табачными изделиями в местной торговой сети начался очередной перебой, — а в небе все еще не видно было просвета, я подумал: а чего мне дожидаться погоды в Карготьме, когда я отлично могу дожидаться ее и в Электрогорске, у Григория Андреевича Трофимова?

Об Электрогорске я знал только, что город этот новый, существует всего два или три года, на карте его еще нет. Но карготемцы говорили, что, конечно, Электрогорск — это не Карготьма. Празда, больше сказать о нем ничего не могли, потому что хотя от Карготьмы до Электрогорска по прямой всего около ста километров, но по прямой бездорожье, на машине не проедешь, а паромом ехать надо сутки.

Еремины уговаривали меня потерпеть еще немножечко. Лидочка обещала, что постарается к вечеру раздобыть пачку папирос или сигарет, но мне было уже невтерпех.

То, что Электрогорск не Карготьма, я увидел, как только паром вошел на следующий день в шлюз и стал быстро подниматься вместе с наполняющей камеру водой. По мере того как он поднимался, передо мной все шире распахивался водный простор подпертого плотной Электрогорского моря.

Дождь, выживший меня из Карготьмы, там и остался. Здесь был яркий солнечный день. В ясных водных даях темнели высокие лесные берега, ближе виден был песчаный пляж с разноцветными пятнами загоравших на нем электрогорцев, речной вокзал, похожий на аэропорт, со стеклянными стенами в обрамлении бетона, от причала которого отвалила и мгновенно скрылась за лесным мысом будто в воздух взлетевшая сверкающе белая «Ракета». За вокзалом полого поднималась в гору обсаженная молодыми деревцами асфальтированная улица светлых четырехэтажных домов.

По этой улице я и пошел, сойдя с парохода. После Карготьмы все тут радовало глаз. Дома — все они были из белого кирпича, с полосками, зигзагами и квадратами красного — стояли не впритык, а с прогалами, и в каждом прогале виден был дворовый скверик с молодыми посадками и кучами песка на детских площадках.

Трофимов меня не встречал: побоявшись, что ему трудно будет отлучиться с работы — пароход прибывал в рабочие часы, — я не телеграфировал ему из Каргомы о своем приезде. И не пожалел об этом: разыскивать его долго не пришлось. Поднявшись в гору и выйдя на площадку с бассейном, по краям которого были тоненькие струйки фонтанчиков, я спросил у ребятнишек, бегавших вокруг бассейна от фонтанчика к фонтанчику и, зажимая их пальцами, стрелявших друг в друга струйками, как пройти на Нагорную, дом номер семь.

— А чего вам там? — заинтересовался один из них.

— Знаешь такого — Трофимова? Григорием Андреевичем звать.

Он свистнул.

— Дядю Гришу да не знать?! Они же с моим папанькой вместе работают на ГЭС от Спецгидроэнерго-монтажа, — без запинки выпалил он. — В одном доме живем. А вам что до него?

— В гости к нему приехал, — ответил я.

— Пойдемте, провожу вас, — предложил он и по дороге счел нужным сообщить, что Спецгидроэнерго-монтаж уже закончил работу в Электрогорске, но монтажники еще не получили назначения на новое строительство и в ожидании его целые дни сидят на рыбалке, но сегодня их вызвали в контору.

— Может, дядя Гриша вернулся уже, может, нет, а тетя Лена дома, она все еще в декрете, — сказал он.

Оказалось, что дядя Гриша уже вернулся из конторы. Мы встретили его на дворовом скверике. Он бегал по дорожке, укачивая ребенка, завернутого в ватное одеяло, один конец которого волочился по земле.

С Григорием Андреевичем я познакомился в Сталинграде, вскоре после окончания войны, когда ходил по развалинам города и в уцелевших подвалах и во вновь построенных на скорую руку домишках разыскивал оставшихся здесь в дни уличных боев жителей, чтобы записать их воспоминания. В Банном овраге у завода «Красный Октябрь», зайдя во двор одного из лепившихся по склонам домиков, я увидел молодого офицера, старшего лейтенанта, который сидел на скамеечке с девочкой лет четырех на коленях и разговаривал с хозяйном и хозяйкой. Когда я спросил хозяев, жили ли они тут во время боев — а бои были жестокие, недаром этот овраг был прозван «оврагом смерти», — хозяйка сказала:

— Куда же было деваться? Мужа принесли с завода на носилках раненого, а я беременная была. Здесь в щели и жили. И Галечка тогда вот к нам в овраг на бомбе прилетела, — засмеялась она. — Правда ведь, Галечка?

— Да-да, — живо подтвердила девочка. — Я верхом на бомбе с неба прилетела и тут в овраге родилась.

— Григорий Андреевич вот вроде как крестный ее, — сказал хозяин об офицере, сидевшем с девочкой на коленях. — Вспомнил, навесить зашел. Их блиндаж тогда рядом с нашей щелью был. Заглянул к нам раз после бомбежки посмотреть, живы ли, а жена новорожденную в корыте купает. «Где вы взяли гражданочку эту?» — спрашивает. Жена и говорит: «На бомбе прилетела». Немцы тогда завод штурмовали, а бомбы к нам в овраг летели, из щели высунуться нельзя было.

Я поговорил с хозяевами, записал все, что они мне рассказали, а потом разговорился с сидевшим у них офицером, и мы с ним вышли из Банного оврага вместе. Постояли немного у трамвайной линии, пересекающей этот овраг по мосту, откуда он показал мне, где занимала огневые позиции его минометная рота, и прошли оврагом дальше, на следующие позиции минометчиков, а затем тоннелем под железнодорожной насыпью вышли на склон Мамаева кургана, где тогда еще стояли полбитые немецкие танки. Много тут осталось в братских могилах его сол-

дат, а он сейчас ехал домой куда-то за Вятку из госпиталя, в котором пролежал больше года,— вот и потянуло по дороге заглянуть сюда, как и многих других солдат и офицеров, хоронивших здесь своих однополчан.

У меня было такое чувство, словно я встретился с очень близким мне человеком, хотя я еще ничего не знал о нем, кроме того, что он воевал тут вот, где мы ходим, и тут же, на Мамаевом кургане, был ранен.

Небольшой, светлоглазый, с легкой и светлой шапкой волос, которые, когда он снял фуражку, сразу же распушились на ветру, типичный северный русак, он напоминал мне рыбаков и охотников Олонецкого озера, ныне забытого, но родного мне по матери края.

Заметив, что он иногда слегка морщится и потирает пальцами висок, лоб, я спросил его:

— Что, голова побаливает?

— Да, года два уже не переставая болит после контузии. То полегче станет, то снова схватит. Как только не лечили, на консультацию в Москву возили — ничего не помогает. Говорят, что надо терпеть, со временем, может быть, пройдет. Да пусть уж болит, только бы это не мешало учиться, в институт надо поступать,— сказал он.

Расстались мы с ним только вечером, на вокзале, после того как пообедали вместе в ресторане и условились, что если он будет поступать в московский институт, то мы с ним обязательно встретимся. И в том же году осенью, уже будучи студентом Энергетического института, он зашел ко мне поинтересоваться, как у меня идет работа над книгой о сталинградцах.

Григорий Андреевич все еще время от времени морщился, потирал лоб или висок. Я думал, что если у человека голова болит не переставая несколько лет, то он привыкает к этому и перестает замечать боль, но он сказал:

— Нет, к этому привыкнуть нельзя, надо терпеть.

Он заходил ко мне в Москве еще несколько раз и, когда я спрашивал, как у него дела с учебой, говорил:

— Да ничего, кое-как тяну.

А в конце учебного года вдруг сказал:

— Врачи велют бросать институт и переходить на физическую работу. Придется, ничего не поделаешь, боли стали невыносимые.

Он уехал тогда на строительство Сталинградской электростанции, и после этого за все прошедшие с того времени годы я получал от него то с одной стройки, то с другой, из самых разных уголков страны, только коротенькие открытки, в которых он приглашал меня к себе, обещая интересный для печати материал. Переписка у нас была довольно частая, но вся она состояла из того, что он звал меня, я обещал приехать, а потом извинялся, что не смог, и снова обещал, а он спустя некоторое время спрашивал, почему же не еду, и снова звал. Я знал о нем только, что он работает слесарем-монтажником на строительстве гидроэлектростанций и что головные боли у него не проходят, однако работе не мешают.

Бывают люди, которых время обходит стороной, и они всю жизнь несут на себе печать каких-либо одних и тех же давно прошедших лет. Таким мне показался Иван Сергеевич Еремин, все еще переживающий войну, все еще будто бы живущий в те послевоенные годы, когда мы с ним познакомились. А вот с Григорием Андреевичем Трофимовым мне пришлось знакомиться заново, хотя он-то встретил меня как старого знакомого. Внешне он изменился мало, но это уже был совсем не тот человек, которого я помнил в офицерском кителе без погон.

— Никак не могу уgomонить свою принцессу. Бегаю — молчит, останавлиюсь передохнуть — орет, — сказал он и повел меня к себе домой, продолжая по дороге укачивать «принцессу» и подбирать упорно свисавший угол одеяла, в которое она была завернута, — подбирал его, а он снова свисал и волочился по земле.

Придя домой и познакомив меня с женой, такой же, как он сам, светловолосой и светлоглазой, но повыше его ростом молодой женщиной, Григорий Андреевич сказал ей:

— Поди ты теперь побегай с Машкой по двору, чтобы скорее заснула, а то не даст она нам тут житья.

— Значит, сначала в Карготьме решили побывать? Чего это вас туда потянуло? Город давно уже закрытый, — заговорил он со мной, когда жена вышла.

— Как это понимать — «закрытый»? — спросил я.

— А так и понимать, что закрытый. Когда космос завоевываешь, тут уж не до Карготем. Знаю я их — вятский, слава богу. Что такое Карготьма в прошлом? Ягодные сиропы, сушеная черника, грибы сушеные, соленые, маринованные, брусника моченая, клюква. Раньше в Москву, в Питер, чуть не в Париж все это возилось. А сейчас кто такой чепухой будет заниматься, как заготовка ягод и грибов?

— Выходит, что Карготьма дожила свой век и гроб ей?

— Одной ли Карготьме? За тридевять земель ездим целину пахать, а у себя дома под носом луга и пашни кустарником зарастают. Так и с городами получается. В одних жилищный фонд разрушается, дома заколоченные стоят, а в других строим, строим, и все мало. Ох, сколько еще проблем надо решать! — сказал Григорий Андреевич, возбужденно теребя волосы. — В Электрогорске сейчас новая проблема возникла. Как ее решить?.. Ну, да что ж это мы с вами сразу с проблем начинаем? Нет, так у нас ничего не выйдет, с другого надо начинать, — спохватился он, вышел на кухню, вернулся с бутылкой коньяка, поставил ее на стол, растерянно почесал затылок и опять пошел на кухню, принес лимон на блюдечке, начал его нарезать и хмыкнул: — Да, проблема. — Положил нож на блюдечко и забыл о лимоне. — Что происходит? Стройка закончена, станция сдана в эксплуатацию, остались доделки, монтажникам надо ехать на другие объекты, а они не хотят, говорят, что поехали, уже хватит, тут останутся. А все из-за чего? Все отдельные квартиры наконец получили, жалко их бросать, и город хороший, море, пляж, лес, моторками обзавелись, ездят на рыбалку, на охоту, а там, на новой стройке, что еще ждет — неизвестно. А что вы думаете — проблема! Или квартиру бросай, или семью оставляй, опять холостяком живи. Жены все как сговорились: остаемся — куда нам тащиться теперь с холодильниками и стиральными машинами? Бетонщики и арматурщики давно уже сидят без работы, ждут, когда развернется промышленное строительство, оно у нас в Электрогорске отстало. Два больших комбината должны строиться, но в этом году или в следующем начнется работа — еще неизвестно, сидят, ждут, и никуда их отсюда не выманишь, пока не проживутся. А теперь вот и монтажников надо выманивать, тоже рассчитывают на будущие комбинаты. Кто успел обжиться тут с семьей, за что угодно готов уцепиться, только бы остаться в Электрогорске. А те, кто на пенсию повыходил, и в ус не дуют. Кто откуда приехал на стройку, и все тут осели до конца своего века. А в какой-нибудь Карготьме дома их стоят заколоченные. Снабжение, конечно, тоже влияет. В Карготьме что бог пошлет, тем и живи, а к нам вот и коньячок и лимоны иногда завозят... Ах, да что же это я! — И он опять взялся нарезать лимон.

Вернулась со двора хозяйка, уложила уснувшую девочку в кроватку и сказала мужу:

— Все ваши головы повесили, не знают, что делать, а тебе хоть бы что, иди какой-то.— И объяснила мне:— Только получили квартиру, устроились по-человечески — и опять тащишь куда-то, все начинай сначала. А мне оставаться тут одной с грудным ребенком, так что же это за семья?

Григорий Андреевич поморщился, потер пальцами лоб — на этот раз не знаю уж отчего, то ли от своей обычной головной боли, то ли оттого, что не мог решить, что делать, оставаться или ехать.

— Ясно, Лена, все ясно, давай теперь нам, что у тебя там есть на обед,— сказал он, взялся за бутылку и, обнаружив, что про рюмки-то забыл, пошел за ними на кухню.

Не вовремя попал, подумал я, не до гостей тут сейчас, когда решается такая сложная проблема. Действительно, как быть монтажнику или строителю, если ему, как и всем прочим, хочется иметь постоянное местожительство, а на одном месте долго делать нечего.

И за обедом разговор все время вертелся вокруг этого вопроса, оказавшегося вдвойне сложным, потому что и Лене не хотелось бы менять свою специальность — она арматурщица, на двух стройках работала уже с мужем, — а если оставаться, то и ей придется искать какую-нибудь другую работу: арматурщики пока тут больше не нужны.

Чего хочет Лена, ясно было — конечно, она согласилась бы на все, только бы остаться в Электрогорске вместе с мужем, а вот на что решился Григорий Андреевич, трудно было сказать. Он рассуждал об этом как-то очень умозрительно, словно лично его и его семьи это мало касалось.

После обеда он сказал мне:

— Ну что ж, теперь начнем с того, что посмотрите нашу электростанцию.

Никакой нужды у меня в этом не было, я предпочел бы просто так пройтись с ним по городу, но пришлось сесть на автобус, поехать на электростанцию: Григорий Андреевич, пригласивший меня к себе на рыбалку, почему-то считал, что мне прежде всего надо побывать на ГЭС, будто без этого и рыбалка будет не рыбалкой.

Автобус остановился поодаль от ГЭС, ближе подъехать нельзя было. Там над кучами разрытой земли и строительного мусора, под скрежет работающих неподалеку двух землечерпалок, стрекот бульдозеров и тарактенные самосвалов, на большой высоте безмолвно работали девушки-крановщицы, таскавшие по воздуху огромные грузы. И ходить-то здесь нужно было осторожно, пригибаясь и озираясь, чтобы на голову тебе не обрушилась бетонная плита или еще что-нибудь такое в несколько тонн весом.

— Вот они, наши мелкие недоделки. С ними еще два года провозятся, но они уже в счет не идут,— бросил на ходу, будто между прочим, Григорий Андреевич.

Выбравшись из сутолоки строительства, мы попали в огромный машинный зал ГЭС, где не видно было ни одной живой души.

Там мы спускались и подымались по множеству узеньких и крутых железных лесенок, похаживали по площадкам, на которых среди разных приборов возвышались какие-то грозные стальные колпаки, похожие на шлемы гигантов, по голову замурованных в бетонные недра зала.

Григорий Андреевич водил меня по этому безлюдному миру, тшкетно пытаюсь втолковать мне его устройство. Я понял только одно: механизация механизацией, однако на монтаже турбин и генераторов и сейчас еще без физической силы не обойдешься.

— Ребята у нас все здоровые, а мне иногда и покряхтеть приходится, не без этого, — сказал Григорий Андреевич.

Гробовая тишина, царившая вокруг, заставила меня усомниться в том, что станция работает.

— Сейчас посмотрите, — сказал он и повел меня по крутым лесенкам куда-то глубоко вниз.

Там, велев мне снять шляпу и очки, он открыл в какой-то гигантской трубе круглую дверку и предложил заглянуть в нее, полюбопытствовать. Я заглянул, но, не успев полюбопытствовать, тотчас отшатнулся, потому что почувствовал необходимость ухватиться за что-нибудь обеими руками, чтобы бушевавший в этой темной трубе ветер не унес меня самого к себе в преисподнюю.

Григорий Андреевич был очень доволен тем впечатлением, которое произвело на меня его работающее в этой преисподней детище.

Что ни говори, а все же приятно чувствовать себя хозяином таких дьявольских детищ, над созданием которых тебе пришлось покряхтеть.

— Теперь пройдемся немного по плотине, а потом посмотрите шлюз, — сказал он, когда мы вышли из машинного зала на свет божий.

По гребню плотины хорошо было бы пройтись, поглядывая на раскинувшееся вширь и вдаль море, но пока это не было удобным местом для прогулок — бетонная дорога тут еще только прокладывалась, — и Григорий Андреевич, доведя меня до забитого лесом водосброса и показав с головокружительной высоты вниз, где, кроме бревен, застрявших там, как рыбы в сетях, я ничего больше не увидел, повернул назад. Зато на шлюзе мы долго простояли у открытых ворот камеры. Григорий Андреевич морщился, потирал лоб, и я опять не понимал, то ли голова у него сильно разболелась, то ли ему здесь что-то не нравится.

— Авария тут произошла в прошлом году, — сказал он, немного помолчав. — При шлюзовании первого парохода стенка этой камеры обвалилась, вода валом пошла на вторую камеру, а там люди еще работали. Представляете, что тут было? Ну так вот. А из-за чего? Из-за того, что все спешим досрочно сделать, надо или не надо, а досрочно, чтобы скорее рапорт послать, начальству пыль в глаза пустить. Вот и не подсыпали как следует стенку песком, решили: обойдется и так, отпразднуем открытие шлюза, премию получим, а потом потихонечку подсыплем, тогда и торопиться-то нечего будет, раз уже отрапортовали.

— Старая история, — вздохнул я.

— А почему старая? Почему не можем никак покончить с ней? Ну почему? — спросил он и заговорил о том, как дорого обходятся государству все так называемые мелкие недоделки, которые откладываются на будущее для того, чтобы не иначе как досрочно выполнить план или сдать какой-нибудь наиболее эффектный объект, даже если и никакой нужды нет в этой досрочности.

Возвращаясь в город, мы не стали ждать автобуса, пошли пешком, и по дороге Григорий Андреевич долго растолковывал мне, что на любом промышленном строительстве сдать досрочно какой-нибудь отдельный объект — это значит устроить на одном участке столпотворение и неразбериху, а другие оголить и забросить, а это в свою очередь значит, что все графики, на которых держится план, и все экономические расчеты, на которых он строится, рушатся, идут насмарку и начинается чехарда, и все потому, что кое-кому слишком много воли дали, и они уже рубли не считают, только миллионы, и, чтобы покончить наконец с этим, надо усилить контроль над такими миллионщиками и не только сверху, но и снизу, откуда все наши убытки виднее, тем более что рабочий класс у нас теперь все отлично понимает...

Растолковав мне это, Григорий Андреевич пообещал, вернувшись

домой, показать свои тетради, которые он таскает с собой с одной стройки на другую и везде чем-нибудь дополняет — там сделаны точные подсчеты некоторых убытков.

— Один у нас брякнул на собрании, — сказал он потом: — «Все боюсь, завоевываем, то в наступление идем по всему фронту, то в атаку на отдельных участках или прорабствах, штурмуем что-нибудь, то на вахте стоим по какому-нибудь случаю, а когда же, товарищи, работать будем?» Посмеялись, а разве не точно? Точно. Вредное пустозвонство эта словесная военщина в рабочей жизни. На войне с потерями порой не считаются, и на войне это плохо, а на работе тем более, если ты хозяин, каждый рубль должен считать, иначе в убыток себе будешь работать... Ну да что я вам голову забиваю? Вы же же в командировку приехали материал собирать, а на рыбалку, так ведь?

— Сам уже не знаю, для чего приехал, — посмеялся я.

— Ничего, и на рыбалку еще успеем съездить...

Мы были уже в городе, который с этого примыкающего к ГЭС края начинается сразу, без предместья, асфальтированной улицей одноэтажных, крытых шифером каменных домов в садиках, за крашеными штакетниками, с молодыми белоствольными березками, будто забежавшими сюда из леса, чтобы заглянуть в новый город, да так и замершими тут рядами вдоль плиточных тротуаров. На этой по-дачному уютной, нагретой солнцем, пятнистой от тени берез улице навстречу нам вышел из калитки рослый молодой человек в светлом костюме с университетским значком, державший под руку дородную молодую женщину в просторном шелковом пыльнике, не скрывавшем, однако, что она уже на последнем месяце беременности.

— Кстати, вот и Панин прогуливается со своей супругой, — сказал Григорий Андреевич. — Сейчас договоримся с ним насчет рыбалки. У него хорошая моторка.

Супруга Панина не стала задерживаться, поздоровалась, одарила нас своей величественной улыбкой и сейчас же, кивнув головой, потихоньку поплыла дальше, а сам он минутку постоял, узнав, что я приехал из Москвы, спросил:

— Ну как там столица нашей родины процветает?

На рыбалку обещал обязательно свозить, но только завтра вечером, а сегодня у него с редактором газеты важный разговор, да и в горьком комсомола дело есть — хоть он сейчас и в отпуске, но все равно теребят, такова уж его участь.

— Наш слесарь-монтажник, только что заочно окончил университет по отделению журналистики, а жена его инженерша с ГЭС, — сказал Григорий Андреевич, когда Панин пошел догонять свою супругу. — Вовремя окончил, — добавил он. — Сейчас это для него всю нашу проблему снимает, может здесь оставаться — уже зовут в газету работать, не надо же ну бросать одну с ребенком. Она же эксплуатационница, на новую стройку не поехала бы за ним — чего ей там делать?

Да, подумал я, для себя этой проблемы он, видимо, еще не решил.

За ужином Лена опять завела было разговор о том, что если ей оставаться в Электрогорске одной с ребенком, то что же это будет за семья, но Григорий Андреевич недовольно поморщился: хватит, мол, об этом, дело наше, семейное, не с товарищем его решать, — и она замолкла на полуслове. После ужина Григорий Андреевич вручил мне ключ от соседней квартиры, хозяин которой, прораб, его начальник, уехал со своей семьей в отпуск куда-то на юг, проводил меня, показал квартиру, обе комнаты, кухню и ванную, где все было так, словно хозяева вышли только погулять, и сказал, что я могу располагаться тут, как дома. Пожелав спокойной ночи, он ушел, но вскоре вернулся — принес мне свои тетради:

— Может быть, все-таки полистаете на сон грядущий, если не очень устали.

Следом за ним пришла Лена, принесла мне постельное белье, сказала мужу:

— Тетради свои суешь, а о простынях и не подумал,— и увела его с собой.

Тетради были ученические, замусоленные, исписанные мелким, но очень четким почерком — записи многих лет со многих гидроэлектростроек, со сложными цифровыми расчетами и с ссылками на разные отчеты, доклады, выступления на собраниях, конференциях, производственных и технических совещаниях. Не во всем я как следует разобрался, но некоторые цифры красноречиво свидетельствовали о понесенных на стройках убытках и потерях из-за всех этих встречных, досрочных и сверхсрочных планов, штурмов и парадов. В общем, и тут, в Электрогорске, лежа в широкой пуховой постели прораба Спецгидроэнерго-монтажа, было над чем поломать себе голову на сон грядущий.

Многое вспомнилось, многое, о чем я некогда писал со строек, вставало в памяти уже в ином свете. Вспомнился и Днепрострой, маленький паровозик, таскавший на гребенку плотины платформы с бетоном. Я ехал на этом паровозике и, когда он остановился на плотине, хотел сойти, спустил уже одну ногу, но машинист вдруг схватил меня сзади за шиворот и крикнул:

— Посмотрите вниз.

Я посмотрел, и у меня закружилась голова: в зияющих проемах между шпал видна была далеко внизу пенисто мчавшаяся вода; казалось, еще мгновение — и я полетел бы кувырком в эту бездну.

Машинист отчаянно ругал меня:

— И чего вас носит тут нелегкая, если под ногами у себя ничего не видите?!

Я тогда и подумать не мог, в каком злом смысле сказаны эти слова: сам был тогда организатором разного рода газетных шумих, сбивавших стройки с размеренного ритма работы на горячку.

6. Трофимов и Панин

Утром, за завтраком, Григорий Андреевич заговорил о какой-то Пугачевой горе, которая вот уже скоро два века плачет по Пугачеву горькими слезами, и предложил для прогулки пойти посмотреть на эти вечно льющие слезы.

Мы вышли на нижнюю окраину города, где к нему вплотную примыкает вытянувшаяся от плотины вниз по берегу реки деревня Пугачевка, еще несколько лет назад, когда города не было, одиноко стоявшая тут, на краю леса, круто поднимавшегося в гору. Пока мы шли широкой деревенской улицей, эта гора, плотно укрытая снизу доверху черным лесом с кое-где торчавшими над ним, как сторожевые вышки, шатровыми макушками вековых елей, становилась все больше, а деревенские избы и заборы, наоборот, по мере приближения к горе мельчали. Сначала в обоих порядках шли избы-великаны, срубленные из бревен, которых не обхватишь двумя руками, и заборы такие, что доверху не дотянешься, правда, сильно обветшавшие, подгнившие и покосившиеся, только столбы ворот все еще несокрушимые. Дальше избы были полегче, поменьше, какие строились в прошлом веке, а над оврагом, под самой горой, лепились нынешние, совсем легонькие полудачные-полудеревенские домишки. Сразу видно было, в какую сторону росла эта Пугачевка, как все меньше заботились здесь люди о долговечности своего жилья.

Поговорив об этом, мы спустились из деревни оврагом на песчаный берег реки. И тут гора обернулась к нам своим обнаженным внизу, а наверху местами прикрытым елями откосом с оползнями красной глины. По всем этим кровавым оползням, алмазно сверкая на солнце, сочились и струились роднички, скатывались вниз и растекались по прибрежному песку.

И верно похоже было, что гора плачет.

Мы немного постояли, прислушиваясь к едва уловимому журчанию этих родничков, пошли дальше по намокшему от них песку и, дойдя до следующего оврага, где возле каких-то дощатых построек стояло мычавшее стадо коров и бычков, стали подыматься в гору конной дорогой. По обе стороны стоял темный еловый лес, ближе к вершине горы лес редел, среди елей стали попадаться рослый, похожий на кипарис можжевельник и темные от времени кресты на опушенных зеленым мхом или заросших папоротником могилах. Мы пошли этим старым, видно давно уже заброшенным, кладбищем и вышли на просторную поляну, посреди которой лежал большой гладкий камень, будто нарочно положенный на лысой макушке горы, чтобы было где посидеть человеку и поглядеть на далеко открывающуюся отсюда светлую даль реки и ее черные лесные берега.

— Хорошо тут над вечным покоем... пока землечерпалка почему-либо не работает,— сказал Григорий Андреевич, садясь на камень, и вскоре, когда из-под горы вдруг донесся какой-то скрежет с прорывавшимся сквозь него подвыванием, напоминавшим далекий рев скота на бойне, посмеялся: — Ну вот и заработала уже. Весь пейзаж нам испортила.

Его очень повеселило, что землечерпалка и тут быстро дала знать о себе, будто только для того и притащил меня на эту кладбищенскую гору, чтобы я не очень-то рассчитывал на вечный покой.

Немного посидев здесь, мы увидели крупного человека в соломенной шляпе, который быстро поднимался к нам в гору, опустив голову, как лошадь, тянущая за собой тяжелый воз. Оказалось, что это Панин уже узнал, куда мы пошли, и разыскивает нас.

— Ну, как видик отсюда? — спросил он меня, сняв шляпу и утирая платком свою наголо обриту голову, блестящую от пота, как стеклянный шар. — Царственный! — объявил он и, принявшись сбивать щелчками с брюк и носков прицепившиеся к ним колючие шишечки репейника, сказал: — Чувствуешь себя тут, как бог на Олимпе, не правда ли?.. Есть красивая легенда, — продолжал он потом, приведя себя в порядок и оглядевшись вокруг. — Видели, сколько ручейков стекает с горы? Старики говорят, что родники эти забили в тот день, когда Пугачева казнили в Москве. Конечно, легенда есть легенда, но образ-то какой потрясающий — гора слезами обливается! Ты, Гриша, не смейся, — обернулся он к Григорию Андреевичу. — Поэтическое творчество народа, к нему надо прислушиваться. А то, что Пугачев с этого камня, на котором вы сидите, смотрел на тот берег, переправу тут собирался наводить, так это исторический факт... Не уважает романтику, — пожаловался мне Панин на Григория Андреевича. — А я, знаете ли, неисправимый романтик, — сказал он, сев рядом со мной на исторический камень, и стал рассказывать, какая у его родителей была в областном городе хоршая квартира, а он вот по призыву комсомола поехал сюда на стройку, когда здесь была лесная глушь, не побоялся трудностей и первое время жил здесь в шалаше, мерз по ночам, а почему? Потому что романтик, а романтика окрыляет человека, возносит его над всеми мелочами жизни...

Слова он употреблял громкие, но звучали они у него как-то уныло, будто он вкладывал в них какой-то особый, совсем будничный смысл или же вовсе не задумывался над их смыслом, произносил механически. А

может быть, это только казалось так, оттого что голос у него несоразмерно фигуре слабый.

Панин приехал на стройку сразу после окончания десятилетки, работал тут землекопом, арматурщиком, выучился на слесаря-монтажника да к тому же еще сумел окончить заочно университет. Конечно, далось ему это, наверное, нелегко, но рассказывал он о себе так, словно специально сочинял свою жизнь для газеты, по ее показательным образцам, и повторяет это десятый раз, самому уже надоело.

Григорий Андреевич хмыкал, морщился, кривился и в конце концов не выдержал, сказал:

— Слушай, Панин, товарищ ведь приехал не для того, чтобы писать о тебе героический очерк. И потом надо же понимать, что нынче самому себя называть романтиком взрослому человеку да еще с университетским значком как-то не совсем ловко.

Панин не обиделся и даже не смутился. Он сам же добродушно посмеялся над собой: действительно, мол, неловко получилось, и как он не подумал об этом, какой уж неисправимый романтик.

— Ладно, Гриша, пойдем, что ли, пообедаем пораньше и поедем — чего вам тут на горе торчать? Червей я уже накопал, — сказал он и пообещал до вечернего клева свозить на какую-то Сычиху, посмотреть на утиные выводки.

Мы вернулись в город и там, на углу площади, где бассейн с фонтанчиком, стояли у сатирической витрины штаба добровольческих дружин милиции.

— Оформляется под руководством Панина, — сообщил мне Григорий Андреевич, показав на эту витрину с фотографиями лиц, задержанных на улице в нетрезвом виде.

Панин отмахнулся:

— Какое там руководство! Подредактирую, сатирикам нашим что-нибудь подскажу, иногда сам стишок сочиню. Приходится в общественном порядке, дело такое. — Он покрутил головой, почесал затылок. — Не откажешься.

— Еще бы! — усмехнулся Григорий Андреевич. — Когда это было, чтобы ты от какого-нибудь дела отказался?

— Ничего не напишешь, нельзя. Гриша, неудобно... Ну, ладно, идите обедать, и я пойду, — сказал Панин, вдруг сразу как-то понурившись весь.

Мы расстались с ним тут, условившись встретиться после обеда у лодочной станции.

— Чего это он скис? — спросил я у Григория Андреевича.

Григорий Андреевич посмотрел еще раз на витрину и сказал:

— Девчонка одна из деревни приехала, арматурщицей работала у нас, в вечернюю школу ходила. Дурни какие-то напоили ее для смеха, ну и пошла куролесить, поскандалила где-то с дружинниками и попала на эту живописную витрину. Так расписали девчонку, что ей показаться на людях нельзя было. Несколько коробок спичек извела, отравиться хотела, а когда из больницы вышла, в тот же день исчезла из города. Судить за такое дело надо, а Панин вот говорит, что в общественном порядке приходится. И парень-то ведь неплохой, только голова иногда не варит, потому что чужими словами набита.

После обеда, придя на лодочную станцию, уютно расположенную на лесном берегу небольшого залива, мы застали Панина возле одного из тех больших, обитых жестью и покрашенных суриком шкафов, которые стоят здесь среди елей рядами и вразброс. Если в Каргольме владельцы моторных лодок таскают моторы из города через болото на плечах, то в Электрогорске моторы и все прочее лодочное оснащение хранит-

ся в этих специально сооруженных для того на берегу шкафах с внушительными, как на амбарах, замками.

У Панина все уже было готово, и, поджидая нас, он повязывал свою бритую голову белым платочком так, чтобы узелки торчали рожками, как это принято у любителей водного спорта.

— Сейчас я вас с ветерком! — сказал он, когда мы сели на его новенькую, сверкающую лебединой белизной моторку, рядом с которой хваленая Лешкина ладья выглядела бы пришельцем из древней Руси времен новгородских ушкуйников.

Вытолкнув веслом лодку из заливчика, Панин запустил мотор. Оглянувшись назад, я увидел, что шкафы, стоявшие на берегу под елками, как памятники, уже уменьшились до размера спичечных коробков. Да, подумал я: карготемскому Лешке, хоть он и великий изобретатель, далеко еще до современной техники.

Оставляя за собой глубокий след с округлыми, зеркально переливающимися волнами, мы описали по Электрогорскому морю большую дугу и вошли в его Сычихинский залив, как называют электрогорцы широко разлившееся устье недавно еще маленькой речушки Сычихи, далеко затопившей сейчас свои лесные берега, и стали подниматься вверх по ее постепенно сужавшемуся руслу, пока не потеряли его в лабиринте узких протоков между зеленых куш большого затопленного мелколесья.

Панин сбавил ход моторки, и мы начали поиски потерянного русла. Нырнув под низко свисавшие к воде ветви, оказываемся в длинном и прямом водном коридоре с зелеными стенами стоявших по пояс в воде молодых березок и осин, едем этим коридором — ну, чем не речка в затопленных водой берегах?! Но вот путь нам пересекает другой коридор, еще больше похожий на русло реки: есть и извилины, и разные загогулины, и видна вдали излучина. Сворачиваем, доезжаем до излучины, и перед нами открывается озеро с маленькими островками затопленных кустов.

Здесь из-под самого носа нашей проходившей мимо куста лодки гулко поднялась пестрая кряковая утка, полетела низко над самой водой, черта по ней крыльями, будто сил не хватало подняться, потом вернулась назад, закружилась, заматалась над нами и снова полетела низко над протокой трепещущим полетом, как подранок.

— Уводит! — закричал Панин. — Выводок тут, в кустах. — Он по-мальчишески замахал руками и, заглушив мотор, полез вторых через нас на нос лодки, лег на него животом и, цепляясь за ветки, стал тянуть лодку в глубину кустов.

Утка уже снова металась над нами, падала на воду, шлепая крыльями, подскакивала, опускалась и опять подскакивала, будто бежала по воде, спасаясь от нас. Чего она только не делала, чтобы привлечь к себе внимание, но Панин был глух и нем. Обеими руками, цепляясь за кусты и подтягивая лодку, он дрыгал ногами у меня перед носом, пока Григорий Андреевич, схватившись за них, не потянул его назад:

— Хватит тебе утку изводить, не маленький уже.

Повернувшись на бок, Панин поднял голову и жалостливо проговорил:

— Я только одним глазом погляжу, Гриша.

— Садись, поедем дальше, — сказал Григорий Андреевич, и Панин покорно полез на свое место.

Мне было жаль и утку и Панина: уж очень ему хотелось поглядеть на утиный выводок.

Прежде чем запустить мотор, он еще возбужденно повертел головой туда-сюда, потом сказал мне:

— Видите, что творится? Вот как мы тут преобразовали природу! А поглядели бы, что за жалкая речушка была эта Сычиха, по бревну переходили, местами и перешагнуть можно было, а сейчас какое раздолье. И лес, и реки, озера, все вместе сразу — рай земной. Венеция. Уток тут скоро пропасть будет.

— Не уток, а гадюк,— поглядывая вокруг, сердито сказал Григорий Андреевич.— Думаешь, долго будут зеленеть эти березки и осинки? Через год-другой тут черным-черно станет, а потом и вовсе погниет все в воде, такая гниль будет, что не сунешься сюда. Вот тебе и Венеция!

— Ах ты черт! — сказал Панин.— А я и не подумал.

Он помогал головой, сам себе удивляясь, как это не подумал, что тут скоро все погниет.

— Один разве ты не подумал? — утешил его Григорий Андреевич.

Покрутившись по этому озеру, мы вышли протокой в другое озеро, сужавшееся в сторону старого леса, который по склону горы спускался к затопленному мелколесью, повернули в ту сторону и скоро вошли в старое русло Сычихи с обрывистыми сухими берегами. Над одним берегом нависала гора с рослыми елями и соснами, подступавшими к самой речке, другой берег был луговой — большая, ровная, как озеро, зеленая поляна, охваченная с трех сторон черной зубчатой дугой дремучего бора.

Если бы не этот таежно-мрачный бор, ступеньками поднимавшийся с горы на гору до далекого горизонта, то все тут было бы, как у нас в Подмосковье. Вот и полуразвалившаяся плотина, пеньки полусгнивших свай по краю круглого, темного, захламленного бочага — сколько таких же следов мужицкого мельничного промысла осталось еще и на наших подмосковных речках!

Крохотной речушкой была эта Сычиха, но и она крутила жернова, и, наверное, вся деревня Пугачевка, в которой некоторые избы простояли уже два века, возила сюда молоть зерно.

Тут у бывшей мельницы, наверное вешняка, работавшего только весной в большую воду, мы вылезли из лодки. Я и Панин уже разматывали удочки, торопясь их закинуть в темный бочаг, когда Григорий Андреевич, поднявшийся на развалины плотины и внимательно разглядывавший что-то под гнилой сваей, поманил нас к себе пальцем.

— Поглядите, поглядите, что тут такое,— сказал он. Из-под плотины один за хвостом другого выползали ужи, огибали сваю, и звено за звеном этой стальной цепочки где-то исчезало, а цепочка все продолжала двигаться. То ли несколько ужей ползали вокруг сваи, то ли их там, под плотинной, кишело несметное число и они куда-то отправлялись в поход, разобрать было невозможно: все как один — стальные, с желтыми очками. Только по их очкам и можно было расчленить эту бесконечную цепь на отдельные звенья.

Как известно, уж — безвредный гад, мальчишки таскают их за пазухой, но все же, насмотревшись на марш этих гадов, которому конца не видно было, мы решили, что лучше будет, если расположимся на рыбалку где-нибудь подальше отсюда. И, сев в лодку, снова стали плутать по сычихинскому лабиринту.

Наступило уже время вечернего клева, когда, выбравшись на простор залива, мы нашли места, где должен был брать обещанный Григорием Андреевичем лещ, или—по-местному—палтуха. И здесь поросший еловым лесом берег был затоплен. Местами елки стояли сплошной стеной, распростерши свои хвойные лапы по воде, местами кучками, островками, а кое-где из воды торчали только макушки одиноких елочек, и волны, разбегавшиеся за нашей моторкой, перекатывались через них. Возле этих одиноких, обреченных на тлен елочек стояли на привязи лодки рыбаков. И мы облюбовали себе одну такую елочку, подъехали к

ней на веслах тихонько, чтобы не вспугнуть рыбу, и все трое наконец-то закинули удочки.

Рыбак, удивший с лодки, стоявшей у соседней елочки, на глазах у нас выудил одну за другой двух рыб, и слышно было, как они бултыхались в воде, когда он подводил под них подсачок, — значит, крупные палтухи, но нам не везло. Поплавки наши оставались недвижимы, чего нельзя было сказать о нас самих, потому что, как только мы закинули удочки, на нас сразу же пошли в атаку комариные полчища. Григорий Андреевич успевал только хлопать себя по лицу и шее, а Панин и головой вертел, и руки у него непрерывно вертелись вокруг головы, как крылья ветряной мельницы.

Сколько же это может продолжаться? — думал я, отбиваясь от комаров и с опаской глядя на поплавки: а вдруг, не дай бог, клюнет рыба, тогда не уйдешь от нее и комары живьем съедят. Но, к моему счастью, и у соседа нашего больше не клевало, он скоро уехал, и Панин после этого заговорил, что лучше было бы с бреднем пошарить в той заводи, где он недавно за полчаса наловил чуть ли не целое ведро карасей.

— Эх ты, романтик, а с бреднем шарить! — сказал Григорий Андреевич.

И Панин опять смешливо помотал головой: конечно же, негоже романтику шарить с бреднем в заводи, и как он сам не подумал об этом! Нет, его, видимо, нисколько не трогало, что Григорий Андреевич подтрунивал над ним, как над несмышленищем, будто сам понимал, что нельзя его принимать всерьез, такой уж он — на каждом шагу может маху дать.

Мы кончили рыбалку, смотали удочки, поехали домой, и тогда Григорий Андреевич вдруг вспомнил свою вятскую деревню, где сейчас еще стоит заколоченной его родительская изба — после смерти матери хотел продать на дрова, да покупателей не нашлось, — и сказал, что давно собирается как-нибудь поехать в отпуск в свои родные места, сестру в леспромхозе навестить, порыбачить и поохотиться всласть.

— Рыбы, говорят, развелось в нашей речке, зверья в лесу — пропасть. Еще бы — все деревни вокруг опустели, одни старушки, солдатские вдовы остались доживать свой век.

— А наша деревня совсем исчезла, лесом заросла, — сказал Панин.

Оказалось, что он тоже, по отцу, из вятской деревни, но отец еще в комсомольские годы уехал в город, на рабфак, а сам он в этой деревне и не бывал, слышал о ней только от отца, который сейчас, на старости лет загрузив вдруг по родным лугам и лесам, поехал на своей директорской «волге» поглядеть на них, съездил и совсем расстроился.

— Это потому, что на «волге» поехал, — усмехнулся Григорий Андреевич.

— Да, — согласился Панин. — Пишет, что надо было бы на вертолете, а то людей не найдешь машину вытащить из колдобины.

Потом у нас зашел разговор, что все мы, кто по отцу или матери, кто по бабушке или дедушке, деревенские, так-то это так, но много ли найдется охотников вернуться на свою родную землю, когда придет время заселять наши олонекские, вологодские, вятские и все прочие опустевшие деревни?

— Найдется достаточно, — говорил Григорий Андреевич. — Кликните только клич — и искатели трудностей сейчас же откликнутся. Вот хотя бы наш Панин...

И Панин улыбался, очень довольный, что его товарищ не дает ему спуска.

С лодочной станции он провожал нас до дому, на дворе, у дверей, затоптался в нерешительности.

— Да чего уж там, заходи! — сказал Григорий Андреевич.

Панин зашел. Я ждал, что хозяйка посмеется: «А где же рыба?» — как это бывает обычно, когда рыболовы всей своей компанией возвращаются с рыбалки, но Лена, открыв дверь, молча повернулась и пошла в комнату. На столе стопкой лежали, видимо, только что выглаженные сорочки.

— Гриша, ты что это, уже в дорогу собираешься? — спросил Панин.

Григорий Андреевич промолчал. Он морщился и потирал лоб.

— Можешь класть себе в чемодан, — сказала Лена, показывая мужу на сорочки.

Он досадливо скривился:

— Ну, не сейчас же.

Лена положила сорочки в платяной шкаф и вышла на кухню, закрыв за собой дверь. Григорий Андреевич тоже пошел на кухню. Через минуту он вернулся, оставив дверь на кухню открытой, поставил на стол бутылку с оставшимся коньяком, взъерошил волосы и сказал:

— Ну что тут на троих мужиков — и по рюмке не хватит. Пока гастроном еще не закрыли, сбегая сейчас, — и ушел.

Мы с Паниным, сидя на диване, поглядывали в раскрытую дверь кухни. Лены не видно было. Должно быть, она сидела у окна, возле кухонного столика. Панин, посмотрев на меня, молча развел руками, потом сказал:

— Выйдем, что ли, на балкон покурить, а то тут ребенок спит, неудобно.

Мы вышли на балкон, закурили.

— Да, — тихо проговорил Панин, — трагедия! Гриша тоже очень переживает, только не показывает этого, скрывается.

— А разве уже окончательно все решено? — спросил я.

— А как же?! Чтобы Гриша ушел из своего коллектива — да что вы! Для него этот вопрос и не стоял. Хоть в Африку, хоть в Азию — все равно бы поехал. Он ведь такой, что его по рукам и ногам не свяжешь — как хочет, так и делает.

Панин не сказал, что его-то вот связали по рукам и по ногам, и придется ему, романтику, который не боится никаких трудностей и парит выше мелочей жизни, всю жизнь сидеть в редакции газеты литсотрудником, заведомом или секретарем, наконец, может быть, и редактором — не сказал, но мне подумалось, что он сам это чувствует. Чувствовать-то чувствует, да что тут поделаешь, раз жена хочет, чтобы ее муж был всегда при ней.

Пока мы курили на балконе, Лена успела куда-то исчезнуть. Григорий Андреевич, вернувшись из магазина и заглянув на кухню, сказал:

— Ну ничего, мы сейчас сами управимся.

Он засуетился, стал выставлять на стол все, что попадалось ему под руку на кухне, и, уронив на пол тарелку, разбудил ребенка. Укачивая его, он забегал по комнате и заторопил нас:

— Давайте-давайте, не ждите меня, начинайте.

Панин стал хозяйничать. Мы вышли с ним по рюмке, закусили, выпили по второй, а Григорий Андреевич все бегал с ребенком на руках вокруг стола и повторял:

— Давайте-давайте, не ждите меня.

После второй или третьей рюмки Панин стал восхвалять рабочий коллектив Спецгидроэнергомонтажа — такие крепкие, дружные и самостоятельные ребята, никого и ничего не боятся.

— Но что поделаешь? — сказал он. — Не хочется ему, ой, как не хочется, однако приходится расставаться со своим коллективом.

Снова наполнив рюмки, он поднял свою:

— За тебя, Гриша! Ты... ты... ты же душа и совесть наша. Конечно, и у тебя есть свои недостатки, но уважаю и люблю тебя, Гриша!

— Знаешь что, Панин, иди-ка уже домой, а то супруга у тебя строгая, задаст тебе, да и о своих дружинниках не забывай — нарвешься еще на них по дороге и авторитет потеряешь.

— Правильно, Гриша! — воскликнул Панин. — Ты же у нас реалист, трезво смотришь на жизнь. Дай я тебя поцелую.

Я вышел его проводить, на лестнице встретил возвращавшуюся домой Лену и, видя, что Трофимовым сейчас нельзя мешать, пошел к себе, на квартиру прораба.

Утром Григорий Андреевич, зайдя ко мне, спросил, как я тут чувствую себя, сказал, что хозяин квартиры вернется не раньше, чем через две недели. так что могу тут спокойно пожить, поездить на рыбалку с Паниным, но сам он, к сожалению, не сможет составить мне компанию — надо уже ехать на новую стройку, товарищи ждут.

Мне хотелось побыть еще в Электрогорске, но неудобно было обременять людей, которым сейчас не до меня, и я сказал, что гоже должен ехать, пора уже возвращаться в Москву, вот только дочитаю его тетради и поеду с первым парходом.

Вечером Григорий Андреевич провожал меня на речной вокзал, и по дороге мы говорили о его записках.

— Надо попытаться дать им ход, — сказал я, когда мы прощались на причале у трапа.

Он сказал, что давно уже пытался это сделать, выступал на партийном собрании, но серьезного разговора не получилось, начальство быстро заняло его.

— Узрели в моих экономических расчетах опасное недомыслие, — посмеялся он. — А сейчас, что же, все это уже прошлое, понесенных убытков не вернешь. Будем думать о будущем.

— Кстати, как же у вас все-таки с семьей будет? — спросил я.

— Псживет здесь одна, через год приеду в отпуск.

— А потом?

— Что ж гадать! Будущее покажет. Не у меня одного стоит эта проблема, — сказал он, морщась от головной боли, которая в тот вечер, как мне это показалось, донимала его особенно сильно. Он то и дело потирал лоб.

Я спросил, часто ли еще его так мучит голова.

— Бывает и похуже, но ничего, терпеть можно, — ответил он. — Слава богу еще, что на плечах осталась, а не покатила по земле, как картошка.

Опять у освещенных окон пароходного ресторана танцевала под радио молодежь, а я глядел на темные, уплывающие назад берега, и они казались мне дикими, медвежьими, и когда во тьме упавшей с неба звездочкой светился костер рыбака, думал: вот тут бы и мне поставить шалашик...

По палубе прокатил на тележке безногий инвалид, остановился, оглянулся и, встретившись с мной взглядом, озорно подмигнул, как своему тайному сообщнику, и вдруг стал высвистывать и выщелкивать пальцами вальс, покачивая при этом головой и дирижируя себе руками.

— Штраус! — воскликнул он, показывая мне на радиорупор, гремевший на носу парохода. — Штраус! Штраус! — повторял он, напевая.

Его темное, будто обуглившееся лицо с большим лбом расплывалось в блаженном умилении.

— Эх! — вздохнул он и судорожно сбил на затылок поношенную и сильно выцветшую фетровую шляпу, а затем, подкатив ко мне и устре-

мив на меня снизу вверх взгляд больших, добрых, блестящих в темноте глаз, быстро заговорил о том, как у него душа горит, когда он слушает Штрауса.

Я сидел на скамейке у окна своей каюты, а он, сидя у моих ног на своей низенькой тележке с маленькими колесиками, говорил и говорил о Штраусе, о музыке вообще и о себе — что ему нужна сцена, эстрада, и все спрашивал:

— Вы меня понимаете?

Я согласился с ним, и он, с благодарностью глядя на меня, говорил:

— Ну вот вы же меня понимаете, — и с еще большим жаром продолжал все о том же: жизнь для него — сцена, но он ее лишен, и ничего с этим уже не поделаешь — война! Ах, какое это было время, когда он работал в заводском клубе — и певцом, и танцовщиком, и балетмейстером, и конференсье. Куда только не забирался он тогда с концертными бригадами!

Он не жаловался на судьбу, скорее наоборот, хвастался: и заводской клуб, в котором он работал до войны, не какой-нибудь, а один из самых больших на Урале, и мастер сцены он был на все руки, любимец публики, ни одна концертная бригада не обходилась без него.

Пришло время ужинать, и я пошел в ресторан. Вскоре и он появился тут на своей тележке, ловко проманеврировал между столиками, сильным рывком подбросил себя на стул, снял шляпу, сунул ее за спину, выхватил из верхнего карманчика пиджака расческу и стал причесываться.

Конечно же, он сразу оказался в центре внимания всех сидевших в ресторане. Одни повернулись и смотрели на него с тем откровенным ожиданием, с каким зрители смотрят на актера, выбежавшего из-за кулис на пустую сцену, другие из деликатности поглядывали искоса. Смотрела и официантка, при его появлении выжидательно застывшая в дверях буфетной.

Должно быть, и сам он чувствовал себя, как на эстраде — причесываясь, с актерской улыбочкой посматривал то направо, то налево, потом лицо его вдруг счастливо расплылось, и он, как тогда на палубе, засвистел, закачал головой и замахал руками в такт заигравшей по радио музыке. Потом обернулся в одну сторону, в другую, сказал:

— Вы уж извините меня. Есть вещи, которые я не могу слушать равнодушно — душа горит! — и, зашелкав пальцами, стал высвистывать какую-то эстрадную песенку.

Наконец просмотрел меню и попросил официантку принять у него заказ.

Заученно приветливая со всеми, она подошла к нему с непроницаемо замкнутым лицом и сказала:

— Вас, гражданин, я обслуживать не буду, неприлично себя ведете.

— Что? Что? — испуганно воскликнул он, озираясь по сторонам, и вдруг выхватил из-за спины шляпу, нахлобучил ее на голову, плюхнулся со стула на свою тележку и укатил в коридор.

И тогда я не выдержал, сказал официантке:

— Как вам не стыдно, девушка...

Она пожалала плечами.

— Раз свистит за столом — значит, сильно выпил, а сильно выпивших мы не обслуживаем.

Не помню, что я наговорил ей.

— Напрасно горячитесь, товарищ, — вступился за нее какой-то монументальный мужчина, в одиночестве сидевший за ресторанным столи-

ком.— Есть у человека ноги или нет, а порядок для всех один,— изрек он.

— Ну, знаете ли...— повея на него уничтожающим взглядом, сказала седовласая, тоже очень видная и строгая женщина.

После этого заговорили и другие пассажиры, в салон-ресторане стало шумно. Только один молодой вихрастый человек, перелистывавший какие-то бумажки и делавший из них выписки в блокнот, ни глазом, ни ухом не повел. Такого ничем не прошибешь... Вероятно, какой-нибудь заматавшийся в вечных командировках. Должно быть, газетный корреспондент,— решил я, увидев лежавшую у него под локтем планшетку. И вдруг во всем облике этого вихрастого молодого человека, поглощенного своими бумагами, стало проступать что-то очень знакомое, близкое, родное... Себя самого увидел я в нем, как в зеркале, увидел таким, каким я был в молодые годы. С такой же вот планшеткой, болтавшейся на боку, мотался я в газетных командировках, с этой же планшеткой под локтем строчил я свои корреспонденции со строительных и сельскохозяйственных фронтов, строчил на вокзалах, в поездах, на самолетах и пароходах, ничего не видя и не слыша кругом. Ну что тогда могло затронуть, взволновать меня, если это не касалось самого главного, самого важного — тех великих сдвигов, переломов и мировых рекордов, о которых я писал и по сравнению с чем все в жизни казалось сущим пустяком. А теперь... Теперь вот столкнешься с чем-нибудь, услышишь что-нибудь такое и разволнуешься, а потом всю ночь будешь ворочаться, думать, вспоминать, негодовать, будто ты один в ответе за все, и то, что, может быть, на самом деле пустяк, покажется тебе самым главным в жизни.



Р. КИРЕЕВ

★

МАТЬ И ДОЧЬ

Рассказ

Полина была, вероятно, ровесницей Вадима, но выглядела она старше своих лет и мысленно называла его мальчиком. Когда сегодня она его увидела, отдыхая после какого-то нового ритмичного фокстрота, нежное лицо его было сосредоточенно, брови слегка хмурились. Он вытягивал шею, глядел по сторонам, но Полина была уверена, что никого он не ищет, да и искать ему здесь некого. В первый или во второй раз пришел он сюда, плохо танцует, стесняется подойти к девушке. Эти мальчишки приглашают иногда Катю, приглашают тихо, чтобы никто, кроме нее, не слышал: «Пойдемте?» или «Можно?» Ни один из них не говорит: «Разрешите?»

Случается, те, с кем когда-то танцевала Катя, становятся завсегдатаями Дома культуры. Они уже не притворяются, что кого-то разыскивают, и Катю не приглашают больше. Теперь хватает у них смелости подходить к таким, как Полина. Таким, как Полина, говорят они: «Разрешите».

Вадим к Полине подошел сразу. Домой возвращались втроем.

Был морозец, светила луна.

— Скоро танцы у нас одни бальные будут,— подтрунивал Вадим над девушками.— Танги да фокстроты постановлением специальным запретят. Что делать тогда будем, а?— спрашивал он, поглядывая на Полину.

Катя приснула, прикрыв рукой в варежке свой большой рот.

— Ой, да ну вас!— сказала она измученным голосом.

Полина досадливо покосилась на подругу. Сколько раз учила она ее, как надо вести себя с ребятами! «Потом хнычет, что нет у ней никого!»— подумала она и сказала вслух:

— А мы умеем и бальные.

Ее модные, с острым носком туфли скользили. Вадим взял ее за локоть, но она спокойно отвела свою руку. Скользила она не нарочно, но чувствовала, что, если б захотела, могла бы совсем не скользить.

Вдохновляемый живостью одной подруги, Вадим пытался расшевелить и вторую. Все более и более дерзкими становились его шуточки. Но за три года, что живет Полина в городе, научилась она держать себя с любимыми, даже самыми нескромными кавалерами. Ни после вина, выпитого в ресторане — чистеньком, обычно полупустом, хотя единственном в городке, — ни после долгих танцев, ни после кино, на которое дети до шестнадцати лет не допускаются, не теряет она контроля над собой. С тем, кто нравится ей, может поцеловаться до полночи, но даже несмелые попытки обнять вызывают в ней чувство страха, стыда, брез-

ливости. Поссориться она не боится — наверняка знает, что скучать ей одной, как Кате, не придется: многие мечтают встречаться с ней.

У ворот остановились. Катя вскоре убежала, Вадим по-прежнему пытался развеселить Полину. Потом предложил ей встретиться завтра, в среду.

— Завтра я уезжаю,— сказала Полина. Подведенные глаза ее смотрели насмешливо.

— Куда, если не секрет?— спросил он, поднимая свои тонкие брови.

— А если секрет?

— Вот тебе и огород! Познакомились только-только, а уже секреты. Дальше что ж будет?

— Дальше? Может, ничего не будет дальше,— ответила Полина, спокойно глядя в занскивающие глаза Вадима.

— Что-нибудь да будет,— растерянно сказал Вадим и потер себе щеку.

Условились встретиться в субботу. Полина подала руку, но на пожатие не ответила.

В комнате — длинной, узкой, немного расширяющейся от двери к окну — было жарко. Работал купленный в складчину приемничек. Передавали что-то симфоническое, но Динна не слушала: она играла на своей узкой железной кровати сама с собой в шахматы; она называла это разбором партии.

Катя ужинала. Когда она была дома, Полина, глядя на ее худенькое, в веснушках лицо и светлые, крупно завитые волосы, никак не могла отделаться от мысли, что ей бы очень пошли бантики. Сейчас она тоже подумала об этом.

Напротив Кати сидела хозяйка — полная, рыхлая, пожилая женщина с напудренным лицом и узкими, накрашенными, очень подвижными губами. Почти каждый вечер заглядывала она в комнату своих квартиранток. Ужла она одна: муж давно умер, сын был далеко — где-то в Средней Азии.

— Вот и Полечка наша,— прищурившись, сказала она и засмеялась.— Что-то рановато ты сегодня?

— Достаточно мне, Елена Владимировна,— ответила Полина и, подойдя к приемнику, быстро нашла джазовую музыку.

— Чего ж там достаточно? Гулять до часу надо. Сейчас вон одиннадцати нет еще. Иль не выспаться боишься? Как, с новым сегодня?— игриво спрашивала Елена Владимировна. Она до смерти любила говорить о молодых людях, с которыми встречались живущие у нее девушки.

— С новым. Катя не рассказывала разве?— ответила Полина, внимательно осматривая только что снятые туфли. Ей не нравилась привычка Елены Владимировны.

— Да рассказывает вот.— И она снова повернулась к Кате. Полное лицо ее довольно улыбалось.— Ну-ну.

Елене Владимировне было шестьдесят четыре года, но выглядела она гораздо моложе. Уже несколько лет была она на пенсии, много читала, причем особенно любила книги про шпионов, ходила в кино на дневные сеансы, не пропуская ни одной картины, вечерами отправлялась к знакомым, а после заглядывала к девушкам, слушала их рассказы. Едва не сильнее их радовалась она, когда новые их знакомства оказывались удачными, а если, случалось, молодой человек не приходил на свидание, сокрушенно вздыхала и повторяла без конца: «Ты посмотри, какой стервец! А может, вы перепутали что-нибудь?»

Полина сняла кофточку и, расстегивая юбку, спросила, есть ли еще чай.

— Ой, чая залейся!— ответила Катя, отламывая огромный кусок батона.

Полина, взглянув на нее, быстро застегнула юбку, достала из своей тумбочки литровую банку, на четверть наполненную сливочным маслом, поставила на стол.

— Да я уж поела,— сказала Катя и подвинула к себе банку:

— А чего ж не взяла? Слышь, Дина, чего масло не едите? Завтра поеду, опять привезу,— говорила Полина, бережно складывая юбку и вешая ее на низкую спинку кровати с той стороны, где никто не ходил,— со стороны тумбочки.

— Завтра ж среда!— удивилась Елена Владимировна и посмотрела на Полину уже сонными глазами.

— Отгул мне дали.

— А, ну да, ты ведь работала в воскресенье. А учеба как же?— спросила она, зная, что Полина мечтает поступить в техникум связи и по средам занимается на подготовительных курсах.

Полина ответила не сразу. Она разглядывала свое лицо, то приближая его к зеркалу, угол которого был отбит, то отдаляя.

— Пропущу один раз,— рассеянно сказала она.— Катя, ты пинцет не брала?

— Садись давай!— промычала Катя полным ртом.— Чай остынет.

Отходя от зеркала, Полина задела головой древний, большой, сделанный из какой-то желтой материи абажур.

— Вы бы масла взяли, Елена Владимировна.

— Спасибо. Есть у меня маслице. Ты мне вот что лучше скажи. Раньше-то не видали его?

— Вадима?— весело спросила Катя. В правой руке ее был чайник, левой она придерживала крышку, наливая себе чай.— На танцах не бывал, видать, новый какой-то. Командировочный, кажись. Свой был бы, уж знали бы его. Наливать тебе?

— Наливай,— ответила Полина. Она хотела возразить Кате, что Вадим здешний, но посмотрела на Елену Владимировну и промолчала.

— Интересно,— тихо сказала Дина, не поднимая головы от шахматной доски и касаясь тонкими, без маникюра пальцами своих темных, негустых, расчесанных на прямой пробор волос.— Защита Нимцовича...

Дина была старше обеих девушек. Недавно исполнилось ей двадцать три года. Прошлой весной она закончила педагогический институт и была направлена сюда на работу.

Вначале Катя не могла смотреть без смеха, как молодая учительница играет сама с собой в шахматы. Потом привыкла.

Полине смешно не было. Настороженно, недоверчиво присматривалась она к новой своей знакомой, которая училась в институте и всю свою жизнь прожила в большом областном городе,— присматривалась, ища в ее словах и поступках оттенка пренебрежения, высокомерия и уже готовая невзлюбить ее. Но заметить то, чего не было в Дине, она не могла.

С Катей Полина познакомилась год назад в автопарке. Полина работала там кассиром по приему выручки. Катя — кондуктором. Она тоже приехала в городок из колхоза, только ее колхоз был далеко отсюда, почти в ста километрах. Ездилa она домой лишь по праздникам. Полина же бывала дома по два, а то и по три раза в месяц. Раньше — у отца с матерью, теперь, вот уже три месяца, у одной матери. К отцу ходят они вдвоем. Придут, постоят у железного, в кольцах, креста, сделанного Володькой Бирюковым из Коротнева, мать поплачет. Снег здесь

такой глубокий, что в промежуток между ногой и валенком приходится закладывать газеты.

Дина с облегчением выдохнула воздух, прикрыла глаза, сладко повела плечами, размяв их, и стала собирать шахматы в коробку из-под туфель. Эту коробку дала ей Полина. На ней была красивая зеленая наклейка с надписью, сделанной на каком-то иностранном языке.

— Садись-ка давай,— сказала Катя, густо намазывая маслом хлеб.

В комнате было всего три стула. Елена Владимировна тяжело поднялась, опираясь обеими руками о стол,— полная, в ярком, цветастом халате. Посоловевшие глаза ее были маленькими. Движения ее были неуверенными, как после крепкого сна.

— Сидите-сидите,— поспешно сказала Дина.

— Спать пойду. Не скучно тебе дома все вечера? Я б на свой характер...— Она вздохнула, пожелала спокойной ночи и вышла.

— Вернется еще,— сказала Катя и засмеялась. Полина представила себе, как запрыгали бы сейчас бантики на ее рыжей голове.

Елене Владимировне хотелось спать, и она не могла не лечь. Она ни в чем себе не отказывала, потому что все желаемое было доступно ей: читать, ходить в кино, говорить с соседями, пить чай с хорошими конфетами. Хороших конфет покупала она немного — граммов по сто пятьдесят, но всегда угощала ими девушек. То и дело избиралась она членом каких-то общественных комиссий при домоуправлении, но эта работа была для нее одним из развлечений. Словом, она отдыхала, и сознание того, что этот отдых заслужен долгими годами труда, делало ее теперешнюю жизнь безмятежной, покойной.

— Ты баранинки б из дома привезла...— попросила Катя Полину и хотела еще что-то добавить, но не успела: дверь открылась, вошла Елена Владимировна.

— Спросить забыла я,— сказала она, виновато улыбаясь сонной улыбкой,— Сергея-то видала своего?

Катя приснула, прикрыв рот ладонью.

— Ой, тетя Лена, я как знала, что вы вернетесь.— Она одна звала хозяйку так фамильярно.— Вот у Поли даже спросите. А Сергея не видала я и видеть не хочу! Ну его!

Елена Владимировна постояла как бы в раздумье, сонно моргая глазами и по-прежнему улыбаясь сонной доброй улыбкой, еще раз пожелала спокойной ночи и ушла.

Наскоро убрав со стола, девушки стали ложиться спать. Дольше других оставалась неразобранной постель Полины. Полина сидела за изъеденным шашелем туалетным столиком у единственного в комнате окна, выщипывала пинцетом брови; потом тщательно натирала лицо кремом. Было тихо, городок спал.

* * *

На другой день главный бухгалтер автопарка — всегда небритый, пожилой однорукий мужчина — отпустил Полину в двенадцать часов. А в два она была уже у «Чая навынос» — так называли в городке буфет на самом берегу реки. Летом около него останавливались повозки, зимой, когда, собственно, ни берега, ни реки не было,— розвальни и иногда городские сани. Лошади уныло жевали сено. Когда открывалась дверь, из буфета шел пар, слышалась музыка. Чаще всего проигрывали старую пластинку:

Мишка, в эту грустную минуту
Так тебя мне хочется обнять...

Песенка эта, когда была модной, очень нравилась Полине, и она удивлялась: почему ругали ее в газетах?

За четырьмя столиками в тесной, грязной комнатухе сидели обычно человека два-три — колхозники, приехавшие в городок по делам; курили, пили вино. Пиво брали редко — не привыкли к нему: в деревушки, разбросанные вокруг городка, пиво привозили лишь к праздникам, да и то не всегда, потому что на октябрьские дороги подчас размывали дожди, на первомайские — разлившиеся речки. Магазины же кооперативов без перебора торговали лишь водкой да селедкой с какими-то маленькими черными шариками на ржавой чешуе.

Подойдя к «Чаю навынос», Полина сразу увидела Дурного. Этого темно-бурого мерина она помнила столько же, сколько помнила себя. Когда-то по пути подбрасывал он ребятишек в поле, возили на нем и почту и навоз.

Полина не знала, кто и когда дал животному такую обидную кличку. До самого дня отцовских похорон она не замечала даже, что кличка обидна. На похороны прилетел из Харькова ее дядя. Она и сейчас помнит, как распахнулась дверь и она увидела желтый, с блестящей металлической отделкой чемодан — дядя бережно нес его впереди себя. Полина ожидала встретить такого же, как отец, сутулого слабого старика с красными жилками на глазных белках, а увидела крепкого, раскрасневшегося на морозе мужчину. «Какое несчастье!» — говорил он и поглядывал по сторонам: куда бы поставить чемодан. Полина смотрела на этого человека и никак не могла поверить, что он — брат ее отца, да еще — старший брат.

Гроб везли на Дурном.

— За что его так? — спросил он племянницу, не глядя на нее.

— Кого?

— Дурным зовете.

— А... Это кличка... — сказала Полина и вдруг поняла, как необычна и обидна эта кличка. На мгновение забыла она о лежащем в гробу отце. Ею овладело вдруг то странное удивление, которое вызывают в минуту большого горя все посторонние чувства и мысли.

Теперь, гадая, кто же приехал на Дурном, Полина открыла дверь буфета. В лицо ей дохнуло горячим паром, запахами вина и котлет.

В правом углу сидели два мужика. На полу у стены лежали их желтоватые овчинные полушубки.

— Мне-то? Господь с тобой! На мне где сядешь, там и встанешь! — доказывал один мужик другому.

За прилавком стояла краснощекая, косоглазая, лет сорока женщина, которую все звали Клашей.

Полина поздоровалась и, на ощупь открывая свою модную, трапецией, сумочку, повернулась к витрине. Некоторое время она придирчиво разглядывала в стекле с оставшимися от лета мушинными крапинками свое отражение. Отражение было совсем прозрачным, но ей показалось все же, что брови ее стали чересчур тонки. «Переборщила вчера!» — подумала она, с досадой защелкнула замок сумки и перевела взгляд на вазочку со слипшимися подушечками.

— Печенье вон возьми, — посоветовала Клаша. Один глаз ее смотрел на Полину, другой на весы. — Сигареты есть с фильтром, — неуверенно добавила она, зная, что раньше эта девушка брала у нее и что-нибудь сладкое и папиросы, а последнее время — только сладкое.

— Не надо сигарет, — тихо ответила Полина. — Печенья, пожалуйста, две пачки.

Выходя из буфета, она услышала, как хриплый патефон запел «Мишку».

Приземистая девушка в ярко-синей телогрейке пыталась взять в охапку не доеденное Дурным сено. Сена было много, она зарывалась в него подбородком, но все взять не могла.

— Здравствуй, Валечка,— сказала Полина, медленно подходя к ней по снегу с утрамбованными в него соломинками.

— Ой, это ты?! Здравствуй!

Валя выпрямилась, бросила сено в розвальни, быстро расправила его, провела рукавом по чистому, совсем еще юному лицу.

— Не скоро домой? — спросила Полина, останавливаясь.

— Сейчас уже. Ты тоже? Ой, как хорошо! — Она вернулась к розвальням, снова стала расправлять сено.— Садись!.. Стой! Куда?! Стой, говорю! — прикрикнула она на Дурного, который потянулся к соседним розвальням, стоящим в трех метрах от него. Ему хотелось сена.— Садись! — повторила Валя, натягивая вожжи. Но Дурной шел, и Полина никак не могла сесть.— Стой же, говорю! Садись, садись, не бойся!

Услышав последние слова, Полина холодно взглянула на Валю и села. Валя не сдерживала больше Дурного, и он прибавил шаг. Она легко вскочила в розвальни, несильно ударила вожжой по костлявому темно-бурому крупу.

— Но! Пошел же! Пошел! — несколько раз повторила она с той строгостью, с которой понукают лошадей совсем юные возницы.

Сзади на розвальни вскочил мальчишка. Стоя на коленях, прикусив нижнюю губу, он вызывающе смотрел на Полину, готовый в любое мгновение спрыгнуть на землю. «Прогони, попробуй! — говорила его мордочка.— Прогони! Я опять прицеплюсь! От меня не отделаешься!»

У железнодорожного переезда мальчишка соскочил, показал язык и побежал обратно.

Полина, стараясь не думать о юбке, которая могла помяться, села, как ей было удобно.

Проехали последние домики. Холодное солнце серебрило белое поле. Впереди перечеркивала дорогу черная полоска леса. Полиннины ноги свисали с розвальней, иногда касались валенками снега и легонько подпрыгивали. Полинне нравилось это.

— А я агрономшу привозила,— сказала Валя, поворачиваясь к своей спутнице.— Обратнo-то она аж в понедельник. Но! Пошел! Пошел!

Начался подъем. Дурной сбавил шаг.

— Может, встать мне? — спросила Полина.

— Сиди! Сиди! — испугалась Валя.— Но уж! Но!

— Тяжело ему. Старый,— проговорила Полина, намереваясь сойти, как только Дурной пойдет еще тише. Но вспомнив слова Вали: «Садись, не бойся!» — и ловкость, с которой Валя вскочила в розвальни, решила сойти тотчас же. Возле самых полозьев, увидела она, дорога так быстро неслась назад, что сливалась в гладкую белую полосу. Но Полина соскочила все же и пошла рядом с розвальнями. Оказывается, они двигались совсем не быстро.

— Зачем ты? Садись! Старый! У меня не старый он! Пойдет он у меня! Но же, ты! Слышишь, пошел!

На самом пригорке села Полина в розвальни. Быстро покатались они вниз. Полина почувствовала вдруг потребность сказать что-нибудь о колхозе.

— С сеном как? Хватит? — спросила она, хотя знала, что с первого марта стали давать на корову всего по восемь килограммов в день.

— Много нынче перерасхода. Мауричев ругался вчерашний день на правлении.

Сено. Правление. Мауричев. Коровы. Пока она в городе, кажется ей, что эти слова обозначают что-то далекое, без образа, почти нереаль-

ное. А два раза в месяц призрачными становятся Дом культуры, Дина, Елена Владимировна с пудрой на полном, рыхлом лице.

Мимо быстро проехали санн. В них были три мужика и баба. Мужики лениво полулежали, баба стояла на коленях, щурясь смотрела вперед, на городок. За санями бежала собака.

— Как думаешь, пропишут меня в городе? — спросила Валя неожиданно.

— Уходить хочешь?

— Ой, конечно, хочу! — Она два раза ударила вожжой Дурного, хотя Дурной шел быстро. — Денечки считаю, жду не дождусь.

Полине было жаль Дурного и досадно, что она, «горожанка», не имеет права сделать Вале замечание. Ей сделалось стыдно за свой вопрос о сене. Сузив глаза, она отвела их, стала смотреть на собаку.

Проехали Пальцево — крохотную тихую деревушку в несколько домиков. У одного домика, выкрашенного в зеленый цвет, двое мужиков копали яму — один старый, другой молодой. Оба выпрямились, стали смотреть на девушек. Старый, высморкавшись, снова взялся за лом, а молодой долго еще глядел вслед.

— Ну, так что — пропишут?

— Справка нужна из правления. Без справки паспорт не дадут, — ответила Полина, вспоминая, кто же из молодых остался еще в колхозе. Кажется, один Сережка Беспалый. — Учиться хочешь?

— И учиться тоже. Я-то не знаю еще где — может, и нигде, а вдруг надумаю, тогда что? Вон Симаков Колька из Вербова просил отпустить его, а ему председатель: «Стой, голубушка, поработай еще, а там видно будет». Так и не отпустил. А он совсем было разогнал, в институт хотел. И хотел, а не поехал, вот! А потом жалел, что дурак был, что из армии вернулся. Да, а что ты о справке говоришь? Вон Гришку Пескова прописали в том году и без справок без всяких. И Верку Иевлеву прописали.

Она подложила под себя вожжи и повернулась к Полине. Дурной пошел тише.

— Не знаю. Когда я прописывалась, мне не было шестнадцати.

— Да ведь и мне же нет! Я и хочу поэтому, чтоб паспорт получить. Мне ведь только в мае шестнадцать. Семнадцатого мая. И все у нас уходят. И ты ушла, и Гришка Песков, и Верка Иевлева. Этот-то, Ханыгин, ты знаешь его — из Коротнева? Или он после тебя уже?

— У которого сын умер?

— Ну да. Так он в то воскресенье переезжал. В совхоз устроился. Там зарплата, и жить где дали. А дом не продал еще — стоит.

Полина знала, что в этом году уже две семьи ушли в совхоз. Месяца три назад — Клава Сирицына с детьми и матерью, теперь — Ханыгин.

— А как же отпустили его?

— Как-то отпустили, не знаю. Ой, ты не представляешь, как я жду — прямо не дождусь! Месяц еще осталось. Вечером делать нечего, сижу и мечтаю. А жить у меня есть где. Там тетя моя живет, двоюродная. Тетя Женя. Да ты знаешь ее, она приезжала к нам летом. А нет — сниму койку, как ты, буду работать. Нет, снимать не буду, обидится она. Она на Петровской живет. Ты знаешь, Петровская где?

— Знаю, — сказала Полина. Ноги ее стали мерзнуть, она побила их друг об дружку.

Тянулось белое поле. Попадались пролески. Широкие сосновые ветви гнулись под тяжестью снега. Впереди на дороге сидела сорока. Близко подпустила она к себе людей, потом поднялась, полетела низко над землей.

Когда хоронили отца, над гробом тоже пролетела сорока. Полина увидела ее и, как в ту минуту, когда дядя спрашивал о Дурном, очнулась вдруг, почувствовала, что все притворяются, что старухи плачут не от горя, а так просто, ради приличия. Услыхала она, как старый Тимофей Тимофеевич объясняет дяде, когда идут поезда на Москву. Да и собственное горе показалось неглубоким, неострым. Стало стыдно за себя. «Умер... Умер...» — мысленно твердила она, но, несмотря на напряжение, с которым она пыталась сосредоточиться на этом слове, она чувствовала, что никак не может понять до конца, что произошло. Потом ей стало холодно, она подняла воротник пальто и вдруг увидела, что отец лежит в гробу в одном костюме. А те, кто провожает его, — в пальто, телогрейках, полушубках... И они мерзнут. Полина зарыдала впервые за два дня.

— Ну-ну, — сказал дядя и взял ее под руку. Она отдернула руку.

Это было три месяца назад, а казалось, прошло уже много лет, хотя все помнила она очень хорошо.

Проехали Лучково, Васильки, Плюшево — такие же крохотные деревушки, как первая. У одной избы тоже долбили землю. Валя сказала, что это готовят яму для столба; скоро сюда поведут электричество.

Спустились в глубокую, поросшую лесом лошину. Среди зелено-белых сосен стоял длинный деревянный, похожий на барак дом. Это был молочный завод. Из двух или трех колхозов возили сюда молоко. Частые столбы, лесенкой шагая вниз, осторожно несли на себе два провода.

За лощиной начинались угодья Полининого колхоза. Но до центральной усадьбы — Щеколдино — оставалось еще далеко, километра четыре.

Полина вспоминала. Летом здесь зеленая земля вся в речушках, в которых отражается солнце — днем белое, яркое, вечером — красноватое. Тихо в часы заката. Далеко где-то промычит корова, где-то работает трактор, работает так монотонно, бесконечно, что перестаешь замечать его. Нагретая за день земля добра и огромна. Большое круглое солнце оранжево. Чем ниже оно, тем оранжевей и больше. Чем ниже оно, тем тише становится вокруг — и лес и дорога под слоем мягкой пыли, — человек прислушивается, и грузно и осторожно опускается солнце. Ветерка нет. Тепло. Чуть-чуть грустно.

Сейчас здесь было пустынно, бело, холодно. Но все равно хорошо и все равно грустно. И еще тревожно.

Когда проезжали деревню, где жила Валя, Полина сказала, что отсюда она пойдет пешком, чтобы Вале потом не возвращаться. До Щеколдина оставалось меньше километра. Но Валя довезла Полину до первой щеколдинской избы.

Возле правления Полина увидела бригадира первой бригады — Петра Сергеевича Аморина. Это был горбатый, большелобый, пожилой, всю жизнь проживший бобылем мужик в грязном светлом незастегнутом плаще, под которым была фуфайка. Из-под фуфайки виднелась курточка.

— Приехала? — спросил Аморин, рассматривая Полину своими светлыми глазами и останавливая взгляд на ее модной вязаной шапочке. — А чего ж сегодня?

— Отгул дали.

— А! А у нас тут нет отгулов. — сказал Аморин, по-прежнему глядя на шапочку. — Мать на навозе сейчас. В коровнике.

Еще беспокойней стало Полине. Быстро пошла она к дому по утоптанному снегу.

* * *

Оставив на деревянном крыльце авоську с печеньем и пустой стеклянной банкой, она направилась в коровник. Сейчас она как-то особенно ясно чувствовала, что она молода и привлекательна. Но она не хотела, чтобы кто-нибудь встретился ей. На мгновение она даже заколебалась — идти ли за матерью или подождать ее возле дома.

Коровник был длинным и низким. Обе половинки ворот были распахнуты настежь, на ржавом железном запоре висело грязное, затвердевшее на морозе полотенце. Слева, у небольшой рыхлой копны сена, стояли весы.

Полина, внимательно глядя под ноги, вошла в коровник. Несмотря на щели в стенах, в нем было темно: маленькие оконца едва пропускали свет.

На нее дохнуло теплым, с детства знакомым запахом парного молока и преющего сена. И сейчас же вспомнила она отца. На глазах ее выступили и тут же высохли слезы.

Застоявшиеся за зиму, тощие, с большими животами коровы перетапывались, томясь, тянулись губами к пустым яслям. Одна, черная, с белым пятном на худой шее, тянулась вверх, стараясь достать пучок сена, которым была заткнута щель над ее головой. В глубине коровника понуро стояла лошадь. Несколько женщин грузили на розвальни навоз.

Полина подошла ближе и увидела мать. В ее руках была большая лопата; низко нагибаясь, она брала много навоза. От розвальней стояли она далеко, полную лопату нести приходилось долго.

Женщины негромко переговаривались между собой:

— А мы пошли, такая погода — ужас...

— Нет, а я достала. И денег не было, а взяла. Покуда, думаю, есть, взять надо. После то ли будет, то ли не будет.

Женщин вместе с матерью было четверо. Всех их Полина знала. Шура Осипова и Мария Рожкина были из Щеколдина, Дарья Рудько — из Ночкина, которое тоже относилось к первой бригаде.

Всем им было за пятьдесят, но Полине казалось, что ее мать самая старшая. И лопата, чудилось ей, у нее больше, чем у других, и от розвальней стоит она дальше всех. Ей стало неловко за себя, за то, что она молода и у нее модная вязаная шапочка. Она почувствовала сильное желание как-то поправить шапочку.

Первой заметила Полину Мария.

— Наташ, дочь-то что ж не встречаешь?

Мать в этот момент подносила полную тяжелую лопату к розвальням. Увидев Полину, она медленно повела лопату обратно, опуская ее все ниже и ниже, и опрокинула над навозной кучей. Потом, смотря на дочь, хотела прислонить лопату к толстому, с черной трещиной столбу, подпирающему крышу, но рукоятка несколько раз прошла мимо столба.

— Давай, — сказала Рожкина, улыбаясь.

Мать слегка повернула голову к Рожкиной, но не могла оторвать взгляда от дочери и лишь неуверенно приподняла лопату. Рожкина взяла ее.

Нетвердым шагом подошла мать к Полине, спросила тихо, глядя ей прямо в глаза — спокойно и внимательно:

— Случилось что?

Коричневое, в морщинах лицо ее было испуганным, но в голосе слышалась все же несмелая надежда на то, что не произошло ничего страшного.

— Ничего не случилось. Что ты, мама? Отгул мне дали... Я работала в воскресенье.

Мать медленно кивнула закутанной в серый платок головой в знак того, что слышит и понимает слова дочери, но лицо ее не сделалось спокойнее.

Полина поцеловала ее в щеку.

— Что ты, мама? — повторила она, улыбаясь. — Все хорошо.

— Я думала... Ты никогда не приезжала так, чтоб в середине недели...

— Что нового в городе-то? — отрывисто спросила Рожкина. — С крупами как?

Мать оправилась от испуга и теперь смотрела на дочь обычным своим взглядом. Взгляд этот, очень нежный и любящий, был кротким, несмелым. Она как бы боялась слишком сильно выказать свою любовь к дочери, боялась, что дочери это будет неприятно.

— Я пойду, а? — обратилась мать к Рожкиной. — Завтра уж...

— Иди, иди! — перебила ее та и добавила, без улыбки смотря на Полину: — Замуж-то чего не идешь? Аль в городе женихов, что тута, один Сережка Беспалый?

Полина улыбнулась смущенно. На любые замечания своих городских знакомых она отвечала сразу, а сейчас, услышав грубоватую и безобидную шутку, не знала, что сказать.

Домой шли быстро. Мать, немного забегаая вперед, то и дело обворачивалась, и Полина видела ее счастливые, робкие взгляды. Она прибавляла шаг, чтобы обогнать мать и самой поворачиваться к ней, но мать шла все быстрее, почти бежала, и говорила, говорила без конца своим радостным, тихим голосом:

— К Саше сестра тут приехала... Потом всё... Сон какой я видела — пироги, пироги. К новости-то пироги! А проснулась, гадаю — какая ж новость? Под среду сон в руку всегда, а поди знай! И вот ты... Господи, обеда-то у меня нету!.. Ладно, червячка заморишь покуда, а я быстренько... К Саше сестра тут приехала... Потом, потом обо всем поговорим. Боже мой, как рада я! И сон вот... Ох, да ведь мне дежурить нынче! — сказала вдруг мать и, приостановившись, растерянно посмотрела по сторонам.

Полина взяла ее под руку.

— Где дежуришь, мама?

— Да коров охраняем. Нынче черед мой. Вот ты, господи! Кабы знать раньше, поменялась бы! А теперь... Ну, бог даст, поменяюсь с кем. К Вере схожу... А нет — хозяин захворал у нее. И обеда нету...

— Что-нибудь покушаем, мама, — успокаивала ее Полина, улыбаясь ласковой и чуть горькой улыбкой.

Как всегда в первые минуты встречи, ей было немного не по себе, потому что в эти минуты она особенно отчетливо сознавала, что мать счастлива отдать ей все; острее обычного чувствовала она, как дорога ей эта маленькая хлопотливая старушка, дорога вся — от поношенной телогрейки до больших валенок, от рук с неразгибающимися пальцами до преданных глаз, которыми она подозрительно часто моргает и к которым прикасается платком всякий раз, когда вытирает нос. Скоро насморк пропадал и возобновлялся потом незадолго до отъезда дочери.

В эти первые минуты Полине было больно, что она не может жить только для матери, как мать живет только для нее. Позже, успокоившись, она находила оправдание: «У меня у самой жизнь еще не устроена! И я ведь не забываю ее...» Но сейчас она не могла вспомнить никаких доводов в свою защиту. Было досадно — на себя, на мать, на всех.

Дежурство поменять не удалось. Полина легла уже спать, когда мать вошла в комнату, пожелала ей спокойной ночи. В тяжелом тулупе,

огромных валенках, она, всегда маленькая, подвижная, тихая, казалась сейчас и толстой и неповоротливой.

— До шести теперь? — тихо спросила Полина. Она лежала на высокой кровати с двумя или тремя соломенными и одним — сверху — ватным матрасами. Кроме нее, на кровати этой никто не спал. Материна койка стояла в тесной темной кухоньке. Здесь же — на деревянной, самодельной, выкрашенной в синий цвет тахте — спал когда-то отец.

Мать поцеловала Полину, потушила керосиновую лампу и тихонько вышла.

Слышался негромкий храп: на печи спала Люда — живущая на квартире у матери, Полинина ровесница, низенькая, толстенная. Ее прислали сюда после окончания бухгалтерских курсов.

В окошко светила луна. Тусклый блик неподвижно лежал на стекле подвешенной к низкому потолку керосиновой лампы с широкими металлическими лепестками; от лампы питался небольшой радиоприемничек, стоящий в углу, под иконой. Когда лампа была исправна, отец включал приемник на полную громкость — он неважно слышал.

Плох был отец последнее время — дряхлый, болезненный, глухой. Но до самой смерти ходил он за лошадью председателя, получал и выдавал горячее для тракторов, а во время уборки выходил и в поле. Было удивительным, что есть в нем еще силы двигаться, работать, жить; а умер — и смерть его показалась неправдоподобной и неожиданной.

Много лет на тумбочке, а летом, когда вторая рама выставлялась и подоконник становился широким, на подоконнике стояла литровая банка, накрытая накрахмаленной, с вышитыми цветочками, салфеткой. В банке был чайный гриб. Кисло-сладкий прохладный настой его очень нравился Полине. Потом гриб исчез. Кто-то сказал, что от него может быть рак. Но не прошло и месяца, появился снова. Отец прочитал где-то, что гриб не только безвреден, но даже полезен. Он вырезал эту заметку.

Сидя в тот день в коридорчике, отец ждал, когда освободится дочь. Сгорбленный, весь высохший, в очках с треснутым левым стеклом, он держал в огромных коричневых руках маленькую белую вырезку. Увидев выходящую из комнаты Полину, он суетливо задвинулся на выкрашенной в синий цвет табуретке и неуверенной рукой протянул дочери заметку.

— Потом, папа, в следующий раз, — громко, чтобы отец расслышал, сказала Полина и поцеловала его в щеку.

— Будет тебе надоедать, — укоризненно проговорила мать. — Опоздает из-за тебя.

Отец, слегка покачивая седой непричесанной головой, стал покорно — в который уж раз — перечитывать заметку. Он так и запомнился Полине — сгорбленный, безответный, в спавших на нос очках. В последние месяцы жизни он любил неподвижно сидеть в коридорчике на своей синей табуретке за столиком, покрытым облезлой клеенкой.

Вскоре после смерти отца ей случайно попала эта вырезка, она много раз прочитала ее, запомнила наизусть. Но ее не переставала мучать мысль, что отец никогда не узнает, что она выполнила его желание. Она опоздала, и этого нельзя исправить, что бы она теперь ни делала...

Где-то лаяли собаки.

«Что же нет ее?» — тревожно подумала Полина. Мать говорила, что часика через полтора придет домой погреться.

Холодно и пусто сейчас на улице. А она лежит в тепле, на матрасе, на трех матрасах, слушает, как тикают ходики и храпит Люда. А мама там одна. Ей, наверное, страшно. Ей хочется спать. За день устала

она. У нее была такая большая лопата, а сама она худенькая, маленькая...

Полина откинула с груди теплое одеяло. Почему она раньше не замечала, как трудно матери? Потому, наверное, что мать всегда старалась к ее приезду закончить все дела, чтобы хоть немного побыть с дочерью — отвести душу, как она говорила. Это единственное ее утешение, единственный ее отдых, единственное развлечение.

«А я на трех матрасах лежу! — опять подумала Полина. — Болтаю с Еленой Владимировной, веселюсь каждый вечер...»

Долго лежала она на спине, смотрела широко раскрытыми глазами в потолок. Она не побоялась бы прожить и месяц, и два, и три так, как живет сейчас Люда. Но всегда жить так и знать, что нет в будущем ничего другого, что так будет всегда, всю жизнь, — это было ей страшно. Здесь она будет видеть одного Сережку Беспалого, и уж не выбирать ей, куда пойти вечером — на танцы ли, на свидание, в концерт. Не бывать ей тогда и в техникуме.

Полина закрыла глаза и решительно повернулась на бок. «Нет! Нет! И не надо думать об этом!»

И чтобы не думать об этом, она стала думать о другом. О том, как она закончит учебу и поступит на телеграф. Заработает телетайп, и между ее пальцев побежит белая лента. Где-то незнакомая девушка выстукивает буквы, а она читает их, складывает в слова. А потом она будет выстукивать буквы, и кто-то незнакомый читать их. Два аппарата, между ними несколько сот километров. Или даже несколько тысяч... Один из них диктует, другой записывает. Полину всегда поражало, что люди совсем не удивляются телеграммам.

А после дежурства ее будет встречать он. Она сразу заметит, что он почему-то грустный, незаметно расспросит обо всем и, узнав, что на работе у него неприятности, так же незаметно успокоит его, даст совет.

А мама? Полина знала, что она не сможет быть счастлива, если мать не будет счастлива. «Будет жить с нами!» — быстро сказала она себе, и тотчас появилась в голове у нее другая мысль, осознать которую она всегда боялась: а будет ли тогда мама?

«Что ее нет так долго?» — подумала она, и смутная тревога за неопределенное будущее сменилась резкой тревогой за настоящее.

Она открыла глаза и некоторое время смотрела на освещенный лунной портрет брата. Этот портрет сделал один из тех ловких фотографов, что наезжают в деревню летом, прельщаясь заработком, свежей рыбкой, которую дешево можно купить у мальчишек, недорогим и хорошим мясом.

Брата звали Николаем. Его убили, когда было ему шестнадцать лет, но на портрете, сделанном с последней фотографии, ему только четырнадцать. Во время войны фотографироваться было негде.

Восемь мальчишек из Щеколдина расстреляли тогда немцы. Старшему — сыну фельдшера Егора Егоровича — было около восемнадцати, младшему — пятнадцать. Кто-то донес, что они прятали оружие.

Полина давно привыкла к мысли, что был у нее брат, но порой, долго глядя на портрет, удивлялась вдруг: неужели ее брат — этот худенький серьезный мальчик? (Полина заметила, что раньше все почему-то фотографировались серьезными.) Похожих на него ребят она видела в Доме культуры, но они осмеливались приглашать только Катю.

До пятнадцати лет Полина смотрела на портрет своего брата, и он казался ей старшим братом, потом — ровесником, а после переезда в город — младшим.

А матери все нет!

Полина откидывается на спину, совсем сбрасывает с себя одеяло. Жарко. Почему не стучат ходики? Прислушивается. Тихо, словно откуда-то издалека, возникают знакомые звуки работающего маятника. Они становятся все явственней, явственней, и вот уже маятник бьет сильно, с каким-то прозвоном. Никогда не слышала Полина, чтобы ходики стучали так громко.

Жарко. На лбу испарина. Луна освещает лампу. На улице холодно и пусто. Что же ее нет?

Затаив дыхание, Полина прислушивается. Тихо. Даже Люда не храпит. Мотыка в хлеву не вздыхает больше.

Полина спрыгнула на пол, торопливо оделась. Теперь уже ей было не жарко, а холодно, ее знобило. Не найдя одного чулка, натянула валенок на босую ногу. Скорей! Руки ее дрожали, и она никак не могла надеть кофточку.

На ходу повязывая материн платок, выбежала из дому. На улице было безветренно и морозно. Высоко в небе светила луна. Вспотевшие окна серебрятся. Пусто. Тихо.

Полина бежала, придерживая рукой разлетающиеся борта полусубка. Второпях она не застегнула пуговицы.

«Лишь бы ничего!.. Лишь бы ничего!.. — мысленно твердила она, точно умоляя кого-то о пощаде.— Ах, забыла посмотреть время! Лишь бы ничего...»

Внезапно она провалилась выше колен, снег попал в валенки. Босую ногу обдало морозом. Полина выбралась на дорогу, побежала дальше. «Лишь бы ничего!..»

Ворота коровника были закрыты. Металлические части весов блестя, освещенные лунной. Сена возле весов уже не было.

Полина остановилась. Она хотела придержать дыхание, но не могла и дышала часто и шумно.

— Мама! Мама! — негромко позвала она.

Рядом что-то хрустнуло. Полина замерла, прислушиваясь. В длинном мрачном коровнике вздохнула корова.

— Мама! Мама! — слабым голосом повторила Полина.

Было тихо. Впереди чернела полоска леса.

Ей стало страшно. Она хотела еще раз окликнуть мать, но язык не повернулся в пересошем рту. Она побежала обратно, проваливаясь в снег, выбираясь из снега. Оглянуться она боялась.

Влетев в дом, она увидела в освещенной лунным светом кухне мать. Мать сидела на табуретке, грелась.

— Господи, что случилось? — прошептала она, вставая.

Полина бросилась к ней, уткнулась лицом в гладкий холодный тулуп, зарыдала.

— Господи... Доченька... Что с тобой? Полюшка... Господи!

Она хотела взглянуть ей в лицо, но Полина прятала его.

— Я испугалась так, — проговорила она наконец, стараясь подавить рыдания.— Прости меня... С тобой ничего не случилось... Я так рада... Прости меня, мама... Я вернусь. Я уволюсь и приеду. Я буду с тобой. Прости меня...

Подняв голову, она поцеловала мать в холодную морщинистую щеку и вспомнила вдруг, что у отца, когда она в последний раз целовала его на кладбище, опираясь коленкой на крышку гроба, щека была такой же морщинистой и холодной. Быстро откинула она назад голову, долго смотрела на мать широко раскрытыми, высохнувшими вдруг глазами. Потом снова всхлинула, припала к ее груди. Платок сполз с ее головы, и мать тихонько гладила ее волосы своей большой нежной рукой с неразгибающимися пальцами.

Так прошло несколько минут. На печи послышался шорох. Полина вспомнила, что там Люда и что она могла слышать все.

Она выпрямилась, вытерла слезы.

— Пойдем в комнату,— прошептала она почти спокойно. Лицо ее приняло то немного высокомерное выражение, с каким обычно приходила она на танцы.

Засыпая, Полина решила вернуться в колхоз. Она устала, ей хотелось спать.

Утро было солнечным. Проснувшись, она услышала, как потрескивают в печи дрова. Ходики показывали половину девятого. Она села на кровати. Потом встала и пошла было на кухню, но сейчас же вернулась, вспомнив, что в любую минуту может распахнуться дверь и появиться кто-нибудь из колхозников.

Одевшись, она вышла из комнаты.

— Во сколько же ты легла? — строго спросила она мать, что-то делавшую у печи. На столе стояло эмалированное ведро с пышно пенящимся парным молоком.

— После посплю.— Мать посмотрела на дочь своим любящим, несмелым взглядом.— Повалилась бы, пока завтрак сготовлю.

— Так ты совсем не ложились?

— Не думай ты за меня, выплюсь я. Ты-то небось все ноги промочила вчера?

Полина ответила, что чувствует себя хорошо.

— Я-то выплюсь,— продолжала мать.— Провожу тебя и лягу. В два поедешь?

— В четыре.

— О, в четыре! — Глаза матери радостно заблестели. Счастливая, она засуетилась вдруг, подошла зачем-то к столу, потуже повязала фартук, снова взяла нож и картошку, но чистить ее не начинала.— А успеешь? — тревожно спросила она.

— Успею. Ты ложись, я все приготовлю.— И она стала решительно заворачивать рукава своей модной кофточки.

— И не говори! И не говори! Все сделаю! — Мать испуганно растопырила острые локти, как бы желая прикрыть миски, кастрюли, пожи, точно насадка, защищающая цыплят.— Отдохни дома хоть. Молочка вся парного выпей.

Полина, вздохнув, подошла к маленькому синему рукомоинку, стала умываться, звеня носком.

— А Люда где? — спросила она по привычке громко, но тотчас же опомнилась и повторила тихо: — Мама, Люда где?

— В Коротнево пошла на лыжах,— ответила мать, подкладывая в печь дрова и приговаривая: — Аты вон! Аты вон!

Освещенное лицо ее было красным.

А рукомоинк в синий цвет окрашивал отец. Окрашивал той же краской, что и обе табуретки, стоящие сейчас в коридорчике, и деревянную тахту, на которой спал и на которой умер. Носок перестал звенеть. Осторожно поднимала его Полина и как же осторожно опускала.

Завтракали вдвоем. Вместо хлеба Полина ела с яичницей свои любимые ржаные лепешки — горячие, хрупкие. В комнате было тепло. В маленькое вспотевшее окошко, выходящее на восток, пробивалось солнце. Казалось, это оно нагревает комнату и на улице тоже тепло. Но вот прошла к колодцу, покачивая ведрами на коромысле, бывшая Полина учительница Елизавета Ивановна. Она была худенькая, а сейчас казалась толстой — так много на ней было надето. Значит, мороз на дворе. А мать всю ночь простояла у коровника и после, не отдохнув, принялась за домашние дела...

Полина ни на минуту не забывала своего вчерашнего страха. Но сейчас, при дневных звуках, доносящихся с улицы,— позвякивания ведер у обледенелого колодца, глухих ударов копыт об утрамбованный снег, протяжного, монотонного голоса пилы,— при этих дневных звуках и ярком солнечном свете и ночные мысли, и страх за мать, и решение вернуться в колхоз — все это казалось ей призрачным и давнишним, будто было это не несколько часов, а несколько лет назад. «И что это я, дурочка? — испугалась она.— Ей жить еще и жить».

Она стала перебирать в памяти шеколдинских женщин, но не было никого, кто был бы намного старше матери.

— Мам, а Дарье Железновой сколько лет? — спросила она и, чтобы мать не придала этому вопросу особого значения, стала вытаскивать из кружки с топленным молоком желто-коричневую, румяную пенку.

— Дарье-то? Да ей нынче шестьдесят второй пошел,— ответила мать и посмотрела на дочь с несмелым вопросом.

«Всего шестьдесят два... А она еле ходит».

— Спасибо, мамусь,— сказала она и неуверенно поцеловала мать. Лицо матери было теплым.

— Еще молочка бы?

— Нет, некуда больше. Сиди, сиди, я все вымою.

Она торопливо прошла в кухню, налила из самовара горячей воды в миску и стала мыть посуду. Посуды было мало, мылась она легко, и это огорчило Полину.

Потом они пошли на кладбище. По-прежнему светило холодное ясное солнце, ветра не было. Уже недели две стояла такая погода. Протоптанную в позапрошлом воскресенье дорожку не замело. Деревянные, железные и редкие каменные кресты были наполовину засыпаны снегом.

Марья Ивановна Березкина

1895—1953

Мир праху твоему!

— читала Полина и машинально отнимала год рождения от года смерти.

Могилы стояли далеко друг от друга: места было сколько угодно, а умирали в окрестных деревнях мало — некому было умирать.

На фанерке, прикрепленной к кривенькому кресту, было написано толстыми неровными буквами (писали, видимо, не кистью, а палочкой):

Петр Петрович Логинов

1892—1954

День ангела 22 августа

Ей представился старичок, такой же плохонький и кривенький, как крест на его могиле.

Слева Полина увидела знакомый «почтовый ящик», который заметила она еще, когда хоронили отца. Это был правильной формы белый камень, в середине полый. Сверху он имел узкий продолговатый разрез, как бы специально сделанный для писем. Когда-то в это отверстие был вставлен крест.

Одна могила была огорожена, возле железного креста стояла засыпанная снегом скамеечка. Здесь была похоронена сестра Марии Рожкиной — той самой Рожкиной, которая спрашивала вчера у Полины, почему она не выходит замуж.

Хмурясь, отвела она взгляд от могилы. В платке, штопаной телогрейке на худеньких плечах мать казалась сейчас совсем дряхлой, беспомощной. Почему-то вспомнилось, как вчера, в коровнике, она никак не могла поставить к столбу лопату.

Полина быстро поравнялась с матерью, осторожно взяла ее под руку и пошла рядом, почти по колено проваливаясь в снег: дорожка бы-

ла слишком узкой. Проваливалась она часто, потому что все время смотрела под ноги матери, боясь, что она оступится или поскользнется.

«Я вернусь,— думала она.— Нет, нет, лучше возьму ее к себе...» Но она думала об этом как о чем-то далеком, что еще будет очень не скоро. И она вспомнила заметку о чайном грибе...

У могилы отца стояли недолго. Мать беззвучно плакала, сморкалась. Лицо Полины было неподвижно, а глаза медленно наполнялись слезами. Но плакала она не по отцу и не из жалости к матери. Она сейчас плакала из жалости к себе. Почему получается так, что все, все против нее? (Кто именно против нее, она не знала.) Почему все считают ее такой взрослой? Почему не может она, как раньше, прижаться к матери и надолго замереть под ее большой ласковой рукой? Почему должна она все время думать о том, о чем так трудно думать? Почему она должна решать что-то, решать сама? Когда кончится все это? Никогда, никогда не кончится!..

Полина быстро отвернулась и, стараясь не всхлипывать, стала вытирать кулаками обильные соленые слезы.

Домой шли быстро — надо было кормить квартирантку Люду; за нее матери писали пятнадцать трудовней в месяц. А на трудовень давали сено, пшеницу, кормовую свеклу, растительное масло. К тому же новый председатель Сергей Половин — одинокий тшедушный мужичок, что еще совсем недавно работал бригадиром второй, самой отдаленной бригады, — поклялся на общем собрании, что в этом году даст по двадцать копеек на трудовень. Все прежние председатели тоже обещали деньги на трудовень, но, как ни старались, сдержать слово не могли. Половину тем не менее верили, потому что это был свой, кровный председатель — не «посох» (так называли здесь председателей, присылаемых из района).

Недалеко от правления им встретился бригадир Аморин с грязной и мерзлой, стоящей колом веревкой на плече. Как всегда, из-под его светлого плаща виднелась фуфайка, а из-под фуфайки — голубая вылинявшая курточка.

— День добрый! — сказал Аморин матери и перевел взгляд на Полину шапочку.— У Михаила, что ли, была?

— Проведать ходили.. вот с дочкой.

— А! А на наряд не вышла чего? Или ты дежурила нынче? Ты, что ли, дежурила?

— Кто ж это пойдет за меня? Дочка вон приехала, а идти пришлось. Бегала, бегала вчера и без толку все. У Марии печь завалилась, а Шурка нешто Осипова пойдет? Да ты не забудь, гляди, а то как давеча...

— Не забуду! — перебил Аморин и снова посмотрел на шапочку.— Завтра-то выйдешь? Я оттуда сейчас, и половины нет еще. А возле перегородки так слой целый остался...

Полина молча, с холодным лицом прошла вперед. Сколько ни помнит она Аморина, всегда у него из-под плаща выглядывала фуфайка, а из-под фуфайки — голубая курточка. И всегда он был чем-то недоволен. Всегда так бесцеремонно разглядывал ее.

Люды дома еще не было. Мать, не раздеваясь, погрела на самоваре окоченевшие руки и пошла доить Мотьку. С ней спустилась в хлев и Полина.

Хлев был разделен деревянными перегородками на три неровные части. Слева — небольшой, на несколько кур, курятник, справа, ближе к выходу, — место для коровы, рядом — крохотная овчарня. Полина вошла в овчарню. Овца и маленький белый ягненок шарахнулись от нее в угол. Полина, растопырив руки, тихонько приблизилась к ягненку, взяла его на руки, прижалась щекой к его нежной, теплой, в курчашках

шерсти. Ягненок дрожал и жалобно блеял. За деревянной, в две широк-ких неструганых доски перегородкой тугие струи молока звонко ударяли в пустое ведро. Полина провела щекой по шерсти.

— Причук, маленький,— прошептала она.

Ягненок напряженно вытягивал мордочку и дрожал. Полина осторожно опустила его на землю.

— Мама,— сказала она, выпрямляясь.— Поступлю в этом году в техникум, выучусь, работать пойду. А как получу квартиру— ко мне переедешь.

«Будешь отдыхать»,— хотела было добавить она, но, стыдясь слова «отдыхать», сказала другое:

— Вместе жить будем.

— Куда мне уж,— отозвалась мать, вздыхая.— Я здесь. Здесь-то кто будет? Кому-то ведь надо здесь быть.

— Но почему именно тебе? Почему ты должна за кого-то?.. Ты и так всю жизнь в колхозе проработала.

— Чего же за кого-то? За себя. Да теперь— что, теперь— другое совсем. Свет вон будет, деньги на трудодень дают. Пенсии еще. На вон, выпей-ка парного.

И мать протянула между досок пол-литровую банку молока с пышной пузырящейся шапкой. Полина осторожно взяла банку, поднесла ее ко рту, подула, но долго не пила, размышляя над словами матери.

Струи молока уже не звенели. Звук их становился все глуше и глуше. Ведро наполнялось.

* * *

Подвезли Полину только до Лучкова. Дальше пришлось идти пешком. До городка оставалось около пяти километров. Она решила, что будет дома еще засветло.

Попеременно, то в одной, то в другой руке, несла Полина авоську с десятком яиц и пол-литровой банкой сливочного масла. Сегодня она ничего не хотела брать с собой, но мать уговорила-таки. Полина укоряла себя за бесхарактерность и думала, без конца думала, как трудно достаются матери эти яички, это масло. Со вчерашнего утра она не отдыхала еще. А завтра чуть свет снова будет вывозить навоз. И так каждый день. Почему раньше не замечала она этого?

Чем больше размышляла Полина, тем авоська становилась тяжелее.

«Скоро легче там будет жить,— вспоминала она слова матери.— Электричество ведут... Деньги на трудодень... Пенсии...»

Она остановилась у ямы, которую копали вчера двое мужиков. «Глубоко»,— подумала она, но с места не двинулась, почувствовав, что в голове ее рождается какая-то удивительная мысль.

— Что ж будет?— вслух, с беспокойством сказала она, осознав эту мысль. «И Валя уезжает... И Ханыгин... И все...» Она попыталась представить свой колхоз через несколько лет, подумала, что с каждым уехавшим из колхоза человеком матери становится тяжелее. «И я тоже...»

Она хотела избавиться от этих неприятных и запутанных мыслей, но не могла. Вспоминался Аморин с грязной мерзлой веревкой на плече.

Медленно побрела она от ямы. Потом остановилась. Да, скоро будет легче. Кто-то думает о ее матери. А она? Она спит на трех матрасах и ходит на танцульки. «Но почему я должна?— снова с ожесточением спрашивала она себя.— Валька уезжает, Ивлева уехала...» А она— должна возвращаться? Ах, зачем этот отгул! Поехала б лучше в воскре-

сень! И она почувствовала неожиданную злость на главного бухгалтера, давшего ей отгул.

Сделав несколько неуверенных шагов, она встряхнула головой, взяла авоську в другую руку и пошла быстрее. «Катя ждет меня», — подумала она, вспомнив, что они собирались вечером идти на танцы. Мысль о танцах была неприятна, но Полина заставила себя вернуться к ней. «Что, собственно, случилось? Съездила, как всегда. Меньше фантазировать надо!» И она дала себе слово во что бы то ни стало пойти сегодня на танцы.

И все же она чувствовала — независимо от ее воли что-то происходит с ней. И она ничего не могла поделать с собой, не могла возвратиться к всегдашней своей уверенности, к всегдашним заботам.

Впереди, над городком, разбросанным в большом естественном котловане, небо было багрово-красным. Громада неподвижных облаков казалась вырванным из раскаленной земной коры тяжелым пластом, медленно погасающим теперь.

Ноги ее озябли. «Мама всю ночь простояла на морозе», — подумала она.

В шесть часов Полина была дома.

— Ой, ты приехала! — обрадовалась Катя. — Давай, скорей-скорей, я уж готова, думала, ты не приедешь сегодня.

Полина переделалась, покорно достала из тумбочки шкатулку, села к зеркалу.

Когда они пришли в Дом культуры, небольшой зал был уже полон. Оркестр играл что-то скучное. Было тесно, душно.

Подруги пробрались к обычному своему месту — у эстрады с левой стороны. Обе любили это место, потому что здесь всегда было свободней, чем у входа, и их никто не заслонял.

Полину тотчас пригласили, но она отказала и пошла танцевать с Катей.

Через четверть часа к ней подошел Вадим.

— Как жестоко вы обманули меня, — сказал он, танцуя, и стал осторожно опускать лежащую на спине правую руку. — Вы говорили, что уедете...

Она холодно взглянула на него. Губы ее презрительно изогнулись. «Какой он скучный!» — подумала она и сказала вслух:

— Извиниться перед вами?

Рука застыла и стала медленно ползти вверх.

— Нет, зачем же!

Проводив Полину на место, Вадим достал носовой платок и стал тщательно вытирать им руки. Это раздражало ее. «И чем он мне нравился?» — удивлялась она, вспоминая позавчерашний вечер.

Посмотрев на люстру, она заметила, что три лампы в ней перегорели. И вообще люстра была безобразной.

Все о чем-то бестолково галдели. Ударник выбивал с самодовольным лицом дробь.

— А вы любопытный! — игриво говорил рядом притворный женский голос.

Через середину зала шла, смотря в одну точку, девушка в голубом платье. Она всегда была очень мила, никогда не красилась и танцевала только со своей подругой — высокой, костлявой и хмурой. Сегодня она явилась почему-то одна, лицо ее было высокомерным, а платье сидело на ней плохо.

Случайно равнодушный взгляд Полины упал на вмонтированные в стену электрические часы. Без пяти девять: Сейчас мать, наверное, думает Мотьку.

— Пойду домой,— сказала Полина Кате.— Скучно сегодня.

Они прошли с полквартиры, когда догнал их Вадим.

— Что так рано?— говорил он, запыхавшись, и застегивал пальто.— Дети гуляют еще, а вы домой! И одним разве можно идти? Баба Яга забрать может!

Катя прыснула, прикрыв ладонью рот.

— Ой, да ну вас!— сказала она измученным голосом.

«Как все гадко!»— подумала Полина. Ее модные туфли сегодня не скользили.

Вдвоем у ворот стояли совсем недолго. Вадим настаивал на свидании.

— Почему ж не можете? Мы ведь договорились на субботу.

— То было тогда.

— А что изменилось?

— Всё. И хватит об этом. Мне пора. Завтра рано вставать,— сказала Полина и подумала, что матери вставать еще раньше. А она всю ночь не спала..

Она чувствовала, что теперь все у нее будет иначе, а как — еще не знала. Единственная перемена, которую она уже ощущала, была неприятна и обидна: жизнь из легкой сделалась вдруг трудной. И как сегодня днем, на кладбище, ей захотелось заплакать из жалости к себе. Почему она должна думать о том, о чем так сложно думать? Почему она должна решать что-то, решать сама?

Глубоко вдохнув в себя холодный и свежий воздух, она открыла дверь.

В комнате было жарко. Дина на своей кровати играла сама с собой в шахматы. Катя сидела за столом, перед ней на газете лежал нарезанный хлеб, стоял сахар. Елены Владимировны еще не было — она обычно заглядывала к девушкам позже, зная, что Полина и Катя редко возвращаются домой раньше одиннадцати. А с Диной разговаривать ей было неинтересно — она ни с кем не встречалась.

— Я тебя жду! Горячий чаек, как кипяток! — засмеялась Катя, весело откидывая рукой свои завитые рыжие волосы, к которым, думала Полина, так пошли бы бантики. «Девочка»,— сказала про себя Полина то ли с жалостью, то ли с завистью.

Переодевшись, она подошла к тумбочке, чтобы достать масло. Но, постояв в раздумье и даже не открыв дверцу, решительно села за стол, налила себе чаю. От чая шел пар.

Стараясь не замечать удивленного взгляда подруги, она упрямо жевала хлеб.

г. Евпатория.



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ

★

КАК БУДТО ОБЛАКО УПАЛО

Как будто облако упало —
ударилось! Загрохотало!
Свалился на меня штамповочный.
Окутал паром, как из прачечной.
Кричу и голоса не слышу.
От удивленья хохочу.
Беззвучные штамую крышки.
Тяжелым прессом грохочу.
Но постепенно привыкаю.
И глухота и немота
проходят! Мысли излагаю
движеньями руки и рта.
Вот я из цеха выхожу —
бульдозер движется неслышно.
В киоске сигарет прошу
и еле слышу: — Тише, тише!
Трамвай звезды обрывают.
В глубокой синеве блестят.
Наверно, музыка играет.
Наверно, люди говорят.
Я начинаю делать жесты.
Я улыбаюсь и шепчу,
гляжу на удивленных женщин
и вдруг я слышу, что кричу.

* * *

И шумели всю ночь тополя!
То луною пыля на шинели,
то водой освежая поля,
и дожди о булыжник звенели.
Начинал я уже засыпать,
но опять
заскрипели телеги.

Вышла из дому старая мать,
показалось —

уходит навеки!

И пронзительно, долго, насквозь
от пустынной реки до базара
скрежетала, и душу пронзала,
и терзала тележная ось...



А. МАРЬЯМОВ

★

ЗА ТЮЛЬКОЙ

1

Солнце пекло вовсю, а старуха у калитки стояла вся в черном, даже не похоже было, что ей жарко; наверно, солнце сушило ее здесь всю жизнь и так высушило, что ей вовсе перестал досаждать зной.

Я вышел в этой крымской деревне из автобуса, чтобы размяться на короткой стоянке, и так вдруг заголубело море, так проглянула из сизой дымки Пастушья генуэзская бання, так уютно замкнулся небольшой залив в горах, до половины поросших трудолюбиво возделанными виноградниками, что не захотелось отсюда никуда уезжать.

Сколько раз бывало: остановится на трехминутной стоянке поезд, приглянется вдруг роща над тихой речкой, милое лицо на перроне — и покажется: тут бы и жить. А нельзя. Звонки. Свисток. Надо снова торопиться к своему делу. Но на этот раз дела не было никакого, вот я и вынес из автобуса дорожную сумку и отправился в деревню спросить, нельзя ли тут у кого-нибудь стать на квартиру, может, дня на два, а может, и на неделю.

Дома были все одинаковые, нестарые, построенные, видно, все в одно время: две комнатки с терраской, под железными крышами. И только сады за невысокой оградкой да еще пристройки говорили о собственном вкусе и о трудолюбии хозяев.

Старуха у калитки была первой, к кому я обратился, и ответила она мне так, что можно было подумать, будто не у Черного моря, а у Белого я очутился: только там, у архангельских поморов, слышал я прежде такой цокающий, словно ребяческий, говорок:

— У моей дочери целовек ноцевал, сегодня хотел уехать, пойдём поспросим.

Мы вошли в дом, и оказалось, что «целовек» в самом деле собрался уезжать; место мне, точно, нашлось.

Вечером мы сидели со старухой на лавочке у калитки.

Солнце провалилось в седловину между горами. Небо сразу почернело. С прибрежного мыска темноту прорезал прожектор. Луч прошел над селом, потом над морем, потом выключился ненадолго и опять всполох черное небо.

Серафима Андреевна рассказала, что живет здесь уже шестнадцать лет. Все тут вокруг земляки: переселились после войны из-под Касимова — завербовались на опустевшие крымские земли.

— С дочками ехала, — сказала Андреевна. — Одна теперь в Приветном живет, а другая померла, я с внучком осталась. Нищего, привыкли мы. Тепло тут, сытно... А как приехали — кругом камень, море шумит, дико мне было, целные дни я тогда кричала. Кричу и кричу... Ну, со льна на виноград пока переучились. А теперь нищего, всё хорошо...

Оказалось, нынешнюю хозяйку хаты она только называет дочкой. На самом же деле та приходится старухе внучатной невесткой — жена внука Витьки. Я ее видел мельком. Пришла с виноградников к закату черная от усталости, торопливо поела и тут же, засветло, завалилась спать.

— Самая страда сейінас в совхозе, — объяснила Андреевна. — Дуська перед рассветом на работу уходит.

Старуха рассказала про всех домашних и принялась за родословные земляков-соседей, голько трудно было, слушая, разобраться сразу кто — кто. И еще была в ее рассказах особенность. Бабка не была сквернословкой, просто никаких скверных слов для нее не существовало, она все выговаривала запросто, — к этому тоже надо было привыкнуть.

Полуторогодовая правнучка Ирка заснула у старухи на коленях. Та отнесла ее в комнату, вернулась и продолжала разговор. Охотнее всего она сообщала страшные истории: кто утопился, кто повесился, кто в горах пропал, к кому мертвец приходил и вдруг в цурку оборотился. И опять же не понять было сразу — что еще из-под Касимова ей запомнилось, а что уже тут случилось. Но это не имело значения, жизнь ведь неделима, а под старость давнее оживает яснее вчерашнего.

Часов в одиннадцать прибежала из кино вторая правнучка, семилетняя Санька. Она смотрела «Гулящую», быстренько и восторженно пересказала нам картину и ушла с бабкой спать.

Пошел в комнату и я.

Теперь понятно стало, чем эта комната с первого взгляда меня удивила. Она была нездешняя, но зато сколько же таких в точности комнаток видел я в селах Мещеры — с такой же, вовсе не крымской, чахлої и пыльной пальмочкой в кадке, с такими же фотографиями, забранными под стекло в общую рамку под полотенцем с красными петухами. Я узнал на фотографии покойного мужа Андреевны, braveго солдата, про которого она рассказала, что он погиб в первую германскую в Августовских лесах. Узнал и Дуську, не по-сегодняшнему красивую, в подвенечной фате. И работу тумских красилей я тоже узнал сразу в развешанных по стенкам ковриках, расписанных замками, лебедями, толстыми лепестками водяных лилий и изображением белолицей красавицы на сером волке, похожем на голодную дворнягу.

Меня окружал быт, сдвинутый со своего места, и тут сразу припомнились слепые, заколоченные окна стольких мещерских хат, заставившие гадать, куда же подевались и к чему ушли их хозяева.

Вот и отыскался десять лет спустя один из многих и, наверно, очень разных ответов.

«Теперь все хорошо», — заключила в вечерней беседе Андреевна. Вот здешний ответ. И ответ сегодняшний. Но в разное время и ответы звучали по-разному. Сколько раз на нашем веку сдвигало людей с насиженных мест и кружило по неисповедимым дорогам. Сколько запомнилось нам вокзалов, забитых многосуточными очередями у касс, сколько вагонов, облепленных мужиками от ступенек до крыш, и сколько незабываемых глаз, слепо пытающихся разглядеть, что ожидает их там, где закончится эта дорога.

Лет тридцать назад я жил в палаточном городке на Кольском полуострове, близ Волчьей тундры. Там строились рудники, новый завод, новый город. Однажды вечером я пошел в барак, где должны были крутить картину, привезенную из Хибин.

Показывали «Наталку-Полтавку», наивный и плохонький фильм-спектакль. И вдруг я услышал рядом всхлипывания. Вскоре я понял, что в зале плачут. А на экране ничего такого и не происходило. Просто сняты были берега тихой Ворсклы, вишневые сады в цвету, снята была

девушка у плетня — в монистах и в плахте. И оказалось, что сидят вокруг сдвинутые со своего места люди. Они тоже были все земляками; привезли их сюда с Полтавщины, и у девчат в ватниках и валенках, что смотрели кино в бараке, тоже на дне сундучков лежали мониста и плахты, — но тут их и надевать было нельзя.

И на Полтавщине тогда стояли заколоченные хаты, а соломенные крыши были скормлены скоту.

Ответы тогда были другими.

Теперь, заснувши наконец на новом месте, я — скоро ли, нет ли — проснулся оттого, что под самым окном громко ворчал грузовик, фары светили прямо в комнату дальним светом, а за стенкой прыгала Санька и кричала:

— Папка! Папка приехал!

Фары погасли, папкин голос послышался в комнате, и бабка постучалась ко мне.

— Пойдем повещеряем, с хозяином надо тебя познакомить.

Хозяин оказался высоким курносым парнем. Назвался Витькой. Выяснилось, что работает он совхозным шофером; сейчас всю неделю приходится ему проводить на каком-то стане между Феодосией и Керчью, а по субботам он на несколько часов приезжает домой. После длинного рейса Витька сильно устал, глаза у него закрывались, хоть спички вставляй; наверно, лучше бы ему ложиться и спать, но установленный в доме порядок требовал своего, и Витька, представившись, пригласил меня вместе со всем своим разбуженным семейством к накрытому столу.

— Вот, значит...

Этими двумя словами да третьим, еще чаще повторяемым «эт-та», исчерпывалась вся Витькина речь. Но молчуном он не был и с помощью трех своих слов умел рассказать все что угодно.

Вошла с веранды сонная и похорошевшая Дуся.

Какой-то отчужденный разговор затевался у нее с мужем; какие-то молодки на степном стане не давали ей покоя; видно, я мешал ей, а Витька был этому откровенно рад.

Мы сели. На столе среди картошки, малосольных огурцов, жареной рыбы и крупно нарезанной колбасы стояла бутылка, припасенная бабкой Андреевной к Витькиному приезду.

Витька опять сказал:

— Вот, значит... Чуть не забыл, эт-та...

Он сбежал к машине, принес газетный пакет и высыпал на стол гору золотистой вяленой тюльки, которая хрустит на зубах, как семечки, и от которой так же, как и от семечек, невозможно оторваться.

Спотыкаясь на своих «вот» и «значит». Витька объяснил, что тюлька привезена для бабки Андреевны — давно уже обещал ей соленья, а теперь, «значит, взял, эт-та», у рыбаков под Керчью.

И снова — одно к одному, так уж, наверно, мысли пошли — вернула меня эта тюлька на столе, тюлька, как лакомый гостинец, к «сдвинутым» людям и меняющемуся времени.

С тюлькой тоже бывало совсем по-другому, когда людей сдвинула и закружила война, толкнула их на дороги и хоть и кончилась, а долго еще не давала остановиться.

2

Было это в 1947 году, если брать от той же Керчи, то за Азовским морем, возле города Таганрога.

Так получилось, что очутился я тогда в потоке людей, устремлявшихся из Таганрога на морской берег — к Мариуполю и Бердянску.

Кузов нашей машины был плотно набит пассажирами.

Мужчин, кроме меня, было еще двое: старик, ездивший к ростовскому профессору показывать свою язву желудка, и широколицый паренек с саженными плечами; он окончил десятый класс таганрогской школы, сдал первый экзамен, до второго оставалось четыре свободных дня, и он ехал домой, в село, — подкормиться.

Остальные были женщины с мешками и кошелками. Они везли в приморские рыбацьи деревни дешевую рижскую пудру, чулки, крем для загара, кому что понравится, кристаллики сахара, скупое разложенные по маленьким антечным пакетикам. Все это они собирались менять у рыбацких жен на тюльку. Тюлька шла на базар и превращалась в буханки хлеба, в молоко для детей, в ситец на платье.

Все эти женщины ездили по своему маршруту уже не впервые, все оказались между собою знакомы. Они называли друг друга по именам, судачили про других «тюлечниц», которых не было сегодня в машине, строго и единодушно осуждали какую-то Соньку, которая слишком, дескать, была ловка и нахальна, «сама по-своему жила» и чем-то им всем крепко досадила.

Машина прошла по шаткому дощатому мосту, перекинутому через разлившийся Миус, и остановилась у низенького, кое-как сколоченного балагана.

Там был буфет, или, как говорили тюлечницы, «корчма», и шоферы пошли туда пить водку — все под ту же кормящую весь здешний берег тюльку.

Старик, возивший свою язву, болезненно крикнул, махнул рукою, перевалился через борт и побрел вслед за шоферами.

Минут пять спустя рядом встала встречная машина — грузный студебеккер, так же плотно набитый людьми и распространяющий далеко окрест густой рыбный дух.

Тюлечницы из обеих машин начали перекликаться друг с дружкой, разведывая, что сегодня почем. Молодка с пазухой невероятного объема (погода выяснилось, что там хранятся отрезки разных цветастых веселых ситцев) вкрадчиво окликнула пассажирку со встречной машины:

— Сонечка, ты сегодня у Надежды была или у Нюрки?

— У Нюрки, — коротко и не глядя отозвалась женщина с ярко накрашенными губами на смуглом лице.

— Она и есть, — шепнула молодка своей соседке, показывая глазами на студебеккер.

Это и была страшная Сонька.

Она восседала на мешке с тюлькой и энергично грызла подсолнух.

Шоферы вернулись — неторопливые и подобревшие.

С моря дул сильный ветер. Шумела в камышах широкая волна.

Мы поехали дальше.

Грузовик миновал немецкую тяжелую пушку, кособоко прикорнувшую у дороги, оставил за собой хутор Плагово и братскую могилу с памятником из самана и глины, чисто побеленным и обведенным по ребрам голубой краской, точно здешняя крестьянская хата, только построенная без дверей и окон — для вечной жизни без света и без исхода.

Ржавый немецкий танк стоял напротив памятника.

За хутором вела кашка густым белым цветом, и тяжело летал над степью коршун.

Дорога от Платсва вела на Буденновку; на обочинах шоссе спали люди.

Был второй час жаркого майского дня, люди от самой зари работали на полях и в огородах, и теперь их разморило солнце и свалил наземь тяжелый устаток.

В кузове машины говорили про суховея, про то, что яровые показались из-под земли на два пальца, а уже желтеют, про коварство Трумэна и про ту же Соньку.

У развилки стенных дорог студебеккер остановился.

Здесь шоссе: парень, сдавший письменную по литературе, и с ним несколько тюленни.

Толстуха с отрезами за пазухой объяснила, что мне нужно пройти километра два с половиной по шоссе — там будет село Обрыв: нужно пересечь это село, спуститься к морю, пройти четыре километра — все берегом; тогда и начнется Кривая Коса.

Я прошел большое село. утонувшее в цветущих яблонях и абрикосовых деревьях. Мальчишки гоняли на немецких велосипедах по прямой и широкой улице, поднимая густую пыль. Улица оканчивалась крутым обрывом.

Спустившись с обрыва, я разулся и долго шел по прибрежному песку в мелких набегающих волнах. День был тихий и солнечный, море шумело негромко и монотонно, а рядом так же негромко, но разноголосно шелестела, звенела, переговаривалась птичьими голосами разогретая солнцем степь. Ровный, влажный, оглаженный волною песок пружинил под ногами.

А повыше песок был рассыпчатый, ослепительной белизны, может быть, от белых, хрустко крошащихся под ступнями ракушек. Редкая трава — осот — прорастала из этого песка на пригорках.

И так было славно вокруг, что захотелось выйти на такой пригорок, сесть на горячий песок, послушать негромкий весенний шум, поглядеть на море и на приморскую степь, ни о чем не думая и ни к чему не торопясь.

Но сразу же подошел невесть откуда не замеченный прежде, точно из-под земли выросший небольшой человечек, чистенький, в тщательно заплатавшей серой домстканой куртке с шинельными солдатскими пуговицами.

— Шли, шли, да и сели? — спросил он, только бы завязать разговор, и редкостная неназойливая мягкость сразу ощутилась в его вопросе. Он присел рядом, аккуратно сложив на землю небольшую дорожную торбу и тонкий прутик, которым он отгонял, видимо, свирепых сельских псов. Голос у него был добрый, глаза светлые, выцветшие, волосы серо-седые. Сперва показалось, что ему, должно быть, лет шестьдесят, но, приглядевшись, я увидел, что он гораздо моложе. Вряд ли и пятьдесят ему успело исполниться.

Он свернул козью ножку, неторопливо и заботливо насыпал в нее махорки, завернул края и закурил, ожидая продолжения разговора.

Мимо брели по берегу люди.

С мешками, со ржавыми ведрами, с кастрюлями, кошелками и консервными банками шли они к ловецким промыслам, рассыпанным тут вдоль всей полосы приюба.

— Шатается народ, — сказал бродяжка. — Весь народ шатается, будто его ветром сдуло.

Он почадил махоркой, прикрывая ладонью козью ножку от ветра, и сказал:

— Ну, только если б мой сын был жив, мне бы шататься не пришлось.

Бродяжка подождал, чтобы я спросил у него про сына. И я спросил.

— Его немцы отравили,— сказал мой новый знакомец.— Ему четырнадцать лет было, и его немцы отравили.

Он говорил совсем спокойно, обстоятельно, и оттого можно было поверить, что то, о чем он рассказывает,— правда. Он сказал:

— Зимой меня из армии отпустили. Служил за Мурманском, дороги строил, на фронт не пришлось. А приехал домой... может, знаете, есть такое озеро Каспля? На самом берегу село наше. Пришел. Хата стоит. Только что без крыши. А в хате никого. Мать еще в сорок втором померла. Жену в сорок третьем осколком убило. Только и нашел в хате — сына тетрадки. Он еще и при мне записывал, все записывал, как люди живут, и после, видать, тоже записывал, и я потом за целый год не скурил того, что он записал. А ведь не я один курил — и соседи...

Выходило так, что ради соседей он и ушел от Каспли. Крышу поправил, знакомую семью к себе переселил из землянки. А сам ушел, невмоготу стало на пустом месте. «Ночью навевать стали: то сын, а то Настя. И скажите, вместе никогда не видал, только поврозь снятся».

Он посмотрел на берег.

— Вот ведь человек идет,— сказал он.— Как пьяный... Не везет ему в жизни. Это он, не думайте, не пьяный. Скрутило его так.

С трудом переставляя ноги и опираясь на палку, по песку брел человек в опорках, в рваном — не по жаре — ватнике.

— Филиппыч,— позвал мой сосед.— Подходи, посидим покурим.

Филиппыч подошел к пригорку и опустился на песок. На темном морщинистом лице странно белели губы. Взгляд у него был тяжелый.

— Не занимаюсь,— сказал он, отводя протянутый кисет.

Запустил руку в карман, достал пригоршню тюльки и принялся жевать.

— Еле иду,— сказал он, сплевывая в траву.— Грудь болит и ноги совсем не ходят. Вот дойти бы до Мариуполя. Пошел бы я там в милицию. Приду и скажу: надоело шататься, а воровать мне, старому, не годится. Хотите — сажайте, хотите — так на работу пошлите. Хоть в шахту пойду, хоть в совхоз. А то без документов нигде не принимают, а без кражи милиция не берет...

Он замолчал, снова пожевал грязную, слежавшуюся в кармане тюльку и сказал вдруг со злостью:

— А не возьмут, пойду на базар, у бабы кувшин молока выпью... Завтра и пойду. А денег, скажу...

Он коротко выругался.

— Тогда взять придется.

— Тут тоже не прошибить нужно,— отозвался первый мой собеседник.— А то обидишь жинку, а у нее у самой семь душ детей голодных сидят...

Он докурил, затоптал окурок в песок и поднялся на ноги.

— Ты это с рыбпункта, Филиппыч? — спросил он, закидывая торбу за спину.— Дают там рыбку?

— Вот, в карманы насыпал.

— А много ли гам, на Обрыве, нашего брата, шатающих?

— Нашего брата, шатающих, везде хватает,— сказал Филиппыч и тоже стал подниматься, распрямляясь со стоном.

Они разошлись в разные стороны. Первый бродяжка — к фелюгам, что стояли у берега, уронив свои косые паруса, а Филиппыч — к селу, по степной тропе, поросшей белой цветущей кашкой. Два одиноких человека, оторванные войной от корня и вынесенные сухим ветром на самый берег, до последнего предела родной земли.

Поодаль от белых барашков приборя расходились две шлюпки. В них сидели матросы, одетые в холщовую робу. Наверно, минеры. Им еще на

каждый день хватало работы: в море оставалось мин, что клецек в супе. Но фарватер уже был расчищен, пароходы ходили спокойно, вот и сейчас у горизонта плюхал лесовозик — тащил крепежный лес для донецких шахт, из которых все еще продолжали откачивать воду.

Я посидел на пригорке, снова спустился к морю и пошел на Кривую Косу, поглядывая на то, как волны мгновенно зализывают следы.

3

И вот — опять азовская тюлька на столе.

Но только все вокруг по-другому.

Сдвинутый с места мешерский дом остановился в своем движении, все в нем устоялось прочно.

За столом мы просидели недолго.

Потом через стенку я еще слышал, как отоспавшаяся Дуся пилит Витьку негромко и монотонно — так, на всякий случай, а тот сонно и коротко пытается от нее отвязаться...

На рассвете грузовик опять страшно зафырчал под окном. Санька закапризничала на улице:

— Ну, хоть до мостика...

— Ладно, полезай, эт-та,— сказал Виктор.

Заскрежетало сцепление, грузовик отъехал, стало тихо.

Когда я вышел из комнаты, Витькина бабка уже все прибрала, только посреди стола тюлька еще золотилась высокой горкой.

— Ирку в ясли мать сама повела сегодня. Воскресенье же,— сообщила бабка Андреевна, словно считая необходимым оправдать свое присутствие дома в неурочное время.

Потом спросила:

— На море идешь? Возьми тюлецы, побалуйся, цто ли.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

★

БАЛЛАДА
ОБ ОХОТЕ И ЗИМНЕМ ВИНОГРАДЕ

Памяти Роуфа.

Как ты рванулся, брат мой,
Вслед за бегущей косулей!
Как ты рванулся, брат мой,
Пулей рванулся за пулей!

Как ты стрелял с разбегу,
Вниз пробегая по склону,
Черный по белому снегу
Вниз пробегая по склону.

Грянула третья пуля,
Грянула, чтобы настигнуть!
Перевернулась косуля,
Хотела судьбу перепрыгнуть.

Вихрями крови и снега
Кончилась, затихая,
Словно упала с неба
Летчица молодая.

Ты горло лебяжье надрезал,
Чтобы не думать об этом.
И обагрилось железо
Струйкой горячей, как лето.

И вдруг: виноградные гроздья,
Лоза на ветке ореха.
Ледяные, черные гроздья
Сверкнули тебе из-под снега.

Чудесная неразбериха!
Ты дерево взглядом окинул.
И ты засмеялся тихо
И снова винтовку вскинул.

И выстрел ударил над лесом,
А эхо метнулось следом.

Ты гроздь лиловые срезал,
Как пару дроздов дуплетом.

На шее тяжесть косули.
Снега разрывая, как пахарь,
Ты шел, а губы тянули
Ягод холодный сахар.

И капали капли со шкурки
Тобою убитой косули,
А виноградные шкурки
Ложились, как черные пули.

Мы знали в погоне надсадной
Тяжелое пламя азарта,
Но разве мы знаем, брат мой,
Какая нам выпадет карта?

И разве я знал, что за год
Губы навек остудишь,
Как шкурки проглоченных ягод,
Выплевывать легкие будешь?

И разве я знал, что в гости
Больше к тебе не приду я?
И только невинные гроздь,
Брат мой, цветут, бушуя,

Над котловиной Сабиды,
На белых камнях Напскала,
Где ничего не забыто
И ничего не пропало.

Ломоть поминального хлеба,
Поминальной струи услада.
Бесконечное зимнее небо,
Ледяная гроздь винограда.



ГЛОРИЯ ФУЭРТЕС

★

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

С испанского.

Глория Фуэртес родилась в Мадриде в 1924 году. Публиковать свои стихи испанская поэтесса стала с 1950 года. Большинство из них разбросано в различных периодических изданиях, и лишь часть собрана в сборники: «Песни для детей» (1952), «Советую пить струю» (1954), «Вильяносико» (1955), «Карамельки» (1955), «Все страшит» (1958). Последний ее сборник «У подножья мира» не издан.

Прогрессивные критики Испании и Латинской Америки, с большим вниманием относящиеся к творчеству Глории Фуэртес, единодушно отмечают не только глубину и современность ее поэтического мышления, но и его ярко национальный характер, проявляющийся в системе образов и особенно в интонации ее стихотворений.

У НАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ

Утро пропадает за суматохой;
после полудня мальчишки на улице,
вечером радио у соседа.
Прихожу со службы полуживая.
Тишина хоронится на чердаке.
Никак не могу приняться за чтение романа.
Тут и кошка котится в коридоре,
и брат, который ходит без работы,
и та девчонка, что на углу плачет.
Невестка просит луковицу и сковородку,
опять стучат — приносят счет за квартиру.
Нет никого, кто умел бы жить удобно.
И никогда не дождешься трамвая,
и никогда не дождешься зарплаты.
В суতোлке ничего не остается от дома.
А тут еще прочитаешь в газете:
«Призрак войны»...
Господи, только этого не хватало!

УХОД ЧЕЛОВЕКА

Семьдесят лет много,
я умираю старый.
Я устал от работы —

в последнее время по шестнадцать часов.
 А ведь за всю мою жизнь я не заработал того,
 что иной футболист зарабатывает за вечер,
 пиная ногами мяч.
 По благодатному покою,
 который от ступней подымается к горлу,
 чувствую, что умираю.
 А эта глупая женщина плачет.
 Всегда она была без понятия.
 Новая жизнь начинается для обоих.
 Я вроде стал уменьшаться.
 Опять я должен родиться — теперь от матери смерти.
 Уже тебя не разбудит на рассвете мой кашель,
 уже мне не придется зябнуть на стройке,
 и больше не будут трескаться и зудеть мои обмороженные
 ноги.
 На вдовью пенсию выкупишь из ломбарда
 шаль и одеяло.
 Послушай, жена, зачем убиваться
 из-за таких пустяков?

АВТОБИОГРАФИЯ

Глория Фуэртес родилась в Мадриде
 в возрасте двух дней,
 потому что роды у мамы были очень тяжелые
 и она так хотела меня родить, что чуть было не умерла сама.
 В три года я уже умела читать,
 а в шесть уже знала свои заботы.
 Была миловидной, доброй,
 рослой и немного болезненной.
 В девять лет меня сшибла машина,
 а в четырнадцать — война,
 а еще через год умерла мама,
 как раз когда я в ней особенно нуждалась.
 Я научилась торговаться в лавках
 и ходить по деревням за морковкой.
 Тогда-то я и спозналась с любовью —
 не называю имен, —
 но молодость девушки из предместья выжила только
 благодаря этому.
 Я хотела пойти на войну, чтобы ее остановить,
 но с полдороги меня воротили.
 Потом мне выпала служба,
 где я работаю, как идиотка, —
 но бог и рассыльный знают, что это не так.
 Пишу ночами
 и люблю ездить за город.
 Все мои уже умерли,
 и я одинока даже больше, чем в состоянии понять.
 Стихи публикую в календарях,
 еще пишу для детских журналов.
 И хочу купить в рассрочку настоящий цветок
 вроде тех, что дарят нашим известным поэтам.

* * *

Эта боль старит больше, чем время,
ни конца у нее, ни предела;
и болит и болит все-все-все,
кроме тела.

И когда умирает от боли иной человек,
не сердце сдает,
как обычно диагноз ставят;
это все боль, которую — либо снеси,
либо раздавит.

В эпитафии будет сообщено
то, что со мной приключится в итоге:
«Скоропостижно скончалась от боли
или — что все равно —
от любви,
в солнечный день, при переходе дороги».

* * *

Бесполезно
пробуждать в нас сочувствие к розам и божьим пташкам;
бесполезно жечь свечи;
бесполезно что-либо нам запрещать:
не говорить, например,
или есть мясо,
читать,
ездить за так в трамваях,
любить, кого любим,
курить,
говорить правду,
не ненавидеть врага.
Бесполезно что-либо нам запрещать.

В газетах появляются предписания,
на стенах домов вывешиваются циркуляры:
запрещается есть жареных пташек.
А ведь не запрещается пожирать ближних своих,
зубами автоматов рвать нагие тела мужчин —
почему же нам запрещают жарить божьих пташек
те, кто не требует выполнения седьмой или пятой заповеди?
«Общество защиты животных»... Это что — такой анекдот?
Запретили бы заодно есть невинную макрель,
нежных и чистых ягнят,
меланхоличных окуней,
куропатов.
А что ты мне скажешь о кукле,
которой купили пальчишко за гриста песет,
вот ты, родившая девочку, у которой ни куклы, ни пальчишка?
Болен — работай,
стар — служи,
олий в таком-то кафе можно купить,
юность — продать.

На это все, пожалуйста, официальное разрешение.
Красивыми чувствами ничего не решить.
Лучше немного честности и орать:
— Пока не околеют войны, буду есть жареных пташек!

* * *

Еще сколько хочешь людей, называющих ветер зефиром,
а пошлятину — поэзией,
а поэзию — бесстыдством и сумасбродством.
Еще сколько хочешь людей, поющих луны.
А я пою — людям луны,
я пою — предместьям луны,
молочным рекам луны.
Еще сколько хочешь людей, которых пугает,
жуть как пугает, когда женщина вздумает надеть сапоги,
чтобы лучше гоптать грязь;
пугает, потому что, видите ли, «у нас еще все дома»
и потому что, видите ли, «господь с нами».
Видят, как мы горим, а не могут понять наше пламя,
потому что в наших песнях пророчества
и потому что мы их выкрикиваем;
еще потому, что в наших стихах
говорится совсем не о том, о чем обычно говорится в стихах —
об устах, о волнах, о птицах.
Впрочем, кто говорит, что в наших стихах нет птиц?
Чем же еще могут быть наши крики, если не ранеными птицами?
К черту черствоe, дряхлое, дряблeе!
Мы, поэты, любим кровь — вот что мы любим!
Кровь, играющую в бутылки тела.
Не пролиту ю ревнивцами,
судьями,
военными —
мы любим кровь, разлиту ю в теле,
счастливу ю кровь, хохочущу ю в венах,
кровь, котора я так и отплясывае т, когда мы целуемс я.
Мы поем любовь,
чистоту,
свежесть.
А баснями сыты по горло.
И пускай дети знают, что ветер это ветер,
и что если любишь, то уж любишь,
и что единственный грех — плохо себя вести.

Перевел М. Самаев.



В. КОНАШЕВИЧ

★

О СЕБЕ И СВОЕМ ДЕЛЕ*

(Записки художника)

Из Москвы в Чернигов

Конец октября 1942 года. Вступаем во вторую военную зиму. Откуда-то уверенность — тайная, внутренняя, — что она, эта зима, не будет, не может быть такой сграшной, как прошлая. Ведь сейчас лучше, чем в прошлом году в это время, с продовольствием, есть немного дров. Может быть, отсюда и эта смутная уверенность в некотором не-большом, очень ограниченном благополучии, которая, хочется верить, — не изменит.

...Как мы переменились!

Вчера мы с женой условились встретиться на улице: я должен был передать ей талон в столовую. Я увидел ее далеко, очень далеко на пустынной набережной Фонтанки. Она тоже меня заметила и подняла руку, растопырив пальцы. Это наше семейное приветствие.

Его изобрела дочь. Мы жили в Павловске, и, когда я возвращался из города домой, она, маленькая, всегда ждала меня у окна и, как только завидит далеко на дороге, прижмет к стеклу свою ладошку с растопыренными пальцами, что означало: «Я тебя жду, вижу и приветствую». Я делал в ответ тот же знак.

Так и теперь я ответил жене тем же жестом. Издали я узнавал ее фигуру, ее слегка подпрыгивающую походку, ее пальто, ее чернобурую лису. И она представилась мне такою, какой была всегда раньше; весь год провалился куда-то, и я, дополнив ее образ воображением, видел ее почти толстой, свежей, живой в движениях женщиной. И вот она стала приближаться и подошла ко мне — маленькая, сухая, сгорбленная старушка. На меня смотрело и улыбалось милой улыбкой милое лицо — только все в морщинках, как печеное яблоко. Перемена, которая совершалась с незаметной постепенностью целый год, произошла теперь на моих глазах внезапно, сразу. И я был потрясен. В таких случаях говорят: потемнело в глазах, захватило дух. Да! Перехватило дух, и... я заплакал тут же, на улице.

Как мы изменились!

И не только внешне.

Сейчас в Ленинграде — на улицах, в домах, на службе — все без конца говорят о еде. Я как-то прислушался к обрывкам разговоров про-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 9 с. г.

ходящих мимо людей. Женщина с бидоном и кастрюлями в сетке спрашивала другую: «И что же, ши в самом деле из белой капусты?» — «Не только из белой, но еще и на мясном отваре!» Вот группа молодежи — девушка в спецовке описывает другим, очевидно, свой распорядок дня: «С девяти до одиннадцати — завтрак, потом до трех подготовка к обеду, в три обед...» Все смеются. Какой-то службист с портфелем говорит другому: «Нет, нет, не так! Сначала надо слегка поджарить, а потом уже ставить в духовку...»

И так — все мы говорим о еде! Изобретаем на словах новые блюда, которые нам кажутся «безумно» вкусными, придумываем, что бы мы сейчас съели, если бы вдруг стало все к нашим услугам. И все мы жалеем, что раньше ели мало, ели, что придется, что так невнимательно относились к еде, не замечая даже часто, что жуем. Кажется, явись возможность — и мы все кинемся варить, поджаривать, печь, мастера самые неожиданные, невозможные на прежний вкус смеси.

Я сейчас нарочно перелистал эти свои записки: не слишком ли много, сам того не замечая, я говорю в них о еде? Нет, как будто вовсе не так много. В любом романе Диккенса или Золя — да чьем угодно, не говоря уже о мельниковских «В лесах» и «На горах», — гораздо больше описаний обедов, завтраков, всяких яств и напитков. Нет, я не много пишу о еде. Но думаю и говорю, как и все, только о ней! И странно, это произошло с нами с тех пор, как стало несколько лучше с продовольствием; с тех пор, как мы перестали голодать в полном смысле этого слова. Прошлую зиму мы тупо и просто мечтали о хлебе, о лишнем куске того же полного несъедобных примесей хлеба. Сейчас в нашем воображении и на словах развертывается целая гастрономическая вакханалия, нагромождаются горы всяких мяс, рыб, пудингов и в особенности каш со всяким «припеком»: мы все полюбили каши и уверены, что наступят лучшие времена, и мы будем их есть — рисовые, пшеничные, гречневые, овсяные! Не то что раньше, когда кашу не считали за еду...

Букварь. Астрономия. Мысли о смерти

Моя азбука, составленная для детей маминым старшим братом — он был народником если не по принадлежности к партии, то по своим убеждениям, — была вся завалена тележными осями, косами, боронами, стогами сена, овинами, ригами. Все эти слова я впервые слышал и впервые видел только тут, на картинках. Так уж вышло, что мы, городские дети того времени, принуждены были изучать грамоту по букварям, сплошь состоящим из деревенских слов.

В кабинете отца перед письменным столом стояло кресло, у которого спинкой была дуга, локотниками — два топора и где-то еще, чуть не на сиденье, примостились кнут и пара лаптей — все вырезанное из дуба. А на столе стояла настоящая маленькая деревенская изба из орехового дерева, полная папирос. Чтобы добыть из нее папиросу, надо было поднять крышку и опустить ее опять на место, и на коньке ее, в ложбинке, появлялась папироса.

Сколько еще таких затей на деревенские темы я видел у знакомых! Да чего уж больше, когда сама царица и ее фрейлины носили кокошники, а все офицерство во главе с царем — широкие шаровары, заправленные в сапоги бутылками! Таков уж был дух эпохи. Преломляясь иногда самым уродливым образом, «народнические» тенденции проползали всюду. Так они сказывались во внешнем обиходе, в вещах. Дух эпохи становился здесь только вкусом, модой, из чего-то большого и грозного он превращался в забаву, в манеру одеваться, обставлять свои комнаты.

Мне, городскому ребенку, весь этот народный дух был вполне чужд. Когда я читал (и даже учил наизусть!) про Жучку, которая нырала в свежем сене, как в волнах, я ровно ничего не представлял, не видел — ни сена, ни волн, ни воя, который растет, как дом.

Только однажды я вдруг почувствовал яркость литературного образа — на этот раз из-за полного его совпадения с тем, что происходило вокруг меня. Я переписывал стихотворение. «Весна! Выставляется первая рама»... Выводя буквы этих первых слов, я мысленно горопил момент, когда освобожусь от этого пудного дела, а тетка от своей работы и мы пойдем на улицу, где светит солнце и, весело журча, бегут по канавкам ручейки, для которых я заготовил парочку лодочек и уже положил их в карман своего осеннего пальто из верблюжьей шерсти. И надо же быть какому совпадению: как раз в тот самый момент, когда я писал: «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался», тетка с помощью кухарки Дарьи вынула первую раму в гостиной, и в комнату в самом деле «ворвался» уличный шум — и грохот колес, и церковный звон! Исполнялась вся программа полностью по моему стихотворению! У меня даже мурашки по спине забегали! Не казалось мне раньше, что в стихах можно найти что-нибудь настолько близкое действительности. В них мне все казалось фантастическим или ходульным. Когда я читал о поле, «где, шествуя, сыплет цветами весна», то все слова оставались для меня мертвыми, какими-то нарочными, незаправдашными.

В отцовском кабинете висел большой отрывной календарь, на спинке которого были в ряд изображены какие-то звери, рыбы — все сплошь засыпанные звездочками. Над ними было написано: «Знаки Зодиака». Не скоро я допытался у взрослых, что они значат, эти «знаки». Приставал-приставал, надоев всем и узнал только, что они как-то там соответствуют месяцам: каждый месяц имеет свой такой знак. Да это было видно и из самого календаря, как я открыл потом. Дальше оказалось, что эти быки, рыбы и весы красуются в виде звездочек на небе ночью. Я ложился рано и звездного неба во всей его красе еще не видел. Теперь я стал заглядывать на небо в окно, когда темнело и надвигалась ночь. Зверей там не было, я увидел только бесчисленное количество звезд — то больших и ярких, то мелких-мелких, густо усеявших небесный свод. С тех пор уже я не мог оторвать взгляда от неба много-много лет.

Опять я стал испытывать терпение взрослых своими бесконечными расспросами. Меньше всех могла рассказать мне тетка. Оказалось, она никогда не интересовалась небом и не думала над тем, что там творится. А нянька рассказала, что там высоко, на небе, живет бог, окруженный бесчисленными силами ангелов. В ночной тьме светятся их глазки, а мы их зовем звездочками. Что где-то внизу, в каких-то тартарах, есть еще ад, где обитают черти, где горит вечное пламя, в котором пекутся грешники, и даже показала мне такую картинку в своем «поминанье» — маленькой бархатной книжечке с крестом наверху. На этой картинке в самом деле были нарисованы грешники, которые спокойно сидели в огне, и черти с рогами. Страшновато мне стало, когда я узнал, что гореть в этом огне, может быть, буду и я, если не буду слушаться старших, брать что-нибудь без спроса или врать.

Страшно-то страшно, но далеко не так, как тогда, когда мама сказала мне, что звезды — это такие же миры, как наш; что там, наверху, где-то невероятно далеко в пространстве, так же горят огромные солнца, вокруг которых ходят такие же земли, как наша. Мне стало вдруг так неуютно, так по-настоящему жутко — до холодного пота, до обморока. Когда перед моим взором, который никогда еще до сих пор не раздвигался,

гался так широко, внезапно возник весь ужас беспредельного пространства, наполненного бесконечным количеством миров, я с огромной силой ощутил ничтожество всего, что меня окружает. Наш мирок — мир нашей детской и столовой — казался мне до сих пор единственно значительным, как будто все внешнее к нему только пристроено, а он стоит в центре всего. И вот теперь вся эта моя Птолемеява система с нашей детской в центре вдруг оказалась разрушенной.

Если бы разрушение моего мирка совершалось, как и у многих других детей, постепенно, я бы не был так внезапно и глубоко потрясен, не превратился бы на долгое время в маньяка с остановившимся взором (один глаз на небо, другой внутрь себя!).

Без явной связи с мыслями о строении мира возникли размышления о смерти: от бесконечного пространства, наполненного бытием, я перешел к мыслям о небытии, о времени, когда меня не станет. Тут как раз мне в руки попал номер журнала, кажется «Новь», приложение к какой-то газете, которую папа получал, — большая желтая тетрадь. Меня привлек рисунок на обложке: на пустынных скалах обледенелой, мертвой Земли сидит голый человек (голый потому, что это «вообще» человек, Человек с большой буквы) и смотрит на черное звездное небо, по которому раскинула хвост огромная комета. Звезды, кометы — это моя область! Перелистывая журнал, я напал на статью, к которой относился этот рисунок на обложке, и с жадностью прочел ее. Там говорилось о тогдашней злобе дня — комете, которая в том году должна была столкнуться с Землей. Это столкновение не было вероятностью или предположением — оно было точно рассчитано, вычислено астрономами, один из которых даже в ужасе от такого события, грозящего Земле неминуемой ужасной гибелью, покончил с собой (Земля наша в самом деле столкнулась с кометой и даже точно, минута в минуту, в срок, вычисленный астрономами, только почти никто из ее обитателей этого не заметил: все обошлось только дождем падающих звезд, правда довольно грандиозным).

Эта статья дала определенное направление моим размышлениям о смерти; они получили новое, вполне реальное содержание — я стал думать о конце мира. Мне представлялось, что Земля начнет замерзать вот теперь, в наши дни (масштабы мирового времени мне не были еще доступны), и я могу оказаться последним человеком на Земле! Мне стало жалко всех моих близких, погибших раньше меня; страшна и моя собственная ближайшая судьба на пустынной Земле. И вместе с тем в моем положении последнего человека открывалось много интересного, даже заманчивого. И мысли мои, устав мрачнеть от ужаса, принимали более веселый оттенок: я брожу по пустой Москве, захожу в кондитерские, ем, сколько хочу, шоколада и пирожных, никому теперь не принадлежащих и не нужных, заглядываю из любопытства в чужие квартиры — обстановка чужого быта всегда привлекала мое любопытство. Я помню, с каким интересом я заглядывал в освещенные окна вторых этажей небольших московских домиков, когда ехал с родителями и сестрой на извозчике откуда-нибудь из гостей, особенно если сидел на козлах. Охватывает свежесть летнего вечера, немного знобит и дремлет, но будит тряска и грохот пролетки, и смотришь в освещенные окна, внутренность комнат видна как на ладони. Видишь накрытые столы, людей по пояс, мирно сидящих под всяческой лампой вокруг самовара или оживленно беседующих. Гадаешь о предмете их беседы, пока не попадутся новые освещенные окна. Тогда начинаешь соображать, зачем подошла к буфету эта молодая женщина, открывшая дверцу и запустившая внутрь руку. Миню и эти окна! А женщина в белой кофте так и застыла, осталась навек в памяти с протянутой к буфету рукой.

Обычно дети, даже те, мимо которых близко прошла смерть, относятся к ней с наивной простотой. Я помню рассуждения одного четырехлетнего мальчика, который разбирал в своем уголке игрушки и мечтал вслух: «Вот я вырос большой, папа и мама мои уже умерли, я женился и жена моя тоже умерла! И никто, никто не мешает мне есть теперь шоколадные ракушки с белым кремом внутри». А дочери моей так понравилась масленка в виде маленького бидончика с завинчивающейся крышкой, которую я дал ей нести, идя с ней вместе на этюд, что она не утерпела и заявила: «Когда ты, папа, умрешь, это будет мое!»

И это вовсе не жестокость и даже не равнодушие. А если и равнодушие, то не к судьбе близких, а к смерти. В этом возрасте смерть — неосознанный факт, потому и не страшный — просто никакой. Но и потом долго еще, многие годы юности, она не страшит, потому что жизнь еще не оценена. Жизнь ценна не тем, что впереди, а тем, что прожито, что уже наполнило ее, а не тем, что еще в ожиданиях и мечтах. Жизнь наполняют прожитые события, бывшие встречи с живыми людьми; даже несбывшиеся надежды прошлого милы, дороги, потому что связаны с годами уже прожитой жизни. Только прожитое, свершившееся — реальность, которую можно взвесить, оценить. И чем его больше, тем полноценнее жизнь, тем крепче держится за нее человек. Вот почему старики так не хотят умирать (чем всегда дивят молодежь: жизнь уже старику, казалось бы, не в радость — одни хвори, а он все за нее цепляется).

А я думал о смерти и боялся ее еще в раннем детстве. Не потому, что с малых лет был старичком или был невесть каким особенным ребенком. Однажды нам с женой встретилась в Сочи девочка лет десяти, которая продала нам букет цветов и, разговорившись, стала сначала рассказывать, как взойти на Лысую гору, что там есть и что оттуда видно, а потом как-то свела разговор к рассуждениям о смерти. Она нашла, что смерть — величайшая несправедливость и обида человеку. Если смерть нужна, то только затем, что без нее скоро развелось бы на земле столько народу, что жить негде стало б! Так пусть бы новые люди вовсе не рождались, а жили вечно те, что сейчас живут! Вот как решала этот вечный вопрос эта невинная душа, которую, несомненно, сильно бередили мысли о смерти.

Потом моя боязнь смерти как-то затуманилась. Я стал меньше размышлять беспочвенно и самочинно, больше читал. Я уже знал (лет восемь мне было тогда), что на мой век Земли хватит, что мне незачем так волноваться: пройдут еще многие миллионы лет, пока Солнце остынет настолько, что жизнь на Земле станет замирать. Мне попала в руки тоненькая книжка, которую я нашел на полке в папиной библиотеке, где, на мое счастье, мне разрешалось рыться беспрепятственно, лишь бы я ставил все опять на свое место. Это была популярная астрономия Черкасского. Читал я ее с трудом, но из-за трудности чтения не бросал, стараясь овладеть секретом неба.

С этой книжки мой интерес к астрономии начал приобретать некоторую систему.

Но чем больше я углублялся в астрономию, тем меньше она меня удовлетворяла. Я искал ответов на вопросы о том, что совершается в мировом пространстве, есть ли, может ли быть где-нибудь такая же жизнь, как на нашей земле. Но астрономия говорила мне о параллаксе звезд, сообщала их альбедо, а о том, что было для меня важнее всего, не говорила ничего или почти ничего.

Тогда как раз Скиапарелли открыл каналы на Марсе и возникли предположения о возможной там жизни. Кто-то даже увидел световые сигналы, посылаемые с этой планеты. Я страшно заволновался, стал ловить и читать все, что могло относиться ко всем этим наблюдениям.

Но очень скоро как-то все эти разговоры заглохли, и серьезные астрономы стали по-прежнему интересоваться только своими спектрами простых и переменных звезд и прочими премудростями, которые никак не отвечали на мои единственно для меня тогда важные вопросы о жизни и смерти.

...Предыдущая глава написана в госпитале. Я не болен, я там служу! Мои обязанности — оформление помещений, я должен обставить их мебелью, развесить картины и драпировки, изготовить всякого рода надписи — «палата №. . .», «запасный выход» и т. д. Ничего не поде-лаешь — хлеб. Дают полное питание и восемьсот граммов хлеба. Вот что заставляет вместо настоящей работы, по которой давно гнетет тоска, делать такой скучный вздор.

Перед этим два месяца писал гигантские панно для улицы. Панно эти по заданию должны быть «настоящей» живописью, такую, которая называется станковой. Эта «станковая» живопись, изготовленная по всем правилам передвижнических традиций, подхваченных стадом эпигонов, — на открытом воздухе смотрит буро-серыми заплатами, в которых ничего не разберешь. Чтобы как-нибудь постигнуть эту разню, которая имеет серьезную задачу, надо долго стоять около нее, разглядывать и терпеливо и внимательно докапываться до формы и смысла. А следовало бы, чтоб прохожий все схватывал на ходу, с одного беглого взгляда. Да что ломиться в открытую дверь — характер, тип такой живописи давно выработан уличным плакатом, рекламой.

Писал я эти нелепые панно против убеждения и по чужим эскизам. Хлеб насыщенный...

Отъезд из Москвы. Теткины питомцы. «Царьградская гостиница». Вишни и яблоки

Отцу как-то представилась возможность перевода с большим повышением из Московского отделения Крестьянского банка в Казанское. Думал-думал отец, колебался-колебался, да так и не решились они с мамой расстаться с Москвой, со всеми родными, старинными знакомыми и ехать в глухую провинцию, какой им представлялась Казань. Москва была родным городом их обоих.

А вышло так, что отцу пришлось уехать из Москвы без повышения по службе и уже не по своей воле, не по выбору и куда в большую глушь, чем Казань, — в Чернигов. Отец повздорил со своим начальником, управляющим банком, князем Кудашевым. Насколько я мог понять из родительских разговоров и обсуждений этого случая, князь потребовал от отца, который был бухгалтером, проведения какой-то не совсем законной операции к собственной его сиятельства выгоде. Отец решительно, с возмущением отказал князю и после короткого, но бурного объяснения вышел из кабинета управляющего, хлопнув в сердцах дверь. Князь рапортовал о таком поведении отца в Петербург и просил убрать от него «этого сумасшедшего».

И вот начались наши сборы, приготовления к отъезду. Отец уехал в Чернигов, чтобы подготовить наш переезд туда, и писал успокаивающие, бодрые письма. Чернигов оказался, как он писал, прелестным, веселым городком, утопающим в цветущих садах (был апрель месяц), по ночам залитым электрическим светом. Жизнь там безумно дешева, все есть и т. д.

Тем не менее дома царило уныние. Мама была удручена. Тетка тоже. Маме тяжело было покидать старых друзей — людей, милых с самого детства, — расставаться с родными местами. А тетке предстояла

разлука с ее любимцем и воспитанником, моим младшим братом Борисом. Как ни разрывалось ее сердце, как ни плакала она дни и ночи, но не решалась, хоть ей и предлагали, ехать с нами в неизвестную глушь.

Мама, правда, считала, что тетка портит Бориса своим обожанием. Постепенно, не очень для окружающих заметно, сначала в пустяках, а скоро во всем решительно младенец «забрал волю», и оказалось вдруг, что с ним «нет никакого сладу», что он «вконец испорчен».

Результат ли это только теткинoго воспитания, но из Бориса действительно вырос тяжелый, в семейной обстановке трудно переносимый человек. С самых малых лет, чуть ли не как только заговорил — врунишка и ворнишка.

У нас с сестрой были случаи (все у нас делалось сообща), когда нас соблазнял запретный плод. Это я еще понимаю: то, что «нельзя», очень интересно и заманчиво!

Два последних в Москве лета мы жили на даче по Казанской железной дороге, недалеко от станции Люберцы, в имении князей Барятинских. Я впервые здесь увидел огромную усадьбу и мог бы легко представить себе широту помещичьей жизни, если бы способен был размышлять на такие темы. Все тут было в развале, от всех былых пышных затей остались только следы. Потом, читая Тургенева, я вспомнил эту полуразрушенную усадьбу и по этим остаткам прежнего великолепия, довольно внушительным еще и в разрушенном, восстанавливал облик тургеневских помещичьих гнезд. В моем воображении неизменно вставал большой белый дом с портиком о шести колоннах, с вышкой, которую моя мама называла «бельведером», с двумя полукруглыми галереями, охватывающими двор и соединяющими главный дом с флигелями: в одном была кухня и помещение для дворни, другой был предназначен для гостей.

В большом доме каждое лето жила огромная семья московских купцов Грачевых. Сыновей у Грачева было много, были и дочери; помню шепелявую Натану, с которой мы играли. Среди сыновей был глухонемой юноша, всегда сопровождаемый лакеем. Они оба носились с ружьями по парку и лесу, стреляя всякую птицу — больше всего ворон. Всеми делами сыновей вершил самый старший из сыновей — крупный рыжий парень, державший себя в семье, да и с посторонними крайне заносчиво. Он, как я теперь понимаю, слегка самодурил и немного играл в оригинальность, насколько позволяла это его небогатая фантазия. Каждое утро ему подавали коляску, запряженную парой серых, и, когда он в нее усаживался, лакей подносил ему на серебряном блюде толстый ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Лошади трогали, он откидывался на подушки, почему-то закрывал глаза и жевал этот ломоть всю дорогу до станции.

Наш флигель для гостей был немногим меньше большого дома. В нем было тридцать комнат, не считая огромной бильярдной. Мы занимали две или три, в некоторых других помещались наезжавшие к нам — часто в изобилии — гости.

За нашим флигелем начинался парк с остатками регулярных посадок, спускавшийся террасами с заросшими мохом и травой ступенями к ручью, который тек в Москву-реку. За ручьем, как перейдешь через мостик, дорожки терялись в густой траве, огромные ели смыкали свои лапы, и парк незаметно переходил в густой лес, полный ягод и грибов. К осени мы набирали массу всяких грибов и увозили с собой в Москву бочонки соленых груздей и рыжиков, банки маринованных опят и белых.

За кухонным флигелем тянулся совсем заглохший сад, почему-то называвшийся «русским». Там была трава по пояс, стояли одичавшие груши и яблоньки, были густые заросли лесного ореха, за которым мы туда совершали походы. Яблоки же — дички — и мелкие, твердые, как кар-

течь, груши нас не соблазняли; их полно было и на деревьях и под ними. Но как-то кучеров сын Серёнька сказал нам таинственно, что у богаделок на чердаке пропасть яблок. Богаделки — старые княжеские горничные и приживалки — жили на кухонном дворе в отдельном домике. На чердаке, куда мы сейчас же потихоньку забралась, лежали кучами дички — яблочки из русского сада; подвядшие и разогретые под накаленной солнцем железной крышей, они показались нам вкусными-превкусными. Потому прежде всего, что это был запрещенный плод, что надо было тайком забираться на чердак, тайком набивать карманы, пока не хватятся богаделки. А богаделки-таки хватились и принесли отцу жалобу на нас. Досталось нам здорово! Мама боялась за наши животы, а отца возмущала наша неразборчивость: он привозил из города достаточно хороших груш и яблок, а мы воруем несъедобную кислятину. А того не брал в расчет, что хорошие яблоки доставались нам просто — подошел и взял из вазы со стола, — а кислый и твердый дичок надо было раздобывать, обманывая бдительность зорких и злых старух. Это уж был спорт. Отец привозил также и конфеты, и пряники, и орехи. А мы все-таки, подражая дворовым ребятишкам, собирали кости и тряпки, чтобы потом выменять их у кривого мужика, раза два в месяц заезжавшего к нам на двор, на конфеты, пряники и подсолнухи. Ну, уж эти конфеты и пряники: одна мука и краска, даже почти без сахара! Однако с каким удовольствием мы их поедали! Прежде всего мы их добывали трудом: собрать достаточно костей и тряпок не так легко. А затем нам крепко-накрепко запрещено было собирать грязные тряпки, разрывая мусорные кучи и помойки, так же как и есть эту дрянь, то есть крахмальные, на клею пряники и паточные конфеты с краской нашего кривого старика. Но запрещенный плод сладок, какой бы он ни был гадостью!

Тетка скоро утешилась в разлуке с братом: у нее на руках оказался новый воспитанник — сын ее двоюродной сестры, вместе с которой она переехала из Москвы в Петербург. И странно: он, этот ее новый любимец, подрастая, становился точным повторением нашего Бориса со всеми его «милыми» чертами вплоть до мелких краж и постоянного лганья без повода и надобности. Он так же, как мой братец, не одолел гимназической премудрости, в чем так же оказались виноваты бездарные и злобные учителя, которые к нему почему-то придирались. И потом, устраиваясь кое-как в жизни, он всегда оказывался жертвой, а кругом все были дураки и бездельники; для таких бездарных лодырей почему-то всегда все кругом бездельники и идиоты.

Последние годы своей жизни тетка, всегда отдававшая все свои силы и помыслы заботам о других, доживя до беспомощной старости, провела в одиночестве, в богадельне. И я очень и очень грешен перед ней. Передавая ей изредка через других немного чаю или денег, чтобы только чуть-чуть заглушить голос совести, повелевавшей больше позаботиться о милой тетке, я даже ни разу не навещил ее там.

Приближался день отъезда из Москвы. Прощание с родственниками и старыми друзьями растянулось на много дней. У одной очень богатой папиной тетки, где мы, дети, никогда не бывали и где все нас теперь ошеломяло широтой и великолепием, я познакомился с мальчиком моих лет, даже чуть моложе, который, когда мы при помощи взрослых посчитались с ним родством, оказался мне дедушкой! При сложном и достаточно дальнем родстве это, оказывалось, вещь вполне возможная. Мальчик был бледный, рыхлый, в очках, но, несмотря на свой вялый и солидный вид, он оказался отчаянным озорником и сквернословом. Я быстро подпал под его влияние, перенял от него многие ша-

лости и тут же в саду и за обеденным столом, по его «подначке», как говорят теперь ребята, многие из них проделал, удивив своей неожиданной удалью хозяев и вызвав на свою голову изрядную нахлобучку уже потом, дома. А ведь я далеко еще не выполнил всей его программы! Только дня через два я проделал самый замечательный трюк моего проказливого дедушки — «автоматическое запираение дверей». Этим способом можно запереть дверь изнутри, находясь самому снаружи, — если только она запирается на крючок. А делается это так: надо поставить крюк вертикально с чуть заметным наклоном вперед и прихлопнуть дверь посильнее; крючок падает, попадает в петлю, и дверь «автоматически» запирается.

Я не помню пустой квартиры, связанных тюков и чемоданов. Как совершился переезд, как мы ехали — этого память мне не сохранила. Она меня переносит сразу в Чернигов, в «Гранд-отель». В каждом городе, городке и городишке непременно была гостиница с таким названием. Предполагалось, что «Гранд-отель» — лучший отель в городе, на то он и «гранд»; потому, вероятно, мы там и оказались. Но, по-видимому, этот «отель» чем-то обманул чаяния родителей, потому что уже через день мы оказались в другой гостинице. Она была и побольше и получше, с рестораном и садом, в котором было еще летнее ресторанное помещение — простой деревянный сарай, снаружи сплошь завитый диким виноградом, а внутри довольно мрачный, с закопченными стропилами над головой и темными деревянными стенами, не оклеенными обоями и даже некрашеными. Сквозь дикий виноград, заслонявший большие окна, с трудом проникал зеленый свет, сгушавший мрачноватый, очень своеобразный уют ресторана. Когда я теперь читаю американских писателей (Лондона, Брет-Гарта или О. Генри), то такими мне неизменно представляются их «салуны» где-нибудь в приисковых городках.

От дверей «салуна» до калитки на улице были насланы дощатые мостки, назначение которых мне стало понятно, когда вскоре разразился первый (для меня) южный ливень. Я торчал у воротец, над которыми полукругом красовалась надпись: «Царьградская гостиница», и слушал военные рассказы официанта Кузьмы. Кузьма, подперев плечом косяк калитки и небрежно обмахиваясь салфеткой, повествовал о том, как он воевал с турками, которых так ненавидел старый Христодуло, хозяин нашей гостиницы — грек из Константинополя. В воздухе стояла духота, которая как будто все сгущалась. Вдруг рванул ветер, поднялась столбом пыль, закружились в воздухе бумажки, солома, стружки, которых раньше не видно было нигде на мостовой. В качестве главной улица была мощеной, и только по склонам от тротуаров росла густая низенькая травка. Ветер так же внезапно улегся, как налетел; бумажки, плавно покачиваясь в воздухе, спускались на землю, но не успели ее коснуться, как ветер рванул с новой силой — и сейчас же упало несколько крупных капель дождя. Кузьма бросился к столикам, врытым повсюду в саду, стал срывать с них скатерти, и одноногие столы оставались торчать на своих столбиках, как большие белые поганки. Я едва успел добежать до «салуна», как разразился ливень, да какой: в двух шагах ничего не было видно! Кузьма, уже под дождем собиравший стулья, только на мой голос нашел вход в «салун».

Дождь скоро прекратился — на все понадобилось не больше десяти минут, — но, боже, сколько набралось воды! Весь сад был затоплен и стоял сплошным озером. Только по мосткам можно было добраться до тротуара и выглянуть на улицу. Там быстро текла, пенясь, сплошная река — от тротуара до тротуара. Но вот показалась середина улицы, река разделилась на два потока, а вот уже вода бежала только двумя небольшими ручейками вдоль тротуаров и можно было переходить ули-

цу по горбатым, нарочно на такой случай припасенным на перекрестках мостикам, которые так смешно торчат там в сухую пору. Все блестело на солнце: и листья огромных тополей, и трава, и кирпичи тротуаров. Деревянные мостки дымились, а от «салуна» шел уже Кузьма с мокрыми волосами и, притулившись, как говорят в Чернигове, к столбу калитки, продолжал прерванное повествование о турецких вылазках и ночных разведках.

Этот ливень не единственное экзотическое впечатление первых недель в Чернигове. Еще больше нас поразило обилие ягод — прекрасных, крупных, черных вишен. Их приносили корзинами, лежали они на столах кучами, ели их «жменями» — горстями. Устав есть, мы играли ими, увешивая гирляндами из них картинки на стенах, стенки диванов, друг друга и даже нашего приятеля Кузьму: мы вешали двойные, сросшиеся черенками вишни ему на уши. Из озорства и на потеху нам он, убежав на зов посетителя, барабанившего ножом по тарелке, так и прислуживал за столом с вишнями за ушами.

Такого обилия фруктов, как здесь, я не видел. Яблоки — «коричневые» (совсем не коричневого цвета, а беловатые с румянцем черточками) и «анисовые» (смуглые, красноватые яблоки, ничуть не пахнувшие анисом) — два знаменитых московских сорта, за которыми ездили специально на Болото, как назывался в Москве фруктовый рынок, — в сезон лежали в нашем буфете, наполняя целый ящик, что нам казалось невероятной роскошью. Вишни же для нас красовались только в окнах магазинов, дома же они не появлялись — вероятно, были недоступны по цене. И вдруг их здесь такая пропасть! Потом появились в таком же обилии смородина и абрикосы — совсем уже неизвестный нам до сих пор плод, а там — скороспелые груши, прежде всех лимонка, желтенькая небольшая грушка, затем маленькая хорошенькая грушка из породы дюшесов, которую там называли «принц мадам» (*madame la princesse*), за ними яблоки, летние сорта пепенка и путимка, такие же здесь знаменитые, как коричневые и анис в Москве, — и все это пудами, возами, кучами, грудами — везде и всюду!

В «Царьградской» мы прожили почти все лето, пока ремонтировался нанятый отцом домик. Подумать только: мы будем занимать целиком отдельный дом да еще со своим собственным садом, где зрели всякие фрукты и ягоды только для нас одних! Ягоды, правда, были уже оборваны хозяйскими детьми, но большое дерево роскошной антоновки, яблоки которой, вызревшие на дереве, совсем не похожи были на зеленую кислятину, которую продают под этим именем в лавках, стояло во всей красе. Мы смотрели на них с восхищением и далеко не сразу привыкли к такому чуду, как яблоки на дереве.

Лето проскочило быстро, скучать было некогда. В гостинице народу было пропасть по случаю открытия мошей Феодосия Углицкого, которое состоялось той же весной. По странной случайности (в которой, правда, если и было что странного и удивительного, то только для меня) в той же гостинице в ту же весну жила с неделю со своим дедом приехавшая поклониться мошам издалека маленькая девочка, впоследствии, через много лет — моя жена. Я ее, конечно, не заметил и не почувствовал, что судьба, как это она любит иногда, подвела меня на минутку вплотную к моему будущему.

Мы наконец выбрались из «Царьградской», но хозяин гостиницы — пузатый грек с большими висячими усами и голым черепом, ни дать ни взять Тарас Бульба, каким он нарисован в моем сборнике сочинений Гоголя, — его жена, константинопольская армянка, и их сын, мой сверстник, навсегда остались нашими друзьями. Как чеховский Дымба, старый Христуло обожал свою Грецию, которую покинул чуть не в са-

мом раннем детстве, в которой, по его словам, «се есть»; если что-нибудь он особенно хотел похвалить, то у него оказывалось «греческим» или по-«гречески». Он был великий кулинар и иногда стряпал какие-нибудь особенные кушанья собственноручно, выпроваживая всех вон из кухни: его рецепты были для всех тайной.

Провинция и провинциалы

Дом, куда мы переехали из гостиницы, стоял почти на краю города в тихой, пустынной улице, на которой, казалось, были одни заборы бесконечных садов. Редкие прохожие, еще реже извозчики, тащившиеся шагом, утопая по ступицу в тяжелом крупном песке, никогда не подымавшемся пылью.

Глухая провинция, тихая деревня после Садово-Самотечной, по которой сновали сотни прохожих, дребезжала конка, постоянно тянулись ломовики со всяким грузом, и если с железом, то грохот был такой, что сам себя не слышишь и что-то в груди отдается — гудит.

Здесь, на Мстиславской¹, была тишина, настоящий деревенский уют. Все знают всех, и события улицы переживаются почти как семейные. Когда случится выйти на звонок и открыть дверь гостю, видишь, как растворяются все соседние калитки (по-черниговски — фортки) и отовсюду глядят любопытные глаза: кого бог послал соседу? Скоро и мы с помощью прислуги знали всех кругом.

В высокой, старой, дребезжащей всеми гайками, настоящей поповской бричке — величавая фигура в широкополом порыжелом цилиндре. Это отец Бурима, настоятель нашей приходской церкви, глубокий старик, уважаемый всеми за свою строгую жизнь и мудрость. К нему приходили за советом в трудные минуты жизни не только его прихожане, но и люди с других концов города, и даже евреи. Служил он проникновенно, с большим чувством, а великим постом так читал «Господи, владыко живота моего», что многие приходили в Николаевскую церковь за тем только, чтобы поплакать всласть.

В такой же допотопной бричке, забрызганной грязью еще с того дождя, что был с месяц назад, проезжал мимо наших окон доктор Сикорский — огромный, грузный старик с вечной сигарой во рту. Грязный, опустившийся, он ездил по больным, с полным безразличием относясь к болезням и страданиям.

Жил он рядом с костелом и раньше, много лет назад, говорят, был в большой дружбе с богом. Но с тех пор, как умерла его жена, вылечить которую не могли черниговские медики, он отвернулся и от бога, и от его представителя на земле — ксендза, когда тот проходил мимо его окон, идя в костел или оттуда, хоть прежде он и был ему другом.

Ксендз в длинной черной сутане с массой мелких пуговиц прежде всего возбудил наше детское любопытство, как только мы заметили его на нашей улице. Мы с сестрой смутно знали, что существуют другие веры, кроме нашей; существуют и священники других вер, которые называются ксендзами и пасторами. Но мы никогда не видели их близко. С ксендзом же Козелевским мы даже скоро познакомились, как только приехала бабушка и стала ходить в костел, а мы с сестрой часто за ней и увязывались. Ксендз потом стал частым и желанным гостем у нас дома. Он жил наискосок от нас, с угла на угол, у бездетной четы чиновника-поляка.

¹ Старый город был перепланирован при Екатерине II, и улицы получили искусственные названия от имен князей (Ольгинская, Владимирская, Ростиславская) или от церкви (Пятницкая, Воскресенская).

Бывали мы с сестрой у ксендза в гостях, даже в его комнате, чистенькой, нарядной, как у девушки, с кисейными занавесками, с кружевными покрывалами на кровати, с коврами и ковриками (все подношения прихожанок), с большим распятием на стене — оно только и говорило о том, что это комната священника. Ксендз был мил, прост и даже весел и мало походил на того строгого, величавого священнослужителя, каким мы видели его в костеле.

За что-то его выслали из Варшавы сначала далеко на Север, а потом перевели в виде особой милости в Чернигов; но и тут он долго находился под надзором полиции, хоть и имел право служить и совершать требы. О своем прошлом он никогда не рассказывал, но видно было по всему, что он человек светский, который не все жил среди провинциальных простаков. Он тонко знал, как составить меню, что за чем должно следовать за столом, как что надо есть, какое вино, когда и как надо подавать.

Коллекция провинциальных типов быстро росла.

Едва мы устроились кое-как в новом доме, к маме пришла познакомиться хозяйка и сразу же поразила маму глубиной своих взглядов на воспитание детей. В них сказались и начитанность, и как будто результаты собственного огромного опыта (как потом оказалось, она всегда была или беременна, или кормила грудью; и так это быстро сменяло одно другое, что хоть она была еще совсем молодой женщиной, но уже девять ее отпрысков бегали по двору). Разговор шел о детских садах в Швейцарии, о воспитании детей в Америке; всякие Песталоцци так и сыпались с ее языка вместе с фонтаном брызг: она безумно шепелявила и плевалась, когда говорила. Это была крупная неряшливая женщина, вся засыпанная — и лицо и руки — рыжими веснушками.

Мама очень обрадовалась, что будет иметь постоянно около себя такую мудрую советчицу по всем вопросам «материнства и младенчества». Но очень скоро, в ближайшие же дни, обнаружилось, что мудрость мадам Миронович в этих вопросах была ограниченно-теоретического, совершенно отвлеченного порядка. Собственный ее детский сад был настоящей разбойничьей шайкой: оборванные, немые ее дети постоянно дрались друг с другом, ругали друг друга и мать площадными словами, чуть она делала им замечание; они весь день были в действии, осуществляя какие-нибудь мерзейшие шалости или грабительские набеги на соседние сады и кладовые.

Маме пришлось экстренно принимать самые решительные меры для ограждения нас от общения с этими детскими, воспитанниками черниговской мистрис Джемблин.

Вспоминая эти первые свои впечатления, я замечаю, что люди в провинции как будто своеобразнее; в них как-то определеннее, ярче сказываются особенности их натуры. Столичному глазу поэтому они кажутся с первого взгляда почти карикатурами. В большом городе, в Москве, например, нет недостатка, конечно, в ярких фигурах. Но они как-то меньше выделяются, прочнее связаны с фоном, крепче в него вправлены. В провинции людей не так много, потому они меньше сливаются в общую массу, шире, так сказать, расставлены в жизни, более, следовательно, обособлены и потому их легче увидеть в отдельности. В столичном колдовом, в постоянной суете не выделишь человека из толпы одним взглядом; надо всмотреться поближе, подольше понаблюдать, а остановиться некогда, жизнь течет быстро, стремительно, и один человек скоро заслоняется другими.

Так это или не так, потому или не потому, но только не увидишь в столице такого своеобразия лиц, как в провинциальном глухом углу.

В большом городе даже юродивые и сумасшедшие затеряны в толпе, они не бродят по улицам, как в Чернигове, составляя необходимую принадлежность местного бытового пейзажа, если так можно выразиться.

Все попривыкли к этим тихим помешанным, почти не замечают их, несмотря на их странности. Но если бы капитан Синюк не появился на балу в Дворянском собрании, все стали бы спрашивать друг друга, что с ним, куда он девался? А когда он тут, в зале, никто не обращает внимания на его странную фигуру, да и он не ищет ни с кем общения, а развлекается самостоятельно, подплясывая среди танцующих совсем не в лад с тем, что играет военный оркестр 172-го Переволочинского полка под управлением Зиссермана. Этот маэстро, впрочем, дирижировал только первыми тактами первого вальса, подобно тому, как губернатор, предложив руку какой-нибудь уважаемой молодой даме, делал первые па, открывая бал. Губернатор потом удалялся во внутренние покои к предводителю дворянства, а капельмейстер, передав управление оркестром первой флейте, отправлялся в буфет, откуда иногда появлялся потом побродить по залу, только лицо его всякий раз становилось краснее и его рачьи глаза все больше наливались кровью.

Капитан Синюк, потерявший рассудок в результате контузии в турецкую кампанию 78-го года, всегда жил своей собственной, судя по всему — полной и хлопотливой, жизнью. Он всегда куда-то озабоченно спешил, постоянно оживленно беседовал с какими-то воображаемыми лицами, редко замечал живых людей вокруг себя. На балу он ставил себе на весь вечер какую-нибудь несложную, безобидную задачу. Как-то он придумал, проходя в дверь, всякий раз продевать свой носовой платок в дверную ручку. Он делал это быстро и деловито, бормоча какие-то заклинания. Никому он этим не мешал, хоть и задерживал несколько поток оттанцевавших пар, которые стремились в гостиные, где предлагались прохладительные напитки и мороженое. Но однажды его задача оказалась несколько нескромной: он поставил себе целью перецеловать обнаженные плечи всех дам в зале. Для этого он тихонько подкрадывался к даме и, быстренько поцеловав ее в плечо или в спину, отворачивался с невинным видом и шел, приплясывая, дальше. Пришлось вмешаться распорядителям: роскошный чиновник особых поручений с голубым бантом на плече фрака и не менее роскошный студент с таким же бантом на мундире (конечно, на белой подкладке) подлетели к капитану, подхватили его под руки и повели к главнокомандующему, который, как оказалось, вызывал его к себе, чтобы наградить еще одним георгиевским крестом, а у него и без того были полны петлицы солдатских георгиев, привязанных целыми пучками.

Другой, менее заметной и менее популярной фигурой была наша «мисс Гевишам». Смутно была известна история этой обманутой невесты.

Все знали, что капитан Синюк живет в собственном домике со своей старушкой матерью и двумя мопсиками, которых он водит с собой по улицам. Но где жила «мисс Гевишам» и как ее звали по-настоящему — никому не было известно. А жила она, вероятно, в большой бедности, ибо ее изысканные туалеты были крайне убоги, хоть и свидетельствовали об аристократизме самой высокой марки, как и манеры самой невесты, уже далеко не молодой девицы, которая, сложив перед собой руки в митенках и опустив долу глаза, быстрыми шагами проносилась по бульварам и по Шоссейной улице. Ее костюмы, крайне разнообразные, были из самых дешевых материалов, из коленкора и старого тряпья, но отличались яркостью цветов и неожиданностью их сочетаний: юбка густо-красная, жакет с баской, как носили в семидесятых годах, черный, с цветными рукавами — один синий, другой зеленый. Больше же всего

ее фантазия изощрялась в украшении шляп, отделанных лентами, нарезанными из колленкора и цветной бумаги.

Толкнул я свою память, и меня плотно охватила старая (увы, в самом деле очень старая!) черниговская атмосфера, и полезла на меня толпа лиц и замечательных чем-нибудь, и вовсе ничем не замечательных. Вспоминается как-то все сразу и нет возможности (да и есть ли надобность?) разобраться в этом обилии. Все кружится на фоне черниговского пейзажа. То это начало весны, первая неделя поста, когда мы говели. Только что на масляной мы катались на санях, хоть и по плохому уже снегу; за эту же неделю успевают сойти последние его следы, сбегать все воды и даже подсохнуть грязь. И вот уже пасха, днем солнце греет совсем уже по-летнему, и цветут вишни и яблоки. Приезжает из дальних странствований мой учитель рисования Иван Иванович, о котором я еще порасскажу потом и который утверждал, что нигде на свете не бывает весен чудеснее черниговских. А там уже в садах висят на деревьях и валяются под ними такие яблоки и груши, какие в столицах у какого-нибудь Елисеева на окне лежали отдельно каждое в гнездышках, свитых из папиросной бумаги. Потом после ясной теплой осени — короткая, иногда очень снежная зима, когда провинциальная тишина становится еще заметнее и только извозчицьи лошадки во избежание столкновений гремят по приказу губернатора бубенцами своих ошейников.

Не люблю я зимы — даже короткой и мягкой. А искусствоведы будущею, если только им будет дело до моего искусства и если кое-какие мои работы сохранятся, будут считать меня «мастером зимы» за мои зимние пейзажи на китайской бумаге — самое приметное в моем творчестве. Что ж, я ее хорошо чувствую, зиму, и охотно люблюсь ее снегами и узором ветвей, запорошенных снегом... но только из окна. И сейчас менее всего милы мне черниговские зимние воспоминания, хотя и они вливаются в то общее, что нахлынуло на меня сейчас и хочет сразу же здесь и вылиться в таком же сжатом, уплотненном до предела концентрате, как хранится в моей памяти. Но нет у меня к тому сил. Хоть я и убежден, что в искусстве как раз то только ценно и действительно, что выражено сжато и кратко. В своем деле, где я свободнее и искуснее, чем на этих страницах, я всегда стремлюсь к такому уплотнению. И в литературе я люблю такую же предельную сжатость.

За это именно я особенно чту Чехова, у которого сама форма так скупа и лаконична, что тупому взгляду, не видящему за нею богатства содержания, вся постройка может показаться легковесной¹.

Этой легкостью и меня когда-то попрекали. Все кажется почему-то, что моя скупая линия сделана с маху, без поисков, что только многословное изложение требует много труда. Как раз нет: именно доведенная до крайней простоты форма требует и великого творческого напряжения, и долгого размышления, и длительной подготовки. Между формой и содержанием, если только можно их различать (но не расчленять!), соотношение обратное: чем многословнее форма, тем менее концентрировано содержание, тем оно «реже», распыленнее. И уж, конечно, легче рассказать, наворотить очень много по поводу малого, чем очень малыми чертами выразить большое! Два прямо противоположных приема: один — нагромождение все новых и новых подробностей, новые слова все о том же, чтобы полнее, многостороннее выявить содержание. А оно, это содержание, не становится яснее от новых пояс-

¹ В. И. Немирович-Данченко в своих воспоминаниях о Чехове пишет: «Возьмите карандаш, прочтите внимательно хотя бы страничку Тургенева, и вы что-нибудь да вычеркнете оттуда. И самый придирчивый критик не мог бы совершить такой операции над Чеховым...»

нений, а расплывается в многословии, слабеет, сереет. Зрителю или читателю становится скучноватой такая слишком разжеванная пища. Он уже давно понял и почувствовал, что ему хотят сказать, а ему еще и еще новым набором слов растолковывают все то же.

Другой прием, наоборот, отметение лишних подробностей, оголенные формы, очищенные от повторений — хотя бы и другими словами — того, что уже сказано. Тем, что большое содержание зажато в скупую (количественно) форму, создается великое напряжение, каждое слово наполняется большим весом, каждая линия, каждая точка становится значительной, необходимой. Тогда как в первом случае, при многословном изложении, не все подробности одинаково необходимы и взгляд мимо них скользит равнодушно, здесь — когда изложение скупое подробностями — каждая черта необходима. Многословный прием творчества порождает неряшливость: в большом обилии подробностей кое-что можно незаметно, без вреда для целого сооружения сократить, выкинуть, переставить. В сжатом, скупом изложении нельзя посягнуть ни на одну из черт: каждая черта, каждое слово на счету. И еще: многословное произведение читается (или смотрится) без напряжения, усваивается безучастно, бездеятельно — что-нибудь да зацепится за сознание из того, чего так много. Произведение, изложенное лаконично, надо читать или смотреть активно, творчески, внимательно вглядываясь в каждую черту, разгадывая намеки и пополняя недосказки.

Чувствую, что вдался (и довольно глубоко) в тот прием изложения, что назвал многословным, и все-таки, кажется мне, не сказал все так ясно, как хотел. Возможно, что к этим рассуждениям я еще вернусь, когда буду говорить о своем творчестве, если только мои записки дотянутся до этого пока далекого времени. Сейчас я еще десятилетний мальчишка, еще только собираюсь впервые в гимназию. Искусство еще не пролезает в мою жизнь, не забирает меня в свои лапы. Пока я занимаюсь другим — учусь играть на скрипке у старого музыканта из тех, что играют на деревенских свадьбах, — такъв каприз отца, который думал, как многие, что для того, чтоб заложить начало, не надо быть профессором.

Мой старик учитель был необычайной душевной ясности, и прежде всего потому, что давно уже впал в детство. Жизнь подарила ему несколько лет спокойной старости: он выдал свою дочь за богача и с тех пор перестал таскаться по свадьбам и кабакам, даже уличное его прозвище Никитка-музыкант стало забываться ввиду его нового, почтенного положения.

К нам он приходил с утра, когда ему вздумается, и вместо положенного часа просиживал и три и пять. Я уходил играть, побегать в саду или садился с мамой за диктовку или арифметику, а он все сидел и писал мне ноты — и все это были разные переложения украинских песен со старыми, традиционными вариациями. За чаем или за обедом, до которых он неизменно досиживал, он всегда рассказывал длинную анекдотическую украинскую историю — одну из трех застрявших у него в памяти — и не замечал, что мы все, знавшие эти истории наизусть, вели вполголоса свой разговор, как не замечал, что от его затянувшегося урока я убегаю для других занятий или игр.

Кораблестроение. Natur- и всякая иная философия

Двум-трем своим приятелям я признался, что пишу что-то вроде воспоминаний. Они очень удивлены тем обстоятельством, что я, исписав уже три толстые тетради, добрался только до девятилетнего своего возраста. Говорят, что обычно детские годы в мемуарах или вовсе опуска-

ются, или занимают там мало места, служа лишь введением — их цель показать только то, что французы называют l'origine автора. Воспоминания якобы приобретают интерес с того момента, когда уже взрослый, вполне сознательный автор становится участником или свидетелем великих или только значительных событий, сталкивается с чем-нибудь замечательными людьми. Якобы только рассказы о событиях необычных, о людях знаменитых могут иметь общий интерес¹, а все остальное, все события личной жизни так и остаются только личными, не могут приобрести интереса общечеловеческого.

Я вполне убежден, что это не так. Достаточно вспомнить хотя бы «Детство» и «Отрочество» Толстого, «Историю моего современника» Короленко или «Книгу моего друга» Ан. Франса. Может быть, это не просто честные, бесхитростные воспоминания о своих детских днях, может быть, только некоторые черты биографии стали толчком для создания этих замечательных хроник, имеющих поэтому не только ограниченно автобиографическое значение. Для меня здесь ценно то, что они построены, как воспоминания детства, замкнуты в круг семьи, родных, знакомых. Авторы их не тянутся за великими событиями, за знаменитыми людьми. И тем не менее эти воспоминания детства читаются с великим интересом уже несколькими поколениями и, по-видимому, никогда этого общечеловеческого значения не утратят.

Пусть не подумает кто-нибудь, что я хочу своими воспоминаниями стать в ряд с помянутыми выше чудесными хрониками. Я их вспомнил только, чтобы пояснить свою мысль, которую хочу еще продолжить.

Должен признаться, что за личными, семейными — своими или чужими — событиями я признаю подлинный общечеловеческий интерес. Потому прежде всего, что личную и семейную жизнь всякий ощущает как наиболее близкую себе.

Кто хочет проречь мою мысль более расширенной и уточненной, пусть откроет «Барнеби Радж» Диккенса. Там мои мысли изложены и полнее и сильнее, чем я это могу сделать.

Помянул Диккенса — и не могу не задержаться немного на нем: я его очень люблю! Говорят — и это меня страшно злит, — что он бездумный, что его книги — это гениальное развлекательное чтение, привлекающее остротой фабулы, обилием образов, их четкой выпуклостью, но что за всем этим в глубине нет ничего, нет никакой направленности. Как это глубоко неверно! Диккенс — самый тенденциозный писатель, какого я знаю, только его тенденция не обнаруживается так сразу и целиком потому прежде всего, что никогда не бывает основой произведения в том смысле, как, например, у Шекспира: одна драма — «любовь», другая — «ревность» и т. д. Не бывает у него такого единственного стержня, на который все было бы нанизано. Если начать выискивать в любом романе Диккенса идею, которой было бы все подчинено, то таких идей оказалось бы множество, протянутых то параллельно, то хитро переплетающихся. Но за этим обилием тем, за богатством лиц и событий у Диккенса всегда и повсюду сквозит, как тень, одна постоянная, скрытая этим внешним обилием тенденция — недоверчивое, даже враждебное отношение к современным ему людским государственным установлениям.

В мировой литературе я знаю еще только два ярких примера такого же постоянства и настойчивости, что и у Диккенса. Конечно, это

¹ Вспоминаются виды городов — наших и европейских — в альбомах и открытках: всегда — собор, дворец, театр, вокзал, музей и т. д. Фотограф считает, что интересны только такие замечательные здания, и не догадывается снять простого городского пейзаж с обывательскими домами, среди которых оказались бы и дворец, и музей, и театр. Такой пейзаж был бы типичнее для города, дал бы о нем более верное представление.

Толстой прежде всего с его отрицанием всяческой государственности, возведенным в догмат. А во-вторых, Анатолий Франс. Даже в тех своих произведениях, где антигосударственная тенденция не стоит основой всего сооружения (как в «Восстании ангелов»), например даже там, где все содержание — житейские личные дела какого-нибудь Бержера, и там он к месту или не к месту порочит то суды, то войны и военных, то духовенство и веру как оплот государственности.

То же неустанно делает и Диккенс. К слову: он никогда не отдает своих злодеев в руки правосудия, а расправляется с ними сам, то обрушивая на них дома, то топя их в полой воде, а то заставляя их самих как-нибудь покончить с собой, иногда даже в ту последнюю минуту, когда на них уже наложило руку человеческое правосудие, как это случается с одним из Чезлвитов. Он не доверяет правосудию, не позволяя ему выступить ни защитником человеческих прав, ни мстителем, тем самым косвенно осуждая то человеческое установление, которое всегда было оплотом государственности.

Но я уж очень отвлекся в сторону. Ведь мне десятый год. В своих мечтах я давно уже не кучер — теперь я моряк. Маленькие лодочки, сшитые из клеенчатой обертки общей тетради, которые я пускал в московских уличных канавках после дождя, вырастают теперь в большие деревянные корабли. Я строю их если не по всем правилам корабельной техники, то со всеми мелкими деталями: все подробности рангоута и такелажа воспроизводятся мною с педантичной точностью по чертежам из большого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, который становится моей любимой книгой для чтения; я уже не лезу с вопросами к взрослым, а сам ищу на них ответы в этом словаре.

Необходимое условие, на которое должны отвечать мои модели фрегатов и шхун, — это мореходность: они должны не только внешне воспроизводить приметы корабля, но должны хорошо стоять на воде, ходить под парусами при ветре и слушаться руля. Свои пробы я произвожу, увы, только в бочках для поливки цветов, которые стоят везде под водосточными трубами, — большего водяного бассейна не было у меня поблизости. Под один из желобов поставили еще огромную железную ванну: запаса воды в бочках не хватало для поливки папиных обширных цветников.

Пуская свои большие парусные корабли и маленькие лодочки с резиновым мотором своего изобретения в этой ванне, я заметил одно явление, которое навело меня на долгие размышления. Вернее, я не замечал тех явлений, которые ожидал видеть: мне хотелось, чтобы все выглядело по-всамделишному, и мой корабль, как настоящий, набрав ветру в паруса, должен был мчаться по воде. Но что-то мешало полной реальности картины. А казалось бы, все условия были налицо. В этот угол сада залетал настоящий ветер, кренил набок мою шхуну, и она, надув паруса, неслась из одного конца ванны в другой. Я пригibasлся, устанавливал свой глаз на высоте борта ванны и старался представить себе, что с берега смотрю на удаляющийся корабль. Но не было той картины, которую я все старался воспроизвести: «корабль в открытом море при свежем ветре». Не пенилась за кормой вода, нос корабля, рассекая воду, не отворачивал крутых, разбегающихся в стороны валов.

Вода вела себя как-то не по-настоящему. Она как будто была слишком густа и неподатлива даже для больших моих кораблей. Маленькие же лодочки так и вовсе как-то нелепо «влипали» в воду, она как бы взбиралась на их борта со всех сторон, мешая настоящему ходу. Я ничего не знал ни о пленке поверхностного натяжения, ни о мениске. А просто заключил, что раз вода по-разному относится к большим, на-

стоящим кораблям и к моим маленьким корабликам, раз для гех она достаточно жидка, а для моих оказывается вдруг такой густой, то, значит, она имеет свой масштаб, то есть свою постоянную густоту, или «крупноту», как мне хотелось тогда выразиться. Ее густота — непременное ее качество, которое и делает ее такой тяжелой и неподатливой для моих так уменьшенных по сравнению с настоящими кораблей.

Размышляя дальше (надолго мне хватило этих размышлений!), я пришел к убеждению, что вся материя в природе (не только на нашей планете, но и во всем, может быть, мире) должна иметь определенную и постоянную «крупноту» строения. И потому все ее творения — и человек в том числе — должны иметь определенные размеры, которые могут колебаться только в очень узких границах, так как ткани, из которых он сделан, и жидкости, которые в нем переливаются, имеют определенный масштаб строения. Я должен был с грустью признать, что в природе не может быть тех великанов, о которых рассказывают в сказках, не может быть и тех малюсеньких людишек, которые в нашем с сестрой воображении совсем недавно населяли нашу детскую.

О масштабе и размерах мне и раньше приходилось задумываться, но иначе, исходя из того, что может увидеть глаз и чего не может, я задумывался над этим не как «естествоиспытатель», а как «художник». Рисуя лошадек, я обыкновенно вырисовывал все подробности только у лошадей побольше, на всю четвертушку бумаги. Когда же мне случилось рисовать маленьких лошадек, я не делал им ни копыт, ни колен не только потому, что у них эти подробности не разглядеть, но искренно убежденный, что они им, таким малюсеньким, не нужны, не полагаются и что, если бы такие маленькие лошадки народились живые, их ножки были бы, как я рисовал, прямыми палочками.

Тогда уже смутно чувствовалось то, в чем я сейчас твердо уверен: всякому размеру рисунка — свои пропорции, а также и свои детали. Нельзя потому механически уменьшать или увеличивать рисунок, как это делается в фотографии, — во всяком размере следует компоновать рисунок заново, тогда и пропорции в каждом случае непременно окажутся иными.

В своих детских размышлениях я часто предвосхищал то, что потом узнавал из учебников и книг. Так что чтение в таких случаях только проясняло и систематизировало мои уже готовые знания, которые, впрочем, вернее следовало бы назвать не знаниями, а смутными предчувствиями знаний.

...Стол был накрыт к ужину на террасе. Посередине стояла садовая лампа с приспособлениями, предохранявшими ее от ветра. Тени от предметов, стоявших на столе, тянулись по скатерти, потом, ломаясь, ползли по стене. Вглядевшись в эти искаженные теневые изображения, я заметил, как мало они соответствуют тем предметам, которым принадлежат. Тень от большого кувшина с молоком, стоявшего на краю стола, была немногим только больше самого кувшина и довольно точно воспроизводила на стене его очертания — он на тени был только слегка кособок. Тень же от небольшого флакона с прованским маслом, стоявшего около самой лампы, протянулась, все расширяясь, по столу, переползла, ломаясь, по тарелкам и вползла на стену, широкая и расплывающаяся, куда больше кувшина с молоком и даже вазы с цветами, стоявшей на другом конце стола.

Что, если так и все вокруг нас, что, если нам дано видеть только тени предметов и сами они не совсем такие, как их видимость?

Вот, например, тут же на стене огромная тень бабушки. Сама бабушка сидит за столом и читает в ожидании ужина. Вот я подымаю прутик (я только что ходил в темный сад посмотреть, не упало ли с де-

рева где-нибудь яблоко, и для храбрости брал этот прут с собой), на стене появляется тень прута и скользит, понемногу приближаясь к носу бабушкиной тени. В действительности мой прут и бабушка далеко друг от друга, но на тени прут вот уже коснулся бабушкиного носа... «Что с тобой, Волядя! — слышу я бабушкин голос. — Ты мне нос проткнул своей веткой!» Оказывается, на этот раз мир явлений и подлинный мир совпали!

Да не подумает тот, кто заглянет в эти записки, что я был отвратительно умным или скучно мечтательным мальчишкой. Нет — вся эта моя мечтательность и склонность к философствованию ничуть не мешала мне быть, как всем, шаловливым, правда не свыше меры, но большим любителем качаться на качелях так, что веревки ослабевали, лазать на деревья за яблоками и стрелять из лука и рогатки воробьев.

Ярмарки. Маевки

...Надо рассказать Соне. Только она это поймет, потому что в «этом» — намек на какое-нибудь семейное событие, ставшее анекдотом в семье, и только этот намек осмысливает то, что сейчас притянуло внимание. Только Соня, свидетельница того давнего, поймет меня с полуслова и ощущение, как и я, теперешнюю, осовремененную тень этого старого, что вспомнилось сейчас.

Но ее нет: ровно год тому назад, 28 февраля, она умерла. Некому понять меня, войти в ту атмосферу, которая охватывает, когда воспоминание коснется того давнего.

Закрытые навсегда страницы!

Вот как отходят в вечность без следа, без возможности их воспроизвести целые отделы жизни.

Старческая изолированность? Не полная еще — это ведь далеко не вся жизнь. Отмирают только самые дальние, ранние куски. Отмирают со смертью тех близких, что жили тогда рядом одной жизнью.

Да! Чувствуешь — кусками отваливается жизнь.

Как жутко.

Надо рассказать Соне...

Тени событий легко оживают в рассказе. тени ушедших лиц легко выстраиваются в живую галерею портретов. Но старое мировосприятие, тени былых ощущений — как их оживить?

Легко рассказать, как чистый осенний свет солнца заливают неоглядное поле на берегу реки, где собиралась ярмарка; как над ней стоит облако пыли, которое одно и видишь издали с вала; как издали слышишь шум, гул — смутный, как это облако пыли. Из этой пыли, когда подходишь, выдвигаются поднятые оглобли возов, шатры палаток, головы и спины лошадей, наконец море брилей и смушковых шапок. Так и в этом шуме начинаешь различать, приближаясь, ржанье лошадей, скрип возов, звуки шарманки и бубна у каруселей и наконец человечьи голоса.

Но как рассказать, почему все это праздник, почему так стремишься в эту толпу? И хоть сам не сядешь на деревянную лошадку карусели, потому что это чуть неприлично, да и не особенно увлекательно, но смотришь весело и жадно на все кругом, такое необычное. И обязательно купишь за пятак сопелку из бузины, которые связками носит обожженный солнцем, темно-коричневый дедусь, сам наигрывая на такой сопелке какую-то хитрую мелодию. А дома закинешь эту дудочку, потому что тут она уже неинтересна.

А взрослые покупают на ярмарке брынзу и сало — такое самое,

какое можно купить всякий день на базаре. И, конечно, все едят сластены! Эти сластены — не что иное, как маленькие оладьи, какие дома приготавливают и вкуснее, и во всяком случае чище, опрятнее.

Весеннюю ярмарку полая вода отодвигает ближе к городу, ей меньше места, шатры и балаганы толпятся у самой воды, где стоят купальни и лодочные станции. Сюда причаливаем мы, возвращаясь по реке с маевки, как здесь называют пикник, когда бы он ни случился, хоть в сентябре.

Как я любил эти поздние возвращения! На реке совсем темно и тихо, лодка скользит по течению беззвучно, чуть всплескивают весла, которыми слегка подгребают кто-нибудь; немного свежо, охватывает сладкая истома: сморил весенний воздух и хочется спать, — обычный час сна уже настал. На берегу горит над самой водой фонарь, на который надо держать. Он становится понемногу яснее, и вот неожиданно, когда кажется, что берег еще далеко, лодка шуршит бортом вдоль других причаленных лодок и стучается носом о помост. И вот мы уже идем онемелыми ногами по истоптанной пыли, где днем шумела ярмарка и где сейчас все тихо. Не видишь, а только смутно угадываешь ряды возов и палаток да где-нибудь заметишь светлый силуэт огромного вола. Вдали горит рядок огней — это палатки сластенщиц. Нам идти мимо, и мы заходим в одну из них. Это сарайчик, наскоро сколоченный из досок, весь щелявый и косой. На земляном полу стоит колченогий стол, обставленный скамейками, а в углу — печь с небольшой плиткой. На плите — большая сковородка, а рядом, на табурете, — дежечка с тестом. Хозяйка захватывает в левый кулак из дежки ком теста и, отщипывая от него кусочки, бросает их на сковородку, где уже шипит постное масло. Поджаренные сластены складываются горкой на шербатую тарелку и подаются на стол; нам раздаются железные вилки, почти у каждой из которых не хватает по одному зубцу, и мы приступаем к еде, подцепляя сластены из общей тарелки. Вот когда они вкусны! Уха, сваренная из пойманных днем в реке окуньков и плотичек, давно забыта, и мы делаем открытие, что сильно хотим есть. Все страшно романтично и необычно! И мы — дети и взрослые — посетители в этот час тоже необычные. В других палатках только молодежь — семинаристы с барышнями. Там шум и веселье.

В городе почему-то теплее. Там светло: на перекрестках горят дуговые фонари.

На главной улице оживление: та же молодежь движется по одному из тротуаров двумя потоками взад и вперед, мимо светлых окон фруктовых лавок (это называется «ходить в проходку»). Фруктовые лавки у нас в городе почему-то все принадлежат Пилипенкам, которые даже не родственники друг другу. Но так уж повелось, что фруктами и квасом у нас торгуют только Пилипенки. В их лавках можно получить и мороженое. Для этого под окнами стоят два-три столика.

Сейчас за ними сидят те же семинаристы с барышнями. Семинаристы не обладают слишком огромными капиталами и потому заказывают для себя и барышни «одну порцию мороженого и две ложки». Но барышни довольны. Летние каникулы еще не начались, студенты еще не наехали, и потому сейчас царство семинаристов да гимназистов последних классов.

Гимназия. Реальное училище

Тогда гимназисты не были еще мудрецами. Серьезность и ученость на нас накатили к пятому классу, когда всякий считал своим долгом сделать попытку прочесть «Капитал» Маркса, а кое-кто даже проникнуть во мглу гегелевской философии: дело шло к 1905 году.

А за шесть лет до того, когда я впервые вступил в гимназию, о таких премудростях слуху еще не было. Царили другие настроения.

Эти настроения я испытал на своей шкуре в первый же день.

На большой перемене я вышел в сад и не успел дойти до середины площадки для игр, как тут же, у кегельбана, был «оскальпирован»: на меня с гиком наскочил огромный восьмиклассник — совсем, как мне показалось, взрослый, даже с усами,— туго провел вокруг моей головы деревянным ножом так, что у меня надолго осталась на лбу красная полоса, и, сделав вид, что сорвал с меня скальп (счастье мое, что я был острижен по правилу под «первый номер»), с победным кличем помчался дальше. Тут только, осмотревшись, я увидел, что сад не сад, а пампасы, где по «тропинкам войны» движутся команчи и апахи — семиклассники и восьмиклассники, обрекшие все остальные племена краснокожих и бледнолицых собак, начиная с пятого класса и ниже, поголовному истреблению.

Малыши — приготовишки и первоклассники,— совсем не принимавшие участия в этой опасной игре по малолетству, если и решались вылезти в сад, то держались в тех районах, где прогуливались, наблюдая за порядком, педея, которых мы называли «дедушками», ибо оба они были весьма преклонного возраста — оба начинали свою солдатскую службу еще при Николае I.

Великовозрастные гимназисты — а тогда гимназию кончали юноши сплошь по двенадцатому году — были увлечены Фенимором Купером и Густавом Эмаром так же, как мы потом в их возрасте увлекались Шерлоком Холмсом и Натом Пинкертоном.

Скоро я научился пробираться кустами вдоль ограды не замеченным Ястребиным Глазом, Пятнистой Пантерой или каким другим кровожадным вождем краснокожих в глубь сада, влезал на забор, если поблизости не было начальнического глаза, и любовался видом, который оттуда открывался на реку и широко раскинувшиеся поля заречья, далекие села и леса.

У моих ног, за забором, тянулся вал — остатки казачьих укреплений времен Мазепы, дом которого стоял тут же: в нем теперь помещался губернский архив. На валу расставлены были пушки, современницы того же Мазепы.

Из одной из этих пушек мы затеяли выпалить. Для этого те из нас, у кого дома нашелся порох, выкрадывали его горстями у отца или старшего брата — охотника — совсем было уже набрали достаточно по нашему соображению, да сами сплеховали. Вместо того, чтобы, скопив его, сразу зарядить пушку и выстрелить, мы заколачивали его в пушку порциями, по мере того, как он добывался. Эта наша постоянная возня с пушкой замечена была Довжиком, «помощником классного наставника», как называлась его должность, что-то вроде воспитателя. Этот Довжик был пронырливой бестией и постоянно совал свой красный нос, куда не просили. Он оказывался и на галерке театра, на пьесе, которую нам не разрешалось смотреть, и на улице вечером, в тот час, когда уже не полагалось выходить из дому, и как раз на той самой, по которой возвращались с вечеринки загулявшие гимназисты. А то прокрадывался в ближайшее соседство с какой-нибудь группой гимназистов, считавшей себя в полной безопасности в своем убежище где-нибудь в глухом углу городского сада, и его настороженное ухо ловило совсем не предназначенные для оглашения разговоры. И хорошо еще, если на другой день собеседники приглашались для «внушения» только к директору, а не к жандармскому полковнику. Восьмиклассники пробовали его бить: задавали ему хорошую взбучку, накрыв шинелями. Но это ничуть не умеряло его рвения. Наконец нашупали его слабую струнку, нашли способ его обезвредить,

способ, правда, не всегда доступный, сопряженный с некоторыми тратами: его надо было подпоить. Тогда он становился кротким, мягким и забывчивым. Сколотилась даже пьянствующая компания из старших гимназистов с Довжиком во главе, созданная якобы только для его отвлечения от шпионства.

Я вспоминаю рассказы отца, который учился в московском Межевом институте, о его наставниках и педагогах. Многие из них в этих рассказах выступали какими-то допотопными, или, как говорили, дореформенными, чудищами, каких уже нет, мне казалось, и быть не может. И вот, перебирая в памяти своих учителей, я замечаю, что эти «ископаемые» к моему времени не вымерли. Да и вымрут ли когда-нибудь, приходит мне теперь в голову?

Ну разве не допотопным чудовищем был наш учитель русского языка — Юс? «Юс-средний» было его прозвище. Это был раздраженный, обозленный человек, вымещавший все свои житейские обиды на нас, первоклассников. Казалось, нас он глубоко презирал и ненавидел. Запомнить наши имена или заглянуть в журнал он не трудился, а обращался к нам так: «Эй, ты там, черномазый болван на третьей парте, тот, что сидит рядом с белобрысым идиотом, — иди к доске!» Был среди нас очень тихий и милый мальчик, который постоянно из-за природной атрофии личного нерва слегка улыбался, наш маленький «Человек, который смеется», — так Юс его иначе не называл, как «идиотская рожа». Тот смущался всякий раз, краснел и, конечно, ничего не мог ответить, за что неизменно получал двойку, хоть и знал урок и по другим предметам учился отлично. Когда Юсу случалось задавать нам выучить наизусть какое-нибудь стихотворение, он сначала его диктовал и так намеренно невнятно, что мы, пока не догадались разыскивать эти стихи в хрестоматии Галахова, записывали и заучивали отчаянную ерунду, за что на нас сыпались двойки, которые Юс ставил со счастием, несколько даже оживляясь в такие дни обильной жатвы. Он был не единственный «издеватель» над беззащитными гимназистами — попадались и другие. Этим отличались особенно учителя латыни и греческого.

Но среди монстров были и совсем кроткие фигуры, даже несколько убитые богом, как наш гимназический учитель физики. Он был как-то странно отгорожен от мира: не человек в футляре и не мечтатель, а вместе с тем казалась, что между ним и всем остальным миром нависла какая-то грустная завеса. Он не замечал ни шалостей, ни шума и беспорядка, которые неизменно царили на его уроках в классе. Ему можно было отвечать одно и то же, один всем классом вытверженный урок, на все его вопросы, и он оставался доволен, лишь бы ученик говорил, не останавливаясь. «Расскажите о теплопроводности», — спрашивал он, например. «Прежде чем говорить о теплопроводности, скажем несколько слов о термометре», — говорил ученик. — Термометр, ртутный, обыкновенный, состоит из шкалы, на которую нанесены деления...» И так целый урок на все вопросы ему рассказывают о термометре и получают пятерки. Раз как-то, как только он вошел в класс и уселся в кресло, все гурьбой обступили его стол, как это всегда бывало, и завладели журналом, чтобы посмотреть, какие отметки поставил всем батюшка на предыдущем уроке. Один из учеников принес в класс воздушный шар — обыкновенный маленький детский красный шарик. Он тоже потянулся через плечи заглянуть в журнал, а шар держал за спиной. Затолкали его или он сам, увлекшись журналом, зазевался, только шар вырвался у него из рук и — шелк — стукнулся в потолок. Это уже была шалость сверх меры — приносить в класс игрушки и забавляться ими на уроках. Все примолкли и даже сели по местам, боясь, чтобы гроза наша, инспектор,

имевший обыкновение гулять по коридору, не заглянул в стеклянную дверь. Как ни странно, Лавр Михайлович заметил на этот раз общее смятение и, следуя за взглядами всех, поднял голову к потолку, отодвинулся с креслом немного назад и стал смотреть на шарик. Так прошло несколько минут в полном молчании. Наконец учитель произнес: «Ну от! Шворочка коротенькая — как же вы его достанете?» Тут началось всеобщее оживление, все повскакивали с мест: «Достанем, достанем!» Мигом принесли щетку на длинной палке, после довольно долгой (и ненужной, а только для веселья поднятой) возни достали шар и преподнесли его Лавру Михайловичу. «Ну от, а на что же он мне?» — «Вы же о газах в шестом классе читаете?» — «А читаю». — «Про шар воздушный рассказываете? А шара-то у вас нет?» — «А нет!» — «А вот вам шар!» И после урока открылось торжественное шествие: впереди — дежурный с шаром, довольный тем, что может открыто нести такую незаконную в гимназическом обиходе вещь, за ним учитель, а дальше весь класс гурьбой. И шар был торжественно водворен в физическом кабинете в шкаф, под замок.

В другой раз на уроке космографии ученики вдруг подхватили кресло с Лавром Михайловичем и начали носить его вокруг стола. «Что вы делаете, что делаете?» — «А это Земля вращается вокруг Солнца, как вы рассказывали». — «А, Земля... Так не так, не так! В другую сторону!» И его поташили вокруг стола в другую сторону.

Это все из рассказов старших товарищей. Для меня уроки физики начались уже в реальном училище, вновь открытом в Чернигове, куда лучших учеников, в том числе и меня, переманил из гимназии новый директор училища, бывший гимназический инспектор.

Учитель физики в реальном училище читал свой предмет, как профессор. А физический кабинет оборудовал так, как нигде в других училищах. Для этого он пускался даже на обман: выписывал по каталогу какой-нибудь прибор без частей особо дорогих, а потом выпрашивал у директора новую сумму уже на эти части, ссылаясь на то, что без них прибор ни на что не годен. Директор выходил из себя, но принужден был давать еще денег на кабинет сверх сметы.

Допотопных фигур среди педагогов реального училища уже не оказывалось; большинство из них было вполне на своем месте. А кое-кто из них даже пользовался среди нас большой симпатией. На первом месте — учитель немецкого языка, молодой, только что кончивший курс в Гейдельберге. Сначала он веселил нас шутовскими выходками на уроках, особенным смешным языком, каким говорил с нами. А потом оказалось, что он не только гаер, но и очень умный и образованный человек, особенно в той области, которой нам, реалистам, не хватало — в области классической древности и западной литературы, не позже, правда, эпохи Возрождения. О Данте и Петрарке он мог говорить когда угодно и сколько угодно. Во всем этом он нам, вернее желающим из нас, очень помог, направляя наше чтение и снабжая книгами.

А когда к нам приехал из Киева на целый сезон хороший оперный ансамбль, Орест Маркелович (конечно, мы его звали Оркестр Макаронович) постарался пробудить в нас интерес к музыке, которую, оказывается, и любил, и знал, да и сам был недурным скрипачом (я с ним потом играл в квартете). И даже сам покупал билеты тем, кто не имел на что пойти в театр.

До этого мы слышали в театре музыку только в антрактах да перед началом представления. А давались на нашем театре исключительно драмы, и самые, конечно, раздирающие, вроде «Кина», «Карла IX», «Уриэля Акосты». Играл оркестр Козуба.

Этот Козуб был одной из самых популярных личностей в городе. Днем в самом затрапезном виде, в старом, засаленном лапсердаке и без воротничка он торговал нотами и музыкальными инструментами в своем магазине. Домашнее хозяйство его было устроено как-то так, что все оно вместе с многочисленным козубовским потомством мал мала меньше и растрепанной мадам с кастрюльками выворачивалось из внутренних апартаментов в магазин и обрушивалось на редкого покупателя, которого обступала детвора и охватывал кухонный чесночный чад, чуть только он переступал порог. Зато вечером Козуб преображался. Правда, потертый фрак сидел на нем не лучше засаленного лапсердака, а белый галстук, из которого торчала его лысая головенка с красными трахомными глазами и очками на кончике носа, был помят и грязен. Но по всем манерам это был уже не просто торговец нотами, а великий маэстро. С таким видом он и подымался на свое дирижерское место, величественно раскланиваясь в ответ на неизменные бурные аплодисменты. Публика кричала: «Козуб—«Поезд», «Поезд!» Но Козуб никогда не исполнял «Поезд» сразу, а приберегал его для последнего антракта. Это был галоп, изображающий движение курьерского поезда и исполнявшийся со всеми железнодорожными атрибутами: кондукторскими свистками и станционным колоколом. Публика была в восторге, топала ногами и кричала: «Бис, бис!» Но галоп никогда не повторялся, чтобы не ослабить впечатления. Козуб только раскланивался на все стороны. Весь козубовский оркестр состоял всего-навсего из восьми или десяти музыкантов. И что это были за музыканты — одно горе! Но и среди них нашелся талант. Этот тихий, печальный еврей играл потом на альте в нашем квартете, где Орест Маркелович играл первую скрипку, а я вторую. Он оказался тонким и даже образованным музыкантом и очень хорошим скрипачом. Как он попал в оркестр Козуба и что переживал, играя «Поезд», не могу сказать.

Самым уважаемым и действительно замечательным преподавателем в нашем реальном училище был наш учитель математики. Такого педагога, как Виталий Зиновьевич Рабцевич, я не встречал никогда и, вероятно, не встретил бы, если бы проучился в училище не семь, а семьдесят раз семь лет.

Он не просто умел внушить знания ученикам, сделать так, чтобы всякий их усвоил легко и прочно. Этим владеют многие педагоги, и он обладал такой способностью в высшей мере. Не только это: он умел из самого предмета сделать нечто удивительно стройное, ясное и красивое; нечто, сказал бы я, совершенно соблазнительное, что хочется знать, запомнить навсегда. Я много встречал и встречаю людей, которые признаются в том, что не любят математики. Меня всегда особенно удивляют такие признания со стороны художников. Художник не может не любить математики. Наоборот, он должен быть хорошим математиком, иметь к математике склонность от рождения, ибо эта склонность — одна из сторон его дарования. Без нее в искусстве ничего не построишь.

Среди нас, его учеников, не было таких нелюбителей математики, не было даже равнодушных, а были только более или менее увлеченные ею.

Когда мы добрались до седьмого класса, как раз там введены были начатки высшей математики: введение в анализ бесконечно малых величин и аналитическая геометрия. Учебников еще не было, и Виталий Зиновьевич за лето составил записки и в начале курса вручил нам каждому литографированный экземпляр их. Очень жалею, что эти записки у меня не сохранились: это был сжатый, стройный, красивый курс, который просто читать было большое наслаждение.

Другие преподаватели — да и мне это казалось одно время — находили, что он слишком упрощает, вульгаризирует математику. Но это было вовсе не то — и они в этом потом убеждались. Эта «простота» не была упрощением: она была только результат ясного и сжатого до предела изложения.

Аналитическую геометрию Виталий Зиновьевич называл «поэзией математика» и всякий раз, выводя уравнение кривой, приходил в состояние какого-то экстаза, который и нам передавался, и потом, немного смутившись такого своего подъема, говорил, как бы извиняясь: «Ну я не знаю, право! Ну если это не красиво, то что же такое тогда красота!»

Шевельнул я свою память — и вот на меня надвигаются опять, как всегда, не столько события и лица, как ощущения. Как во сне иногда вдруг я маленький гимназист, сейчас меня вызовет учитель, а я не могу вспомнить ни одного слова из сегодняшнего урока. Эта беспомощность и волнение так живо ощущаются во сне! Вот и сейчас, вспомнив гимназию, я почувствовал себя приготовишкой — маленьким, беспомощным, отданным на милость учителей и старших гимназистов. Целый мир особых ощущений! Вот я ясно слышу запах мокрого сукна: во дворе дождь, а зонтик не принято с собой брать, — мы не бабы! Пальто тоже еще рано надевать: задразнят, если станешь кутаться раньше времени. Вот и сидишь все первые уроки, просушивая на себе куртку! От всех валит пар, весь воздух в классе пропитан запахом распаренного, мокрого сукна.

Этот «дух» приводит меня в раздевалку, где мы с Жоржем Христуло дуло прячемся на переменах среди мокрых шинелей, чтобы никто не мешал нам строить смелые планы наших будущих путешествий, в которые мы отправимся, как только построим «Наутилус», — это будут подводные плавания. Жуя купленные в буфете трехкопеечные пирожки, мы составляем маршруты и списки того, что возьмем с собой, попутно обсуждаем и приключения, которые нам повстречаются на пути.

Когда я вспоминаю товарищей, с которыми дружил за все восемь лет своего пребывания в гимназии и затем в реальном училище, то я замечаю, насколько все они разны по своему уму, склонностям, характерам. Вот уже растерялся бы тот, кто захотел бы судить обо мне по формуле: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты».

В то время я много читал, и всегда одновременно по четыре-пять книг — такая у меня была манера. Дома находили такое чтение беспорядочным, а я считал его очень удобным и целесообразным: я брал всякий раз такую книгу, каково было мое настроение, к чему в эту минуту лежала моя душа. То это был хороший серьезный роман вроде «Анны Карениной», которую я до сих пор перечитываю от времени до времени; то научная книга по той же астрономии, которую я не забывал, или по математике (мне большое удовольствие, например, доставили работы Пуанкаре); то диалоги Платона; а то и совсем что-нибудь легкое вроде Джером Джерома. Не могу же я быть всегда одинаково настроен на что-нибудь, скажем, только серьезное? Вот и приходится держать параллельно несколько начатых книг.

То же было и с товарищами: с одним мы вели углубленные беседы на общественно-философские темы; с другим, как сказали бы теперь, «шпанили» по улицам, задевая знакомых и незнакомых девиц; с третьим охотились, а когда не было охоты, стреляли до самозабвения по разным самым замысловатым мишеням; а с четвертым уплывали по реке на лодке. Последний был мне наиболее близким другом в то время — в пятом классе реального училища. Мы с ним вели и серьезные беседы на разные «глубокие» темы.

Мы так с ним «сгреблись», что никакая другая лодка не могла обогнать нашу двугребку, которую мы брали на лодочной станции под за-

клад наших поясов: мы вырывались из училища на большой перемене на полчаса, а без пояса не вернешься в училище, бросив где-нибудь лодку и не заплатив за прокат.

Как чудесно на реке весной, в разлив! Бесконечно широка вода, и все кругом голубое — и вода и воздух. И не только тот далекий воздух, который мы зсвем синим небом, а и тот, что обступил кругом, весь пронизанный солнечными струйками: его нельзя не чувствовать все время и хочется дышать глубоко, хватать его большими глотками, чтобы закружилась голова и стало легко-легко, чтобы земля не тянула к себе больше, потому что везде только вода, воздух и свет!

Иван Иванович

Он приезжал в Чернигов ранней весной, еще до разлива реки. Если только приезжал! Далеко не всякий раз находились на это средства. Тогда приходилось держаться там, где можно признаться, где были друзья, и только мечтать о весне в Чернигове.

Впрочем, мечтать Иван Иванович был не мастер: трезвый реалист не только в своем искусстве, он жил всегда сегодняшним днем, не думая о будущем, не вспоминая прошлого и не жалея ровно ни о чем.

Он приезжал — и возобновлялись наши уроки. Если честно говорить, то Иван Иванович был единственным моим живым учителем. Мертвецов было достаточно: некоторые из итальянцев, особенно постарше, а из более поздних — Мельци, в эрмитажную Коломбину которого я был долго влюблен; многие голландцы (ван Гойен, например, Кейп); кое-кто из японцев. Еще больше было любимых современников или почти современников (Ренуар, Сезанн, Ван-Гог, Вламинк...). Но разве можно сказать, чтобы я был послушным учеником или верным последователем кого-нибудь из тех, что я сейчас назвал? Так же и Иван Иванович: от него я не перенил его искусства. Да он и не ставил такой задачи. Тем более что сам к началу наших уроков стал уже понемногу забрасывать живопись. На уроке он следил больше, так сказать, за «дисциплиной труда», внушая мне честное отношение к натуре прежде всего, заставляя меня убедиться на деле, что искусство — труд, и не легкий, а не веселое занятие для приятного щекотания нервов. «Что это вы сегодня размахались? — говорил он мне, когда я в какое-нибудь воскресенье в благодушной рассеянности водил углем по бумаге. — Натура не любит такого генеральского отношения к себе. Смотрите, как бы она вам не отомстила. Да уж и мстит! Взгляните-ка, что вы тут наптели. Куда это у вас расползлась эта форма?»

Как-то он писал этюд на нашем огромном дворе, что с ним теперь нечасто случалось. Я смотрел ему через плечо. Была весна, стояла пасхальная неделя. Зелень была, как пух. Только что прошел весенний быстрый дождик. Иван Иванович набросал на маленьком холсте в своем ящичке, который он называл почему-то «тюлилейкой», домик, видный сквозь открытые ворота, небо еще все в обрывках туч, забор и уходящий чуть в гору песчаный тротуар. Все это, как мне казалось, было только намечено — легко и светло. И, что меня особенно удивило, как-то слишком цветно: мокрая крыша, блестящая на солнце, лимонно-желтая, забор сиреневый, дорожка розоватая. И всюду оставались рыжие линии рисунка. Иван Иванович всегда сначала намечал рисунки жидко разведенной мумией (этот коричневым, как я вспоминаю сейчас, был очень красив рядом с лимонно-желтым и розовым). И вот хоть этюд и казался мне неестественно красочным, но вместе с тем все на нем было очень похоже на правду, даже как-то вещественно. Конечно, Иван Иванович не был импрессионистом. Импрессионизм он посчитал бы ругательным сло-

вом в применении к своей живописи. Но в этом наброске вылилось для него невольное то, что тогда носилось в воздухе и донеслось уже даже до Москвы. Потом он одумался бы и, оттолкнув первое чувство, все бы подсерил, подчеркнул, повинуюсь дурной традиции, в которой был воспитан в Московском училище живописи. Но этюд так и остался в этой первоначальной стадии; нас позвали обедать. Так и висел он у меня на стенке знаменем незнакомого мне по названию импрессионизма.

В эту пору, когда Иван Иванович почти совсем отошел от живописи, а фотография еще не овладела им совершенно, я любил совершать с ним прогулки за город. Он остался, так сказать, живописцем на словах. Наблюдательность-то его была при нем, он только отчаялся перенести природу на холст.

Мы выходили рано утром и бродили весь день в таких местах, которые кого другого вовсе ничем не заинтересовали бы. Да и я ничего не видел вокруг замечательного, пока Иван Иванович вдруг не остановит меня и, сделав из своих ладоней шоры около моих глаз, не повернет мою голову куда-нибудь вправо. И вот внезапно передо мной возникал удивительной цельности и выразительности пейзаж: узор березок, бугры, по которым они расставились и между которыми еще кое-где лежал не успевший растаять снег, и бежали из-под него сверкающие ручейки — все вместе связывалось в прочную композицию, скрепленную, казалось, нитями солнечных лучей, легко проникающих в безлистную еще рошу! И забавно: стоило только сделать три-четыре шага в сторону — и пропала вдруг вся стройность композиции, все становилось случайным, путаным.

Меня занимала такая игра и все хотелось проникнуть в тайну, которой так счастливо владел Иван Иванович, легко находивший чудесные пейзажи в самых, казалось бы, неживописных местах. Я сам стал делать такие опыты и с тех пор привык, присматриваясь ко всему кругом, компоновать, так сказать, на ходу пейзажи и живые движения людей, запоминая, складывая все это до поры где-то на дне памяти. Из игры это стало привычкой, а потом каким-то профессиональным проклятием.

Вот Иван Иванович, шедший всегда впереди меня своей легкой, не смотря на тучность, пружинистой походкой, вдруг пригнулся к земле: «Посмотрите-ка, какой занятной, редкой расцветки анемон! Да как рано он вылез из земли! Надо запомнить хорошенько место и прийти сюда осенью с лопатой». И он, заметив невдалеке какую-нибудь особенно кодряную березу или ольху, отмеривал от нее шагами расстояние до анемона и даже записывал, зачерчивал все на бумажку, если таковая оказывалась у меня в кармане.

Он знал имена всех лесных и полевых, самых незаметных даже травок и любил их, я уверен, больше, чем людей, которые для него всегда были только средством, материалом. Во всяком случае я никогда не слышал, чтобы о ком-нибудь он говорил с участием или заботился так, как о каком-нибудь комнатном растении, которое дарил кому-нибудь черенком, а потом с нежностью следил за его ростом.

Исчезал Иван Иванович из нашего дома так же внезапно, как и появлялся в нем. Жду я его в какую-нибудь пятницу на урок. Он обещал еще принести мне книжку, взятую у знакомых. Но его нет и нет. Наступает воскресенье, и я, прождав его напрасно и в этот день, иду к нему сам и узнаю, что еще в четверг на той неделе он уехал.

И вот проходит год и два, и, как раз когда о нем совсем перестают вспоминать, открывается дверь и появляется Иван Иванович все в той же русской рубаше и домашних туфлях с таким видом, как будто отсутствовал не больше двух дней. С первых слов кажется, что продолжается прерванный позавчера разговор, только как-то мимоходом обнаружи-

вается, что он за это время успел побывать... на Кубе — ни более, ни менее! Ему удалось убедить одного своего скучающего знакомого, богатого тамбовского помещика, что тому совершенно необходимо съездить в Америку и как раз на остров Кубу. Тот поверил и поехал, прихватив, разумеется, и Ивана Ивановича с собой. Скоро скучающему помещику и на Кубе стало скучно, и он, как будто даже совсем поссорившись с Иваном Ивановичем, спешно уезжает домой, а Иван Иванович скитается еще некоторое время по Испанской Америке — на какие уже теперь средства, этого он не рассказывает. Да и вообще рассказывает, как всегда, мало и как-то неохотно: ничего особенного, ну, бананы, пальмы — как на картинках и фотографиях, которые всем известны; солнце печет — ну, так и у нас на Украине летом не холодно; а люди? Что ж! Люди как люди: они везде одинаковы. Слушаешь и думаешь: «Нет, не был человек на Кубе!» Только что куча фотографий, которые он там снимал, да то, что Иван Иванович никогда не врал: просто не давал себе труда кривить душой и всем всегда, не стесняясь, говорил в лицо, что думал.

Из этого путешествия он, кроме фотографий, привез и фотоаппарат, прекрасный вераскоп, принадлежавший тому же тамбовскому помещику. «Да на что он ему, дураку! Что он с ним станет делать? Не в коня корм! Мне-то он больше кстати».

Через несколько лет в Москве, в Училище живописи, я разговорился с одним своим товарищем, с которым очень сблизился к этому времени, о преподавании живописи, о наших учителях. Он сознался, что наши школьные профессора мало чему могут научить. «Единственным моим учителем, — сказал он, — который мне много дал, был художник Михайлов, Иван Иванович, старый друг нашего дома. Он периодически появлялся в Москве, у нас в доме, и тогда давал мне уроки».

Из его дальнейших рассказов мне показалось, что «его» Иван Иванович что-то уж слишком похож на «моего» — и не по одному только имени. В каком-нибудь романе, где все должно быть естественно, такое совпадение показалось бы не только маловероятным, но просто неловкостью или даже дурным вкусом автора. Но в жизни, где достаточно невозможного и невероятного, почему бы и не случиться так, что сошлись вдруг два единственных ученика Ивана Ивановича?

Оказалось, что когда Иван Иванович не жил у нас в Чернигове, то гостил у них в доме, в Москве, а когда уезжал от них — так же внезапно исчезая, как и из нашего дома, — то только в тех случаях не попадал к нам, когда его судьба заносила куда-нибудь на Кубу.

В Москве я испытал новое удовольствие — ходить с Иваном Ивановичем по выставкам. Это было не хуже наших прогулок весной по черниговским окрестностям. Среди картин он делал такие же открытия, как и среди березок, находя никому не заметные анемоны. «Отвернитесь-ка на минутку от ваших пустоцветов и посмотрите на эту маленькую вещицу. Я уже второй раз вижу этого скромного человечка на скромном месте у самой двери. А помяните мое слово: через два-три года он будет в первых рядах». И я не помню случая, чтобы так не сбывалось!

А сколько он разбил мне кумиров! Поставит перед картиной, сравнит с соседями, напомним кого-нибудь из стариков — голландцев или барбизонцев — и нет прежнего обаяния: свалилось божество с пьедестала!

Подусовка

В сущности, окрестности Чернигова не живописны.

Приятно лежать где-нибудь на траве под стогом сена или еще лучше под яблоней, смотреть сквозь ее ветви на далекое густо-синее небо, следить за тем, как надвигается вечер, бледнеет синева неба, а само оно

уходит все глубже ввысь, зажигается в нем первая, едва заметная глазу звездочка, и уже пролетел, звеня, июльский хрущ. Дьявольски хорошо! Хочется лежать так бесконечно и впитывать все это счастье всем своим существом, но чтобы встать, взять кисти и краски и попытаться изобразить все это великолепно на холсте — не поднимаются руки! В чем дело? Что-то тут да есть же! Ведь есть же прекрасные пейзажи русского Севера и тех мест, что называются средней полосой России. А Украина так же, как и Крым, почему-то не вдохновляет настоящих художников.

Окрестности Чернигова не живописны и с обывательской точки зрения. Вокруг Чернигова пейзаж плоский, пустоватый. А принято считать красивыми только те места, где чего-нибудь наворочено побольше: горы, обрывы, стремнины или грандиозный дремучий лес.

Красиво то, по общему мнению, что попышней украсено. Если фасад дома загружен пилястрами, раскреповками, картушами, балконами («бельведерчики и балкончики», которыми так восторгался Стасов в современной архитектуре!), значит, здание красиво! А если еще эти украшения драгоценны (мрамор, мозаика, майолика), то оно замечательно и достопримечательно. Красота только соотношений архитектурных масс, если они просты, немногосложны, — непонятна. Это ж, говорят, «казарменная архитектура».

Как-то, проходя в Москве по площади, где когда-то был Охотный ряд, я остановился да посмотрел кругом. Какая путаница! Безличное новое здание СТО, совершенно задавившее «благородное собрание», — нелепый дом между Дмитровкой и Театральной площадью, — Большой театр, «готика» Мюра и Мерилиза, ни к селу, ни к городу — модерн «Метропсля!» Какой странный ансамбль, и вдруг среди всего этого хаоса мелькнуло что-то приветливо-ясное. Это простое, ясное, поистине человеческое оказалось стеной Малого театра: гладкая, спокойная, совершенно лишенная украшений поверхность, законченная справа и слева глухими портиками! Как просто!

Простота эта, впрочем, не совсем простого свойства. В ней запрятаны искания многих периодов архитектуры, результатом которых явилось умение, оперируя одними соотношениями масс, освобожденными от мелочности украшений, излагать человеческую мысль с полной выразительностью.

Сжатость изложения, простота и ясность композиции мне так же милы в архитектуре, как в литературе и живописи, с тех пор как мне случилось стать перед фасадом Английского дворца в Петербурге. Я тогда впервые почувствовал, как много можно сказать и как полно можно выразить свою мысль в простых формах, не раздвигая их до грандиозных размеров, не нагромождая обилия колонн, ваз и статуи.

В пейзаже я тоже всегда предпочту простые, даже оголенные, но хорошо организованные формы беспорядочному нагромождению всяческих красот природы, тех, что обычно привлекают всех, — красот не зрительных, а литературных, о которых говорят: «Посмотрите, посмотрите, как нависла эта скала — вот-вот упадет! Ах, как красиво!» Или: «Как должно быть чудесно вон там, в лесной чаще! Так и манит ее прохладная гень. Как красиво!»

Я не очень люблю южный берег Крыма, красивый именно такой манящей красотой, ласкающей все человеческие чувства, но совершенно пленен пейзажем восточной части Крымского полуострова, той Киммерии, которую воспел стихами и всей своей жизнью Максимилиан Волошин и которую один замечательный московский художник назвал «богом проклятой страной».

Да, это суровый, иногда даже жестокий пейзаж библии, превзошедший все вымыслы Дорэ. Этот пейзаж не шекошет нежно зрителя, но

захватывает, почти подавляет его своим величием, своей строгой цельностью.

В черниговском пейзаже нет ни манящей ласковости, ни сурового величия.

С высоты вала — широкий простор полей, куда ни глянешь, до самого горизонта, где темнеют полосы очень далеких лесов да едва заметен ряд хат и церковь далекого села Анисова; это село летом ежегодно горит: то один ряд хат выгорит, то другой — через улицу. Среди полей сверкает в однообразных пустых берегах Десна, прекрасная литературной красотой, красотой переживаний (на лодке под палящим солнцем и при луне!), а не красотой созерцательной, зрительной. Весь пейзаж какой-то односложный, все как-то одинаково, с какой бы стороны ни стояло в небе солнце.

По другую сторону города, за «Заведением» и кладбищем, те же широкие, необозримые поля, по которым течет широкой песчаной рекой шлях, обсаженный кое-где вербами и отдельными грушами, круглые темные кроны которых далеко, к самому горизонту, отмечают изгибы шляха.

Если идти по этому шляху и выбраться за последние, уже редкие дома и сады, то скоро, через несколько сотен шагов от него, отойдет влево стезжка, которая через поле потянется к недалекому лесочку. Этот лесок — Подусовка. Обставленный по опушке березками, внутри — это сосновый бор. Стоят огромные прямоствольные сосны, своими вершинами составляя бесконечный свод (вот еще литературная красота: «как в готическом храме!»), под ними слегка волнистая поверхность земли покрыта толстым слоем старых игл.

И четверти часа не пройдешь по этому ковру, как уже конец лесу и земля внезапно обрывается крутым, глубоким склоном, поросшим дубами, липами и кленами. А там, за их вершинами, — опять те же бесконечные поля, те же темные шары одиноких груш вдоль невидимых проселков. А в глубине, у самого неба, все затянуто легкой синеватой дымкой, сквозь которую не столько видны, сколько угадываются плоские, обрывистые холмы и леса за ними.

И странно: это уже не те поля, что видишь с открытого места, когда сам стоишь в поле. Здесь, с высоты, между вершин дубов и лип все смотрится совсем по-иному. Нужны кулисы, нужен первый план, чтобы оценить глазом глубину пространства. Нужен контраст: здесь передо мной подымаются из обрыва ввысь огромные деревья, а там, за ними, вглубь уходят поля. (Как-то мне случилось увидеть из двери темного магазина знакомую с детства уллицу, и она мне представилась совсем иной, чем когда смотришь на те же дома и прохожих, идя по тротуару. Все показалось как-то более организованным по планам и даже более определенным, более ясным по цветовым отношениям.)

Этот пейзаж со своей всегда туманной далью очень мне понравился. Он чем-то напоминал мне те пейзажи, что писали за плечами своих мадонн художники итальянского кваттроченто. И даже, пожалуй, не кваттрочентисты, а те эпигоны Рафаэля и Леонардо да Винчи, которые, зная всю премудрость высокого искусства золотого века, вдруг становятся неловкими, даже наивными, как Луини, например.

Этот пейзаж написал и я в фоне того портрета, за который получил, кончая Училище живописи, звание художника. Там он едва выступает из тумана, всегда мной любимого, который на этот раз должен был стать в контраст с четкой живописью лица и рук.

Сюда, в Подусовку, единственное отрадное место под Черниговом, как говорила моя мама, мы выезжали иногда по воскресеньям на целый

день большой компанией вместе с нашими друзьями — докторскими ребятами и их родителями, нашими соседями, и располагались пикником на краю этого спуска, откуда открывался мой любимый «итальянский» вид. Это место у нас называлось «горкой доктора Ковальского» или просто «Ковальской горкой», как ее стали звать все в городе, потому что честь открытия этих красот принадлежала доктору Ковальскому.

Мы жили тогда у самого «Заведения». Полное название этого учреждения было «Богоугодное заведение», а из гоголевского «Ревизора» уже известно, что это значит — это была огромная земская больница. Докторский поселок ее примыкал к нашей усадьбе, так что сад доктора Розенеля граничил с нашим. Сквозь забор мы сдружились с докторскими детьми, и тогда в этом заборе была сделана для удобства сообщения калитка.

При детях доктора Розенеля всегда находился в качестве добровольного дядьки какой-нибудь помешанный, которому в известных пределах предоставлялась свобода. Такой сумасшедшенький, алкоголик или эпилептик, между припадками иногда даже почти нормальный человек, все такие дни свободы проводил в докторском саду или на докторской кухне, помогая по хозяйству и исполняя с великой готовностью всякие поручения. Доктор Розенель был не только непререкаемым авторитетом среди своих пациентов — они его любили до обожания. Один такой сильно преданный доктору тихопомешанный старичок, очень юркий и суетливый, по имени Петр Алексеевич, особенно старался быть всячески полезен в докторском хозяйстве. Он не только с великой радостью исполнял всякие поручения, которые для него приходилось даже выдумывать, но часто добровольно возлагал их на себя, действуя где-нибудь в интересах доктора по собственному почину и доставляя этим всем его домашним массу хлопот.

В один прекрасный день он заявился как-то в губернаторский дом и проник докторским именем к самому губернатору. Неудивительно: доктор Розенель был в нашем городе в высшей степени популярен; горожане уважали и любили его не меньше, чем его сумасшедшие.

Я помню наш восторг, когда новый учитель словесности в реальном училище на первом своем уроке сказал одному из учеников: «Если вы, молодой человек, изречете еще хоть одну такую великую истину, то вас придется отправить к Розенелю». Вот как! Человек только третьего дня прибыл в наш город, еще не осмотрелся как следует, а уже знает, кто такой Розенель. Это значит, что имя нашего «сумасшедшего» доктора можно было слышать везде — на улице, на базаре, — где только оказывались повздорившие между собой люди, один из которых хотел назвать другого сумасшедшим: в таком случае у нас выражались иносказательно, предлагая своему собеседнику отправиться к Розенелю.

Губернатор принял посла доктора Розенеля сразу же. Это были те патриархальные времена, когда на весь наш губернский город было всего-навсего двенадцать городских, да и тех половина только числилась городскими и, получая оклад по полиции, служила у губернатора кучером, поваром, дворником, лакеем и садовником.

Когда лакей ввел Петра Алексеевича в кабинет губернатора, он, выражаясь в высшей степени изысканно, даже витиевато и очень многословно (как всегда, если только не накладывал на себя временного обязательства молчания, когда только разводил руками и показывал себе на рот), передал господину губернатору и его супруге привет от доктора Розенеля и просьбу прислать из губернаторской оранжереи цветов побольше, так как Альфред Германович Розенель празднует свой день рождения и ждет к себе много гостей. Губернатор слегка пожал плечами, посчитав, что врачу сумасшедших и самому естественно иметь некоторые странно-

сти, но приказал садовнику отпустить посланному доктора цветов, сколько ему потребуется.

И вот торжествующий Петр Алексеевич появился под окнами розенелевского дома с целой подвойей, нагруженной всякими цветущими растениями. Альфред Германович как раз выходил в это время из дому. И тут между ними произошел такой разговор: «Что это значит, Петр Алексеевич? Откуда эти цветы?» — «Это вам, Альфред Германович, господин губернатор присылает их ко дню рождения!» — «День моего рождения еще очень не скоро, Петр Алексеевич, а у губернатора вы, конечно, просили цветов сами, да еще от моего имени». — «Да, да, да! Конечно, конечно! Именно, именно! Я передал господину губернатору и его супруге в самых изысканных выражениях привет от вас, а также просьбу о цветах, на которую, как видите, господин губернатор отозвался с большой любезностью и весьма щедро». — «Петр Алексеевич! Будьте добры, пройдите теперь в отделение и попросите от моего имени, чтобы вас заперли». — «Слушаю, Альфред Германович!» И Петр Алексеевич повернулся кругом и поспешил в отделение исполнить приказ доктора о своем заточении.

Альфреду Германовичу никогда не приходилось применять к тихим помешанным каких-нибудь особенных мер воздействия: они с первого его слова становились кроткими и слушались его беспрекословно.

Я любил слушать его разговоры с больными. Одно время я дружил с молчаливым человеком — эпилептиком, столяром по профессии, и часто бывал у него в одном из чистеньких и светлых домиков, стоявших среди огромных лип, где жили тихие, безвредные для окружающих помешанные, а также алкоголики и эпилептики. Тут-то мне и пришлось, спрятавшись в соседней комнате, понаслушаться бесед доктора с больными во время обхода. Больше же всего мне понравился Альфред Германович на спектакле в «Заведении», устроенном для больными силами их самих: все роли играли сумасшедшие, декорации писали сумасшедшие, хор был составлен из сумасшедших, и в оркестре сидели сумасшедшие! А на контрабасе играл сам «бог»! Тот «бог», который ежедневно писал длиннейшие письма на огромных листах бумаги архиерею, губернатору, голове и всем другим городским властям. Среди дикой путаницы, навороченной в этих письмах, писанных церковным стилем («бог» был когда-то священником), можно было уловить одно неизменное требование: прислать немедленно «богу» шесть тысяч рублей. Иначе проклятие навеки и геенна огненная. Теперь «бог» пилил на своем контрабасе с величайшим увлечением и с выражением такого наслаждения и счастья, как ребенок, которому досталась наконец любимая, долгожданная игрушка. Случалось, что на сцене уже шел разговор, а хор и оркестр давно уже замолкли и один только контрабас в самозабвении гудел. Но это никому и ничему не мешало, не нарушало цельности впечатления, как и внезапное появление на сцене некоторых действующих лиц, которым в это время быть там не полагалось, но которые непременно хотели принять участие в действии и никак не могли дождаться своего выхода.

Пьеса была, конечно, украинская, шла на украинском языке и кончилась, как полагается, общими танцами, которые стали почти всеобщими, так как затанцевал чуть ли не весь зрительный зал. Альфред Германович сиял и радовался, как ребенок, ничуть не меньше своих больных. Я даже стал бояться, как бы и он не пустился в пляс. Но вышло иначе, и тут обнаружилось, в какой напряженной атмосфере все происходило и насколько сам доктор был все время в высшей степени начеку. К нему подошел один душевнобольной, совсем молодой человек, студент, и очень мило, изысканно-вежливо стал с ним беседовать. Когда же доктор по окончании разговора повернулся к нему спиной, сту-

дент вдруг вцепился ему в загривок. И тут вдруг поднялся общий гик и вой, как будто нападение студента на доктора было заранее условленным сигналом общего восстания. Весь зал разделился на две партии — за и против доктора, — и уже засверкали глаза и потянулись руки. И кончился бы спектакль после веселых танцев общим побоищем, если бы не присутствие духа у доктора. Он не сделал ни одного движения, даже не попытался высвободиться (хоть потом и оказалось, что шея доктора была сильно изранена, и он долго еще ходил с повязкой), а спокойно обратился за помощью к самому буйно настроенному сумасшедшему, ставшему уже во главе кучки, готовой наброситься на доктора. И тот сразу переменял фронт, и вся группа за ним, и все уже в зале стали за доктора, так что подоспевшим служителям оставалось только подхватить студента и, охраняя его от толпы сумасшедших, быстро вывести за дверь. А доктор теперь стал центром общих забот, приобретавших сильно экспансивный характер.

Цыганок

Одно время, очень, правда, недолгое, я был сильно увлечен скрипкой. Отца, по-видимому, напугало это обстоятельство: не вообразил ли я, что музыка — мое призвание?

А дело уже подвигалось к окончанию реального училища, пора подумать об избрании профессии. Подымались разговоры на эту тему, и отец всячески старался отвлечь меня от музыки. Если уж искусство, так куда лучше живопись. Что такое музыка? Пустое развлечение. Скрипач тот же скоморох: он только увеселяет публику. Художник же, который пишет картины, полные глубокой мысли, становится проповедником добра и правды — и т. д. и т. д.

Я уже мечтал о создании в каком-то смысле (не в живописном только, увы!) глубокого произведения, которое потрясло бы если не весь мир, то значительную и наиболее близкую мне часть его. В чем должно заключаться это великое значение живописного произведения, которое я считал своим долгом создать, если уж решил стать художником, я даже смутно не мог себе представить. Я получал журналы, посвященные искусству, — «Весы», «Мир искусства», потом «Золотое руно» — и уже поверил без оглядки Балтрушайтису и другим, что «быт умер». В том же меня уверили и Блок, и стоявший за ним Гофман. Символизм и романтизм — вот что было написано на моем щите. Я переписывал излюбленные стихи Блока в особые тетрадки-сборнички наряду со стихами Фета, украшал их рисунками в сомовском духе и посвящал сестре за неизменением другой дамы.

Между мной и внешним миром вставала философия, которая для меня определялась мыслями Владимира Соловьева. Его докторская диссертация «Критика отвлеченных начал» была моим путеводителем по истории этой высокой науки.

Сейчас, когда я это пишу, мне приходит в голову, что такая моя тогдашняя установка фатально неизбежна для всякого молодого художника. Я имею в виду не романтизм, или символизм, или какое другое направление в искусстве, которому неизменно всякий принужден следовать, раз оно на очереди, но именно это квазифилософское, мудрое отношение к задачам искусства, которое присуще всякой молодой творческой психологии, как я теперь вижу.

Наблюдений, опыта и всяческих знаний о мире накоплено еще мало, а тут как раз пора решений мировых вопросов. Потому то, что недособрано опытом, заполняется размышлениями и рассуждениями обычно самых гигантских масштабов и в ширину и вглубь. Молодое искусство

(или лучше сказать — искусство молодых) становится на ходули, подымается от земли в заоблачные высоты.

Рядом с этим идут формальные поиски, в которых тоже ставятся задачи предельной остроты, отчего искусство молодых, помимо претензии на философскую углубленность, оказывается изощренно-изысканным технически, часто даже нестерпимо манерным.

Совсем иным становится искусство художника, уже переступившего зрелый период своей жизни, приближающегося к старости. Я сказал где-то выше, что жизнь драгоценна не мечтами о грядущем великолепии, а тем, что прожито, тем, чем она уже заполнилась. Жизнь прожитая становится ценностью, а мир, в котором так многое испытано и измерено, становится бесконечно милым. Художник радуется ему просто и непосредственно, забывая все хитрые мудрствования, и стремится оставить его в своем искусстве, этот чудесный мир, таким, как он есть (для него, конечно).

Весна 1943 года. Частые бешеные обстрелы города, постоянные налеты, тревоги и днем и ночью. Не передать словами ужаса.

Насколько спокойнее (если только это слово как-нибудь сюда подходит!) я переносил все это прошлой весной. Сейчас, кажется, напряжение дошло до последнего предела.

После только что пережитой жуткой ночи нужно бы чуть отдохнуть, хоть немного прийти в себя, а ее сменяет такой же напряженный, беспокойный день, за ним опять жуткая, страшная ночь...

Казалось решенным: по окончании реального училища я еду в Москву, в Училище живописи. Родителям моим, москвичам, послать меня в Академию художеств в Петербург, где не было ни знакомств, ни связей, не могло прийти в голову. А о Московском училище разговоры были давние, еще когда я только лет шести проявил, как думалось отцу, исключительные способности, изображая маленьких человечков одними палочками и придавая, несмотря на такой лаконизм (или благодаря ему), много живости их разнообразным движениям. Помню, мы ехали откуда-то с отцом на извозчике и он сказал мне, указывая на большой дом, стоявший несколько в глубине за решеткой: «Вот здесь ты будешь учиться, когда вырастешь. Это школа живописи, ваяния и зодчества». Как теперь снимаю, мы ехали тогда мимо Строгановского училища, которое среди москвичей было популярнее школы живописи: как раз наша пролетка, безумно тарактевшая по булыжникам, вдруг ровно и спокойно покатила по асфальтовой мостовой, единственной во всей Москве на небольшом куске Неглинной, как раз против Строгановского училища.

На заборах и столбах главных улиц Чернигова появилось печатное объявление: «Студия классного художника П. Д. Цыганка. Уроки рисования и живописи. Подготовка желающих поступить в Московское училище живописи». Это было как раз то, что мне надо. Туда я и направился.

Меня встретил сам Цыганок с лейкой в руке. Первое, что я увидел, войдя в калитку, которую не сразу нашел в глухом высоком заборе, были прекрасные и довольно обширные цветники. Лето приходило к концу; на высоких клумбах цвели гвоздики всех цветов, левкой, махровые маки, зацветали флоксы; и всюду розы — бесконечное количество сортов и оттенков. Среди розовых кустов и олеандров стоял небольшой новый, только что оштукатуренный белый дом в два этажа, со стеклянной крышей, тут и была, вероятно, студия. А в глубине, за рядами кустов смородины, стояли два одинаковых деревянных домика с резными

крыльцами и застекленными верандами. Везде был порядок, все имело нарядный, приветливый вид.

Хозяин принял меня не как будущего ученика, а как желанного гостя (может быть, потому, что, как я узнал потом, я был первый, откликнувшийся на его объявление). Он повел меня по аккуратным дорожкам, усыпанным ярко-желтым песком, через цветники, останавливая мое внимание на самых замечательных розах, на самых громадных пестрых гвоздиках, к домику налево. На веранде, куда мы поднялись, в покойном кресле сидела чистенькая, беленькая старушка, которая мило мне улыбнулась, когда я был представлен как будущий ученик, и которую Цыганок назвал своим большим другом. Он показал мне начатую акварель, изображавшую букет белых и розовых флоксов, стоявший тут же, на столе, в простом глиняном кувшине, и спросил как-то особенно участливо, интересуется ли меня акварель, охотно ли я к ней обращаюсь, назвав ее тут же «благородным» видом живописи. Потом мы прошли к белому домику, где я увидел жену хозяина — некрасивую бледную молодую женщину, полулежавшую в соломенном шезлонге на песчаной площадке перед домом. Она мне очень живо напомнила жену Борисова-Мусатова, как тот ее изображал на своих холстах среди зелени и цветов. Этому впечатлению помогали и обстановка, и широкое белое платье хозяйки со сборками и воланами, и косые лучи заходящего солнца, золотившие это белое платье, и протянутые по песку легкие черные тени, уже сливавшиеся в полумраке надвигавшихся сумерек.

Через особое крылечко по деревянной лестнице мы поднялись со двора прямо в мастерскую — не слишком большую комнату с верхним светом, почти совсем пустую. Здесь на мольберте стоял большой холст, наполовину записанный. Эта начатая картина изображала запорожцев на берегах Днепра, налаживавших свои ладьи для какого-то очередного набега. Около мольберта не было ни палитры, ни красок — словом, никаких следов работы; видно, мэтр давно к ней не прикасался. На этот раз в густых уже сумерках я не успел как следует рассмотреть этот шедевр.

Мы поговорили с мэтром немного об искусстве, условились о начале занятий и, как бы мимоходом, о плате за урок, и я ушел. Любезный хозяин проводил меня до самой калитки, и, когда она закрылась за мной, мне показалось, что за этим глухим забором, за рядом высоких тополей я покинул что-то вроде маленького рая, где в идиллической обстановке милые люди живут легкой, светлой жизнью без невзгод и огорчений.

Когда дней через десять я пришел в студию Цыганка на первый урок, я уже знал о моем новом мэтре и его близких всю подноготную. Скрыть что-нибудь в провинции невозможно.

Вся усадьба Цыганка принадлежала раньше и не так даже давно беленькой старушке, которую я видел на веранде в кресле. На ее средства Цыганок-юноша учился в Московском училище живописи. Окончив училище и вернувшись в Чернигов, он продолжал обслуживать старушку, требуя за это все больше и больше. На его имя была переведена усадьба, а затем и весь капитал старушки. К этому времени старушка стала уже совсем беспомощной, перестала владеть ногами, а Цыганок уже года три или четыре как был женат. И только спустя эти три-четыре года, совсем недавно жена Цыганка проникла в тайну его обогащения. Она была глубоко потрясена, может быть, не столько этим открытием, сколько тем, что он, уже женатый, не прервал прежних отношений со старушкой, пока последнее ее достояние не перешло к нему. Вот тут-то, когда все завершилось, он и открылся во всей красе. Дома, в семье, он оказался мелким тираном, скардным, мелочным. А старуш-

ку, совсем сразив резким поворотом своего поведения, понемногу лишил самого необходимого и явно намекал, что у него не богадельня, пора и честь знать, нечего заживаться на чужих хлебах.

Так вот какова была светлая жизнь в идилической обстановке, среди цветников, за красным высоким забором, за рядом пирамидальных тополей!

Есть люди, которые все явления окружающего мира воспринимают как-то совсем по-своему. Даже те из этих явлений, смысл которых человечеству давно известен, относительно которых давно условлено думать так, а не иначе, и те они понимают совершенно своеобразно. Эти люди живут как будто в другом мире, только параллельном нашему, но не совпадающем с нашим вполне во всех точках. Я заметил, что такие люди бывают двух категорий: или бездарно и тяжело тупые, или, наоборот, глубоко одаренные, даже гениальные. В них, в людях этих двух категорий, есть только одна схожая черта: гениальность последних так же тяжеловесна, как тупость первых.

Пример такой тяжеловесной гениальности, являющей свойства совершенно и поражающе своеобразного восприятия мира, я имел недавно перед глазами. Я имею в виду художника Петрова-Водкина, с которым одно время я часто встречался. Он любил порассуждать, а я очень любил его послушать. О чем бы он ни заговорил — о социальных или отношениях, о физических или математических законах, об астрономии или физиологии, — он ко всему подходил с какой-то совершенно неожиданной стороны. Явления, причины которых давно известны, получали у него новое объяснение, иногда очень остроумное, поражающее глубиной и оригинальностью мысли. В эти его открытия новых причин явлений очень хотелось поверить, и часто даже жалко было, что они, эти явления, уже давно имеют в науке иное обоснование.

Толчком для такой своеобразной, в полном смысле самостоятельной работы мысли было, конечно, отсутствие школьного образования. Та же причина побуждала и Цыганка создавать свои собственные научные теории в любой области, которой ему случалось коснуться. Он, впрочем, не имел настоящей пытливости, но побуждал себя быть интеллигентным, считая это для себя, как художника и человека с общественным положением и цензом, необходимым. Но как далеки были его домыслы от какой-нибудь гениальности! Во всех своих рассуждениях он был бездарен и туп в высшей степени. С восприятием мира у него случалось то же, что с чтением: он редко мог проникнуть в содержание фразы, если она была подлиннее и посложнее, и воспринимал как-то врозь только отдельные слова. Я привез ему из Москвы только что вышедшую тогда книжку Рерберга о художественных материалах. Он как раз искал какое-нибудь такое руководство и потому был ей рад. Взяв книжку у меня из рук и раскрыв ее наудачу, он прочел вслух дословно следующее: «Пастель изготавливают в Париже только две фирмы: «Лефран» и «Буржуа». «Вот, вот! — воскликнул он. — Как это верно! В пастели в самом деле есть что-то буржуазное. Хорошая книжка! Почитаю с удовольствием». Окружающий мир так же, как фразы из книги, попадал в его сознание какими-то клочками, по поводу которых он выводил скучно-нелепые, бездарные заключения.

Зато в делах узко житейских, так сказать грубо земных, он был у себя дома, не путался и неизменно приходил к выводам себе на пользу.

Вот маленькая иллюстрация его житейской находчивости. В новом доме, где была студия, работал у него маляр, который по договору должен был получить за всю свою работу семьдесят пять рублей. Когда он пришел за расчетом, Цыганок предложил ему на письменном их соглашении расписаться в получении всей суммы, но дал ему пока

только тридцать пять рублей, сказав, что больше дома нет, что пусть тот подождет, пока он съездит в банк, возьмет там денег. И в самом деле: он тут же сел на велосипед и укатил. Наивный маляр сел на скамеечку у ворот дожидаться своих денег, в которых был уверен. Хозяин очень скоро вернулся и был, казалось, удивлен, увидев маляра, поднявшегося ему навстречу. «Что вам еще надо от меня?» — «А як же, а сорок карбованцев, яки вы мени ще повинны?» — «Якие сорок карбованцев? Что вы, маленький, чи шо? Вот же ваша расписка! Разве здесь не сказано, что вы получили все сполна?» И, голкнув велосипед в калитку, он захлопнул ее перед носом остолбеневшего маляра.

Вместе с тем, как это, впрочем, часто бывает с людьми такого типа, Цыганок легко настраивался на сентиментальный, даже восторженный лад. Только взглянув на него, я все-таки начинал сомневаться в искренности этих сантиментов. Не восторгался ли он до слез каким-нибудь закатом или нежными тонами пышного букета цветов скорее по долгу службы, как признанный художник? Все эти тонкие чувства мало вязались с его внешностью. Это был коренастый человек, нескладный, но очень прочно, даже туго сшитый, очень смуглый и черноволосый. Узкий низкий лоб; маленькие, глубоко запрятанные глазки, сверкавшие каким-то неуловимым огоньком не то хитрости, не то скрытого самодовольства; непомерно развитая нижняя часть лица: широкие скулы, массивная нижняя челюсть, толстые красные губы, которыми он, говоря, как-то плотоядно перебирал, причмокивая; массивная голова, утвержденная на короткой широкой шее настолько плотно, что совершенно лишена была подвижности; сильно развитой, как у медведя, загривок, мешавший голове подняться кверху, так что хозяин ее должен был всегда смотреть исподлобья, — вот его портрет.

В своей маленькой студии Цыганок во всем подражал порядкам и обычаям Московского училища живописи. Занятия рисунком велись в те же часы, что и там, — от пяти до семи вечера ежедневно, кроме субботы, когда занятий совсем не было, — мастерская была оборудована такими же мольбертами-подставками для рисунков, ставились те же головы Юноны, Зевса и Аполлона, и сам вел себя ни дать ни взять, как его любимый профессор Милорадович, даже слова говорил те же, поправляя рисунки. Последнюю подробность я оценил, только когда сам попал в ученики к тому же Милорадовичу в Училище живописи.

Рисование с гипсов не могло, конечно, принести мне никакой прямой пользы. Но то, что я перерисовал все головы, какие полагались по программе головного класса училища, помогло мне очень на экзамене при поступлении.

Постоянных учеников цыганковской студии было только два: я да шестнадцатилетний парень, оплачивавший уроки своим трудом — он должен был следить за чистотой в мастерской, носить дрова и делать много других вещей, которые скоро превратили его просто в дворника.

Остальные посетители студии были исключительно дамы, чаще почтенного уже возраста, почти все — по виду по крайней мере — старые девы, которые появлялись урока на два, на три, не больше, и исчезали потом, не удовлетворенные методом преподавания. Им бы хотелось рисовать акварелью с открыток цветы и пейзажи, а не глупые и белые головы в огромном размере да еще углем.

Картина Цыганка, красовавшаяся на мольберте все в том же неоконченном виде все время, пока я посещал его мастерскую, была, несомненно, навеяна репинскими «Запорожцами». Ясно было, что наш мэтр стремился создать что-то столь же значительное, только более грандиозное по замыслу: тут и широкий украинский пейзаж, и знаменитая река, и толпы фигур. Видно, что автор, создавая все это велико-

лепие, усиленно громоздился на ходули, но сверзился раньше, чем на них залез.

А сколько я видел потом признанных шедевров наших официальных живописцев,— шедевров, благополучно доведенных до конца, но столь же растерянных по композиции, беспомощных по рисунку и вымученных по колориту, как и перожденное дитя Цыганка, к которому я все-таки питаю несравненно больше уважения, чем к этим шедеврам, именно за то, что оно, это дитя, имело совесть не появиться на свет божий.

...Июль 1943 года. Бешеные, ураганные обстрелы города. Иногда по пятнадцать часов сряду. А то редкие выстрелы с неопределенными промежутками с расчетом, что жители никак не смогут примениться к этой неровной стрельбе, что народ, успокоенный долгим перерывом, опять появится на улицах и попадет под неожиданную шрапнель.

Вспоминаются последние дни в Павловске почти два года назад, когда немцы так же засыпали наш городок снарядами, но действовали методически, обстреливая нас в определенные часы. Снаряды свистели над нашей крышей и рвались где-то совсем недалеко от двенадцати до двух днем и от семи до восьми вечером. От этих регулярных обстрелов легче было уберечься. Мы отсиживались в убежище, выкопанном в саду, где земляные стены затянуты были коврами, там лежали тюфяки и подушки. Даже спали там две ночи.

Изредка, между залпами, прибежишь за чем-нибудь домой наверх, и странно как-то покажется в квартире: все спокойно стоит на своем месте, везде тот же обычный порядок, так же звонко тикают английские часы. Молчаливое спокойствие вещей, так связанное со спокойным уютom прошлой жизни, теперь кажется неуместным, почти обидным. Как будто все эти стулья, шкафы и диваны, до сих пор тесно связанные с нашим обиходом, не хотят принять участие в новом повороте жизни, становятся изменниками, предателями.

Я поступаю в Училище живописи. Опять Москва

Подымаясь впервые по лестнице Московского училища живописи, я не испытывал того благоговейного трепета, который, мне казалось, должен был охватить меня на ступенях, ведущих в это знаменитое училище. Уж очень все кругом было обыкновенно, не парадно, ничуть не торжественно, проще, чем в любом ничем не замечательном доходном доме.

Народ толпился в каком-то подобии не слишком просторного вестибюля, откуда двери вели в конференц-зал, канцелярию и коридор, из которого попадали в классы. Часть этого вестибюля (или сеней) была отгорожена железной решеткой, за которой помещалась лавочка, где знаменитый Иосиф торговал красками, холстами и всякими другими художественными припасами. И я, как все, остановился тут же, около этой решетки, и стал рассматривать народ — самую пеструю толпу, какую только мне когда-нибудь случалось видеть. Тут рядом с молодыми и не слишком молодыми людьми самого обыкновенного вида были молодые и пожилые люди совсем не обыкновенной, а густо артистической наружности. Были явно пребывающие в нищете неопределенного возраста люди в засаленных и затрепанных пиджаках. Были нарядные дамы и девушки по всем признакам, что называется, из «хороших домов». Были субъекты как-то по-необычному одетые, похожие на туристов или альпинистов. Я заметил даже в толпе усатого и бородатого офицера в золотых очках с капитанскими или штабс-капитанскими пого-

нами, что мне показалось уж совсем неподходящим по данному месту. Прежде всего мне бросалось в глаза, что все в этой толпе были старше меня. Я, чуть не самый старший в реальном училище во всем своем выпуске, оказался здесь самым молодым. И еще: казалось, что почти все знакомы друг с другом! Пока я искал объяснения этому поразившему меня факту, я заметил еще, что так же фамильярны, как друг с другом, они были и со сторожами классов, которые, впрочем, в своих холщовых чистых блузах держались с большим достоинством, чуть ли не по-профессорски, во всяком случае так, как люди, от которых многое и многое зависит, которые хранят какие-то тайны, могущие облегчить экзаменующимся вступление в святилище. Когда я прислушался к разговорам вокруг, то узнал нечто, что повергло меня в тот именно священный трепет, которого я напрасно ожидал, подымаясь по лестнице. Оказалось, что большинство, особенно тех, что имели вид артистов и туристов, побывало в Мюнхене и в Париже, толкалось там не один год по мастерским, училось рисунку у Кормона и так далее. Обнаружилось и еще одно уже совсем тревожное для меня обстоятельство: почти все держали в училище, непременно проваливаясь на экзамене, по нескольку раз. И не один-два раза, а раз по шесть—восемь! И все принимали это не как какую-то несчастную случайность, а как явление вполне нормальное: так и считалось, что в училище никак нельзя поступить с одного разу.

А я-то думал, что достаточно хорошо подготовился, рисуя головы Юпитера и Геры у Цыганка да нарисовав, по настоянию уже Ивана Ивановича, несколько живых голов с ребятишек нашей кухарки! Как же я был, оказывается, легкомыслен, по-провинциальному наивен! Вдруг храм искусств, такой когда-то недосыгаемо прекрасный в моем воображении, возродился теперь передо мной в этой скромной, так обманувшей меня оболочке, во всем своем внутреннем величии. Я ощутил и уважение, и трепет, и настоящий страх. Полная уверенность, что я провалюсь, заползла мне в душу.

Весь экзамен прошел в каком-то лихорадочном тумане. Туман этот не сразу рассеялся даже тогда, когда поздно вечером в день последнего экзамена я узнал, что принят на первый курс архитектурного отделения (по настоянию отца, который и слышать не хотел о живописи, я держал на отделение архитектуры).

Мое поступление мы с отцом отпраздновали в Большом московском ресторане ужिनком, который стоил столько, сколько мама тратила на все завтраки, обеды и ужины на нашу семью в течение целой недели.

И вот я остался в Москве один.

В училище я не встретил никого из тех, кого заприметил в толпе экзаменующихся. Все сколько-нибудь колоритные артистические фигуры провалились, видно, и на этот раз. Я заметил в коридорах только толстого офицера в золотых очках. Когда через полгода, после бурной переписки с отцом, презрев увещания инспектора училища Гиацинтова, я перешел на живописное отделение, то оказался с этим бывшим офицером в одном классе. К этому времени он снял уже свою форму. Я с ним познакомился. Это был Масютин, уже довольно известный художник, выставившийся на выставках Союза.

В училище мне показалось как-то скучнее, чем я ожидал. И хоть я старательно писал по утрам и рисовал по вечерам, но делал это без ожидаемого воодушевления.

Гораздо больше меня занимала Москва, которая мне представилась теперь другою, совсем не тем патриархальным городом моего детства, о котором сохранились воспоминания. На Кузнецком, в магазинах, театрах, концертах, на выставках я видел совсем других людей, чем те

тихие старички и та степенная, несколько старомодная молодежь, которые окружали мое детство. Мне представилось, что Москва сильно европеизировалась. Даже больше: через Европу сказалось американское воздействие, отзвуки даже негритянского фольклора. Сказалось это в кек-уоках и танго, в американской обуви диковинных фасонов с пузырястыми носами, которые не мог повторить ни один европейский сапожник, так что даже великосветские и просто богатые франты, никогда не носившие готовой обуви, принуждены были покупать эти изделия американской индустрии. Не только фасоны обуви и котелков, менявшиеся каждый сезон, но и все, принесенное ветром моды, было в высшей степени эксцентрично, как никогда, может быть, раньше и никогда потом. И за все москвичи хватались с преувеличенным азартом провинциалов.

Кое-что, впрочем, оказалось настолько смело, что удержалось недолго. Такой непрочной модой были дамские платья со случайными «декольте» — маленькими треугольными или ромбическими окошечками где-нибудь на боку или на бедре, в которые сквозило голое тело, ибо под такие платья белья не полагалось. Иногда под этими ромбиками или треугольничками кожа красилась в черный цвет. Не продолжалась долго и другая мода — красить (вернее, пудрить) волосы в розовый, зеленый, голубой и прочие, совершенно несвойственные волосам цвета. Я очень пожалел о недолговечности этой моды: было забавно смотреть откуда-нибудь с верхнего яруса на партер в театре, где шевелится целый цветник дамских голов самых неожиданных колеров.

Всей этой эксцентричностью каким-то образом утверждался модный урбанизм и в жизни и в искусстве. Недаром футуристы раскрашивали свои лица, ничего не изобретая нового после фиолетовых волос, а только делая шаг дальше, но в ту же сторону. Недаром как-то Бурлюк на диспуте футуристов вынул из-под стола американский лакированный башмак с замшевым верхом и, подняв его выше головы, назвал произведением искусства превыше всяких Венер Милосских.

В сущности, искусство, как всегда, шло рядом с жизнью. Но если в жизни всякие эксцентричности, экстравагантности мод серьезными людьми или не замечались, или прощались, так как казались в конечном счете пустяками, то в искусстве, которое в общем мнении было всегда делом серьезным, всякая подобная новизна озадачивала, эпатировала и уж во всяком случае казалась намеренным вывертом. На самом же деле экстравагантность, внесенная в жизнь модами и негритянскими танцами, была отголоском того, что в искусстве было делом серьезным, глубоким и что только по первоначальному и беглому или предубежденному взгляду казалось кривляньем.

И опять-таки прежде всех именно москвичи ухватились за «новую моду» в искусстве. Картины Сезанна, Ван-Гога и Пикассо перекочевали к московским собирателям, которые сами еще вовсе не предугадывали, что из этого нового искусства выйдет, а собирали эту уродливую живопись больше потому, что это последний крик моды. Сергей Иванович Щукин так и признавался, что, приобретая «Даму с веером» и «Скрипку» Пикассо, он не чувствовал к ним ничего, кроме болезненного отворачивания, и потом долго приучал себя к ним, «привыкал», как он говорил. Для этого он вешал их на некоторое время у себя в спальне так, чтобы первый взгляд утром и последний вечером падал на эти «жуткие» картины, чтобы можно было полежать, посмотреть, подумать. И вот полежал, подумал — и «привык»!

Привыкли, привязались к этой живописи и мы, молодежь, еще только таянувшаяся к искусству, по крайней мере наиболее прогрессивные и культурные из нас — те, кто поглубже стремился проникнуть в самую «суть» искусства, что-то в нем постигнуть, найти какой-то путь, по

которому можно было бы идти вперед,— а мы хотели идти вперед, и только вперед.

Через знакомых чьих-нибудь знакомых можно было проникнуть и к Щукину и к Морозову. В таких случаях составлялись группы молодых художников и их друзей, которые в назначенное утро собирались в передней шукинского или морозовского особняков, где их встречали сами хозяева и сами водили по своей галерее, охотно рассказывая, откуда и как попали в нее те или другие полотна.

Я был несколько подготовлен к тому, что увижу в этих собраниях, и репродукциями «Золотого руна», и несколькими картинами новых французов, которые висели в Третьяковской галерее, в зале 19-бис. Тем не менее впечатление оказалось сильным и неожиданным. Меньше всего тогда (да и после) меня увлек Гоген. Он как-то очень скоро для меня исчерпался, и я отвернулся от него, по-видимому, навсегда. Когда в Третьяковке я увидел одну его вещь, она мне показалась внешне красивой, и только. У Щукина же перед огромным количеством картин Гогена, висевших рама к раме на темном дубе столовой, у меня по первому впечатлению буквально захватило дух, я был ошеломлен великолепием красок и пышной декоративностью этих полотен. Но сейчас же предпочел им Сезанна и Ван-Гога. Позднее декоративность, например, Матисса показалась мне куда тоньше, разнообразнее. Да и не исчерпывался он одной декоративностью, как Гоген.

В основе гогеновской живописи лежит раскрашивание — вот рядом с этим тоном положу этот. Узор резко ограниченных пятен. Может быть, и так можно. Немало больших художников работало по этому рецепту: Шаванн, Морис Дени, наконец Петров-Водкин, который в большой мере тоже раскрашиватель. Их приятной и даже значительной живописи я все-таки всегда предпочту ту, которая основана на совсем ином принципе: художник стремится не только цветом, но и массой краски, самым способом ее наложения на холст создать изображаемую вещь, сделать ею, этой краской, форму. Такова живопись Сезанна, Вламинка, Дюфи, если говорить о наших современниках, и Веласкеса, Рембрандта и многих голландских пейзажистов вроде ван Гойена, если вспомнить стариков. Меня в живописи влечет и влекло всегда именно это ее качество. Так же, как реализм, под которым я разумею не столько обязательную для него по общему мнению объективность, как прежде всего постоянную верность своему мировоззрению, искренность,— пишу, как вижу и чувствую. Даже очень субъективный живописец останется реалистом, если всегда будет верен своему мироощущению, если не увлечется отвлеченными измышлениями или не станет на путь подделок. К слову, некоторые наши ленинградские и московские современники, за которыми утвердилось звание реалистов, в сущности, именно такие пустые подделыватели, ибо пишут то, чего не видят, не знают, а иногда и не чувствуют.

Именно поиски реализма потянули меня тогда к мудрому Сезанну, к Ван-Гогу, великая искренность которого меня потрясла; наконец к Марке, которого никто из моих товарищей как-то не оценил тогда вполне.

Совершенно иначе заинтересовал тогда меня Пикассо. Точная сделанность, рукодельность его натюрмортов и других вещей футуристического периода показалась мне настоящей «мануфактурой», вполне отвечающей современному урбанизму, нашему преклонению перед машиной, перед индустрией, продукция которой по совершенству невероятной, недостижимой никогда раньше точной работы является высоким искусством, подлинным «перлом творчества» современности.

Эта высокая техничность, которая была сегодняшним днем искусства, привлекла меня и в жизни, в предметах современного обихода.

Прежде всего в костюме. Я стал носить только американскую обувь, стремясь, чтобы башмак и на моей ноге сохранял машинную точность формы; полюбил твердые шляпы, которые не деформируются на голове, четкость причёски волосок к волоску, пока эти волоски еще держались на моей голове. И скоро если не прослыл среди товарищей франтом — так как я соблюдал в своей внешности не столько франтоватость, сколько комильфотность, — то заслужил презрение многих из них, тех прежде всего, которые отпускали пышные гривы волос и носили пышные галстуки, — словом, имели подлинно художественную внешность.

Скоро я заметил, что такая внешность вовсе не была результатом небрежности натуры художника, которому за высокими мыслями некогда подумать о своей наружности. Наоборот, их высокие мысли были заняты именно этими делами, так как эти пышные шевелюры требовали постоянного внимания. Их владельцы носили в кармане гребенки и причесывались перед зеркалом всякий раз, как снимали шляпу, да и потом от времени до времени проводили гребешком по волосам. Я же, причесавшись утром, уже не вспоминал потом о своих волосах и не заглядывал в зеркало до следующего дня.

Потом мне не раз приходилось говорить об аккуратности с людьми, которые ее считают признаком холода души, отсутствия темперамента. Я говорил в таких случаях, что то, что называется аккуратностью, для меня просто система отношения к вещам, благодаря которой я не позволяю им владеть мной. Я ими распоряжаюсь, а не они мной.

Как-то я присутствовал при утреннем туалете одного моего друга-писателя, с которым мы работали над детской книжкой и условились в это утро сойтись для работы пораньше (это «пораньше» было, конечно, после десяти часов утра). Он брился. Делалось это как-то урывками, среди серьезного разговора. И разговор потому не клеился, и бритве досадно прерывалось исчезновением то кисточки с мылом, то полотенца, то самой бритвы, которую хозяин в увлечении разговором вынул из рук и уже потом не находил. А что началось, когда мой друг стал завязывать галстук и надевать башмаки! Он не мог найти сразу ни одну вещь! Он метался по всей комнате и всерьез злился, а все эти башмаки, галстуки и жилеты буквально издевались над ним, прячась в самые неподходящие, неожиданные места. Бедняк оказался целиком во власти вещей, которые делали с ним, что хотели.

Нет, куда удобнее устроиться так, чтобы вещи сами шли в руки, чтобы внимание и ум были свободны, чтобы механизировалось все общение с материальным миром и необходимые житейские процедуры происходили незаметно для сознания.

В своем искусстве, в школьных этюдах и рисунках, я стремился к такой же власти над формой, над материалом. Мои рисунки тогда были точны, конечно, только в меру моего тогдашнего представления о форме, недостаточно еще глубокого. Но мое понимание формы в них излагалось без всякой неопределенности, с предельной четкостью, не допускающей никаких, так сказать, «разночтений». Такова же была и моя живопись, не слишком сухая только потому, что была достаточно обобщенной.

«Вы как Гольбейн: как прорисовали, так и не сдвигаете уже в живописи ни одной черты», — сказал мне как-то С. В. Малютин, бывший нашим профессором в мастерских. Действительно, я сначала долго рисовал на холсте, как это делал Серов в своих портретах, к которым я присматривался тогда сочувственным глазом, и брался за живопись, когда рисунок меня уже удовлетворял или, чаще, когда оставалось уже очень мало времени до конца постановки.

В словах Малютина я чувствовал небольшой укор, которого, к несчастью, я тогда не понял. Напрасно он не объяснился со мной точнее.

Только много времени спустя, давно работая самостоятельно, я пришел к твердому убеждению, что в процессе работы нельзя переключаться с одного материала на другой. Нельзя, например, начав рисунок карандашом, продолжать и заканчивать его пером. Мой прием тогда был порочен не потому, что я долго рисовал в погоне за точностью формы и уже не сдвигал этого рисунка, а потому, что делал это не в том материале, в котором предполагал сделать этюд. Выяснить и уточнить форму следовало бы в живописи же, цветом, а не углем и не карандашом. Потому что трактовка формы определяется не только миропониманием художника, но в достаточной мере и материалом. Художник с карандашом в руке мыслит иначе, чем тот же художник, взявший в руки кисть.

Когда я в качестве профессора руководил рисунком в Академии художеств, меня всегда сердили студенты, которые, наметив проволочным контуром фигуры натурщика, спрашивали меня, можно ли уже «начинать тушевать». Я старался внушить им, что начатый линией рисунок таким и должен остаться, а если есть намерение сделать его объемным при помощи тона, то так и надо делать его тоном с первого движения руки по бумаге. То и другое — разные взгляды на вещь, и никак нельзя без болезненного шока перейти от одного представления о предмете к другому.

Училище живописи

То, что делалось в Московском училище в те годы, меньше всего можно было назвать преподаванием живописи. В классы широко хлынуло новое искусство (больше французское). Профессора как-то растерялись, спасовали перед этим явлением. Они понимали, что помешать этому невозможно. А некоторые из них считали это не только невозможным, но и ненужным, сами захваченные (больше теоретически) этой свежей волной.

Высоко держал голову только один К. Коровин. Он появлялся в мастерской не слишком часто и всегда в разное время. Стремительно войдя в класс, он сразу же начинал говорить — по поводу натуры («...Жар-птица! Ее тело горит красками! Где там та серая муть, которую я вижу на ваших этюдах?») или по поводу чьей-нибудь работы, попавшейся ему на глаза, а чаще без всякого повода. Мы обступали его тесной толпой, подходила и натурщица, накинув на плечи платок. И слушали всегда с напряженным вниманием эту приподнятую, даже взволнованную, всегда неожиданную речь.

Особенно приподнятой эта речь бывала тогда, когда мэтр появлялся в мастерской в девять часов утра. Это значило, что он попал к нам не из дому, что ему случилось провести ночь где-нибудь, где пели цыгане и лилось вино рекой, и уже под утро, после традиционного чая в «Золотом якоре», он вспомнил вдруг о своей мастерской и мчался прямо оттуда к нам. Об этом свидетельствовал, кроме раннего появления в классе, и несколько взлохмаченный вид профессора, всегда очень аккуратного, даже щегольски одетого. В такие дни дядька Никифор, нежно любивший Константина Алексеевича, провожая глазами его, уходившего стремительными шагами по длинному коридору и натыкавшегося в полумраке на табуретки, качал головой и говорил: «А наш-то!.. Э-хе-хе!»

Из слов Коровина не оставалось в памяти ни одного, но ясно становилось, что творчество — радость, искусство — сама полнокровная жизнь, и на самом деле начинали казаться мутно-серыми наши этюды. Уже невозможно было работать в этот день. И пойдешь куда-нибудь бродить по Москве, чтобы в долгом скитании по ее бесконечным бульварам и путаным переулкам переварить как-нибудь все взбудораженные речами Коровина мысли.

Иногда я и мой друг — тот, другой ученик моего Ивана Ивановича, которого я поминал уже, — оказывались где-нибудь в кафе и там, перед остывшим кофе и нетронутыми пирожками, пытались разрешить наши тяжелые сомнения. Но они не разрешались, а росли все больше и больше. Эх, если бы мы догадались тогда, что эти сомнения если и могут быть разрешены, то только на холсте!

Из других наших профессоров настоящим педагогом был только передвижник Касаткин, преподававший в фигурном классе. Он в самом деле способен был помочь тем, кто его слушал, укрепить свои первые шаги в искусстве. Остальные же, среди которых были и такие почтенные художники, как Малютин и Архипов, были смущены или сбиты с толку тем, что творилось в школе, и как-то даже робели перед учениками. И это не так уж удивительно, если вспомнить, что среди учащихся были уже совсем сложившиеся и яркие фигуры — Крымов, Ларионов, Гончарова, Масютин, Барт, Бурлюк. А многие другие, кто, как я, по молодости совсем еще никак не определился, заняты были самыми «глубокими» изысканиями в духе того самого искусства, которое еще не стало общепризнанным и для многих было жупелом. Эта молодежь не склонна была идти за советами к профессорам училища — она имела своего вождя. Это был не Ларионов, не Гончарова и даже не Бурлюк. Этим вождем был тот «другой» ученик моего Ивана Ивановича, о котором я только что поминал. Все годы его пребывания в училище вся школа была под обаянием его искусства. Его подражателей было много, и даже сторожа, размещая работы по мольбертам перед экзаменом, опознавали сделанные «под него».

Я не намерен здесь рассказывать, почему так случилось, что он, дав нам всем так много, ничего не оставил себе.

Какое место я сам занимал среди пестрой толпы, наполнявшей мастерские школы живописи, — не знаю. Бурлюк как-то сказал мне: «Кто вы? Вы декадент, и ваш отец и дед были декадентами». Это слово — «декадент» — тогда еще произносилось всерьез и означало больше «новатор», чем «вырожденец». Я заметил Бурлюку, что рисую точно и сухо, а пишу только черным и коричневым.

«Что ж из этого, — сказал он, — и Пикассо пишет коричневым».

Старая Москва. Богатые родственники

Нашлась и старая Москва!

Я поселился на Плющихе. Черт его знает, как это вышло: бродил я по Москве в поисках комнаты, вспомнил, что кое-какие мои родственники живут в переулках Арбата и Пречистенки, прошел, ничего не найдя подходящего, и по этим улицам и оказался на Плющихе. Опомился я только, когда, устав бродить и искать, снял комнатку наверху довольно мрачного дома в Ростовском переулке. Тут только я сообразил, в какую даль от училища я забрался, и пришел в ужас.

Но, видно, сама судьба вела меня за шиворот: в этой самой квартире, в соседней комнате, поселились потом две слушательницы курсов Герье, одна из которых через несколько лет стала моей женой.

Сберегая пятаки, я изредка ходил с Плющихи в училище и обратно пешком, а под конец месяца совершал такие прогулки ежедневно, так как этих пятаков уже не бывало в кармане.

Кремль теперь закрыт для прохода. И очень жаль — без Кремля Москва не Москва.

Тогда мне доставляло огромное удовольствие пройти вечером, после семи часов, из Никольских ворот в Троицкие по пустынным уже пло-

щадям Кремля мимо Чудова монастыря, мимо рядов наполеоновских пушек, под звонкие и четкие крики галок, которые тучами носились по темнеющему небу над башнями Кремля и Иверских ворот, устраиваясь на ночлег на деревьях Александровского сада.

Китай-город, который я пересекал по Никольской, вечером тоже бывал пустынен. Когда же мне приходилось проходить по той же Никольской днем, меня оглушала деловая суетня торговой Москвы, которая кипела в улицах и по переулкам за рядами. Тут из всех углов, как и в Кремле, на меня смотрела старая Москва, только не мертвая, как там, а шумная и деятельная, хоть и такая же старозаветная. Здесь все было по-старому: те же бесконечные тюки и ящики товаров (мне всегда хотелось знать в детстве: что там понапихано в таком количестве?), те же перепачканные ломовые, жующие на ходу ситный, ослепительно белый в их черных руках, та же теснота, грязь и как будто беспорядок — и то же везде безграничное обилие!

Все эти Щукины, Журавлевы, Поповы и Морозовы, европейцы у себя дома, в концертах и на выставках, здесь, за рядами, были такими же азиатами, как встарь их деды и прадеды.

Здесь я нашел Москву своего детства! А когда наконец побывал, вспомнив родительский наказ, у своей богатой купеческой родни, которой в Москве было немало, то вполне убедился, что Москва стоит на тех же китах.

Что же тогда означал интерес этих же Щукиных и Морозовых к западному, самому новому искусству, собирательство Матиссов и Пикассо, таких «страшных», что к ним надо привыкать по неделям и месяцам?

Мне представилось тогда, что это что-то вроде тихого кутежа без битья посуды, без полицейского протокола, но, несомненно, с некоторыми признаками самодурства и тихого скандала.

Так-то это так... Но, кроме самодурства, кроме желания удивить, поразить, нет ли здесь и некоторого удовлетворения некоторым запросам души?

Если искусство до сих пор — искусство, скажем, передвижников — отвечало настроениям интеллигенции, которая с самой середины XIX века истекала слезой по поводу неустройства своего меньшого брата, и потому искусство это стало народническим и тенденциозным, навсквозь проникнутым высокими идеями, то каким же должно быть искусство на вкус нового деятеля, недавно вышедшего на арену русской культурной жизни, на «скус» нового купца?

Купцу, хотя бы и новому, плевать на меньшого брата — он сам из того же теста и потому не склонен возносить его на пьедестал. Потому ему нет никакого дела до всяких идей интеллигентского измышления. Следовательно, никакой слезы, никакого направленства и литературы от искусства не требуется. Искусство, вроде как цыганский хор, должно развлекать, радовать, должно быть украшением жизни, и только (не того ли ждали от искусства меценаты всех времен вплоть до итальянских герцогов эпохи Возрождения?). Значит, по типу искусство должно быть декоративным прежде всего. А раз так, то и Матисс может прийтись по мерке. Интеллигентская слеза была чем-то чисто русским, а декоративность — интернациональна. Рядом с Матиссом, в поисках за декоративным искусством, появился интерес и к русской старине. Рябушинский, Остроухов, один из Щукиных и многие другие стали собирать эту старину, и прежде всего и больше всего — русскую икону. Русская живопись, помимо своего религиозного содержания, уже обветшавшего, казалась вечной и современной именно своей декоративностью.

Я не писал, не решался писать о современности. Мне говорили: вместо того, чтобы вспоминать старину, вы писали бы лучше о том, что переживаете сейчас. Та старая эпоха известна, о ней много сказано, а современность уйдет, забудется; утратятся все черты ее и некому будет их удержать, закрепить. Я чувствовал, что это как-то не так, не вполне верно. И был прав. О сегодняшнем нельзя рассказать сейчас же по свежему впечатлению. Прежде всего — нет этого впечатления!

У нас в квартире той страшной зимой умирала старуха. Через два дня после ее смерти за ней прибыл кто-то на самолете, чтобы вывезти ее из Ленинграда к дочери, а за несколько дней до смерти она сидела на пороге своей открытой двери почему-то верхом на стуле, худая, черная, вытянув руку, и все время хрипло стонала: «Хлеба, хлеба!»

Сейчас мне страшнее вспоминать этот черный скелет полумертвой старухи, чем тогда проходить по коридору мимо. Потому что сам я тогда был другой — все те ужасы проходили мимо меня, как за туманной завесой. Свой ужас внутри был ужаснее. Только сейчас я могу на все прожитое посмотреть обыкновенными человеческими глазами — значит, с человеческой точки зрения, верно; а рассказать так, чтобы другой почувствовал то, что я пережил, смогу еще много спустя, если только смогу.

Во мне и сейчас уже много перемен. Мне начинает казаться, что я почти вернулся к прежнему состоянию духа. Почти! Но далеко не совсем. Зимой 41—42 года я не терпел, не мог переносить музыки, особенно вокальной. И не только потому, что казалось чудовищным — по улицам едва плетутся голодные люди, а громкоговорители поют песни. Теперь, в декабре 1943 года, когда я сыт, я опять с удовольствием слушаю музыку, и мне уже не понятно, как это так совсем недавно она меня только раздражала.

Я вспоминаю старую Москву, всем духом которой на меня пахнуло, как только я переступил порог дома своей прабабушки. Я называл ее бабушкой, а еще чаще просто по имени. Уж очень дальше у нас с ней было родство — сестра ее покойного мужа была замужем за моим прадедом, Стефаном Конашевичем-Сагайдачным (тогда еще эта половина нашего имени не была откинута по повелению царя, лишившего этим всех Конашевичей навсегда дворянства за революционную деятельность одного из них, сошедшего с ума и умершего в Шлиссельбургской крепости).

Прабабушка жила на Остоженке, в Савеловском переулке, в особняке — большом одноэтажном доме, стоявшем торцом в переулочек и далеко тянувшемся вглубь, вдоль огромного сада, спускавшегося к Москве-реке. Дом высоко был поднят на подвальном этаже, где помещались кухня и людские, и потому из нижней прихожей подымалась вверх лестница красного дерева, а там открывалась длиннейшая анфилада покоев — сначала огромный зал с одиноким длинным роялем в чехле и с двумя хрустальными люстрами; к нему с одной стороны примыкал зимний сад, а с другой за аркой — гостиная, за которой была столовая, потом чайная комната в русском стиле, потом еще гостиная, потом кабинет, потом еще кабинет, потом диванная и т. д. и т. д. Все двери были открыты одна за другой, и комнатам, казалось, не было конца.

Я, впрочем, не бывал никогда дальше столовой, где около окна, подоконник которого зимой был выложен мехом, спускавшимся до самого пола, в глубоком кресле с книгой или газетой (но никогда с каким-нибудь обычным старушечьим рукоделием) в руках сидела прабабка — сухошавая, прямая, строгая старуха, черствая, как самый древний сухарь. На ее тонких сухих губах я никогда не видел и тени улыбки;

в ее словах не сквозило никогда никакого чувства. Ох, какой жуткой показалась она мне с первого же раза, когда я подошел к ее креслу — так и веяло от нее холодом, и все, все, казалось, замерзло вокруг нее. В доме было пустынно, царила мертвая тишина. Я знал, что где-то в свежих отдельных пяти комнатах живет с двумя взрослыми дочерьми старушка компаньонка прабабушки, но я никогда ее не видел. Побывав в этом доме раз, я уже не решился заглянуть в него больше.

Но, приехав на другой год, я все-таки, исполняя строгий наказ отца, пошел к старухе. Она встретила меня, насколько это было для нее возможно, приветливо, попеняла мне за то, что я так надолго скрылся, и взяла слово, что в ближайшее же воскресенье я приду к обеду. И я пришел и потом уже не пропускал ни одного воскресенья.

После недели обедов по столовым среди серой людской толпы, за шатким столиком, на несвежей скатерти, мне приятно было сесть за большой, прекрасно сервированный стол.

Обедали мы всегда только вдвоем. К моему удивлению, я заметил, что никто больше не удостаивался этой чести. Впрочем, не только меня это удивляло: несколько озадачены были таким расположением ко мне бабушки и ее дочери, и внуки. А если бы им стало известно, что бабушка простерла свое благоволение ко мне вплоть до удовлетворения некоторых моих вкусов (так, у моего прибора всегда стояла бутылка «шабли» или мозельвейна, так как стало известно, что я люблю белое вино), то они и вовсе встревожились бы, предположив с моей стороны намерение пролезть в бабушкино завещание. В этом они все были насторожены и зорко смотрели друг за другом, чтобы кто-нибудь перед бабушкой не забежал вперед.

Обед, который всегда точно начинался в час дня, проходил обычно в полном молчании. Старуха не была разговорчива, а я, как ни тужился из учтивости придумать тему для разговора, не находил ее и скоро умолкал вовсе. После обеда бабушка имела обыкновение отдохнуть и всякий раз неизменно говорила мне: «Ну, ты меня извини, я пойду прилягу, а ты, если тебе скучно оставаться одному с попугаем, можешь пройти к Маше. Ты знаешь, она всегда тебе рада».

Маша была ее младшая дочь, та самая Марья Васильевна, Сонина крестная, которая привезла когда-то нам на дачу знаменитую небьющуюся куклу, погребенную нами в куче песка.

Марья Васильевна уже давно похоронила своего мужа, казачьего полковника, только что продала свое огромное имение в области Войска Донского и устраивалась теперь на новой квартире, которую наново отделала и обставляла. Я помогал ей подбирать драпировки к обоям, ткани для обивки мебели и сдружился с ней за это время. Во всяком случае я привык к ней и чувствовал себя уютно в ее доме, около этой грубоватой, своевольной, но, в сущности, доброй и прямой женщины. Мой успех в ее доме начался с того момента, когда ее китайская собачонка — злущее создание, не терпевшее никого, кроме хозяйки, да и на ту частенько ворчавшее. — вдруг почувствовала ко мне расположение, встретила меня радостно и не отходила от меня весь вечер. Хозяйка посчитала это добрым знаком.

Выйдя от бабушки, я обычно делал крюк, чтобы не сразу попасть к тетке, как я называл Марью Васильевну, хоть она и доводилась мне бабушкой, правда троюродной. Она немножко молодилась, и титул бабушки ее бы обидел. Мне нужно было, чтобы впечатление от бабушкиного обеда поулеглось, так как Марья Васильевна всегда встречала меня одним и тем же вопросом: хороший ли у меня аппетит? Она и сама умела хорошо покушать, и любила, чтобы другие у нее ели с удовольствием. Если у сдержанной во всем бабушки обеда, всегда мастерски пригото-

ленные, блистали больше изысканностью блюд, чем количеством, то у ее дочери все было не только вкусно, но и обильно, чисто по-купчески: если пироги — то гигантские и трех-четырёх сортов; если рыба — то стерлядь на весь стол; если кто захочет кусочек ветчины — то несут целый окорок.

К обеду обычно прибывал сынок Марьи Васильевны, тот самый, которого раньше я вспоминал рыхлым, бледным гимназистом. Он и сейчас был таким же, только еще более вялым, молчаливым, безучастным, как будто весь мир от него заслонен каким-то туманом. В университете он не закончил курса на медицинском факультете, вдруг почувствовав отвращение к медицине, разочаровавшись в естественных науках. На него нашла полоса каких-то сомнений, тяжелых размышлений, кончившихся нервным расстройством. Он углубился в философию, в теологию, был хоть и не в меру серьезен, однако не глубок и не усидчив, и философию скоро забросил. Но что-то все-таки еще бродило в нем даже тогда, когда я его вновь увидел, уже застывшего в каком-то тупом оцепенении. Изредка его что-нибудь задевало, и он, по-старому, не умея ни на что взглянуть просто, задавался целью изучить вопрос со всех сторон, для чего накупал кипу книг, но никогда не прочитывал и первой из них. Словом, это была русская натура в полной мере и в том ее состоянии, в которое она приходит, когда обстоятельства не заставляют ее работать.

Своей жизнью он совсем не владел, ни в какой мере, а шел туда, куда его поведет случай.

Так он получил и подругу жизни. Случилось ему как-то заболеть. К нему приставили сиделку, немолодую женщину. Она и стала спутницей его жизни. И я уверен, что это не стоило ей большого труда. Жениться на этой женщине из боязни мамыши он не решался, да и она была настолько сообразительная, чтобы понять, что попытка узаконить свое положение может окончиться для нее отставкой. Однако у мамыши к обеду по воскресеньям она появлялась всегда с ним, хоть Марья Васильевна едва ее терпела, считая только необходимым лекарством своему не совсем здоровому сыну.

Жили они отдельно, сын был отделен от мамыши во всем. Марья Васильевна только что продала свое имение за миллион восемьсот тысяч, миллион оставила себе, а остальное поделила пополам между сыном и дочерью, которая жила где-то в провинции замужем. Эти цифры казались мне ни с чем несравнимо гигантскими. Такое богатство я не мог представить себе реально и, если бы вдруг оказался обладателем десятой, даже сотой части этих капиталов, посчитал бы себя богачом, который может не задумываясь, неограниченно и свободно сеять деньги направо и налево.

Однако в среде Марьи Васильевны на капиталы и возможность трат смотрели иначе. Здесь, в недрах старой купеческой Москвы, передо мной представала скупость во всех своих постепенностях: от расчетливости и до самой гнусной скарденности. Довольно-таки противные формы приобретает скупость, когда отпадает ее цель — нажива, накопление ценностей.

Прабабушка сидела на своих миллионах, истинной цифры которых никто не знал и от которых никому не было ни тепло, ни холодно, даже ей самой; ее очень ограниченные старушечьи потребности и привычка жить строгой жизнью многого не требовали.

Марья Васильевна имела запросы пошире и не отказывала себе в их удовлетворении, но все же жила с оглядкой, с расчетом. И если не очень скупа была для себя, то в других это качество считала добродетелью, особенно если эти другие были небогаты. Она долго вспоминала мне с укором мою расточительность: я подкатил как-то к ее подъезду на извозчике, когда сама она подходила к дому пешком, возвращаясь из

церкви. Был первый зимний день, все стало бело, так чудесно пахло свежим снегом, извозчики сменили колеса на санки — и я не утерпел: так захотелось прокатиться на санях по новому снегу. Она строго отчитала меня за такое чисто дворянское легкомыслие.

Сын ее уж совсем жадно дрожал перед каждой тратой и очень боялся материнской расточительности — как бы мамаша не прожила свой капитал при жизни. И всякий раз, бывая у нее по воскресеньям, что-нибудь выпрашивал для своего хозяйства: «У вас, мамаша, грибочки очень удались. Не прислали бы вы нам баночку?»

Как-то он задумал шить себе костюм и все прицеливался, колебался, мучался, прежде чем решиться на такую капитальную трату. «Вот скажите, сколько вам обошелся костюм, что сейчас на вас?» — спросил он меня как-то. «Ну, — я говорю, — шил я его у себя в провинции и не так, как это делается в столице: отдельно покупал материю, отдельно платил за работу портному». — «А что ж, пожалуй, так и экономичнее. А сколько платили за сукно?» — «Двенадцать рублей». — «О, для меня это очень дорого!»

Я вышел из среды, где если не все жили выше средств, то уж во всяком случае никто не жил ниже своих возможностей, — потому скудость богачей казалась мне чем-то противоестественным и в высшей степени мерзким.

Именины прабабушки. Вместо обеда в этот же час — традиционный пирог. В столовой пышно накрыт огромный стол. Много гостей. Я вошел и сказал себе: вот куда Москва вытряхнула свое старое чрево! Мужчин мало: несколько только вытертых, съеденных молью старичков. Все больше женщины. Все они в каких-то не то что старомодных, а каких-то не совсем европейского покроя платьях, чаще черных, в которых и молодые кажутся старухами. Среди всех этих черных платьев мало заметны несколько почтенных монахинь. С большинством нововходящих не знакомят — недостойны. Очевидно, это или бедная родня, или семьи старых служащих по амбарам и складам дедушки. Сын Марьи Васильевны ловит меня под руку и увлекает к верхнему концу стола, поближе к бабушке. «Здесь, — говорит он, оживляясь (он всегда оживлялся около еды), — все получше: пирог с осетриной, вино французское, а вон под стеклянным колпаком — омар; а на другом конце — вино удельное и заливной судак». Только мы с ним подсели к омару — за столом движение, все встают; повернулся я и в ту сторону, куда все, и вижу: из внутренних покоев, окруженная целой толпой, как мне показалось, приживалок, выступает высокая, очень древняя по всем признакам, но очень еще бодрая старуха, сразу меня поразившая своим строгим видом и вместе с тем каким-то беспокойством во взгляде и неровной, деревянной поступью. На ней старомодное платье, очень широкое, как носили в шестидесятые годы, сшитое из коричневого, затканного мелкими букетиками цветов шелка такой плотности, что казалось, выйди она из него, оно так и останется стоять посреди комнаты. Под руки старуху вели две женщины, еще две несли ее мешок и костьль; остальные замыкали шествие. Старуха, блеснув глазами и сдвинув брови, обвела всех взглядом и остановила его на мне. Глаза ее вдруг стали расширяться, на лице выразилось удивление, и она, отпихиваясь руками от своей свиты, к моему удивлению и даже ужасу, направилась прямо ко мне. «Дометий, ты! Какими судьбами?!» Тут между нами выросла бабушка, старуху окружили, подхватили опять под руки и повлекли к другому концу стола. Она сразу успокоилась, я заметил только, что ее старательно заслоняют от меня. «Моя тетушка, последняя в роде замоскворецких купцов Сырейшиковых, давно выжила из ума, — сказала бабушка, — помнит только отдаленное про-

шлое и живет в нем, не замечая, что все кругом давно изменилось». — «Значит, я похож на своего деда, если она во мне его признала?» — спросил я. «О, очень, очень! Ты вылитый дед — такой, каким он жил у нас в этом самом доме, когда был студентом».

Так вот оно что! Вот откуда «шабли» и мозельвейн! Теперь мне понятно расположение ко мне прабабушкиного черствого сердца: по слухам, она сильно была равнодушна когда-то к своему племяннику, моему деду.

Маруся Дроботова

Сколько в Москве прелестных женщин, я их вижу всюду — на улицах, в концертах, в театрах. И ни одна, ни одна из них не любит меня! Вот эта, что стоит у освещенной витрины магазина и вместе со мной разглядывает чулки и нарядное, кружевное белье, которое мы могли бы с ней вместе видеть не тут, а где-нибудь в уютной спальне. Если бы она знала, каким пылким и нежным любовником я мог бы быть, отвернулась ли она так от окна и пошла бы так спокойно, не взглянув даже на меня?

Я влюблялся в первую милостивую молодую женщину, которую встречал на улице. Я целый день вспоминал о ней, стараясь подольше удержать в памяти ее образ, и оставался ей верен до вечера, каких бы прелестных женщин ни случилось мне потом встретить. Мое «чувство» всякий день было другим, насколько была другой пленившая меня на этот раз женщина. Если это была нежная девушка, мое чувство было нежным и робким, если это была зрелая красавица, сама бросившая на меня благосклонный взгляд, я чувствовал себя весь день Дон-Жуаном. Ни одну из них я не мог надеяться увидеть еще раз. Наша встреча бывала единственной, и потому к моим чувствам всегда примешивалась грусть. Только однажды пленившую меня прелестную женщину я видел еще и еще раз. Я встретил ее на Кузнецком мосту. Через день или два я увидел ее на том же месте и в тот же час. Она шла так же, как и тогда, изредка заходя в магазины, а за ней по улице ехала маленькая каретка, запряженная американским рыжим рысачком, на которые тогда была мода; с ней шел высокий лакей в английской ливрее, который принимал от нее мелкие покупки. Кто была она, я не узнал и не пытался узнать, хоть это было, вероятно, нетрудно: по всей видимости, она принадлежала к какой-нибудь известной богатой или аристократической московской фамилии. Она была высока, стройна, исполнена какой-то нежной величавости. Лицо ее было изрыто оспой — густо-густо засыпано рябинами. Я бы сказал, что это ее не портило, нет, без этих рябин она не была бы сама собой; не будь их, с ними, может быть, ушло и ее очарование. И долго потом я не считал ни одну женщину красивой, если она не была рябой.

Когда мама приехала перед рождеством в Москву спасать меня из «когтей тигрицы», я уже не томился неудовлетворенной страстью. «Тигрица» была крестким, чувственным, немного экзальтированным созданием и происходила из студии Художественного театра.

Я безропотно дал себя увезти домой и так же без протестов остался после рождества дома.

Мама спасла меня этим не только от «тигрицы», как она думала, но и от другой, уже действительной неприятности. Наши школьные преподаватели, как я говорил уже, спасовали перед нашествием на школу левого искусства, как его тогда называли. Но начальство не растерялось и сдаваться не думало. На весенний экзамен был командирован из Петербургской Академии художеств Конст. Маковский, который и навел порядок в нашей школе. Когда осенью я вернулся в училище, то не до-

считался многих и многих своих товарищей. Не было и Бурлюка. Если бы я не высидел это полугодие дома, быть бы и мне исключенным.

В Чернигове было скучновато. Никого из товарищей — кто в Питере, кто в Киеве.

На первых порах я занялся подготовкой к экзамену по анатомии. Доктор Розенель подарил мне труп сумасшедшего — здоровенного, прекрасно сложенного парня. Я больше месяца ежедневно возился над ним в анатомическом театре, собственноручно отрабатывая один участок мышц за другим.

По вечерам я отправлялся побродить по пустынным улицам и валу. В одну из таких прогулок я встретил своего еще гимназического товарища, давно отставшего от нас, побывавшего и второгодником и третьегодником и наконец совсем покинувшего гимназию и не поступившего никуда дальше. Он был еще свободнее меня. Мы пошли вместе, болтая о вещах, мне совсем неинтересных.

Вдруг нас перегнала быстрыми шагами девушка. Я видел при свете дугового фонаря уже удаляющуюся стройную, но плотную фигуру, видел толстую-толстую косу слегка курчавых каштановых волос (она была без шляпы и без платка). «Маруся! Здравствуйте», — окликнул ее мой приятель. Она передернула плечами и ответила что-то вроде: «Драстуй, когда не шутишь!» Но потом остановилась и повернулась к нам. Маруся была совершенным типом украинской красоты, который в ней осуществился как будто нарочно во всей полноте. Тут было все, что давно узаконено для этого типа: темные, слегка волнистые волосы, золотисто-смуглый цвет лица, сквозь который с трудом, казалось, пробивался иногда очень обильный румянец, огромные глаза с длиннейшими ресницами, малюсенькая ножка и такая же маленькая рука, уже загрубевшая в работе. (Маруся, конечно, все для себя и по дому делала сама. Она жила в маленьком двухоконном домике вдвоем с не совсем нормальной матерью, которая не могла быть ей помощницей ни в чем.) Это все я разглядел и узнал, конечно, потом. Сейчас в темноте она пожалала мне руку. Скоро мы расстались с моим приятелем, и я пошел проводить Марусю.

На другой вечер я встретил ее почти на том же месте, хоть эта встреча и не была условленной. Потом уже мы каждый вечер встречались с ней и бродили до поздней ночи по улицам. Она ходила не зря. Маруся была сестрой при земской больнице и по вечерам обходила по заданию доктора больных, ставя им банки, делая перевязки и прочее. Я всякий раз ждал ее у ворот на скамеечке — у каждых ворот ведь врыты скамейки. У нас бывал причудливый, всякий раз новый маршрут в зависимости от данного ей расписания. Когда обход заканчивался, мы шли уже по тем местам, какие избирала наша фантазия. Вернее — шли наугад, куда глаза глядят, мало замечая, что делалось кругом, и вдруг оказывались где-нибудь на берегу реки или в далекой глуши за городским садом.

Была весна, та ранняя весна, которой я не видел в Чернигове уже несколько лет. Теперь я наблюдал ее ночные часы. По ночам бывало еще прохладно. Даже ручейки по улицам замолкали: где-то там подмерзали их истоки. Но воздух был уже давно не зимний — мягкий, теплый, — и небо выглядело по-весеннему. Плыли мелкие облачка, все почти одинаковые, среди них темнели провалы неба, а в них вспыхивали звезды. Те самые облачка, которые почему-то в детстве мне всегда напоминали простоквашу в тарелке. Когда же по этому небу неслась луна, казалось, что тот неясный весенний шум, который стоял вокруг, производила она своим бегом среди облачков. Небо смотрело сквозь вершины еще голых деревьев, которые тоже не стояли неподвижно, как

в спокойную летнюю ночь, а все время шевелили своими легкими ветками. Мы сидели где-нибудь под деревьями на запытанной во тьму скамейке, держась за руки, и по целым часам молчали.

Да, для меня-то это был тихий отдых после первой беспокойной страсти, которую я оставил в Москве, а для Маруси, вероятно, это было чем-то совсем иным.

Весна все больше входила в свои права. Начался разлив. Мы уже не раз катались светлой ночью на лодке. Уже стали съезжаться мои товарищи. Я теперь не всегда попадал вечером к тому месту, откуда Маруся начинала свое вечернее путешествие: то застревал в гостях, то попадал в театр. Маруся встречала меня потом молча, без упреков, но мрачнела все больше и больше, и мне все труднее становилось ее развеселить. Не по себе мне было около нее, все более мрачной, и я иногда, даже когда не бывал ничем занят, пропускал наши встречи.

Как-то ночью я вернулся домой из театра Маруся ждала меня у подъезда. Только теперь, увидя ее слезы, я понял, как я ей нужен, и ужаснулся, почувствовав в ответ на это в своем сердце пустоту, но не решился и на этот раз резко сказать правду. Все-таки это была наша последняя встреча. Она стала избегать меня.

Прошло несколько месяцев. Лето приходило к концу. У нас в саду цвели астры на пыльных грядках. Я рвал их и складывал в букет. Вошел мой товарищ, студент-медик, и сказал, что сейчас в приемный покой привезли Марусю: она отравилась уксусной эссенцией.

Может быть, здесь не вся Марусина история. Может быть, я чего-нибудь не знал. Хочу утешать себя этой мыслью.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. ШАРОВ

★

ВЗРОСЛЫЕ И СТРАНА ДЕТСТВА

На дворе куча мусора, железного лома, ребята отвинтили от остова ржавой кровати никелированный шарик и играют в хоккей. Управдом остановил детей, отобрал шарик, наставительно проговорил: «Утильсырьё» — и удалился.

Игра прекратилась, двор затих.

А незадолго до смерти Назым Хикмет писал: «Дадим шар земной детям... Дадим, как раскрашенный шарик, пусть с ним играют».

1

Когда думаешь о взаимоотношениях детей, и прежде всего трудных детей, с учителями, родителями — всем миром взрослых, тема ветвится, как в цепной реакции, один вопрос влечет за собой другой, не менее сложный, часто очень далекий от первого, «с другого края жизни». Обо всем этом трудно написать очерк логически стройный, с ясными выводами, приходится ограничиваться этими разрозненными заметками.

В сорок седьмом году, после демобилизации, посланный в первую журналистскую командировку, в маленьком городке Воронежской области я случайно попал на районную учительскую конференцию. Выступал инспектор района, тоже, видимо, только из армии — в кителе без погон. Из речи его я почти ничего не запомнил, но хорошо помню, как он четко жестикулировал, будто давал «полный мах рукой» на параде. И помню резкие, командирские интонации его голоса. И одно странное слово, повторяемое особенно отчетливо: «жестковато», «жестковатее».

К этому, очевидно, и сводилась суть выступления: «С ребятами нужно поступать жестковатее, без слюнтяйского умиления»; от слова этого пахло артикулом далеких павловских или николаевских времен. Будто ребята были мысленно выстроены оратором на выбитом плацу и под барабан продельвали ружейные приемы. И надо с ними действовать жестковатее, чтобы они не сбились, то есть для их же пользы. А оттого, что они сбиваются, все идет не так, наперекос.

И помню, что в конце выступил старый учитель, удивительный человек, на которого взглянешь и сразу поймешь, что слово учитель — одно из самых высоких на земле; мне кажется, самое высокое.

Он говорил о многом: о биологии на уроке и живой природе, о литературе и живых человеческих чувствах. Говорил, что можно — и мы чаще всего так и делаем — объяснять литературный образ, упрощая его почти до скелета — до одного только социального содержания. А можно объяснять произведение, помогая ребятам вбирать из окружающего все, с чем человек соприкасается, все трагедии и все счастье жизни.

В конце выступления, вспомнив об инспекторе в кителе, который без устали повторял это свое любимое «жестковатее», учитель сказал отчетливо и коротко:

— Поговорка: «Если зайца бить, он научится спички зажигать» — дрянная. У большей части людей, уродующих мир, в детстве отбита душа: душу можно отбить, как легкие. Жестокость рождает жестокость — ничего иного. И эту цепь надо прерывать, где только возможно. Бьют, став сильными, часто те, кого били, когда они были слабыми. Об этом писал еще историк Сергей Михайлович Соловьев: «Замечено, что особенно дают чувствовать свою силу низшим, слабым те, которые сами находятся или долго находились под гнетом чужой силы».

Много лет спустя я прочитал «Король Матиуш» Януша Корчака — сказку о королевстве, где правили дети. И подумал: а что, если бы в этом королевстве встал вопрос о «трудных взрослых» — трудных для детей? Ведь такие есть, и их много во всем мире. И кто-либо из министров детского королевства сказал бы, что с трудными взрослыми придется поступать «жестковатее». Предложил бы изолировать их в специальных, что ли, поселениях без детей. Изолировать, как предлагают изолировать недисциплинированных ребят иные взрослые. Трудно представить себе такие неживые поселения.

Впрочем, подобная дикая идея никогда не придет в голову ребенку. Все-таки полезно хоть на минуту взглянуть на мир глазами детей, вывернуть его так.

Взрослому взглянуть на мир глазами ребенка трудно. Для этого надо родиться Макаренко или Корчаком, Старым Доктором, как любовно звали его в Польше. Но ведь возможно хоть попытаться сделать это...

Обиды, которые наносят дети взрослым — учителям, родителям, — часто действительно горьки, несправедливы. Но ведь есть миллионы горчайших обид, которым подвергаются дети со стороны взрослых, — и они часто остаются не замеченными взрослыми. Психиатры показали, что следы нервных раздражений, не получивших нормальной разрядки, остаются в человеке — эти нервные токи бьются в клетках мозга и часто находят извращенные пути, уродуя психику.

Сколько таких раздражений копится в ребенке почти с первых дней жизни.

Один из великих педагогов напоминал, что злое в ребенке может быть невольно заронено матерью, еще когда она кормит его грудью, заставляя истошным криком добиваться пищи, взгляда, перемены пеленок. Иногда человек уже в первые годы черствеет без ласки — таково свойство детей, — становится мстительным, грубым.

Тридцатилетняя женщина, врач по специальности, человек добрый, рассказывала мне о детских обидах, которые на всю жизнь омрачили ее отношения с матерью. Обиды эти копились с трех лет. Был случай, что в родительский день детсада мать не приехала, хотя была свободна и обещала приехать. «Я сидела у калитки рядом с воспитательницей, а потом одна. И до обеда поднималась, бросалась навстречу каждый раз, когда калитка скрипывала, пропуская чужих мам и пап. Сто раз вскакивала и снова садилась, все глубже погружаясь в отчаянье. А другой раз все дети набрали букеты матерям. Я тоже собрала хороший букет, но по дороге лучшие цветы раздавала другим ребятам. Букет превратился в веник. Мать не поняла, что вины в этом нет, бросила веник на землю, сказав: «Ты и тут проявила себя». И еще однажды...»

Женщина рассказывала со слезами в голосе. Своим взрослым, нынешним сознанием она воспринимает все эти случаи как досадные мелочи, но в душе они живут так, как были запечатлены и тысячекратно увеличены воображением ребенка.

Я уже писал о страшном случае, когда в интернате для детей, изуродованных последствиями полиомиелита, в понедельник, вернувшись из дому, мальчик сказал руководительнице: «Велели больше не приходите. Сказали: «Ты нам такой не нужен»».

Руководительница не нашла в себе тепла и таланта, чтобы разгадать состоя-

ние ребенка, его глазами увидеть беспросветную черноту жизни, согреть его и спасти. Мальчик неделю в одиночку думал, а в следующее воскресенье, оставшись в пустом интернате, поднялся на верхний этаж и выбросился из окна.

Детское горе охватывает человека, как пожар. Так и болезнь, безопасная для взрослого, может в считанные часы убить ребенка. Любить самоотверженно и беззаветно — одно из главных свойств сердца ребенка. И так же бесконечно нуждаться в любви, испытывать без нее безысходное горе.

«Детские обиды, стоит ли о них думать», — говорят некоторые взрослые. А обиды эти могут тяжело ранить душу.

Школьники пишут: «В походе пропала принадлежавшая учителю ложка, которой грош цена. Нависло обвинение в воровстве, хотя, конечно же, ложка была взята случайно».

Я был в экспедициях, лежал в госпиталях и больницах, случалось, брал по рассеянности чужой котелок, книгу, ту же ложку. Кто бы подумал обвинить меня или кого-либо из моих товарищей в воровстве? Ведь мы взрослые. А нормальному ребенку, для которого понятие «вор», «воровство» далеко, как другая галактика, можно запросто сказать: «Ты украл».

Мальчик впервые поехал в пионерлагерь. Родители, помнившие свое коммунарное детство, внушали ему: «Конфеты не прячь, не ешь в одиночку».

Мальчик так и поступил — раздал конфеты. А потом захотелось сладкого, и он, не спросив, взял леденец из кулька, лежащего на другой тумбочке. Ему разъяснили, что это воровство, заставили босого, в рубашке, стоять посреди спальни, как у позорного столба.

Либо все обиды, причиняемые детям, не надо принимать всерьез, потому что, мол, дети еще «недолюди», или надо в ребенке всегда видеть человека, только более незащитного, чем взрослый, душевно бесконечно ранимого.

Одна учительница рассказывала мне о классном руководителе Р.:

«Это такой, знаете, пакостник по природе. Как-то пришли с прогулки девочки и остались на урок в тренировочных шароварах и майках; не хотелось переодеваться, да и внутреннее чувство — «так идет». Р. вызвал девочек к доске, построил их и велел повернуться «кругом!» спиной к классу. И стал, хихикая, «разбирать статьи». И вовлек мальчиков. Если бы девочки негодовали, взбунтовались, заплакали на худой конец, еще ничего, это не оставило бы следа. Но они тоже захихикали».

Сколько грязи, оскорбительного входит порой вместе с квакерской, иезуитской «борьбой за скромность». Именно грязи, вползания в душу липкого, нечистого. Когда Р. стали упрекать коллеги, он, отмахнувшись, сказал: «Ничего, стыда наберутся, станут людьми».

Ребенок ничего не забывает. Маленькая обида, маленькая в масштабах взрослого, порой оставляет шрам на всю жизнь. Беспросветно черное и сияющее светлое заполняют всю его душу, которая с возрастом частично зарастет соединительной гнанью безразлично серого.

Масштабы и характер виденья взрослых и детей почти всегда расходятся, иногда бывают даже противоположными. Корчак пишет, что маленький, нуждающийся в развлечениях, спорте, просторе, должен играть в футбол, а города часто так плотно застроены, словно маленьких и нет на свете. И мальчишка не понимает: бывает, мяч иной раз разобьет стекло, но почему виноват он, а не взрослые, которые создали и пулемет, и броненосцы, и бомбы, а небьющиеся стекла для квартир изобрести не удосужились.

Взрослый требует, чтобы на дворе царил тишина. Он устал, и ему действительно необходим отдых после рабочего дня, посвященного производительному труду. А для детей двор — мир, наполненный чудесами, шумом, движением.

Отстаивая свои интересы, взрослый думает: «Я приношу пользу, создаю ценности. А мальчишки только балуются, бьют баклуши, лодырничают. Нечего их распускать».

Тут верно все, кроме последних двух фраз — таких несправедливых. Ребята тоже создают то, без чего мир немислим — самих себя, граждан будущего, само это будущее.

В школах, на дворах, в драках и благородных поступках, в слезах и смехе, в игре — обязательно и в игре — создается ребятами будущий мир. Чем больше игры у ребят, чем щедрее она, тем больше счастья будет в будущем мире. Чем меньше жестокости, корыстолюбия, больше широты, благородства, заступничества за слабых во дворе, тем больше будет благородства в будущем мире. Тут прямая зависимость. В какой-то мере история человечества раньше проигрывается, создается в игре, а потом осуществляется в реальном мире. Детские коллективы дворов, школ, миллионов семей сольются в этом будущем мире.

Дети заняты не «непроизводительным баловством». Незаметно для себя они конструируют моральные координаты будущего. У Мерля в книге «Смерть — мое ремесло» комендант Освенцима изображен сперва ребенком в чиновной прусской семье, промерзшей, как при вечной мерзлоте, жестокой, основанной на палочной дисциплине и телесных наказаниях, на постоянном унижении детей главой семьи. И изображен в школе — с предательством наставников, религиозным изуверством и ханжеством, рабством. И вы ясно видите, что лагерный комендант — характер его — отшлифовался в этой среде задолго до того, как возникли ограды лагерей и задымили печи крематориев.

Часто встречаешь бумажных маленьких бюрократов, в которых просвечивают люди бумажного мира и канцелярской морали, презирующие окружающих. Об этом нельзя не думать. И прежде всего они вызывают справедливое негодование своих однолеток, понимающих святость человеческого равенства. В школьном дневнике одной девочки, опубликованном «Комсомольской правдой», написано, что ее соученица Светлана, отличница и гордость школьных наставников, презрительно сказала о своих товарищах: «Собрали в одну школу дрянь со всего города».

Даже один только разумный эгоизм общества, история которого не кончается сегодня, заставляет вникать в интересы детей. Ребята сами чувствуют, что от того, сколько радости будет у них, зависит «уровень радости» завтрашнего общества. Они чувствуют, что их жажда счастья вовсе не эгоистична. Счастье это необходимо им, как воздух, как кислород руде, чтобы она превратилась в сталь.

Ребята одной московской школы пишут:

«Воспитывают из нас не гордых, справедливых людей, способных самостоятельно мыслить и отвечать за свои поступки, разумно дисциплинированных, а трусливых приспособленцев, послушных, мелочных и недумующих!.. Когда с нами, с нашими товарищами учителя поступают несправедливо, мы молчим: они старшие, нельзя. Пойдем в институт — будет то же самое. Будем работать — над нами тоже будут старшие, которых нельзя критиковать. А когда мы будем «старшими», наверное, тоже не захотим, чтобы замечали наши ошибки, незнание, недобросовестность, мстительность и пр.».

Тут, в этом письме, важно не то, насколько правы ребята в оценке своей школы — наверное, они далеко не во всем правы, — а то, как они воспринимают окружающее, как свято боятся неправды, которая, как им кажется, внедряется в них самих.

Ребята хотят быть счастливыми просто так. Но в этом естественном желании — мудрость: только если они будут счастливы, будет счастлив и грядущий мир. И столько горя, несправедливости, фальши, сколько они впитают, так или иначе испытает мир.

Недавно в журнале «Хроника ВОЗ» — Всемирной организации здравоохранения — были приведены страшные цифры. В Японии для людей от пятнадцати до сорока четырех лет самоубийства являются второй из основных причин смертности. В ФРГ, Швеции, Швейцарии — третьей. Они — самоубийства — как грозный враг человечества далеко обогнали все инфекционные болезни, настигают

сердечно-сосудистые заболевания. Так, в США от самоубийств ежегодно гибнет 16 тысяч человек, а от туберкулеза только 14 тысяч. Многим людям современного мира не хватает счастья на всю жизнь; оно вдруг иссякает, как горячее в море. А счастье на весь век копится в детстве, должно накопиться.

Детское горе. В статье по поводу предложения о создании специальных школ усиленного режима для трудных детей я процитировал памятные всем строки Достоевского. «Пока еще время,— говорит Иван Карамазов,— спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь...» Цитата эта вызвала бурю гнева.

Сторонники «жестковатости» глубоко убеждены, что искренне принимать в расчет такую малость, как горе одного ребенка, человек не может. Точка зрения опасная, непростительная, разрушающая самое важное в душе.

Думать, что люди после Освенцимов будут сострадать только при умерщвлении многих тысяч, целых народов, и не станут отзываться на горе одного,— это значит полагать, что человек перестал быть человеком и никогда не вернется к своей человеческой сути.

Есть люди, которые все время неправомерно увеличивают единицу, квант зла, между тем как всегдашняя задача педагогики и литературы дробить этот квант и после самых страшных потрясений истории доводить его до естественных пределов.

Тут сходные процессы происходят в литературе и в педагогике. Укрупнение кванта зла привело, например, как мне кажется, к серьезной неудаче пьесы «Четвертый». Задача ее — показать человека, который много нагрешил, но на суде погибших товарищей мужественно признает — и тем искупает — свои вины.

И вот произошло странное явление: на сцене открывается одна подлость за другой. Давно бы уж подняться погибшим товарищам и уйти — что говорить с человеком, на котором столько грязи, несчищаемой, неискупаемой, а товарищи слушают, и герой раскрывает новые и новые подлости.

Пьеса и герой ее исходят из одной меры кванта подлости — укрупненной модели послезаггерного образца; меры неестественной, противоположенной литературе, вообще искусству, человеческой морали, которые в главном единиц измерения не меняют. А по эту сторону рампы, в зрительном зале, царит другая, нормальная человеческая мера — в зрительном зале, вообще в обычном мире.

Когда ребенок плачет, у матери сердце разрывается сейчас так же, как и до Освенцима; как страшно, если было бы по-иному. Подлеца бьют (во всяком случае должны, имеют право бить) за одну, а не за тысячу подлостей. У читателя душа переполнена горьким сочувствием к судьбе Колдуэлла из романа Апдайка «Кентавр» — одного слабого и светлого человека, расгерзанного современным капиталистическим обществом, пронзенного стрелой.

Эренбург пишет об Иве Фарже: «Фарж не знал, что такое иерархия горя. В годы Сопrotивления он рисковал своей жизнью, спасая неизвестного человека на дороге, старуху крестьянку, брошенную в разбомбленной деревне, еврейских детей, и когда ему говорили, что нужно быть осмотрительнее, что ему доверены важные задания, он отвечал: «А для меня это важно...» В замечательном рассказе Василия Гроссмана «Несколько печальных дней» видишь, как появление в душе иерархии горя неизбежно приводит к обезчеловечению человека, превращению обычных чувств — «чем жив человек» — в бездейственные, абстрактные категории, к гибели естественной доброты и отзывчивости, к омертвлению сердца.

Маркс писал, что члены Международного товарищества рабочих будут признавать «истину, справедливость и нравственность основной своего поведения в своих отношениях друг к другу и ко всем людям». Эти понятия истины, справедливости и нравственности и делают то, что, по словам Толстого, «человек везде человек».

2

С сорок седьмого года утекло столько времени, что можно было бы и забыть слово «жестковатее», если бы потом оно — суть его — не повторялось столько раз, с таким упорством и по самым различным поводам. В начале 1959 года в «Литературной газете» была опубликована статья писателя В. Солоухина о бандитах и жуликах. Там ликвидация преступности рисуется крайне прямолинейно: «Мы вступаем в период развернутого строительства коммунизма... В нашем светлом доме, где мы создаем космические корабли, выращиваем золотые хлеба и пишем поэмы, в щелях этого дома водятся паразиты. Их нужно истребить — вот и вся логика». О бандитах в статье сказано: «Да их же надо... четвертовать».

Поэтический образ светлого дома, где в одной комнате пишутся поэмы, а в другой четвертуются преступники, — уродлив, вряд ли надо это доказывать. Все комнаты общественного дома соединены, как сообщающиеся сосуды.

Недавно в той же газете была опубликована статья «Винновость и наказание» — диалог между подполковником милиции В. Чвановым и журналистом Е. Богатом.

«— Жестокостью нельзя победить жестокость, — справедливо говорит журналист. — Юристы рассказывают, что в старину, когда вору отсекали руку, в толпе, глазеющей на это жестокое зрелище, вору действовали особенно усердно.

— Да, жестокость отвратительна, — отвечает подполковник милиции. — ...Но отвратительны, потому что глубоко опасны, и мягкотелость, бесхарактерность, то, что я называю «гуманизмом для ста» в ущерб гуманизму для миллионов».

Я несколько раз перечитал этот диалог, и мне показалось, что обе стороны не правы. Вероятно, дело не в том, что в толпе, окружающей место казни, недоловленные вору продолжают воровать — это чисто прагматический взгляд на проблему, — а в том, что сто отрубленных рук — большая опасность для общества, для миллионов, чем сто, даже тысяча украденных кошельков.

Неизмеримо большая.

Сто отрубленных рук или голов — это десятки тысяч людей, отравленных зрелищем пытки, сознанием возможности ее, своим пассивным соучастием в пытке. Это жестокость общества, нарастающая и непременно передающаяся в какой-то мере от карателей к гражданам, общество составляющим. Это непримиримое ожесточение искалеченного преступника, которому больше терять нечего.

Недавно на встрече с писателями юристы рассказывали о человеке, осужденном на пятнадцать лет, совершившем в лагере еще два преступления и сидящем уже тридцать лет. И о другом преступнике, которому смертная казнь была заменена пятнадцатую годами заключения, а он просил высшие инстанции оставить в силе прежний приговор: вечное заключение — без надежды — страшнее. «...Предупредительное значение наказания обуславливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью», — предупреждал Ленин.

Уровень жестокости в обществе в одни периоды снижается, а в другие угрожающе растет — эпоха инквизиции, эпоха Грозного, недавняя эпоха Освенцимов. Исполнимо физически истребить всех бандитов, даже всех проституток, бродяг — это в разные времена делали или пытались сделать. Число краж и нарушений морали, может быть, и уменьшится на некоторый срок, но уровень жестокости возрастет настолько, что даст другие, еще более опасные входы. Это не догадка, об этом говорит исторический опыт. До 1679 года воров и разбойников казнили после предварительного отсечения ноги и руки. В эти годы жесточайшего законодательства Баженов, крестьянин Тотемского уезда, убил свою жену только за то, что она взяла без спроса «два аршина сукна сермяжного». И таких преступлений совершалось сотни. Членосечение, которое применялось на Руси, как и во многих других странах, ни к ликвидации, ни к сокращению воровства не привело, и уже в 1679—1680 году царь Федор указал: «Которые вору объявятся... тех воров... ссылатъ в Сибирь на вечное житье на пашню, а казни им не чинить, рук

и ног и двух перстов не сечь...» Созерцая палачество и воспитываясь на нем, человек сам может стать палачом. Преступность исчезает, только когда уничтожаются причины ее.

Диалог в газете продолжался, и очеркист Н. Четунова, самостоятельно и смело мыслящий литератор, напомнила слова Чезаре Беккариа, выдающегося итальянского гуманиста восемнадцатого века: «В те времена и в тех странах, где были наиболее жестокие наказания, совершались и наиболее кровавые и бесчеловечные действия, ибо тот же самый дух зверства, который водил рукой законодателя, управлял рукой и отцеубийцы и разбойника».

Поддерживая идеи Беккариа, Маркс писал: «...История и такая наука как статистика с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни утешить наказанием. Как раз наоборот!»

Выражение «гуманизм для ста» — очень гладенькое и мягкое по форме, а по существу оправдывающее всякую жестокость, рождено непониманием того, что гуманизм неделим: добро, и справедливость, и зло тоже циркулируют по всему организму общества, омывают все его клетки.

Неумеренная жестокость страшна не потому, что жаль бандита, а потому, что когда происходит убийство даже по закону — если эти убийства, неизбежные иногда, повторяются, — само общество терпит ущерб, в нем накапливается ожесточение.

Ущерб огромный.

В письме не о бандитах, а о детях-школьниках — распущенных, трудных — читатель Ш., человек, судя по письму, начитанный, с яростью пишет: «Совершенно непостижимо, откуда взялась в нашей педагогике эта баптистская дрянь (речь идет о попытках воспитывать трудных ребят, а не гнать их в колонии с особым режимом. — А. Ш.). Ведь... во всей воспитательно-пропагандистской работе мы отнюдь не придерживаемся даже Моисеева догмата: «Око за око, зуб за зуб», а трактуем его примерно так: «Два ока за одно, всю нижнюю челюсть за один зуб».

В других письмах предлагается уничтожить специальное законодательство для несовершеннолетних, приравнять малолетних правонарушителей к взрослым преступникам.

Люди, предлагающие такие крайние меры, забывают, что есть ответственность человека перед обществом, но не меньше ответственность общества перед отдельным человеком. У нас уже был однажды проведен опыт частичной отмены законодательства для несовершеннолетних — при Берия, во время войны. Тогда девочек-школьниц, поехавших с заводами на восток и потом, не выдержав трудностей, бежавших домой, в Москву и Ленинград, задерживали в поездах и посылали в лагерь на «срок».

Стойкий коммунист, за двадцать лагерных лет перевидавший много страшного, вспоминал, что ужаснее этого он не видел. Девочки попадали в бараки к отпетым рецидивисткам, и те ими торговали, продавая бандитам за поллитровку.

После войны в колонии имени Горького (в Куряжке) мне говорили, что многие из несовершеннолетних колонистов возвращаются вновь, то есть становятся рецидивистами. Даже короткое пребывание перед колонией в общей камере со взрослыми уголовниками накладывает свою печать, профессионализму. Случайный правонарушитель вроде мальчика-конструктора, с которым я познакомился в колонии, — для создания какого-то своего фантастического прибора он срезал трубку много лет не работавшего и забытого телефона — включается в бандитскую систему, а из нее не так просто вырваться.

Люди, начинающие с требования физического истребления немногих бандитов, или их «жестковатые» единомышленники приходят почти к такой же нетерпимости к человеку, который пока на первой ступеньке: он может пойти дальше в своем антиобщественном поведении, а может — может и должен, и это всего естественнее для него — свернуть с опасного пути. Такие люди приходят к злой нетерпимости к грудным детям. «Всю нижнюю челюсть за один зуб».

3

«Жестковатость» как универсальный прием изменения окружающего рождается не произвольно, она — завершение определенной логической цепи. Если считать, что все системы нашего общества идеальны — а общеизвестно, что социалистическое общество заключает в себе некоторые противоречия, да и собственный наш опыт показывает, что у нас пока сохраняется известное материальное неравенство, и в определенные периоды возникали массовые нарушения законности, которые отчасти способствовали росту преступности, разрушая семьи, вытесняя людей из нормального русла, ожесточая их... Если считать, что всего этого нет, что все это допустимо, не замечать, не учитывать... Если считать, что общество уже достигло идеала, тогда объяснения преступности и таких тяжких болезней, как алкоголизм или появление трудных, иногда очень трудных детей и подростков, придется выводить из одних субъективных факторов: из несовершенства человеческой природы, природной испорченности, фатальной наследственности — так поступали философы до Маркса.

Ведь влияние того, что мы именуем «родимыми пятнами капитализма», сейчас, когда от Октябрьской революции нас отделяет полвека, не может быть таким сильным.

Людям — а их много, — стоящим вполне осознанно или подсознательно на позиции «врожденной греховности», окружающее представляется в виде совершенной по конструкции и выполнению машины, где отдельные болты, винтики, гайки ослабли и надо их подкрутить — крепче, без промедления, — тогда машина сразу станет действовать безотказно.

Подкрутить основательно, не жалея сил.

Тут склонность к администрированию, давление рождается из нежелания и неумения видеть нашу великую систему в постоянном совершенствовании, преодолении противоречий, в трудном, неуклонном и героическом движении к идеалу. Из восприятия ее как бы уже застывшей в идеальных формах. Подкручиванье в качестве средства, все решающего, рождается из восприятия человека как механической детали совершенной машины.

Жесткие, самые крайние административные, «волевые» меры рекомендуются сторонниками «подкручивания» во всех трудных случаях, все равно — хозяйственных ли, психологических, воспитательных. Г. Малтынский, например, врач-психиатр, пытается найти верные средства борьбы с алкоголизмом, и сразу у него возникает мысль: сначала лечение, а затем, для излеченных, год или два принудительного труда в особых лагерях.

Тут пугает само мышление врача, которому лагерь представляется лечебным средством, чем-то неизбежным.

От подобного лагерного «гуманизма» излечить трудно.

Эти заметки совсем не о преступности и других социальных бедах, а о воспитании детей — легких и трудных, счастливых и очень несчастных. Если я коснулся других, далеких от детства вопросов, то только потому, что поток «жестковатости», идеализация жестокости, зародившись давно и далеко от школы, краешком захватывает и область воспитания, «страну детства».

О трудных детях писали много, но статья писателя Г. Кубанского, опубликованная в «Литературной газете», обратила на себя сразу широкое внимание.

Как и тысячи людей, которых волнует судьба школы, Кубанский искал пути к улучшению дела воспитания детей, но в противоположность другим он сразу нашел спасительный рецепт: изоляция в особых режимных школах трудных детей от остальных — легких, нормальных.

Тут надо прежде всего отдать себе отчет: можно ли отделить трудных детей от легких, как часто при этом делении проявляется нравственный дальтонизм и совершаются глубокие, ломающие жизнь ошибки.

Том Сойер, особенно после побега на остров, и Гекк Финн, несомненно, по нынешним школьным нормам были бы зачислены в категорию «трудных детей»,

а Сид был бы пятерочником по поведению. Но мы все понимаем, что у Тома и Геяка — живые души, а Сид, несмотря на свое благонравие, — маленький старичок, человек с фальшивинкой.

Вот еще несколько примеров — не из литературы, а из нашей сегодняшней жизни. Очень способного юношу до окончания школы, из десятого класса, брали в Физико-технический институт. Нужна была рекомендация школы. Директор запросил учителей.

«Англичанка» сказала: «Успеваает средне. С трудом натягивала ему тройки. Конечно, свою специальную литературу переводит свободно, но никакой дисциплины, рассеян, трудный мальчик».

Учительница физики: «Когда спросишь его, Саша поднимет свои чистые глаза, с прелестной непосредственностью поинтересуется: «А что мы сейчас проходим?» Потом подойдет к доске, и тогда уж я сажусь за парту и слушаю».

Учительница литературы: «Сидит, и ни единой пуговицы. Впрочем, ведь и у Эйнштейна, как пишут, не хватало пуговиц, либо они были не застегнуты. Сочинения писал не на тему, но, боже мой, как особенно было все, что он писал».

Классный руководитель подытожил: «Именно — ни одной пуговицы. В этом весь портрет человека, которому ничего серьезного доверить нельзя».

Как разнятся характеристики одного мальчика, насколько несходно «видение» у педагогов! Даже в «беспуговичье» одна учительница углядела сходство с гением, а другой учитель — чуть ли не трудновоспитуемость.

Л. Г. Сагатовская, старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, пишет из Томска:

«Мы провели с учителями анкету. В числе прочих вопросов был: «Какого ученика вы считаете трудным?» Среди ответов чаще всего такой: «Трудным учеником считаю такого, который хулиганит, не слушает учителя и товарищей и у которого родители не помогают учителям в воспитании».

«Казалось бы, ясно, но как часты при этом ошибки. Вова был отчислен из детдома за систематические нарушения дисциплины. В школе, где мы с ним встретились, он учился всего четыре месяца, но уже прослыл трудным. На уроке шалит, дерзок с девочками, почти разбойник на переменах, к тому же «лентяй и неспособный». А когда одна из студенток по нашей рекомендации заинтересовалась мальчиком, пришла к нему домой помочь ему разобраться в уроках и попытаться найти причину такого поведения, то мальчик, зная, что она придет, помыл пол, постирал себе рубашку и ждал студентку, разбирая сам все, что мог, из заданных уроков. Мама рассказала, что сын ласков, помощник, жалеет мать и всячески стремится облегчить ей жизнь. Есть у него два брата: маленького Вова отводит в садик».

Бесспорно по крайней мере одно: в портрете мальчика, нарисованном в школе и детдоме одной черной краской, приходится прибавить и другие цвета, очень многое меняющие, снимающие ощущение безнадежности.

Тут различие оценок объясняется той или иной зоркостью наблюдателя, настроенностью его — больше на светлое или на темное. Но бывает и так, что некоторых учителей и школьников разнят несходные взгляды на жизнь. И далеко не всегда правда автоматически на стороне взрослых. Безошибочность душевного зрения — качество почти прирожденное. Порой она обостряется с возрастом, а порой, к сожалению, притупляется ошибками, душевным соглашательством.

В связи с этим мне кажется интересным привести выписки из дневника школьницы, опубликованного в «Комсомольской правде». Я уже ссылался на него. Там говорится о судьбе двух подростков — Саши Л. и Светы Г. Саша — «по всем статьям это отрицательный тип: курит, ни одной драки не пропустит...».

«...Папа, разговаривая с бабушкой, сначала охарактеризовал его так: «Задатки у этого Саши хорошие, но, не руководимый никем, он для окружающих детей может быть опасен»... Но я-то знаю: Санька не безнадежен. Мне кажется, человек, который любит животных и вообще природу, не может быть совсем дурным. А Саня — натуралист по призванию. Его комната полна птиц... Одну чи-

жовну Саня подарил мне, хотя она прожила у него целых три года. Учиться Саша может тоже не хуже других. Раз на пари за неделю получил семь двоек, а за вторую неделю все до единой исправил».

А вот отличница Света. Как-то в разговоре с ребятами «развивала она свою мысль в том духе, что девятый класс вовсе не для всех обязателен и кое-кого давно пора удалить из школы. Была какая-то жуткая правда в ее словах. И сама она была жуткая, беспощадная...

Держалась она как-то зло-заносчиво, и все кончилось тем, что председатель собрания Лида К. сказала:

— Есть предложение исключить тебя из нашего коллектива».

Лида объяснила, что «с этой минуты Светлана отстраняется от жизни класса.

...В тот же час из школы исключили Сашу. Накануне возле школы была драка. Сам Санька в ней участия не принимал, но у кого-то в руках оказалась рапира (у нас в школе повальное увлечение фехтованием). Рапира, как выяснилось, Сашина. Его решили не допускать до уроков. А он пришел. Мария Львовна, войдя в класс и увидев его за партой, широким жестом указала на дверь:

— Вон!

Он повторил этот жест:

— Только после вас!»

Сашу исключили из школы. Ребята заступились за него, просили оставить в школе условно. «Нас... вызвали в комитет комсомола. Председательствовала Мария Львовна. На нас кричали за то, что мы взяли под защиту хулигана и оскорбили отличницу, украшение не только класса, но и школы... На родительском собрании родителям Светы вручили похвальную грамоту, хотя до конца года было еще очень далеко... Назавтра Сашу не пустили в школу. Он слонялся по раздевалке, как чужой. После четвертого урока сверху спускалась учительница с первоклашками. Она остановила их перед Сашкой.

— Смотрите, дети, это хулиган. Он дрался, грубил взрослым, плохо учился и был выгнан из школы...

Малыши испуганно глазели на Сашку».

Написанное в дневнике подтвердили работники редакции, ознакомившиеся со школой.

Это все трудно понять. Так бездумно выгнать мальчишку на улицу. Так не поверить в силы класса, взявшегося воспитать его, в свои учительские силы. И так возвеличить чванливую девочку, эдакого маленького, презирающего товарищей «сверхчеловека», воспитывать ее в презрении к окружающей «дряни».

«Какое все-таки неистощимое душевное здоровье у наших детей. Если нам, взрослым, их не удастся до конца испортить», — грустно сказал отец автора дневника. И действительно. Тут ведь не только тяжело ранен человек, но оскорблено и унижено нравственное чувство всех ребят.

4

Школьник может стать «трудным» из-за событий почти случайных. Но бывает и сложнее.

Вот одна такая судьба.

Несколько лет назад я получил письмо, где рассказывалось об обстоятельствах жизни двенадцатилетнего мальчика Сережи Л. из небольшого городка на западе Украины. Сережа был последовательно исключен из всех трех школ города и теперь, по выражению одного местного милицейского работника. «дозревает»: «Стянет чего-нибудь, кому подучить — найдутся, получит срок, вот и проводим в колонию».

Тогда я впервые встретился с этим жутковатым термином «дозревает».

К письму были приложены стихи Сережи — горькие, тревожные:

Возьми меня, мама, домой —
Так плохо мне здесь, в интернате.

Кроватки рядами стоят,
 Как будто в Сольничной палате.
 Ходи по струне, не дыша,
 Здесь все по часам, по режиму.
 Как будто засохла душа,
 И стал я совсем, как машина.
 Я всем здесь ненужный, чужой
 И всем досаждаю, мешаю.
 Я здесь никого не люблю,
 И меня все не любят, я знаю.
 Возьми меня, мама, домой —
 Я больше здесь жить не могу.
 А если меня не возьмешь,
 Я сам убегу. Убегу!

И несколько строк из другого стихотворения, совсем иной тональности:

Кто товарища в детстве способен предать,
 Тот способен предателем стать.
 Как Тюленин Сергей, он на смерть не пойдет.
 Он товарища в горе всегда подведет,
 Он из мести предаст, он за деньги продаст.
 Он из страха и брата на муки отдаст.
 Среди нас есть такие. На них поглядите
 И от дружбы с предателем все отойдите...

...Я отправился в городок, расположенный в глуши — пятьдесят километров от железной дороги.

Полуподвал, дощатый стол без скатерти, окошко с выбитым стеклом, несмотря на зимнее время, ничем не прикрыто. На полу рядом ржавые миски с остро и неприятно пахнущей бурдой.

Мы сидели у стола, и мать Сережи, старая женщина с морщинистым серым лицом, рассказывала о себе — она много лет провела в лагерях, — о сыне и его злоключениях.

И еще она говорила о животных: как жестоко забивают домашнюю птицу на бойне — не сразу до смерти, а чтобы кровь успела сойти.

Человек она ожесточенный, недоверчивый и всю свою нежность отдает сыну и еще «зверью».

В словах ее о сыне проскальзывает нотка: «Чем хуже, тем лучше. Пусть учится видеть мир без прикрас, как довелось увидеть мне».

Время от времени по столу неторопливо проходят собаки и кошки, все увечные: трехногий пес, собака с отгрызенным ухом, слепая кошка. Они спрыгивают к кормушкам и, поужинав, через разбитое окно возвращаются на улицу.

Хозяйка погладит бредущего мимо нахлебника и продолжает свой рассказ.

Сергей явился совсем поздно. «Он часто и ночует не дома, а в городском саду, там с лета остались фанерные павильоны», — говорит мать.

Лицо у Сережи красивое, круглое, с правильными чертами, выражение глаз ангельское. Для своих двенадцати лет он на удивление много читал. И многое понимает, о многом думает.

Следующие дни я ходил по школам, беседовал с учителями, убеждал принять Сергея обратно: «Ведь нет иного выхода. Не ждать же в самом деле тюрьмы и колонии».

От разговоров с Сережей, с его матерью и учителями впечатление остается противоречивое.

Мать как бы переложила на плечи мальчика свои обиды за все, что претерпела в годы культа. «Ему это не по силам, я понимаю, но ведь он единственный близкий человек, я с ним беседую, как сама с собой. И правда никому не вредит, вредит ложь — разберется...»

Конечно, я согласен с ней, что правда никому не вредит. Но надо же было помочь мальчику освоить правду, определить собственную позицию. Каждое по-

коление — наследник поколений предыдущих, но ему не обойтись без того, чтобы найти свою систему отсчета и оценок.

Помочь выработать эти моральные позиции должны были школа, учителя, книги. А учителя подошли к Сереже как к ребенку с обычной судьбой, из обыкновенной семьи. Они не учли, что ему приходится жить и за себя и за мать, искать решение и ее судьбы.

Когда учителя, в том числе и очень хорошие, рассказывают о Сереже, сперва оглушает лавина обвинений: мальчик сквернословит, дерется, дезорганизует всю школьную жизнь.

Запоминая эти рассказы, я все пытаюсь докопаться до причины: не может ведь она быть далеко, если человеку не сорок, не пятьдесят лет, а всего двенадцать. Были же обстоятельства, превратившие одаренного паренька — начитанного, чуткого к правде, любящего и понимающего природу — в «антиобщественный элемент», как определен он в одной из школьных характеристик.

И эти причины отыскиваются. Поход за город. Ребята нашли обломки шифера: если шифер бросить в огонь, он как бы взрывается с оглушительным треском. Шалость произошла. Учительница испугалась странного взрыва — это естественно, — заподозрила в проступке Сережу и громко проговорила: «Яблоко от яблони недалеко падает».

Это уж педагогическая ошибка, несправедливость и просто неправда — все вместе.

Мальчик в ответ нагрубил учительнице. «Ах так, — сказала она. — В отделении разберутся, кто и зачем бросал в огонь порох».

Все, что грохочет в огне, этой женщине представлялось порохом.

В отделении милиционер повторил те же слова: «Хулиган! Яблоко от яблони недалеко падает».

Спрос с милиционера меньше, чем с педагога, но этот случай напоминает, что осознание всех несправедливостей, совершенных во время культа личности, еще не коснулось всех людей.

Так убеждение в господстве несправедливости, в невременном ее характере могло укрепиться в сознании мальчика.

Еще эпизод Сережиного детства. Прилетели грачи и принялись вить гнезда в школьном парке. Один из учителей с непростительным для педагога равнодушием к природе вышел пострелять грачей. Услышав выстрел и сквозь окно увидев падающую с дерева птицу, Сережа выскочил из класса, хотя шел урок, налетел на учителя и вырвал из его рук ружье.

«Чуть с ног не сбил», — рассказывал «потерпевший».

Мальчика обвинили в зломном хулиганстве. И опять в наставлениях явственно прозвучала нота: «Неправильное влияние матери» — пощечина самому близкому и так пострадавшему человеку.

Поколение, которое на себе испытало преступления прошлого, постепенно уходит из жизни. Но время это оставило след не только на тех, кто был несправедливо репрессирован, но и на детях их и на внуках.

Надо было, обязательно было необходимо дать детям возможность понять происходившее. Тут учителю могла помочь искренняя и правдивая литература, книги такой силы и мужественности, какие уже написаны для взрослых.

Таких книг почти нет. И Детгиз побаивается их. А учителю без помощи литературы нелегко справиться.

5

Мне все кажется, что Г. Кубанскому и многочисленным его сторонникам трудные дети рисуются в воображении как нечто совершенно однородное: батальоны одинаковых скверных человечков, вернее, штрафбаты, штрафполки, штрафдивизии, которые необходимо с максимальной поспешностью вывести из общего строя. Все очень просто.

А ведь это не так. Грань между «трудным» и обычным мальчиком сегодня может быть почти неразличима, а завтра при ошибках родителей, учителей и товарищей, при попустительстве, неумении воспитывать — сделаться резчайшей.

В этом превращении могут сыграть решающую роль минута, один поступок, даже одно слово. Ничего не поделаешь — педагогика искусство ювелирное.

Так получается, что каждый замечательный и просто хороший, настоящий человек, говоря о себе, непременно вспоминает школу. И чаще всего не школу «в целом», не свой аттестат, пятерки или тройки, а одного учителя, так вовремя возникшего на твоём пути, а иногда и один разговор с учителем, спор, урок, доброе или суровое слово. Вспоминает общую атмосферу добра, участия, справедливости, царившую в школе.

А у большинства людей с неудачной жизнью школа — серое пятно.

«Я о детстве не люблю вспоминать. Ничего в нём нет», — сказал мне один уголовник.

Если творчество, творческая счастливая жизнь начинается часто с одного урока, одной встречи с учителем, одного драгоценного слова, то и горе, иногда несчастье на всю жизнь может определиться одной педагогической ошибкой.

«Однажды я не могла успокоить своих ребят (одиннадцати—двенадцати лет), — пишет о начале своей педагогической деятельности учительница А. Хоперская из поселка Березовая роща Воронежской области. — Ребята кричали, шумели, стучали партами. Ужас! Теперь не припомню, что за причина и была ли она? Я готова была разрыдаться от бессилья. А рядом классы старых учителей-мужчин. Что делать?.. Я оставила класс и убежала в учительскую, где меня временно поселили на жительство. Я плакала, и хотя классы были далеко, все же мне был слышен шум моего класса. И вдруг меня напугала внезапно наступившая тишина в моем классе. Значит, вошел сосед-учитель? Нет, не могу я учительствовать, не могу! Что же делать? Но надо идти в класс. Постаралась скрыть слезы слез. Вошла в класс. Все мои дети, как один, встали, молча склонив головы. Прошу сесть. Стоят. Повторяю несколько раз. Не садятся, молчат, многие плачут. Я и теперь помню их: Маруся Лапатинская, Филипп Чудковский... Спрашиваю всех: «Что же случилось с вами, мои милые, хорошие дети? Кто обидел вас, дорогие мои, любимые? Был учитель Андрей Григорьевич? Наказал вас?» Отвечают, стараясь заглушить свои слезы: «Нет, нет! Мы будем слушать вас, мы любим вас, будем молчать и учиться. Мы вас обидели». И я знаю от них, что они подсмотрели в замочную скважину мои слезы».

Читая это письмо, вспоминаешь слова Пастернака: «Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить».

6

Трудные дети, говорит Кубанский, не дают работать учителю, мешают воспитанию и обучению хороших, добрых, нормальных ребят, которых громадное большинство. Значит, единственный выход — изолировать этих трудных детей. Речь, конечно, идет не о лагерях для ребят, не о колониях со сторожевыми вышками и бетонными столбами, между которыми натянута колючая проволока, а просто об особых школах, с меньшей свободой, более жестким режимом.

Напомним только, что там, где становится меньше свободы, она незаметно может и совсем исчезнуть. И ребята, которые не захотят или не смогут примириться с «усиленными» методами воспитания, будут пытаться бежать, и тогда возникнут — почти сами собой могут возникнуть — бетонные столбы с проволокой. Тут есть своя логика. Ведь и Куряжская колония в нашей памяти существует без заборов, на зеленом холме, овеваемая свободными ветрами, как создал ее и увековечил в «Педагогической поэме» Макаренко. А сейчас она окружена этими именно столбами с колючей проволокой, выросшими во время культа и уже не снесенными после тех лет.

Специальные школы для трудных — разумеется, помимо существующих колоний для малолетних правонарушителей. Таких школ для трудных много, и очень много ребят сосредоточено в особых режимных учебных заведениях. Не в лагерях, конечно, но в учреждениях, в равной степени отдаленных от нормальной школы.

Статья Кубанского вызвала резкие протесты, но и десятки писем, поддерживающих и развивающих ее. Писем очень знаменательных, от которых нельзя просто отмахнуться.

Ф., бывшая учительница, пишет:

«По сравнению с прошлым годом распушенность среди учащихся, особенно начиная с пятых классов, выросла, стало больше хулиганства. Учащиеся не чувствуют уважения к старшим, к школе, к учителям, безобразничают в школе, на улице, в общественных местах. Они знают, что останутся безнаказанными, так как привилегированное положение детей в нашей стране распространяется на всех детей, как хороших, так и плохих... Один хороший серьезный школьник-старшеклассник сказал матери, что в его классе есть будущий бандит, «таких надо уничтожать, пока они не выросли», — вот его заключение».

Переписывая эти строки, трудно было вместо слов «один хороший серьезный школьник» не написать более соответствующее содержанию: «Один хороший серьезный людоед».

Ф. приводит на нескольких страницах случаи детского хулиганства: «Мальчишка-подросток затолкал моего восьмилетнего внука в глубокую лужу, после чего внук долго болел; в кинотеатре «Мир» подросток просунул голову в окошко кассы и закричал диким голосом, затем сразу вышел» и т. д.

Заключает Ф. практическими предложениями:

«Изолировать всех распушенных, испорченных, не желающих учиться детей и подростков от всех прочих нормальных детей и подростков. Для этого организовать: а) специальные интернаты с полувоенным режимом и б) детколонию. В этих учебно-воспитательных учреждениях ввести карцеры и розги. Да, я не боюсь этих слов... Когда человек крадет, то, было время, ему отрубали руку, и воровство было изжито...»

Какая умирительная тоска по карцерам, розгам и членосечению... И как хорошо, что Ф. может только мечтать о своих столь древних воспитательских приемах. Но Ф. не одинока.

«Мне кажутся совершенно несерьезными ссылки на педагогические теории стародавних эпох. Педагогика Л. Н. Толстого и всех его предтеч... была насковзь проникнута непротивлением злу», — пишет Ш., для которого, как кажется, понятия «зло» и «дети» почти синонимы. «Этò была сектантско-религиозная педагогика. Все они — и Амос Коменский, и Януш Корчак, и Песталоцци, и Ушинский — свои педагогические гипотезы творили в совершенно другую эпоху, в совершенно иных социальных и общественно-культурных условиях... Точно такой же насковзь лживой, противоречащей житейской практике является катехизисная формула педагогов: «Принуждением в ребенке воспитывается самое страшное — подлая рабская психология; в атмосфере принуждения возникает казарменная тишина, калечатся души». А позволительно спросить вас, товарищ Шаров: откуда вы это знаете? Откуда вам точно известно, что принуждением воспитывают раба, а не, скажем, батрака?.. И потом, что должны означать слова «казарменная тишина»... Вы можете возразить, что школа не казарма, что методы тут могут применяться разные. Но лучше не касайтесь этой темы! Потому что не у одного меня начинают чесаться руки. Наша школа под влиянием таких статей, как ваша, не дает молодежи никакого представления о дисциплине...»

Еще в восемнадцатом веке Вовенарг Люк де Клапье писал, что «великие мысли исходят из сердца». Идеи спасительности розог и карцеров с такой же закономерностью рождаются от рук, которые «чешутся», тянутся к розге.

Почти слово в слово с Ш. другой корреспондент — У. из Анадыря — пишет: «...гладить по головке легче всего. Вы пишете: «Жестокостью, принуждением

воспитывается подлая рабская психология... калечатся души»... А как же с М. Горьким быть? Помните, в спине подростка Алеши Пешкова остались занозы от лучины, которой его поролли... В качестве отрицательного примера в педагогике, как сказать педагогического жупела, тов. Шаров приводит бурсу, но забывает, что Помяловский-то из бursы вышел. Никитин, Решетников... Сталин, перед которым преклонялось полмира...»

В это странно поверить, но ведь так и написано: розги, щепки, торчавшие из спины, как вернейшие воспитательские средства. Назад, даже не к дореволюционной гимназии, а к бурсе.

Не воспитывая железной дисциплины, не получите хорошего солдата — это предостережение звучит во многих письмах. Чем больше мы ласкаем человека, тем тяжелее придется ему на военной службе, а ведь ее не миновать. Слова «счастливая, невозвратная пора детства» у сторонников «жестковатости» вызывают гнев. По-видимому, лучше, если вместо слов родительской любви ребенок сразу услышит: «Р-рав-няйсь. Кру-гом». Тогда ему не придется потом так болезненно перестраиваться. Люди эти не отделяют дисциплину сознательную, идущую от принудительной. По их мнению, чем раньше казарменное нерассуждающее подчинение младшего старшему войдет в душу — тем полезнее.

То, что такая дисциплина — не лучшее для человека, мне кажется бесспорным. Но опыт показывает, что и боец, настоящий воин, при исключительно «солдатском» воспитании получается куда менее надежным. В минувшую войну, на нашей памяти, столкнулись питомцы прусской школы, целиком построенной на железной дисциплине дома и в гимназии — на телесных наказаниях, на гитлеровской нерассуждающей дисциплине, с питомцами нашей школы, о которых яркое представление дают и воспоминания каждого из нас, и такие прекрасные документы, как дневники Нины Костериной и Марка Щеглова, книги Вигдоровой и Ковалевского о Зое и Шуре Космодемьянских, записки Севы Вагрицкого, фаде-евская «Молодая гвардия». Во всех этих книгах главное то, что в воспитании нет и доли рабства. Оно пронизано свободой, а потому рождает чувство ответственности за все, что творится в мире, и стремление самостоятельно во всем разобраться, то есть важнейшие черты гражданственности.

Школа запаздывает с восприятием окружающего. Сильная, хорошая школа имеет свою устойчивую атмосферу, не меняющуюся каждый год — свой особый микроклимат. Школа наполевских времен сохраняла ненависть к собственничеству, дух равенства, гражданской войны, революции. И школа предвоенная не была сломлена культом личности, в ней жили традиции революционного гражданского воспитания, мечты о победе революции в Испании и во всем мире. И вот эта свободная, революционная школа, антипод гимназии, воспитала воинов неизмеримо более смелых, героичных, чем солдаты казарменной прусской. специально для солдатчины созданной школы с дисциплиной, вколотенной линейкой и розгами.

Об этом нельзя забывать.

7

Легко понять, что ни Коменский, ни Толстой, ни Корчак в защите не нуждаются. И все-таки обвинения по адресу классиков педагогики звучат так оскорбительно, дышат такой ненавистью — вспомним письмо Ш., — что оставить их совсем без ответа трудно.

Для Л. Н. Толстого педагогика была, разумеется, не «барской затеей», как пишут некоторые, а огромным, может быть, даже важнейшим для него делом всей жизни. Он создал, как известно, в своем уезде вопреки всем трудностям двадцать три школы.

И привлек к учительскому труду подвижников — опальных студентов, подняв само это учительское дело до подвижничества.

И создал педагогический журнал и свои «Книги для чтения» — энциклопедию народного языка, народной жизни, науки и основ нравственности для детей, энциклопедию другого образца которой не было до него и нет по сей час.

И создал систему свободного образования и воспитания, когда знания и мораль не вталкиваются насильно, как в прусских гимназиях, а все это течет в человеке свободно и, как река в море, поднимается в душу естественно, как поднимаются соки по стеблю вверх, в листья растения.

Это же ощущение необходимости свободного развития пронизывает все творчество Януша Корчака.

И у Корчака то же глубочайшее убеждение, что детство вовсе не преддверие жизни, а сама жизнь — напряженная, радостная.

Во всяком случае таким оно должно быть.

Школьные и дошкольные годы — четверть жизни. И задача школы не только служебная — приготовить к взрослому производительному существованию, школа должна сделать «свою» часть жизни — кто знает, как сложится она дальше, — полной, счастливой.

Для Януша Корчака детство даже не четверть жизни, а бесконечность, каждая частичка, каждая секунда которой бесконечны.

Так он воспринимает жизнь ребенка: прочитайте любую его книгу, от сборника педагогических статей до сказок, — и вы не сможете не почувствовать этого.

Когда Корчаку вместе с его воспитанниками, ребятами из Варшавского гетто, предстоял последний путь — в Треблинку, лагерь уничтожения, — за него особым фондом был предложен гитлеровским палачам выкуп. Только от самого Корчака зависело через несколько часов вырваться из ада, очутиться в полной безопасности.

Представители фонда привели разумные доводы: «Ребятам остались считанные часы, и вы ничего не сможете сделать для них. А выйдя на свободу, вы своим талантом принесете еще столько счастья человечеству».

Эти люди не понимали, что Корчак никогда не смог бы оставить детей.

Игорь Неверли, давний сотрудник Корчака, приводит рассказ очевидца об отправлении Корчака и его детского дома из гетто в Треблинку: «Я был на умшлаглаце, когда появился Корчак с Домом сирот. Люди замерли, точно перед ними предстал ангел смерти... Так, строем, по четыре человека в ряд, со знаменем, с руководством впереди, сюда еще никто не приходил. «Что это?!» — крикнул комендант. «Корчак с детьми», — сказали ему, и тот задумался, стал вспоминать, но вспомнил лишь тогда, когда дети были уже в вагонах. Комендант спросил Доктора (Корчака), не он ли написал «Банкротство маленького Джека». «Да, а разве это в какой-то мере связано с отправкой эшелона?» — «Нет, просто я читал вашу книжку в детстве, хорошая книжка, вы можете остаться. Доктор...» — «А дети?» — «Невозможно, дети поедут». «Вы ошибаетесь, — крикнул Доктор, — вы ошибаетесь, дети прежде всего!» — и захлопнул за собой дверь вагона».

Корчак знал, что до самого конца он должен всем добром, которое еще есть на свете, всеми сказками, всей кровью сердца отбивать, отталкивать надвигающуюся неотвратимо гибель и страдания. Сберегать детей, пока они живы, а потом вместе с ними умереть.

Он это и совершил. Сказки окутывали страшный поезд, везущий ребят в затянутую дымом «газовни» Треблинку. Жизнь детей продолжалась. И пока это было возможно, до последней секунды, Корчак перенимал, пытался взвалить на свои плечи страдания сотен доверившихся ему детей.

Чилийская поэтесса Габриела Мистраль в своей «Молитве учительницы» писала: «Дай мне единственную любовь — к моей школе... Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей».

Почти в одно и то же время на одном конце мира Габриелой Мистраль была произнесена эта святая молитва учительницы и осуществлена на другом конце мира Янушем Корчаком. Осуществлена так, что этого никогда не забудут люди.

Из всех классиков педагогики сторонники жестких методов воспитания признают, хотя и с тысячами оговорок и «оговоров», только А. С. Макаренко. «Иное дело Макаренко, — пишет автор одного из писем. — Его эпоха ближе нам и по духу и по времени... Но давайте будем честны и вспомним, с какого знаменательного момента Макаренко завоевал авторитет среди своих питомцев? С момента, когда немедленным наказанием он реагировал на поступок хулигана».

Значит, в «немедленном наказании» вся суть макаренковской педагогики.

А вот отрывок из другой корреспонденции, как бы продолжающей первую: «Цитируя Макаренко, почему-то «забывают» о том, как он «убеждал» своих питомцев первое время: табуреткой по голове. И ходил с наганом в кармане, о чем знали все ученики поголовно».

И эти строки написаны учителем!

Когда-то в «Легенде о Лессинге» Франц Меринг показал, как тупые буржуа пытались из революционного мыслителя сделать ограниченного филистера. Человек видит то, что хочет видеть. Если на глазах у тебя черные очки, весь мир теряет краски. Это простые истины, и все-таки трудно понять, как можно было писать такое о Макаренко, когда у каждого в памяти страницы «Педагогической поэмы».

Недавно Калабалин в воспоминаниях о своем учителе снова убедительно показал, что воспитание у Макаренко строилось на доверии к детям. Доверие было важнейшим элементом педагогического мировоззрения Макаренко, всей системы его взглядов.

«Антон Семенович утверждал, что человек от рождения чист как стеклышко и что темные пятна появляются позже, их наносит жизнь, и он умел эти уродливые пятна стирать, умел проявлять то доброе, красивое, что давалось человеку от природы».

Нет, тут до «табуреточной педагогики» расстояние неизмеримое.

8

Трудные дети. Среди них есть и страшные ребята, бьющие первоклассников в кровь, чтобы отнять гривенник или просто поиздеваться. Но большинство трудных похоже на Тома Соiera и Гекка Финна, на того же Калабалина, каким он был в детстве, — душа у них живая.

Я написал в статье, что невозможно понять класс — тридцать пять — сорок ребят с пятерками по поведению, — промолчавший, когда учительницу жестоко и несправедливо оскорбил один хулиган. Написал, что класс этот, на взгляд нормального человека, глубоко и опасно болен — немотой, трусостью.

«А что класс мог сделать, — с возмущением отозвался учитель Г. — Что класс мог противопоставить хулигану, который сразу же пускает в ход кулаки. «Класс этот очень болен — немотой, трусостью». Верно, товарищ Шаров, верно!!! Болен тем самым, чем были порой больны и мы».

Так порой было, но неужели так должно быть или может быть в будущем?! Мы — и школа и все родители — о б я з а н ы так воспитать ребят, чтобы человек никогда не сдавался перед подлецом, даже если, как очень может случиться в жизни, подлец будет вооружен не одним только кулаками.

Не понимать этой одной из главных задач учитель не имеет права.

Конечно, совсем не просто воспитать класс такой сплоченности и силы гражданственности, не страшщийся хулиганов.

«Скажите, Антон Семенович, трудное ли это дело — воспитание и особенно перевоспитание?» — спрашивали Макаренко.

Он отвечал: «Нет, это удивительно легкое дело, но при условии, если вы любите его, если вы посвящаете ему всю свою жизнь, если все двадцать че-

тыре часа в сутки вы будете отдавать ему. Тогда оно покажется вам очень легким».

Коллектив Макаренко, в который он, не боясь, принимал уголовников прямо из тюремной камеры, и ребята из школы-коммуны, руководимой сперва П. Н. Лепешинским, а затем М. М. Пистраком, и из десятков других школ, созданных революцией, не были больны немотой и трусостью. Поэтому там никогда и не вставала проблема «неисправимо трудных», которых нужно изолировать. За все время существования школы-коммуны из нее не был исключен ни один школьник — в этом не возникало необходимости. У замечательного чешского поэта Незвала есть сказка, где среди других персонажей выведено Страшилище. Страшилище раздувается, когда его боятся, и становится совсем жалким, сохшимся, лишь только страх перед ним исчезает. Макаренко, Лепешинский, Пистрак, Новиков и руководители многих других школ создали коллективы, не боящиеся «страшилищ» куда более опасных, чем то, что живет в милой сказке Незвала.

Создать такой детский коллектив — самое трудное.

Как он создается?

Как иной раз теряется?

Говорят, что в знаменитом Анадольском лесу, зеленым оазисом разросшемся в выжженной донецкой степи, деревья стали сохнуть оттого, что из соседних артезианских скважин бралось слишком много воды. Корни не могли дотянуться до обмелевшего подземного океана грунтовых вод.

Так же и в школе — уровень гражданственности, моральной стойкости может порой подниматься, а иногда и опускаться до угрожаемых пределов.

Такой школе не поможешь «спасительными репрессиями». Изгонишь одного «трудного» — на смену ему появится другой.

Действительно страшных ребят очень мало. Как мало в мире действительно страшных взрослых людей, получающих удовольствие от жестокости, от избития слабых, от пыток. Ребят неисправимых, невозвратно покалеченных жизнью, средой не тысячи и сотни тысяч, а единицы, десятки и сотни. И остальные ребята должны суметь сладить с ними.

Наказание иногда неизбежно и по отношению к детям. Но чем выше педагог, чем ближе он к Корчаку, Макаренко, Пистраку, Новикову, тем больше, чаще и вернее — а часто и во всех случаях — воспитание словом заменяет всякого рода репрессии. «Словесное воспитание» — у этого выражения в обиходной речи несправедливо отобран главный и святой его смысл. Слово педагога может быть и бывает таким, что оно запоминается на всю жизнь: каждый из нас знает это на собственном опыте. Сомнение в силе слова для педагога, так же как и для писателя, непростительно.

А какие еще можно предложить воспитательские приемы, кроме воздействия словом, уважением или порицанием коллектива школьников и учителей? Не карцер же и розги, как советует Ф.? «Мягонькие» розги — понятие еще более отвратительное.

Но чтобы поднимать, растить душу, слово должно быть абсолютно правдивым, без малейшей лжи. Воспитывать можно подавлением зла — в некоторых случаях приходится прибегать и к этому — и раскрытием, развязыванием добра, спрятанного в тайниках души. У некоторых оно, это внутреннее добро, так и не раскрывается, не находит пути к реальному действию, чуть ли не до самой смерти и обнаруживается, когда жизнь уже прожита, причиняя тогда горе, сравнимое с самой смертью. Горе от того, что добро не было использовано и человек прошел мимо самого главного, что было заложено в нем.

Воспитание словом бесконечно эффективнее административных, репрессивных приемов воздействия на ребенка, если видеть цель воздействия в создании человека, не механически повторяющего все ему указанное, а ясно, до последнего мига видящего правду и по этой правде поступающего — даже при жестокой опасности, даже под пыткой.

«Ребята с пустыми глазами» — это выражение я услышал от молодого научного работника из психиатрического института. Он сказал мне:

«Несколько месяцев тому назад мы обследовали в школах нашего района трудных ребят и убедились, что среди них есть больные, и тяжело больные. Это «пустоглазье» тоже ведь можно лечить, тут и химиотерапия творит порой чудеса. А можно «не обращать внимания», тогда болезнь постепенно превратится в хроническую, трудно поддающуюся лечению. Сколько их среди детей, ну, хотя бы в нашем городе, нашем районе? Надо ведь это знать, постоянно об этом помнить».

И еще он сказал:

«Бывает, что детский коллектив класса, двора закостеневаает, словно в плохой пьесе. Можно предсказать каждую реплику, каждый поступок. Этот мальчик привык к тому, что играет роль шута. Что бы он ни сказал — все смеются. Состроит рожу — опять смеются. Этот — первый силач и тиран; если рассердится, бьет в кровь, по лицу. Пройдет год, два — и шут в самом деле станет шутом. А первый силач, тот, который бил в кровь, приобретет приметы садизма. Очень важно вовремя подсмотреть, как и когда плохенькая пьеска, тысячи раз разыгрываемая перед нами, начнет превращаться в действительность, уродующую души. Иногда достаточно разбить такой коллектив, перевести маленького паяца в параллельный класс, дать отпор истязателю — ведь он-то, в сущности, молодец против овец, и жестокость его вовсе не прирожденная, а благоприобретенная — и все станет на свои места. Не сделаешь этого — человек может тяжело заболеть, станет несчастлив. Иногда, в более сложных случаях, приходится искать, «открывать» методы сложнее. Единого рецепта нет и тут».

9

Разговоры о воспитании и образовании чаще всего ведутся раздельно. А ведь это стороны одного дела. «Образуя» человека, раскрывая перед ним мир, тем самым и воспитываешь в нем разумность, красоту, — если мир этот правильно раскрыт и верно. ярко освещен, а вталкивая школьника в каморку, где образы внешнего мира трачены молью, как в доме Плюшкина, уродуешь саму душу человека. Уродуешь, конечно, невольно, но разве от этого беда уменьшается?

В прошлом году в наших школах было миллион восемьсот тысяч второгодников! Примерно три тысячи школ можно было бы сплошь укомплектовать одними второгодниками. Страшновато, хотя вице-президент Академии педагогических наук А. И. Маркушевич назвал эту цифру «сравнительно благополучной». Надо еще учесть, что из-за проклятой процентомании у нас есть и скрытое второгодничество. когда ребята — таких школьников тоже сотни тысяч — всякими правдами и неправдами «натягивают» тройки, только чтобы как-то перевести их в следующий класс.

Миллион восемьсот тысяч!

Представляются возможными две главные причины катастрофически огромного второгодничества: либо программы непосильны для многих ребят, либо предметы преподаются порой скучно, не захватывают школьников.

И от второй возможной причины отмахнуться нельзя. Инстинкт познания — один из основных у человека. Если он не «срабатывает» — значит, есть серьезные дефекты в преподавании — в уровне его, содержании, методике.

«Образование есть потребность всякого человека, — пишет Л. Н. Толстой, — Поэтому образование может быть только в форме удовлетворения потребности. Вернейший признак действительности и верности пути образования есть удовольствие, с которым оно воспринимается. Образование на деле и в книге не может быть насильственным и должно доставлять наслаждение учащимся».

Если овца не ест корма на пастбище, никто не предположит, что это от зловредности ее характера. Если не действует у ребенка познавательный инстинкт — столь же реальный и сильный, как и пищевой, — значит, знание подается в несудобоваримой форме.

Чаще всего — так.

Для преподавания истории «необходимо предварительное развитие в детях исторического интереса», — пишет Толстой. Если наслаждения от получения знаний нет, нет сильного исторического, географического интереса, интереса к биологии, физике, математике — значит, упущено нечто основное.

Что именно?

Толстой пишет: «Учителю кажется легким самое простое и общее, а для ученика только сложное и живое кажется легким».

А вот слова Томаса Манна: «Не знаю, поверит ли мне читатель, но только это самый активный, самый горделивый и, пожалуй, наиболее действенный способ познания — предвосхищение знания, рвущееся вперед через зияющие пустоты незнания».

Просмотрите школьные учебники — почти во всех простое и общее решительно перевешивает сложное и живое. Я выбрал не биологию, где дело с учебниками обстоит особенно плохо, а «благополучную» дисциплину — физику. Прочитайте учебники для шестого—одиннадцатого классов. Физике двадцатого столетия и очень немногим из галереи великих ее деятелей — супругам Кюри, Резерфорду — посвящена одна-единственная конспективная главка в учебнике для восьмого класса. Создается впечатление, что выпускник гимназии 1900 года и школьник, закончивший среднее образование в нынешнем году, по уровню естественно-научных знаний, по своим представлениям о биологической и физической картине мира будут почти в одинаковом положении. А ведь их разделяет эпоха грандиознейшей революции в физике и биологии. Между этими поколениями пропасть, может быть, большая, чем та, что отделяла марк-твенского янки из штата Коннектикут от рыцарей короля Артура.

Один способный мальчик из семьи ученого, твердо решивший стать физиком, точнее биофизиком, в школе начал получать тройки. Оправдываясь, он почти со слезами говорил отцу: «Но это же не та физика. И не та биология».

Я по образованию биолог, поэтому мои суждения об учебниках физики могут быть поверхностными. Но вот письмо об этих же учебниках, полученное от специалиста-физика:

«Мне, как, впрочем, и многим другим, казалось раньше, что главный порок школьных учебников физики — отсутствие в них современной науки. Их «протяженность» — от открытий древних: рычагов, полиспастов, закона Архимеда, только до законов Кирхгофа, Фарадея и других выдающихся ученых XIX века.

Подтверждение справедливости такого упрека отыскать просто. Достаточно открыть учебники на соответствующих разделах и параграфах. Читаешь эти страницы и с огорчением, обидой и возмущением думаешь: ну как можно было, к примеру, рассказывая восьмиклассникам о скорости света, даже не упомянуть об опыте Майкельсона, роли его в возникновении теории относительности. Да и о самой теории относительности, как специальной, так и общей, ни в одном из пяти школьных учебников физики нет ни слова, равно как и о ее создателе Эйнштейне.

После этого смешно ожидать, что там, где говорится об энергии, в частности об атомной энергии, хотя бы упомянут знаменитую формулу Эйнштейна: $E = mc^2$.

Не больше повезло и Нильсу Бору, второму из гениев современной физики. Совершенно не укладывается в сознании, как можно было в главе об атоме и атомном ядре даже не упомянуть о Боре.

Так же, как нет в учебниках слов «теория относительности», ни в одной из пяти книг не встречается слово «квант».

Что ж, значит, в учебниках нет никакого выхода в современность и нынешний век в них никак не отражен? Нет, это неверно — и век отражен, и выход есть. Но только не в физику, а в чистую технику. Шлюзы, плотины, турбины. Аэростаты, самолеты, ракеты. Атомные реакторы и атомные станции. Ультразвук и полимеры. Атомный ледокол и космос. Об этом, и не только об этом, рассказывается с разной степенью подробности. Все это нужно, спору нет, хотя, думает-

ся, современный школьник знает об этом больше, чем ему сообщают в курсе. А кроме того, перед нами ведь учебник физики! Где же в нем современная физика?

Но эта «отсталость» не единственный и даже, на мой взгляд, не главный недостаток учебников. Перелистывая их, я почувствовал, как мною все сильней и сильней овладевает глубокая тоска. Боже мой — и это моя любимая физика?! Почему вдруг такими беспредельно скучными показались давно знакомые явления и законы? Причина нашлась скоро. Дело в том, что весь материал излагается описательно, чисто феноменологически, без малейших попыток проникнуть в суть, в физику самого явления. Самое увлекательное в науке — раскрытие тайн природы, сопоставление внешних, видимых свойств явления с его внутренней сущностью, поиски закономерностей, объясняющих и выявляющих эту сущность, — все это осталось за пределами учебника».

Может быть, одна из причин массового второгодничества заключается в том, что школа в целом оставлена составителями учебников и программ как бы на второе столетие. Школа живет вне времени, в мире наук остановившихся, застывших. А вне стен ее эти науки — физика, биология, химия — семимильными шагами идут вперед. Учителя, пытаясь пробудить в ребятах живой и сильный интерес к наукам о природе и обществе, не могут надежно опереться на учебники.

10

Трудный подросток действительно «непобедим», когда он чувствует молчаливую поддержку других ребят, восхищение товарищей по классу скверным его «молодечеством». Против сплоченного класса, общешкольного детского коллектива, пользующегося высоким нравственным авторитетом, он бессилён.

Такой нравственный авторитет завоевывается не сразу и лишь там, где законом жизни стала абсолютная правдивость по отношению к школьникам и высокое доверие педагогов к учащимся.

Один против сорока ребят класса, против пятисот — школы... мало кто решится занять подобную позицию. Каждый раз, когда слышишь рассказы о хороших школах, где педагогам не приходится прибегать к такой самой крайней мере, как исключение из школы, убеждаешься в существовании там сильно развитого, самостоятельного и авторитетного самоуправления, гордого коллектива, который никому не даст уронить свою трудно завоеванную славу.

У классного руководителя, если он действует в одиночку, может просто не хватить души на сорок ребят. У детского коллектива сил и души всегда достаточно, если только он внутренне убежден в своей правоте, действует не по административному приказу, а подчиняясь велению совести; такой детский коллектив непобедим, для него нет невозможного.

И с каждой победой силы школьного коллектива растут. В школе-коммуне, где я учился, зимой голодного девятнадцатого года кто-то из ребят украл из кладовки мясо. Бюро комсомола и органы самоуправления коммуны, не спрашивая разрешения педагогов — учителя, жалея ребят, такого разрешения и не дали бы, — объявили голодовку до тех пор, пока украденное не будет возвращено.

Похититель сдался на другой день, и больше кражи в школе не повторялись.

Силу школьного коллектива отлично сознавали и сознают все выдающиеся педагоги. Воспитательный метод Корчака, «в сущности, был методом детского самоуправления», — пишет Неверли. Корчак создал сказку и всегда жил в душе со сказкой о «детской стране», которой управляют сами школьники. Реальностью эта сказка не могла стать, но Корчаку удалось несколько лет выпускать газету «Малы Пшеглонд» — единственную в мире газету, делающуюся не только для детей, но и самими детьми, орган рассеянной по всей стране детской республики.

Макаренко разрабатывал вполне реальный проект детской республики из нескольких колоний или коммун.

Эта мечта тоже не была осуществлена.

Послереволюционная трудовая школа противопоставила гимназии два новых, замечательно жизненных начала — труд и детское самоуправление. В годы культа об этом стали забывать и школа в чем-то отступила назад.

Отступление дорого нам обошлось и обходится.

Решение проблемы трудных детей, как кажется мне, придет не на пути «жестковатых» действий, всяческих административных реформ, создания специальных школ для трудных, а только как результат постепенного улучшения всего дела образования и воспитания в школе. Если учитель будет освобожден от нервозности, рожденной процентоманией, и сможет все свои силы сосредоточить на уроке, создавая там атмосферу открытия, праздника, большинство трудных ребят и второгодников будут увлечены мощным потоком познания. Хулиганят школьники, которым скучно жить, которые ничем не интересуются.

«Главное — создание школы всестороннего развития личности, становления ее характера,— справедливо пишет Э. Костяшкин, директор московской школы № 544.— Для старших классов это особенно важно... Втиснуть всю их жизнь в учебу — все равно, что упаковать в коробочку весенний ветер. Ребята живут, и школа должна строить учение на фундаменте яркой, богатой интересными делами, дружной и радостной жизни старшекласников.

...По субботам стал работать музыкальный лекторий или какой-нибудь «Огонек», а то и просто устраивался вечер танцев. Школа открыла двери большого ребячьего клуба, в котором старшекласники следили за порядком, вершили всякие хозяйственные, культмассовые, спортивные дела... Нет, мы, учителя, не были в стороне... Но многие заботы мы все же переложили на плечи комсомольцев, оставив за собой прежде всего обучение... В школе стало как-то интереснее, чище, радостнее, свободнее».

Так создавался школьный детский коллектив. Перед разболтанным, склонным к хулиганству подростком встал не робкий «первоклашка», бессильный оказать сопротивление, а десятки и сотни ребят, защищающих честь любимой школы. При этих условиях «склонность к хулиганству» быстро проходила.

И разумеется, сильное самоуправление важно не только как средство перевоспитания трудных ребят, создание его само по себе одна из важнейших задач школы.

В первые классы сегодня приходят ребята, которые через десять—пятнадцать лет активной силой вступят в жизнь — другую, многим не похожую на нынешнюю. Они должны с детства привыкнуть к высокой ответственности за общее дело, к самоуправлению, полной демократии, без которой не может осуществиться коммунистическое общество.

На пути создания сильного и ответственного детского самоуправления есть одно серьезное препятствие: некоторые педагоги боятся, что школьникам не доросли до самоуправления, думают, что школьникам, в том числе и шестнадцатилетним, семнадцатилетним ребятам, нельзя доверять, что они обязательно используют доверие во вред школе. В связи с этим хочется напомнить слова из письма Ленина: «Уверяю Вас, что среди нас есть каная-то пидютская, филистерская, обломовская боязнь молодежи. Умоляю: боритесь с этой боязнью всеми силами».



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

С. ШЕРВИНСКИЙ

★

ВОСТОК НА ЗАПАДЕ

На аэродроме Туниса мы приземлились часов в девять вечера. Сразу не могли разобрать из оконца своей «Каравеллы», что за вода на аэродроме и какие на ней световые блики. Но вот вышли и убедились, что перед нами фонарь и отражается он в луже: в Тунисе дождь.

Идем впервые в жизни по африканской земле.

Гостиница, куда нас подвезли, далеко не первого разряда, хоть она и в центре, и «на уровне» первоклассных отелей называется «Метрополь». В Тунисе выставка, и все помещения в отелях заняты.

В том же доме — цветочный магазин, крошечный. Забегаю вперед: в этом магазинчике на следующее утро меня поразило невиданное мною раньше растение — листья вроде камыша, а на длинном стебле нечто вроде птицы, желто-зеленого колибри. Я, конечно, вошел и спросил у пожилой толстой француженки, что это за диво. Она взяла бумажку и написала: «Стрелиция». Этот цветок еще раза два попадался мне в Тунисе.

Вход в гостиницу довольно-таки убогий. Рядом другой вход — в ресторан, скорее трактир. Между ними еще дверца с карточкой: «Доктор Мурзук, уролог».

Утром нас повезли в парк, называемый «Бельведером», смотреть на общий вид города.

Но позвольте представить вам нашего шофера Али, который по воле аллаха и туризма должен был возить нашу группу по всему Северному Тунису, — он действительно виртуозно катил нас вдоль песков и колючек полупустыни и доставил наконец до ливийской столицы.

Али около пятидесяти. Лицо у него лоснится. Кожа черна — видимо, в нем течет не только арабская, но и негритянская кровь. Али высок, строен, несмотря на некоторую полноту. Али безупречно по-европейски одет, в франтовских башмаках, в сорочке белоснежной. На темно-кофейной руке — широкий золотой браслет с часами, на пальцах увесистые перстни. На голове Али — шеша, местная шапочка, своего рода берет темно-красного цвета... Али чуть-чуть объясняется по-французски. Он знает силу своей улыбки. Он ухаживает за нашими дамами. Он между делом рассказывает о себе. У Али было несколько жен, но, как мы могли понять, не одновременно.

Али за рулем сидит царственно, с той свободой, какая придает столько аристократизма повадкам африканцев. Он открыто смеется. Он курит наши советские папиросы и что-то пытается сказать хорошее о нашей стране. Но не знает о ней ничего.

Впоследствии он выучился приветствовать нас по-русски. Каждое утро мы слышали у дверцы автобуса: «Доброе утро», сопровождаемое оскалом слегка пожелтевших зубов.

Дед Али был рабом.

В парке — небольшое строение, служившее когда-то для отправления суда, со сквозным, ювелирно прорезанным сводом. По стенам — майолики, сине-желто-зеленые. Это был первый виденный нами образец средневековой арабской красоты.

Ознакомление с арабским Тунисом началось со второй половины дня. Первое утро после «Бельведера» было посвящено античности.

Говорить о произведениях искусства, не показывая иллюстраций, — почти потеря времени. Поэтому не буду утомлять читателя «слепой» экскурсией по самому замечательному из художественных хранилищ Туниса — по знаменитому среди специалистов и вовсе незнакомому «широкой публике» музею Бардо. Некоторыми замечаниями все же поделюсь.

Бардо — средневековый замок на окраине города, тот самый замок, где в 1881 году тунисский бей подписал капитуляцию, отдававшую Тунис под фактическую власть Франции. Внутри замка, на двух этажах, расположен теперь редкий по цельности музей. Именно здесь посетитель обретает первое понимание того, чем была Северная Африка под владычеством Рима.

Не буду останавливаться на римских скульптурах — их много везде, в частности у нас в Эрмитаже.

Есть в Бардо и настенная римская живопись. Смелой, быстрой кистью написан Вахх, красный бог с печальным выражением глаз. Может быть, небожитель слегка охмелел — в его левой руке сосуд для вина, уже опустошенный, из тех сосудов, какие нельзя поставить, не опорожнив, вроде кавказского рога. Вахх в венке из винограда. За головой — круг, предшественник христианского нимба. Спокойно и преданно стоит возле бога ручной хищник. Четыре длинные черные иглы изображают его усы. Техника живописи — обычная для римских декоративных росписей, она потом перешла в Византию и к нам — в Киев, в Новгород, в Ферапонтов монастырь.

Но вот любопытный специальный зал. В нем собраны предметы, найденные внутри корабля, извлеченного не так давно со дна морского. Особенно запечатлелась в памяти деревянная кровать — легкая, изящная, похожая на русские кровати «павловского» стиля. Возникал облик древнеримского господина, полулежащего на этом ложе в прохладной каюте со свитком Стация в руках и погибшего безвременно в пучине Средиземного моря. В древние времена путешествия по морю представляли прямую опасность.

Но самое примечательное в музее Бардо то, из-за чего одного стоит заехать в Северную Африку — это древнеримские мозаики, преимущественно первых веков нашей эры.

Нельзя не помечтать у мозаичного портрета Вергилия. Поэт сидит в кресле. В руке его свиток. Две музы стоят по бокам. Мозаика примерно III века. Но все-таки хочется думать, что перед нами не всецело то, что называется «идеальный» портрет. Может быть, черты этого немолодого сосредоточенного лица отразили какую-то устойчивую традицию, и мы видим все же «приблизительного» Вергилия. Во всяком случае таким его представляли себе поздние римляне.

Роскошью богатого древнеримского дома были мозаичные полы. Они, к счастью, сохранялись, когда от здания не оставалось ничего. Землетрясения их не разрушали, а песок милостиво предохранял от хищений. Мозаики свезены в замок Бардо из разных древних центров страны — это результат деятельности археологов последних десятилетий, главным образом французов. Мозаики, в общем, хорошей сохранности. Опавшие участки восполнены только одноцветными заделками в цвет и тон композиции. Это помогает цельности восприятия.

В центре одного из залов на полу — обширная мозаика, обнесенная металлической загородкой. Типичный сюжет: гладиаторы бьются с дикими зверями. Хотелось римским богачам, чтобы и пол, по которому ходили они у себя дома, напоминал о беспощадных цирковых потехах. Фигуры, как обычно в подобных композициях, расставлены чисто декоративно, друг над другом, но пантеры и львы выполнены с реализмом завидным.

Большинство мозаик вмуровано в стены вертикально.

Я долго стоял (туристическое «долго» не соответствует общечеловеческому) перед громадной мозаикой «Рождение Венеры из пены морской». Так смела композиция, так сстра и бесстрашна декоративность.

На другой композиции Одиссей проплывает мимо острова Сирен. Судя по стилю, мозаика поздняя, христианских времен.

Справа, на фоне условных пригорков, две сирены. Одна задрапирована, другая почти обнаженная. Обе с крыльями и на птичьих лапах. Внутреннее оперение крыльев густо-зеленого цвета. Полуобнаженная держит в каждой руке по флейте.

Одиссей стоит прямехонько, он привязал себя к мачте. За мачтой вьется поддуваемый ветром ларус, сшитый из мелких прямоугольных кусков.

Четыре спутника Одиссея — с овальными щитами, как у римских воинов. Они ствернулись, уши у них, как известно, залеплены воском. Слушает один Одиссей, он смотрит прямо в лицо чудовищным девушкам.

Средиземное море подарило пылливому европейцу свои многообещающие дали, и европеец в ответ заполнил его фауной свое народное искусство. Первая же культура, порожденная Средиземноморьем, — древний Крит — обильно украсила свои горшки и плошки всякими жителями морских вод вплоть до осьминогов. И на здешних мозаиках то же самое. Не говорю уже о дельфинах, из века в век оживляющих мозаики, фрески, орнаментику средиземноморских народов. Но вот на той же мозаике с Одиссеем огромный лангуст медленно ныряет в глубину, а вот проскальзывают угри и рыбы-пиры.

Мы идем по просторным, со слегка рассеянным светом залам. Это мир мифа и моря.

Грозно смотрят со стен бородатые боги ветров, те самые ноты, эвры, зефиры и фавны, которые не жили и топтали средиземноморские корабли. Проплывает мимо нас крылатый Эрот на дельфине. Странная чернобровая богиня, нагая, но в плаще и с бусами вокруг шеи, держит цветок в поднятой руке.

Но вот целая стена, где одни только обитатели моря. Она разостлалась серебристо-палевой гладью, а в глубине движутся рыбы всех цветов, всех форм, тончайших перламутровых оттенков. Безмолвие рыб переключилось в безмолвие мозаики. Тут нет ни тритонов, ни nereid — одни только рыбы и их подводные сожители: каракатицы, медузы, полипы, морские ежи, раковины. Не надо быть ни ихтиологом, ни океанографом, чтобы увлечься щедростью этих изображений морской жизни.

Такой аквариум мог быть создан лишь наблюдательностью ежедневно общающегося с морем художника — рыболова, рыболоба, рыбоведа.

Вся античная поэзия начиная со странствий многострадального Одиссея дышит морем. Пока африканский мозаичный дел мастер составлял из камешков эту палево-серебристую морскую пелену, безвестный римский поэт сочинял свою Галиэвтику — поэму о рыбной ловле. В то же время в Греции Алкифрон посвящал страницы своих литературных писем всяким морским трудам, между прочим — добычии губок и раковин. В его письмах — глубокое сочувствие к ныряльщику-рабу, постоянно рискующему жизнью. В античное время подводное плавание не было спортом.

В мозаиках Бардо также много реальных образов.

Целый набор разноцветных рыб попался в невод, — двое мальчишек в коротких рубашках селятся вытянуть его в лодку. Вот сидит на камне молодой рыбак. Этот не посылает рабов вылавливать подводные диковины. Он ловит сам, причем на удочку. Бедро обернуто куском ткани. На голове широкополая шляпа. В одной руке он держит удилище, в другой — суживающуюся книзу корзиночку с наживкой. Возле босой ноги корзина побольше — в нее он будет складывать добычу.

Молодой рыбак — это лишь один образец многочисленных фигур и сцен, рассказывающих нам о жизни простых труженников тогдашнего африканского побережья.

Власть переходила из рук в руки, но сельские работы никогда здесь не прекращались. Пахота, сбор урожая, заботы о лозах. Один грубый каменный рельеф дополняет мозаики: свозят пшеницу, скрипит неуклюжая арба, мужики погоняют пару волов.

Неужели могут эти мозаики представляться кому-либо холодными, мертвыми, как якобы все «музейное» и «античное»? Человек, не умеющий почувствовать живую жизнь в образах иной эпохи, рискует, что и его собственная жизнь через ряд поколений покажется кому-то мертвечиной.

Но мы продолжаем бежать, уже направляясь к выходу, и нам уже некогда рассматривать кошечки с виноградом, тыквы, яблоки, розы. Мозаичная утка, все же замеченная нами при пробеге, переваливается точь-в-точь, как наша.

Арабский город от «французского» отделяют ворота. Через них прошлое города сообщается, вернее разобщается, с его современностью.

Мы до сих пор не отучились считать, по примеру дедов и отцов, арабский Восток областью культурного застоя. Верили, и не без основания, Лермонтову, будто «все, что здесь доступно оку, спит, покой цена»; верили Гастону Буассье — историку, но не провидцу, — писавшему, что «на этом старом Востоке, где ничто не изменяется, настоящее позволяет постигать прошлое».

До известной степени оно так и сейчас. Но стоит взглянуть на здание Тунисского университета, чтобы уверенность поколебалась. Этот многоэтажный гигант, четкий, как формула, пока еще один в своем квартале возносит застекленный скелет в небо, откуда наука постепенно выселяет ангелов. Обступающие его хижинки с плоскими кровлями по-прежнему еще предоставляют свои дворики луне поэтов и нищих.

Но университет — это лишь единичное свидетельство тех сдвигов, приметных даже случайному посетителю, какие происходят сейчас в странах арабской Африки, освободившихся от колониальных опеки. Достаточно перелистать изданную в Тунисе в 1962 году официальную книгу «Тунисские перспективы» (на французском языке), чтобы стало ясно, с каким размахом страна вступила в новый период своей жизни. Старая арабская цивилизация мало что может противопоставить наступлению бульдозеров и лабораторий, стадионов и радиостанций, больниц и автомашин, вкусов и идей. Ей приходится отстаивать себя лишь инерцией традиции, косностью умственных привычек. Араб в своем национальном бурнусе уже привык давно к железной дороге, — узкоколейки пробегают чуть ли не по всей стране. Но теперь он уже влезает по трапу и в свой «Tunisair».

Конечно, главное, решающее впереди.

Но что город Тунис в скором времени станет иным, даже частично сохраняя нетронуемым восточный квартал, можно не сомневаться. Этому порадуется приобшившийся к цивилизации горожанин, об этом нарушении цельности «образа» пожалует художник.

То, что Тунису скоро предстоит изменить свой облик — не столько даже внешний, сколько внутренний, — понял тунисский художник Зубеир Турки. Живя в далекой Скандинавии, он воссоздал памятью и любовью образ родного города. Зубеир Турки, сознавая неизбежность утраты, спешит зафиксировать в рисунках тот быт, в котором мало прелести для молодежи, но много для старых людей.

Все, кажется, нашло отражение в книге Зубеира Турки.

Вот к тунисской невесте зашел гадальщик, он тычет пальцем в какие-то таинственные знаки, а сваха следит за его болтовней. Вот старик наматывает на голову тюрбан, прикрепив конец полотнища к стене.

А вот мастерская шеш. В такой шеше ходит и наш А.ли. Женщины носят их тоже, только белые. Но в наши дни шеси большей частью фабричного производства — из Чехословакии, Югославии, Италии.

А вот за столиком кафе сидят несколько западноевропейских дам. К ним подошел бедно одетый араб. Протягивает связку жасмина на палочке — не купят ли?

Когда мы в вечер прилета нили «кока-кола» в «Кафе де Пари», глядя на морсящий африканский дождь, точь-в-точь так предлагал и нам букетики чернявенький подросток.

В быт зажиточного тунисского дома проникло пианино. Вот слепец-учитель дает урок музыки молоденькой девушке. Музыка музыкой, но зрячего учителя, будь он даже Мафусаиловых лет, все же не впустят в арабский дом, где подрастает девушка.

Конечно, путешественник, тем более «краткосрочный» турист, не может даже бегло кинуть взгляд на интимный быт арабской семьи. Арабский дом, как обычно на Востоке, больше смотрит внутрь себя. Разве что-нибудь разглядишь за этими изогнутыми решетками, свесившими перед окнами свои ажурные животы? Кстати, эти решетки очень напоминают своим узором железные кровати, какие у нас делались еще не так давно и сохранились в некоторых квартирах с долго не обновлявшейся обстановкой. Решетки выкрашены в синий цвет, причем грубый, светло-синий. Их сочетание с белыми стенами типично для всего Туниса.

Сдвиг, изменяющий на наших глазах тунисскую общественную жизнь, нагляднее всего сказывается на положении женщины. Затворничество, покорность, неграмотность, бездействие — все это покатилося под гору. Правительство со всей энергией подталкивает на спуске телегу времени.

Теперь невеста уже не тклет сама свой свадебный коврик, а если не хочет отказаться от традиции, то заказывает его в мастерской.

Девушки и молодые женщины современного Туниса, одетые по-европейски, видны теперь повсюду, но главным образом, конечно, в бывшем французском квартале, где сосредоточена деловая, в современном смысле, жизнь. Они — телефонистки, медсестры, продавщицы, машинистки, преподавательницы. На одной из имеющихся у меня фотографий по-европейски одетая молодая учительница дает урок своим еще не эмансипированным сверстницам. Все ученицы — в национальной одежде. Некоторые еще робко, неуверенно приоткрывают лицо: нелегко на первых порах.

Красавицы и в арабском городе не всегда сидят дома. Они проходят мимо вас, закутанные с ног до головы в покрывало. Я как-то спросил у местного гида, из какой ткани делают эти огромные широкие полотнища. Он пожал плечами:

— О! Синтетика!..

Мужские бурнусы и сейчас поддерживают честь тунисской шерсти, превосходной, мягкой, пышной, самой натуральной шерсти.

У женщины, завернутой в свой белый кокон, обнажены лишь два малых участка красоты, впрочем достаточные, пожалуй, чтобы пушкинский Дон-Гуан «в минуту дорисовал остальное». Снизу из-под полы мелькают смуглые ступни, иногда сжатые обычной европейской «лодочкой», но иногда и в золотых сандалиях — традиция древняя: золотые сандалии носили еще дамы Рима и Карфагена.

А наверху, из-за складок, поддерживаемых перед лицом незримой рукой, чернеет один глаз. Но на него стоит взглянуть, вглядеться в него, заглядеться им, если красавица не слишком быстро промелькнет мимо вас.

Глаз — это поправка к восточной стыдливости. Это черная молния, сверкнувшая из белой тучи, и даже не только сверкнувшая, но иногда и метко нацеленная в оба глаза проходящему европейцу.

Дюамель рассказывает, что однажды, когда он шел по одной из узеньких улочек арабского города, встретившаяся ему женщина вызывающе приоткрыла больше половины лица. Писатель говорит, что этот восточный «стриптиз» показался ему столь бесстыдным, что, будь он помоложе, он, наверно, потупил бы глаза.

В общем, несмотря на золотые сандалии, арабский Тунис кажется бедным. Правда, в нем не заметно прямым образом нищих, и это, видимо, уже результат принятых мер к улучшению жизни трудового населения, не видно и явно больных. Здесь не встретишь обнаженных уродств и язв, как в Индии. Успешность борьбы с болезнями и смертностью подтверждает статистика.

Надо еще учесть, что быт непривилегированных слоев восточных народов с его следами угнетения и рабства, быт, определяемый зноем, безводьем, пылью, — вообще скуден. Потребности примитивны. Здесь не стесняются заплат и проданных рукавов, обувь — и то большей частью шлепанцы — надевается лишь при выходе из дома, бороды бреются раз в неделю — и не разберешь, где границы настоящей бедности и застарелых бытовых привычек.

Следует еще добавить, что вплоть до последних лет тунисец, даже молодой, предпочитал сидеть целыми часами в кофейне, потягивать свой кофе, курить и слушать птицу, сидящую над ним в узорной клетке.

Несколько слов о клетках. Клетки — одно из привлекательнейших украшений здешнего интерьера. Это целые сооружения изысканных очертаний с мусульманским куполом, напоминающие Тадж-Махал. Делают их из металла, окрашивают в белый цвет. Это почти филигрань. Это клетки-беседки, клетки-дворцы, достойные тоскующих птичек арабской поэзии, маленьких крылатых пленниц, немногим отличных от малолетних жен, по-птичьей не сознававших в старом мусульманском мире своей гаремной неволи. О пленении птичек пелось в восточной поэзии, о пленении женщин она молчала.

Засилью кофейни современное руководство Туниса пытается положить предел. Теперь молодые тунисцы сидят и в библиотеках.

Но, в общем, современный Тунис еще в полной мере страна противоречий. Основное в том, что современная цивилизация оставляет в силе ислам. Их симбиоз, видимо, изживется не скоро, и это понимают руководящие политические деятели.

Знаменитый тунисский сук, что означает базар, оправдал то, что можно найти в каждом по Тунису путеводителе.

Незатейливый вход длинного одноэтажного здания. Перед нами уходят вглубь бесчисленные арки крытого базара. Тунисский сук — богатейший сук, ему, по милости пророка, не найти равного во всем Махребе¹. Так вот они, в естественном своем бытии, — «восточные товары». Знакомое с детства словосочетание здесь — для меня по крайней мере — впервые получило конкретное содержание. Безостановочное процветание арабского народного ремесла вправе отпраздновать свое тысячелетие — оно спокон веков составляет славу Туниса.

Сейчас правительство принимает меры к поддержанию искусства кустарей, — традиционным ремеслам угрожает наплыв европейских фабричных изделий, невольно поощряемых новыми формами быта.

Нет сил восстановить в памяти все повороты и перекрестки этих тянувшихся неизвестно на сколько километров крытых аркад. Самые лавки находятся в своего рода нишах по обеим сторонам — вроде того, как в старинных «рядах» наших городов. Лавки маленькие, почти тесные, но это лавки-выставки, лавки-алтари, лавки-сказки.

Торговец здесь — тоже своего рода художник. У него вековой навык привлекать покупателя, искусно располагая свои товары на полках, в витринках, на полу. Конечно, местному привычному человеку все это кажется, вероятно, не столь сказочным, но я, признаюсь, почувствовал себя сорокой, увидевшей серебряную ложку.

По суку движется туда и сюда редкая толпа, почти одни мужчины в палевых шерстяных бурнусах и шешах, нередко с четками в руке. Купцы сидят невозмутимо, поджав ноги, перед арками своих лавок.

На всем базаре стоит чуть уловимый аромат не то ладана, не то кипарисового дерева. Вековой запах застоялся, пропитал ковры — ими стены лавок обычно обиты доверху. Шума нет, есть говор, шелест шагов. Пряную тишину пререзают от времени до времени выкрики разносчиков. Один проносит на голове целую гору кусков шелка — розового, алого, золотистого, полосатого. Другой предлагает прохладную воду из длиннорюхлого кувшина, оплетенного соломой.

Здесь не чувствуется «бизнеса», хотя обороты иных лавок должны быть значительны. Конкуренция между двумя сидящими друг против друга толстяками выглядит пассивной. Да и покупают, в общем, мало. Здесь убеждаешься воочию, что традиционная восточная торговля — не только выколачивание монет из имущего и неимущего, но и времяпрепровождение.

Вот этот грузный араб, сидящий у входа в лавку и разговаривающий с хозяином, — разве он зашел под арки сука, чтобы приобрести что-нибудь? Знакомый нам по Бухаре и Самарканду «чак-чак» и здесь часами переливает из пустого в порожнее струйки старинковских бесед.

Возможно, что это сидит сам высокоуважаемый мулла, воспользовавшийся свободным временем. Он с недовольным лицом встал и отвернулся, когда мы захотели его сфотографировать.

Сразу привлекают внимание кожаные изделия. Они напоминают по своей технике наборные сапожки казанских татар, какие, бывало, продавались в палатках под старинной, уже не существующей теперь белокаменной стеной Китай-города в Москве. Чего только не выделывают из разноцветного сафьяна народные тунисские мастера: сумы, сумки, сумочки самых различных, но всегда национальных форм, ничего общего с обычными «дамскими сумочками» не имеющих. Это скорее большие кисеты или кожа-

¹ Махреб, или Магриб, — Запад, арабское обозначение западной части Северной Африки.

ные мешочки, разноцветно изузоренные. Вот они десятками, если не сотнями, стоят на застеленных паласах низких топчанах, свисают с ковров по стенам, лежат вольно на арабских, перламутром выложенных столиках рядом с громадными, сияющими медными подносами, прислонившими свои чеканные солнца к благородным узорам ковров.

На полу — кожаные подушки табуретов, а рядом на полках — выставка женских туфель, рубиново-красных, изумрудно-зеленых, с плотной вышивкой золотыми и серебряными нитками на заостренных носках, все без задников, для надевания на босу ногу. А повыше — какие-то европейцу неведомые кожаные женские жилеты, тоже богато расшитые.

Можно тут же неподалеку наблюдать и мастеров-кожевников за их веками не изменяющейся работой.

Рядом со сверканием золотых нитей на обуви — мерцание серебряных браслетов для рук и ног, от широких с чеканным узором до самых узеньких. Браслеты — предмет первой необходимости. Они стоят гроши, они доступны бедным потребительницам, бедуинкам пустыни. Некоторые обручки шириной с миллиметр надевают на запястья целыми десятками. Золотом и серебром поблескивают на шейные и нагрудные, украшенные звездочками уборы женщин.

Серьги невероятной длины. Они свисают к женскому плечу целым серебряным водопадом с колечками и круглыми подвесками на конце.

Ожерелий всяких не перебрать ни рукой, ни глазом. Много — из продетых одно в другое металлических плоских колец. Эти тоже на потребу немущей красоте. Некоторые выточены из пахучей древесины, коричневые звенья чередуются с неправильными бусинами из перламутра, еще не образовавшего жемчужину.

Чтобы взглянуть на более роскошные, настоящие золотые изделия, надо зайти в лавочки, что во дворике, примыкающем к суку. Там народное мастерство на службе у богатых покупателей. Мы к ним не принадлежим, да, кроме того, мой сорочий вкус довольствуется и блеском ювелирной мишуры.

Проходим опять мимо лавок с шелком всех возможных цветов, но более всего золотисто-розовым, как на голове у того разносчика.

А здесь — строгие бурнусы и роскошные халаты.

А там — лавки, где торгуют одним шешами. Они, наложенные одна на другую, поднимаются с топчанов целыми темно-красными или белыми столбиками.

Вот и ярко расцвеченные тонкие шелковые платки — на них виды Туниса. Такие штампуют теперь всюду: и в Делли, и в Неаполе, и в Версале, и в Москве; хоть это уже не народное искусство, их охотно покупают приезжие.

Но что надолго приковывает внимание даже бегущего сломя голову туриста — это национальная тунисская керамика. Кажется, увез бы с собой целый контейнер. Но воздержусь: темпы туризма не терпят легко бьющихся предметов.

Современная тунисская керамика пользуется в основном двумя цветами — черным и белым. К настенным ковсам привешены круглые блюда — на белом фоне черные силуэты животных, растений. Но всего изысканнее те, где узором служат изречения. Крупные, лаконичные буквенные сочетания безупречно вписаны в круг на заvistь древнегреческим гончарам.

И опять шешы, и опять шелка, и опять ковры, сафьян, ювелирные украшения, керамика.

Так добежали мы наконец до обширной комнаты, почти зала, в конце главной артерии сука. Здесь основная торговля коврами, от молитвенных ковриков до грандиозных ковров — арабских соперников древнеримской мозаики. Зал в коврах весь — и в горизонтальном и в вертикальном направлении. На коврах арабские столики, на них кальяны и безделушки.

Молодой, по-европейски одетый хозяин любезен. Он приказывает раскатывать перед нами еще и еще ковры. Подобно керамике, и ковры тунисские строгы по узору и цвету. Иногда сочетаются только два цвета — черный и светло-коричневый, «кофе с молоком». Узор лаконичен. Ковер дорог.

Мы вскоре дали понять хозяину, что ничего покупать не собираемся. Впрочем, он,

по-видимому, на это и не рассчитывал. Ковры — его гордость. Ему просто хотелось продемонстрировать это национальное искусство редкой в тех местах советской группе.

В конце коврового зала — узкая, крутая лестница. Такие бывают в средневековых замках, в старинных колокольнях. Стены сплошь в коврах. Вскоре неудобные каменные ступеньки вывели нас на свет божий.

Мы стоим на плоской кровле сука, в самой высокой его части. В первый миг не знаешь, на что смотреть. Кровля вымощена цветными узорными кафелями. Ее частично окружают стены-ограды, тоже кафельные, с богатым узором. Кафели желто-зелено-синие, иногда с птицами, ланями, цветами. Нам поясняют, что майолика очень древняя. Я готов этому верить.

Справа тоненькие колонки с византийскими капителями поддерживают какую-то, тоже тоненькую, балку. На ней ничего не поконтя. Самостоятельная, странного вида, тоже изуроченная кафелями, арка ведет на свободную часть кровли, огороженную решеткой. Видно, это остатки какого-то архитектурного целого.

Мы полошли к перилам. Перед нами, чуть влево, раскинулся весь арабский Тунис — белый-белый, со всеми своими плоскими кровлями, четырехугольными минаретами и рубчатыми куполами мечетей. Такими сняты несуществующие города.

В это время появился на крыше юноша-араб. Он держал поднос с маленькими, кверху расширяющимися стеклянными стаканчиками и стал, улыбаясь, по очереди нас обносить. В стаканчиках оказался горячий, непомерно сладкий зеленый чай с крепким запахом мяты. Его нужно пить, как ликер, чуточными глоточками. Вероятно, это простейшее угощение показало нам такой же экзотикой, как американцу тульский самовар. Но в тот миг юноша-араб был как нельзя более кстати.

Между тем кучевые облака, стоявшие над городом, зарозовели. Осенняя ночь наступала быстро.

Шестьдесят километров отделяют от Туниса городок Хаммамет на восточном берегу, где нам предстояло почевать: гостиницу нам заменили на лучшую. Хаммамет в настоящее время преобразуется в курорт с расчетом на иностранных посетителей.

Что могли мы приметить по дороге? Только свисающую листву да голые стволы эвкалиптов, на миг выхватываемые из мрака фарами автобуса. Кстати, эвкалиптовые деревья у арабов считаются женскими существами. Их нагота кажется арабам непристойной, поэтому в народе эвкалипты называют здесь «бесстыдницами».

Чуть-чуть шемящим было то особое чувство, знакомое всякому путешественнику, какое испытываешь при приезде в нечто незнакомое место.

От ворот до гостиницы — аллея, по которой уже идем пешими. По обочинам, у самой земли, — красные и зеленые огоньки. А с обеих сторон, облитые светом электрических фонарей и от этого кажущиеся словно изваянными, — высокие пышные кустарники, все в красных цветах. Их нетрудно было узнать: это цветы хибискусы — распространенный в субтропических районах вид мальвовых. Цветы огромного размера, пятилепестковые, с крупным белым пестиком, осыпанным пушистыми тычинками. Замечательной была высота кустов и обилие цветения.

Пока другие толпились в холле, выдержанном в арабском модерне, мы с женой вышли на веранду по другую сторону дома. Безлуная, тихая и теплая ночь. Час еще не поздний, но постояльцев почти не видно: сезон доживает последние дни. От здания отеля широкие плоские ступени спускаются к врезанному в каменные плиты водоему; за ним чернеет силуэт арабской беседки, достаточно строгий, чтобы не казаться выставочным павильоном. Мы спустились.

Трудно было определить в темноте, откуда доносится запах цветов — свет лишь далеко, в окнах и в аркадах веранд. Дышалось легко. Мы обогнули водоем и беседку. Две могучие агавы обозначили конец сада. Остановились. Под ногами был песок. Угадывалась близость моря.

Море было, видимо, спокойно, к нам не доносилось ни звуки.

Когда в холле нам выдавали ключи от комнат, я обратил внимание, что мне с женой вручили какой-то особый значок: вместо номера стояли латинские буквы «V» и «D».

И никакого ключа. Портье разъяснил, что буквы обозначают «villa droite» — «правая вилла».

Молоденький араб в костюме грума забрал наши чемоданы и направился влево. Мы за ним. Обошли крыло отеля и вскоре очутились у высокой чугунной ограды. В ограде — калитка, на калитке дощечка: «Вход воспрещен». Воспрещен, но, оказывается, не нам. Между тем араб уже подводил нас к одноэтажному — разумеется, белому и, разумеется, с аркадами — одинокому домику.

Вошли. Большое сводчатое помещение, странно смешанная, и старинная и новейшая, мебель. Слуга поставил чемоданы возле узенькой средневековой дверцы. В скважине торчал ключ, огромный, грубо выкованный, в добрые полкило весом — стандартный ключ турецкой темницы. При повороте ключа замок зазвенел.

Мы оказались в высокой, тоже сводчатой хороmine. Огляделись не сразу — свет шел из углов, из-за чугунных узоров каких-то пристенных фонарей, подобающих феодальным застенкам. Бросилась в глаза огромная двухспальная кровать. Над головами деревянное — впрочем, на Востоке не так редко встречаемое — украшение, словно передний козырек балдахина. На белом фоне красные и зеленые завитки — дешевое провинциальное рококо.

В задней стене хоромины шкафы, целым рядом, черные, с резьбой — ренессансовые, что ли?

В передней стене широкое, неестественно низкое окно. Забрано тяжелой чугунной решеткой. Это уж не от москитов.

Араб между тем исчез. Тишина. Ясно, что здесь ни души не живет. Разве лишь шиллеровский Гассан-тунивец прячется где-нибудь во мраке. И никакой прислуги.

Почувствовав себя на миг героями приключенческого романа, мы приоткрыли еще одну дверцу, в задней стене, рядом со шкафами (для награбленного имущества, конечно), приоткрыли с любопытством, достойным жен Синей Бороды II что же? Вся в черном мраморе — роскошная ванна. На стенах поблескивают бра. И все стало вдруг на свои места: апартамент рассчитан на американского миллионера. Пусть он не разбирается толком в феодализме, все равно романтическая подделка пощекочет мурашками его деловую спину, а он готов за это дорого заплатить. Но при чем здесь мы?.. Впрочем, случай по-всячески играет человеком, и не всегда столь благодушно.

Мы улыбнулись, но вдруг в этой тишине, в этой оторванности замлело сердце от сознания, что ведь мы и в самом деле в стране мифов и корсаров, стране, и понаслышке-то почти неизвестной.

Вышли на веранду. Темно-а была нежна и звенела цикадами. Мы все же смогли различить, что перед нашим обиталищем — кипарисы, гигантские эвкалипты и не менее гигантские финиковые пальмы. Они торжествующе возносились к невидимому нам небу.

Мы собирались уже идти спать, как вдруг услышали где-то в высоте, над деревьями, странный, никогда ранее не слышанный звук птичьих голосов — это пролетала стая фламинго.

«Первый завтрак» в отеле «Фурати» подавали в номера. Стоило позвонить по телефону — и слуга появлялся мигом с кофеем, маслом и джемом.

В первое хаммаметское утро мы успели спуститься к морю. Утром все показалось менее романтичным. Купы деревьев отделяли нас от довольно запущенного участка с какими-то молодыми посадками. За ним тотчас начинался пляж.

Двое-трое из нашей молодежи приделали к плавкам копские хвосты из сухих пальмовых листьев и бегали. Другие смеялись в глубине шезлонгов. Сзади них поднимали головы лежащие верблюды, почти не выделяясь на песке. Они, видимо, привыкли, что в более бойкие сезоны на их единственный горб взбираются любители «местного колорита».

В этот день после первого завтрака мы отправились в Карфаген.

К Карфагену едут от Туниса километров пятнадцать по прямой дамбе. Справа — мелкий залив, слева — такая же бледная плоскость приморского озера. В воде стоят во множестве алые фламинго — они и днем кажутся озаренными вечерним светом.

Я не мог предполагать, что буду встречать свое семидесятилетие на развалинах Карфагена, — не придаю этому автобиографического значения. Вообще не мечтал, что увижу собственными глазами Карфаген; когда мы говорим «Карфаген», мы всегда имеем в виду Карфаген древнейший, пунический, основанный Дидоной, тот, который знаем из первого учебника истории. Но что значит увидеть?

Античный Рим в наши дни — это трупы, оставшиеся на поле, где давно уже кипят новые поколения. Трупы еще на своих местах, обезображенные, но боготворимые культурным сознанием. Коллизей, триумфальные арки, Пантеон и сейчас участвуют в создании общего впечатления.

Но древний Карфаген — это лишь имя, почти белое пятно, почти отвлеченное представление. У него уже нет образа. От знаменитого пунического города, столь часто и подолгу бывшего полниным «игрищем судьбы», не осталось ничего, кроме однообразных, безликих саркофагов, таких же однообразных каменных плит, посвященных Лунной богине, погребальных сосудов. Все это слишком невнятным шепотом говорит о далеком прошлом. Ничего не добавляют тоже откопанные глубоко под землей остатки каменных кладок. Сципий сделал свое дело мастерски — разрушил пунический Вавилон начисто, спалил дотла.

Быть может, величие Карфагена особенно притягивает нашу пылкость и фантазию именно в связи с его почти полным исчезновением.

Здесь невозможно не вспомнить Флобера.

Мечта о Карфагене владела Флобером смолоту. Он посвятил годы изучению пунической старины, но почувствовал, что ему недостает, может быть, главного — непосредственного соприкосновения с карфагенской землей.

Флобер пробыл в Карфагене всего четыре дня в апреле 1858 года. Всего четыре дня. Но Карфаген, каким он предстал Флоберу, мог дать пищу лишь нескольким мгновениям. Силу этих мгновений познает всякий, кому посчастливится в первый раз охватить взглядом то самое место, откуда отчаливали пунические галеры, вези слонов и наемников на погибель римским легионам.

Первая мысль, возникающая у приезжего, когда он останавливается на высоком карфагенском берегу, — что такое местоположение достойно соперника Рима. Глубоко в африканский материк вдается залив. К заливу спускаются склоны с рыжей почвой. Теперь они усеяны домиками загородных вилл. Лагуны и отмели залили, затянули, затопили оба карфагенских порта — торговый и военный. Справа в море тянется длинный язык земли, тоже заселенный. А слева вырисовывается профиль гор. Это отроги Атласа.

Еще так недавно там, за этой горной грядой, было слишком много печали и крови. Теперь там кипит обновляемой жизнью освобожденный Алжир.

При нас, то есть в начале ноября, горы были фиолетово-синими, а залив голубым, намного светлее гор.

«Прибывающий путешественник не мог из открытого моря видеть город, как видны Афины или Александрия; надо было сначала пройти рифы ее побережья. обогнуть холм Молоха, откуда по ночам падал гигантский луч маяка; затем плыть вдоль мола, выдвинутого в море, тогда лишь наконец обнаруживал себя город, громоздящий сверху до низу свои каменные шестипэтажные дома. Дома были из теса, из гальки, из камыша — и поскольку все заканчивались террасами, можно было подумать, что это — нагромождение гигантских игральных костей. Роши при храмах образовывали озерки зелени в этой темной массе, площади выравнивали город не одинаковой величины плоскостями, и бесчисленные улочки, пересекая друг друга, прорезали его сверху донизу. Дворцы патрициев, в форме погребальных костров, омрачали своей тенью расположенные у их подножий жилища, а на кровлях святилищ и по углам их фронтонов возвышались покрытые золотом статуи, и колоссальных и малых размеров, с огромными или непомерно втянутыми животами, с запрокинутой головой, с распростертыми объятиями, с жаровнями, цепями и мечами в руках».

Мы благодарны писателю за это видение. Но исследования последних лет вносят в него свои поправки: пунический Карфаген был все же более похож на эллинизированные города Сицилии и великой Греции.

Финикийцы, в частности карфагеняне,— коммерсанты и финансисты древнего мира. Мясистые и носатые, с непременной серьгой в ноздре, остробородые, одетые в длинно-полые хламиды, властители тогдашнего торгового мира оставили у человечества память лишь о своих неудавшихся войнах и о жестокости, для нас мало воображимой. Достоинство того, что, казнив мятежников, они расчленили их мертвые тела и по частям продавали в мясных лавках.

В Карфагене хранятся однообразные, небольшого размера глиняные погребальные урны. Их найдено множество в глубинных слоях почвы, образованной пожарищем города при Сципионе. В них, разумеется, пепел — но чей?

В них — останки младенцев, сожженных в жертву Ваалу-Аммону.

Древний пунец умилоствлял богов сожжением детей с целью практической — оборонной или коммерческой. Если верить Страбону, чудовищный обычай был огменек лет за четыреста до нашей эры, но потом, когда враг стал угрожать Карфагену, его восстановили, и тут обнаружилась двойная гнусность. Карфагенские богачи, как оказалось, брали себе чужих детей из немущих, из рабов, кормили их «на убой» и потом несли в храм, где жрец сажал ребенка на раскаленные колени бога и младенец рушился в пылающее чрево, как в печь крематория. Решили, что подмена — причина последующих бедствий. Тогда знатные люди города стали опять отдавать Ваалу собственных детис. Однажды в храм привели триста детей зараз. Улики теперь в музейных залах.

Мог ли этот страшный культ уравниваться тем, что Ганнибал писал свои сочинения по-гречески? Зная основы пунической цивилизации, неохотно ставишь ей в заслугу даже прогрессивное земледелие.

Сохранились некоторые предметы быта, среди них маленькие маски, какие ктали в гробницы. Приоткрытый рот, безобразные, карикатурные черты. Что-то общее со скульптурами древних индейцев.

Пока мы стояли, еще не утолившись воздухом и морем, к нам подошел мальчик-араб. Вынул из-под полы именно такую глиняную маску. Мы купили ее за какой-то бесценок, отлично понимая, что это подделка на потребу туристам. А вдруг — нет?..

Почти полное исчезновение пунического Карфагена понятно. Но каким образом лишь ничтожные следы сохранились от последующих Карфагенов — римского, вандальского, византийского,— составляет загадку. Впрочем, вандалы за время своего владычества ровно ничего и не создали. Между тем возрожденный римлянами Карфаген стал снова цветущим городом, третьим по величине во всей империи. Здесь знаменитый Апулей — красавец и оратор — срывал в театре горячие аплодисменты толпы. Он называл своей родной Карфаген обителью муз, средоточьем наук.

Мы прошли, оставив в стороне обширный амфитеатр, по термам Антонина, еще стоящим в развалинах, потом взглянули на остатки византийской базилики святого Киприана, но нигде не могли отыскать вещественных доказательств величия. Правда, акведук, построенный римлянами, и сейчас снабжает Тунис отличной горной водой.

Вероятнее всего, что в уничтожении трех последовательно процветавших городов более всего повинны сами жители. На улицах Туниса можно видеть немало античных и византийских фрагментов, примененных в качестве стройматериала.

Сейчас Карфаген — маленький полуарабский-полуевропейский городок. Домики-виллы типичного «колоннального» стиля: модерн, приспособленный к яркости и жаркости африканского солнца. Близну стен прорезают подковообразные и стрельчатые пролеты дверей — дань восточной традиции.

Много густо-лиловых клематитов. Обилие этих крестообразных цветков не оставляет места зелени. На юге клематиты — спутницы осени, как глицинии — весны. По оградам в разные стороны торчат колючие лепешки кактусов-опунций, иногда с плодами, реже с соцветиями, бледно-желтыми. В переулок, по которому бежит самая длинная карфагенская дворянка, вылезают острями упругие матово-сизые агавы. В садах краснеют универсальные канны.

В пролетах между стенами и деревьями глаз радуется голубизна моря.

Еще не насмотревшись на залив и западные горы, мы осознали, что сзади нас гот самый холм, где когда-то был акрополь или кремль пунического Карфагена. Оттуда

знаменитый вид, соперничающий с Рио-де-Жанейро и Стамбулом, — вид, когда-то поразивший Шатобриана. Но решительно ничем не перекликается современная возвышенность с Бирсой пунических времен. Это, в общем, пустынный холм, на котором возвышается католическая церковь. А Флобер не видел даже и этой церкви, она построена лишь в конце XIX столетия.

В одном из своих поздних писем Флобер, разочарованный всем происходящим, предвидя какую-то всеобщую катастрофу, писал: «Когда все умрет, воображению придется создавать миры, пользуясь бузинными щепками или черепками ночных горшков». Это примерно то, что он сам сделал с Карфагеном.

Рядом с церковью есть еще часовенка, построенная несколько раньше. Обе — во имя святого Людовика, короля Франции. Но, вероятно, немногие знают, какая связь между Людовиком IX и Карфагеном.

После многих лет справедливого управления «милрой Францией», этим странным рыцарем вновь овладела томившая его с юности мечта об освобождении гроба господня. Уже на закате жизни он возглавил свою вторую попытку крестового похода. На сей раз он сперва направил путь к берегам Северной Африки. Высадился в гавани Туниса и расположился лагерем в Карфагене. Там он ждал прибытия второго войска. А беды не ждали. Среди крестоносцев вспыхнула эпидемия. Занемог и Людовик. 25 августа 1270 года его не стало. Он умер в той самой Бирсе, где сейчас напоминают о нем часовня и церковь.

Темпы туризма, к сожалению, не позволили нам осмотреть музей Лавижри. Впрочем, мое пристрастие к искусству и древности стало, как я заметил, уже раздражать кое-кого из наших спутников...

Рядом с Карфагеном, километрах в пяти, есть городок Сиди-Бу-Саид. Подозреваю, что его стены выбелены и решетки на окнах покрашены наново в назойливый синий цвет специально для туристов. Да и президент Бургиба имеет, как нам сказали, виллу в Карфагене.

Главная улица городка подводит к каменной лестнице. Над лестницей — деревянная веранда арабской кофейни. Колонки и двери кофейни тоже грубо голубые. Сзади белеет в небе четырехгранный минарет.

Мы все же успели в кофейню забежать. Несколько посетителей сидит по-восточному на низких, коврами застланных топчанах. Европейцев не видно вовсе. Хотелось выпить еще раз арабского чая, того самого, что подносили нам на крыше тунисского сука. Чай и здесь был такой же горячий, не по-европейски сладкий, в таких же маленьких стаканчиках.

Вечереющее солнце, деревянные столбики кофейни и громоздящиеся в воображении образы пунического Карфагена слились в памяти с ароматом мяты.

Вечером был прием, устроенный для нас министерством информации и культуры в Доме радио — многоэтажном стеклянном здании, современном и снаружи и внутри. Наши хозяева, представители европеизированной тунисской интеллигенции, в большинстве владеют французским языком.

Мне привелось беседовать с одним из деятелей радиовещания. В Тунисе, где продолжает чувствоваться культурная связь с Францией, передачи ведутся и по-арабски и по-французски. Я, разумеется, спросил, велик ли спрос на русскую музыку, включая советскую. Мой собеседник, видимо, не считал нужным преувеличивать из любезности той роли, какую занимает в местном вещании наша отечественная музыка, однако утвердительно заявил, что русская музыка все же передается, но лишь в передачах на французском языке. Я понял, что не много. Преобладает музыка арабская.

У тунисского вещания широкие перспективы: предполагается вести передачи еще на двух языках — английском и итальянском. О системе вещания, о его стиле и других подобных проблемах мы не успели поговорить, так как всех пригласили к столу а-ля-фуршет. Разговоры, уже не подчиненные определенным темам, скорее лишь сопутствовали тарталеткам с омарами, ананасному соку и французским маленьким пирожным буше.

Вскоре я подсел к нашим дамам в угол, на диван. К нам тут же подвели знакомиться двух одетых по-европейски молодых девушек. Одна была неприметна и молчалива, видимо стеснялась плохого знания языка. Зато другая, худощавая, в очках, тотчас разговорилась. Мы беседовали с ней — о Москве.

Она была на молодежном московском фестивале 1957 года. И странно и приятно было в сердце Туниса слышать из уст местной девушки такие слова, как Сельхозвыставка, Большой театр, улица Горького. Было очевидно, что девушка сохранила о фестивале такие воспоминания, которые долго еще будут ее радовать.

Потом к нам присоединился тунисский поэт Махмуд Бэжи. Это старый человек, несколько отяжелевший. На голове у него, при европейском костюме, турецкая феска — он раньше жил в пределах Турции. К сожалению, Махмуд Бэжи нелегко объясняется по-французски, так что беседа разбивалась на короткие фразы. Насколько могу судить, тунисский поэт совсем не знает поэзии русской. Зато он в курсе того, что в Ленинградской публичной библиотеке хранятся драгоценные, до сих пор еще не изданные арабские рукописи. Несмотря на свой далеко не молодой возраст, Махмуд Бэжи имел намерение побывать в Ленинграде. Не знаю, осуществилось ли оно.

Только что кончился прием в Доме радио, как начался второй, организованный обществом «Тунис—СССР». Этот состоялся в уже знакомом нам «Кафе де Пари». Тунисское гостеприимство подвергло нас некоторому испытанию: был сервирован обед с национальным кус-кусом, а кус-кус, надо сказать, блюдо тяжеловатое — это мясо со всякими приправами и с обязательной кашей из пшеницы.

Со мною рядом сидели три араба. Говорили опять о радио, мне, как старому радиоработнику, легко было поддерживать беседу в пределах именно этой темы. Но разговор, в общем, был поверхностный.

Во время поездки по Тунису мы пользовались радушием всех. Особенно выразилось оно в минуты, когда автобус бывал уже готов к отбытию, а мы, слав чемоданы, еще толпились у выхода. Обычно провожать выходили все — и администрация, и прислуживающий персонал. Так было и при отъезде из Хаммамета, и в других городах.

Хотелось поточней угадать, какой оттенок чувства вызывает эти улыбки, эти внимательные и признательные взгляды. О корысти не могло быть и речи — какая от нас корысть? Маленькое внимание — кукла для ребенка, коробка советских папирос — ценилось, видимо, дороже «чаевого» доллара.

В одной из гостиниц — не помню уже, где именно, — старая женщина, сидящая за прилавком портье, получив от нас какой-то ничтожный, но искренний знак внимания, сказала с выражением, надолго запомнившимся:

— Благодарю вас, благодарю... Ведь мне никогда никто ничего не дарил...

В Хаммамете редким советским гостям посылались вслед воздушные поцелуи.

Я вернулся к главному администратору — а может быть, это был директор, — по виду лощеному немцу, и, как любитель цветов, попросил его разрешения сорвать красный хибискус. «Конечно, конечно! Сколько хотите!» В дальнейшей дороге этот гигантский цветок украшал наше окно.

Дорога от Хаммамета до Кайруана, в общем, скучновата. Земля в этом районе — красноватая. Она не оправдывает своего названия, цвет ее зелено-коричневый. И справа и слева однообразные плантации оливок, можно сказать — беспредельные. Деревья посажены с геометрической безупречностью. Оливки разных сортов, еще молодые, стройные, кудрявые. Участки разделены земляными насыпями примерно в метр высотой, на них заграждения из кактусов и агав, — ограды непроходимые, лучше всякой колючей проволоки. Кактусами и агавами частью обсажена и автострада. К ним постепенно привыкаешь, так же как и к пальмам. В этих местах пальмы торчат одиночками где-нибудь посреди поля.

Проезжали мимо привала бедуинов, полукочевых. Издали — как цыганский табор. Никаких «цветных шатров», — убогие, невесть из чего сляпанные хибарки, палатки из одних сплошных заплат. Едем дальше. В окнах мелькают горделивые головы верблюдов, взлохмаченные худые крупы ослов. То прозеленеет виноградник, то про-

белеет соляное озеро, — их немало в этом краю. На горизонте — очертания голых пригорков.

Ближе к Кайруану видны зерновые культуры. Пашут на верблюдах, иногда женщины. Земли, где мы проезжаем, еще недавно принадлежали беям. Их обрабатывали рабы. Теперь вводятся новые сельскохозяйственные методы. Организована специальная агрошкола. В ней обучается четыреста человек. Земля принадлежит государству, но оливковые деревья — частные.

Еще два слова по агрочасти. Во всем Тунисе распространено собирание альфы. Это вид травы, растущей в диком состоянии на бедных водою пространствах. Она образует изолированные кустики. Ее собирают в огромных количествах и продают; до сих пор главным покупателем была Англия, где альфа шла на изготовление дорогих сортов бумаги. Нам непривычно, что такой произрастающий в полупустыне кустик тем не менее может участвовать в бюджете государства.

Мечта жизни правоверного мусульманина — посетить Мекку, поклониться Черному камню. Но если житель «Ифрикии» — так арабы называли Тунис — почему-либо не может совершить паломничества в Аравию, он может, не покидая родных пределов, все равно выполнить духовный долг: десять посещений Кайруана приравниваются к одному посещению Мекки.

Было бы ошибкой думать, что отношение к Кайруану как к религиозному центру уже изжито в современном Тунисе. Новизна в другом. До второй половины прошлого столетия Кайруан был вообще запрещен для всякого немусульманина. Беда тому, кто осмеливался тайно туда проникнуть. Со временем мусульманское духовенство уступило требованиям жизни. Иностранцы, люди другой веры, стали — пусть неохотно — допускаться в заветные стены, а теперь мы — неверные — входим даже в мечети, предварительно разувшись, конечно.

Белые стены. Белые плоские кровли. Белые, рубчатые, как дыни, купола. Белые башни минаретов. Белые покрывала. Белая пыль.

Кайруан — полотно кубиста, применявшего один лишь белый цвет, местами оживляя его голубым «пятном». В Кайруане тоже сине-голубые двери и решетки на окнах.

Вот к белой стене привешен пучок фиников — они особенно кажутся желтыми на такой белизне, а рядом на гвозде — тускло-зеленая связка эвкалипта. У эвкалипта — целебные свойства, к тому же он отгоняет комаров и москитов. Шерсть, только что окрашенная в синий, зеленый, темно-красный цвет, сушится на белой стенной глади. Мотки огромные, еще тяжелые, не просохшие. Кайруан — шерстяной край. Он и средоточье коврового производства.

Мы зашли в одну из мастерских. Говорят, что женщины-ковровщицы занимают друг друга забавными рассказами, пока их руки управляются с бесчисленными нитями. При нас работниц уже не было, они ушли. Задержалась только одна, одетая лишь наполовину по-арабски, пожилая, невозмутимая.

Новейшие мероприятия правительства коснулись и кайруанской ковровой фабрики. Нас провели в соседнее помещение. Большая, светлая комната, без всякого восточного привкуса. В два ряда стоят детские кроватки. Матери, приходящие на несколько часов работать в мастерской, оставляют здесь своих малышей под присмотром. Забирают, уходя домой. Когда ребяток унесут, производят дезинфекцию. Конечно, такие ясли — неслыханное новшество для священного Кайруана, и если даже они носят пока показательный характер, это не беда. Их очевидная целесообразность убеждает женщин.

Даже в рисунки кайруанских ковров проникает теперь новизна. Проходя мимо одной из лавок, мы остановились в изумлении: с ковра на нас смотрели васнецовские «Три богатыря».

Мы посетили в тот же день Большую мечеть. Ее опоясывают крепостные стены, разумеется белые. Снаружи их суровую гладь подпирают по-слоновьи могучие, неровные контрфорсы. Внутри по трем сторонам двора круглятся традиционные аркады.

Мы входим в мечеть — знаменитейшее святилище африканского магометанства —

через высокие, массивные деревянные двери. Их несколько в ряд — одинаковых, строгих по рисунку.

В лесу колонн полусвет, пустота, чистота.

Немало разрушено было древних зданий для возведения одного этого молитвенного зала. Его грота колонны все либо римские, либо византийские. Теперь они, равнодушно переменяв веру, поддерживают множество заостренных арабских арок.

По плитам разостланы циновки, сложены молитвенные коврики. На таком коврике правоверный отрешен от всего мира. Он преклонил колена, гюрбан его касается коврового узора, он думает о Мекке, он направляет молитву туда, где в стене, обращенной к Мекке, круглится священная ниша — михраб.

Михраб кайруанской Большой мечети всемирно известен, его вы найдете в любом руководстве по искусству ислама. Он весь из узорных плит белого мрамора. Он обрамлен — и это самое примечательное — поясом из майолики с гои самой золотисто-серебристой поливой, секрет которой утерян. Эта полива — гордость арабского средневековья. Считается, что для ее производства применялось чистое золото. Читатель может составить о ней представление по драгоценной испано-арабской вазе, хранящейся в Эрмитаже.

Рядом с михрабом — деревянный минбар (кафедра). Его резьба, относящаяся тоже к IX веку, к сожалению, залакирована современными радетеями. В небольшом помещении рядом с минбаром, где раньше молились часто сменявшие друг друга повелители Махреба, теперь стоит радиоприемник.

Просторный двор мечети — в белом солнце. По мраморным плитам бродит араб в пиджаке, продает открытки. Приблизившись, мы заметили, что он слепой. Оказалось, что этот бедняк — член Коммунистической партии. Она тогда была еще легальна в Тунисе.

Я указал жене на глыбу, служившую опорой одной из колонн дворовой аркады. Это был перевернутый кусок скульптурного византийского фриза.

Под плитами двора — цистерна для дождевой воды. В Тунисе чем ближе к югу, чем дальше в материк, тем меньше дождей. Вода еле видна в отверстии глубокого круглого колодца. Его каменные края на несколько сантиметров прорезаны веревками — дорогую влагу здесь черпают много столетий. Теперь устраивают и цистерны из бетона, аккуратные, более гигиеничные.

Двор, если не считать слепца с открытками, пуст. Мы уйдем — и сон охватит мечеть до ближайшего богослужения. Туристы здесь не часты.

На другом конце двора — величественный квадратный минарет. На две трети он красно-кирпичный — совсем дозорная крепостная башня. Да он и выполнял эту функцию: вольнолюбивые берберы не позволяли забывать о себе.

Иное впечатленье, более, как у нас любят говорить, «жизнеутверждающее», от другой кайруанской мечети — «Мечети цирюльника». Конечно, по-русски красивее было бы назвать ее «Мечеть брадобрея», но мусульмане бреют головы, а не бороды.

Предание говорит, что цирюльник пророка сумел однажды взять три волоса из его бороды. Он сохранил эти три волоса, как самую драгоценную святыню. Не расставался с ними и в Махребе, когда мечом и огнем обращал область в истинную Магометову веру. Он завещал положить эти три волоса вместе с ним в могилу. Благочестивый свидетель земной жизни пророка умер в Кайруане и сперва был похоронен где-то в стороне. Впоследствии он был признан святым, прах его перенесли в город, построили мечеть.

Тысячу лет спустя в священном Кайруане проживал некий индийский принц. Он покровительствовал городу. Он пожелал совершить дело, угодное аллаху. Он построил на месте упокоения цирюльника новую, уже роскошную мечеть, ту самую, куда мы отправились в тот день.

Мечеть цирюльника — вся сплошной узор, резной камень и разноцветная майолика. У самого входа — просторная «келья» для сосредоточенного молитвенного самоуглубления. Дальше — предхрамие с куполом гончайшей работы. Он весь резной, с маленькими цветными стеклянными вставками. С купола свешивается огромных раз-

меров люстра, целиком хрустальная. Нетрудно было узнать в ней современную чехословацкую работу. Эта люстра — приношение мечети от президента Бургибы.

Гробница святого цирюльника в особом помещении. Живых огней вокруг нее теперь не зажигают: их погасило электричество. Гробница покрыта темной тканью. Туда вошел только босой араб, он гид по мечети. Неверным доступа нет. Мы смотрели через порог.

Мне вспомнилась гробница Али в Шах-э-Зинда. Странно, как фанатическое поклонение святым, особенно распространенное в Северной Африке, поклонение, доходящее до экстаза, сочетается у мусульман с небрежением к внешним знакам почитания. Искруг гробницы мусульманского святого обычно нет роскоши, нет заботы о «благотеории». Это все то же, что с улицей, с кофейней, с пищей, с одеждой. Где здесь граница между бедностью и миросозерцанием? Полная противоположность католичеству, где какой-нибудь даже второстепенный папа удостаивался гробницы, поражающей величелием.

Похоронен в той же мечети и индийский принц. Саркофаг его тоже покрыт тканью, темно-красной, почти бедной на вид. С потолка свешивается новенькая люстра-рогатка о трех лампочках — точь-в-точь такие продают у нас в ГУМе.

Майолика в Мечети цирюльника особенно богата. Внутри на всех стенах — керамические плиты, сине-зелено-желтые, похожие на более древние тунисские. Особенно пышный фриз протянут по верху стены во дворе.

Когда из Мечети цирюльника выходишь в белый город, глаз лишь постепенно отрешается от ее многокрасочности.

Хочу подчеркнуть еще раз, что Кайруан действительно до сих пор сохранил почти нетронутым свой арабский облик. Дело в том, что турки, сменившие арабов у власти в XVI столетии и правившие краем до недавнего времени, в общем, не нарушали уклада жизни и внешнего вида арабских городов. Они предпочитали гнездиться по побережью.

В новое время арабская культура упала, зато расцвел морской разбой. Средиземноморский пират стал излюбленным образом романтической литературы. Легко романтизировать пиратство лишь тем, кто сам не греб на галерах. Здесь в Тунисе муки рабства — вчерашний день, здесь не забудешь, что дед Али принадлежал бею...

От Кайруана путь наш лежал к востоку, к морю. Нас уже не привлекали, как экзотика, плантации оливок, ограды из кактусов и агав, верблюды, ослы, мулы. Однако нас ожидало новое, необычное — для нас, конечно, — впечатление.

Слева от шоссе заметили скопление людей, что-то вроде палаток. Али остановил машину, мы вышли. Это был бедуинский базар. Такие базары устраиваются жителями полупустыни раз в неделю. На базар съезжаются купить необходимое бедуины — и оседлые и кочевые.

На скудной, пыльной земле разостланы циновки или коврики — впрочем, ни то, ни другое слово не может обозначить того жалкого лоскута, на котором сидящий поджав ноги араб расположил свой товар. Европа и сюла проникла, но самым мизерным образом. Перед торговцем всякая мелочь, зажигалки, склянки, убогая кухонная посуда, зеркальца, тесемки, бусы — все явно европейского происхождения. Народное ремесло решительно вытеснено всякой фабричной дрянью.

Зато покупатели — бедуины из окрестной полупустыни, — вероятно, такими же были и пятьсот лет назад. Они бродят, не торолясь, среди этих мелочных развалов, наступают ногами на откатившиеся темно-желтые финики: финики лежат рядом либо пирамидками, либо целыми вениками прямо с ветками. Лица бедуинов настолько обработаны солнцем и песком, что трудно сказать, добавила ли им еще морщин какая-нибудь накожная хворь. Впрочем, Тунис вообще отличается здоровьем.

Одежды женщин — из каких-то неопределенных сочетаний кусков ткани. Мужской глаз не смог бы разобраться в их «покрое». Верней сказать, что никакого покроя вообще нет, а есть вольное творчество, причем главная моделистка — бедность. Эти тряпки и покрывала — и темно-синие, и темно-лиловые, и коричневые, и багровые, непременно темные. Все оттенки комбинируются, но какой-то общий тон придают им

пыль, время и пристрастие к мрачным цветам. Драпируются женщины живописно, можно сказать — даже театрально. Лица не прикрывают, как это делают горожанки. Черты у женщин строгие. Ростом они высоки. Ноги — словно обугленные. Это почти не преувеличение, если учесть, что бедуинка постоянно ходит босую, а в году две трети жгуче жарких дней. Но на черных ногах — неизменно серебряные широкие браслеты.

Маленьких детей бедуинки таскают сбоку, верхом на бедре. Поддерживаются коричневато-черные тельца каким-нибудь полотнищем, чтобы не сказать рубищем.

Становится жутко не от грязи и пыли, а от постыдного чувства, что целое племя вот-вот запросит милостыни. Но это иллюзия. Никто здесь милостыни не попросит, наоборот, гордо или по меньшей мере равнодушно оглянет европейца.

Вскоре встретили в пустынной местности еще группу бедуинок. На верблюде, среди навала какого-то барахла холмом сидели старухи и дети, вокруг верблюда шли молодые женщины. Их было человек шесть — все тоже причудливо-небрежные, в бусах и браслетах, со смуглыми лицами. Сначала, когда мы подошли, они пытались прикрывать лица, но вскоре сочли это излишним.

Я обратился к одной, совсем еще юной, хотя живот ее уже выдавал замужество, спросил:

— Араб?.. Бербер?..

Она весело заулыбалась, заулыбались и другие, кстати сказать, тоже с признаками беременности.

— Араб, араб!..

Контакт был установлен, но, к сожалению, бесполезный: объясниться было невозможно, и Али торопил ехать дальше.

Никаких следов, кроме отдельных колонн и капителей, не оставило на этом крае время византийского владычества. Но город, куда мы едем, носит византийское, почти русское название — Монастир. Название христианское, а город целиком арабский.

Здесь родился президент Бургиба. Монастир пользуется его особым вниманием. Приемная вилла президента — у самого въезда в город. Обнесена стеной.

В Монастире, как и в Тунисе, свой крепостной замок — рибат — твердыня против берберов и морских разбойников. Монастирский рибат заново отремонтирован, тактично, со знанием дела. Мы не без некоторого труда поднялись на его дозорную башню. Там можно постоять, обняв рукой один из мощных, грубо заостренных зубцов. С башни виден весь город, после Кайруана уже не поражающий кубизмом и белизной. За городом, в непосредственной близости, — сады, дальше равнина и с одной стороны море. Есть отдельные дома с признаками Европы. На долю Европы надо отнести и вычурную на зубце надпись латинским шрифтом: были такой-то и такой-то, тогда-то. Без этого не обошлось и в Махребе.

Во дворе рибата — мозаика с гладиаторами и зверями, она напоминает о Риме, а майоликовые блюда в маленьком музее — о драгоценной кайруанской поливе в Большой мечети.

Не столько, думаю, пристрастием президента Бургибы к своему городу, сколько общей тенденцией к европеизации Туниса объясняется наличие в Монастире роскошной гостиницы. Ее великолепный корпус обращен прямо к морю. Над лестницей в холле — больших размеров современного стиля фреска. Все интерьеры выдержаны в синем цвете. На нашей терраске ярко-оранжевые шезлонги из пластмассы. На них приятно посидеть после того, как постоишь в обнимку со средневековым крепостным зубцом.

Перед домом проходит набережная, обсаженная молодыми деревьями. В тени одного из них сидит старик — продает плетеные корзины.

Бухточка замкнута двумя выступами из ярко-желтого выветривающегося песчаника. Правый выступ — как сильно уменьшенная Топрак-кая. Мы на него тотчас же влезли, хотя туристы вряд ли часто туда карабкаются. Там было только несколько мужчин с удочками, несомненно местных. При нас они ничего не вытянули из прозрачно-синей воды.

Море в Монастире прибывает к берегу перед самым отелем бездну водорослей. Гостиничным слугам приходится ежедневно выгребать их граблями из воды.

На монастирском пляже нам впервые попало одно занятое изделие природы. Мы сначала не могли понять, что это. По песку разбросаны какие-то коричнево-оливковые шары — много маленьких, но есть и величиною с апельсин. Оказалось, что это шары волосяные, из волокон пальмы.

На однообразном пути между Монастиром и Сфаксом лишь одна остановка, достойная утомления.

В Тунисе сохранились в нескольких местах остатки римских городов. Тот, куда мы подъезжаем, не из последних между ними.

Эль-Джем расположен среди равнины с островками оливковых насаждений. Сплошь плоские кровли. Сомневаюсь, есть ли в Эль-Джеме хоть одно здание с европейскими чертами. И посреди этой пыльно-белой россыпи — грандиозный римский амфитеатр. Арабские домики льнут к нему, как железные опилки к магниту. Он раз в пять превышает окружающие восточные жилища. Амфитеатры такой сохранности — редкость. Вряд ли с ним могут соперничать даже прославленные амфитеатры Арля, Вероны, Поли. Конечно, это не Колизей, но все же величие его производит сильное впечатление. Он и в античное время так же господствовал над городом: ведь и в пору римского владычества здешние города бывали не целиком римскими. Наряду с административными учреждениями, общественными зданиями и храмами, возведенными римлянами, город жил и своей местной жизнью. На улицы въезжали кочевники на своих верблюдах, разбивались базары, лепились берберские хижины.

Мы успели все же подробно obeжать амфитеатр — это было единственное показанное нам архитектурное сооружение античности на тунисской земле.

В пустынных, поэтому кажущихся еще более грандиозными руинах нет ничего, кроме переключки с давно миновавшим. По ним привольно летать гнездящимся в их пустотах голубям. Они роняют на каменные глыбы свои светло-серые перья. Воображение воссоздает цирковые игры. Вот в этой ложе сживал правитель края на правах императорских. Когда какой-нибудь гладиатор, из тех самых, что держат мечи и сетки на мозаиках музея Бардо, терпел неудачу, губернатор опускал палец, и несчастливца казнили.

Мы спускались в помещения, где содержались звери. Из глубины этих подземелий слышали голоса зовущих нас спутников. В них звучало уже подлинное нетерпение. У выхода из развалин успели купить деревянную длинную дудку с первобытным малиновым рисунком у подростка-араба, с которым найти общий язык не удалось. Язык денег оказался единственным взаимопонятным.

В многолюдном, нарядном Сфаксе пробыли мы слишком уж короткое время. Запечатлелась в памяти превосходная улица: справа европейские, с магазинами, дома, слева — стены средневекового крепостного замка. И ряды финиковых пальм. Да еще неожиданность за завтраком — Первый концерт Чайковского.

К вечеру приехали в маленький городок Габес. Все паши, хотя было уже темно, поспешили к морю. Мы с женой остались. Пошли пройтись в сторону парка. Полюбовались кучами пальм и эвкалиптов, похожей на сеть безлистной листвой тамарисков. Слушали на редкость громкое пение цикад — их звуки нельзя называть стрекотанием или свистом, недаром древние греки сажали цикад в маленькие клеточки и держали их дома, как мы держим канареек.

Может быть, оттого, что были мы одни в тишине, на этой пустынной, полуосвещенной улице какого-то отдаленного Габеса, ночь показалась совсем особенной, нереальной.

Когда утром мы вышли из скромного подъезда гостиницы, нас ожидало зрелище, ставшее в наши дни редкостью. Целой вереницей перед гостиницей ожидались пролетки, запрятанные в одну лошадь. Возницы напоминали московских, а то даже и костромских или коломенских извозчиков царского времени. Пролетки без навесов — сезон прохладный. Кое-кто из наших сел на козлях, рядом с возницами. Так мы двинулись осматривать одну из достопримечательностей побережья — габесский оазис.

Он, вероятно, ничем не отличается от многих и многих других, но пусть: в самом слове «оазис» есть что-то заманчивое, пленявшее воображение детских лет, освященное поэзией и рассказами путешественников.

Четыреста тысяч финиковых пальм, миллион гранатовых деревьев — вот приблизительный инвентарь габесского оазиса. Пальмы поднялись в небо, гранаты — их подлесок, но, конечно, не дикий, а насаженный трудами людей. Все это изобилие обязано одному потоку. Он довольно широк, если забыть про масштабы русских рек, в одном месте образует даже водопадик. Кое-где от него отходят каналы, или арыки, они обросли бамбуком, камышом и всякой болотной зеленью. Через их рукава перекинута стволы пальм.

Мы знаем хорошо: вода — все в пустынных местностях. Но здесь, в оазисе Габеса, сила воды является во всей ее славе. Видя, что выросло здесь от присутствия одного потока, который разве лишь при паводке в силах разлиться до размера горной речки, понимаешь, какую мощь таит в себе «женственная стихия». Понимаешь, почему местный араб подолгу стоит возле заросшей тростником маленькой заводи и напряженно думает о том, как привлечь воду, как вывести ее из плена пустыни, как помочь ей стать всенародным благодеянием.

У Экзюперн есть замечательный рассказ о том, как нескольких арабов пригласили во Францию и показали им один из крупнейших водопадов на юге страны. Арабы стояли очарованные и не хотели уходить. Наконец им сказали, что все ж пора, что насмотрелись. Сыны пустыни ответили: «Мы уйдем, когда это кончится!..» Им сказали: «Это никогда не кончится...»

Аллах — «тог, кто низвел с неба воду». Рай, обещанный богобоязненным, — сад, «где внизу текут реки». Так говорят суры корана. «Где внизу текут реки» — превратилось в формулу благополучия.

Всю жизненность этих выражений ощущаешь, бродя по габесскому оазису. Гранаты, темно-алые, ярко-красные и желтоватые, перевешиваются через ограды. В гущу подлеска мелькают и груши и айва. Пальмы в высоте обременены плодами. Финики висают огромными гроздьями, светло-желтыми и коричневыми. Кажется, что вот-вот оборвутся поддерживающие их желтые веревки вежок. Глаза теряются в этом безудержном доказательстве плодородия.

Пальмы обеспечивают земледельца не только финиками. Из их листьев — и кровли жилищ, и «плетни», огораживающие участки частных арендаторов. Вот перед нами мелкими шажками проходит ослик. Видна только ушастая голова. Ослик нагружен пальмовыми ветвями. Они, покрывая его целиком, влачатся за ним, как хвост у павлина.

Пока мы, пошатываясь, ступали по пальмовому стволу через один из арыков, к нам подошла группа девочек. Все черномазенькие, глазастые, кудрявые. Одежда у них, по правде сказать, жалкая: выцветшие грязные платица, в бледных ушах — грошковые сережки, на руках и ногах — жиденькие браслетки. Больные глаза — может быть, просто конъюнктивит, а может быть, и трахома, которой немало в африканских полупустынях. В поведении никакой дикости, при всей убогости девчонки веселые. Одна предлагала выменять бусы моей жены на спелый гранат.

Встретили и двух бедуинок. обе с неприкрытыми лицами — здесь тоже некогда соблюдать городские приличия. Одна из женщин была по-своему красива — высокая, стройная, «как пальма», с сердитым лицом. Стоило нам навести на них объективы, как обе резко отвернулись и так простояли к нам спиной, пока мы не ушли.

Поразительным показалось нам, насколько оазис, тянувшийся на целые двадцать километров, резко обрывается и сменяется самой настоящей пустыней со светлым желтым песком. В песчаных возвышенностях выщерблены целые пещеры — их выветривлю постоянное дыхание пустыни.

Уже долго едем мы по самому побережью. Залив налево от нас теперь называется Габесским. Это Малый Сирт древности; Большой Сирт омывает берега Ливии.

Сирт постоянно упоминается римскими поэтами, и каких только эпитетов не прилагают они к этому участку своего моря: Сирт всегда на подозрении, он и «свирепый», и «жестокый», и «неприступный», и «ужасающий», «его нужно бояться». В самом деле,

Сирт всегда был опасен для кораблей, ныне извлекаемых с его дна,— мы видели могильные дары моря в музее Бардо. Само название говорит за себя: «сирт» означает «отмель». Сирт мелок, а море здесь бывает бурно. Удобных гаваней нет.

Но Сирт не только небезопасен, он еще и некрасив. Мы не подъезжали к самой воине, но издали берег видится заболоченным. Здесь надо позабыть о живописности Средиземноморья, балующего нас то сладостной, то могучей красотой на Костьэрэ Дивина, на обеих Ривьерах, у Ионийского архипелага. Впечатление определенное: мы на заливке, мы подошли к Средиземному морю с его черного хода.

В конце концов полупустыня, так низменно подступающая к морю, что их вместе можно бы вымерять одним ватерпасом, начала притомлять однообразием.

Развлекали отары овец и коз с длиннейшей черной, белой, рыжей шерстью. Живописные животные, тесно друг с другом сбитые, шарахались в сторону, не разделяясь, цельным курчавым облаком, под короткие окрики пастуха. Это зрелище могло точно-точно предстать и античному путнику, громыхавшему здесь на своей провинциальной колеснице с зонтом от палящего солнца.

Вергилий посвятил североафриканским пастухам несколько строк своих «Георгик».

Но пора вспомнить и Гомера: мы приближаемся к острову Джерба.

Античные люди были убеждены, что именно здесь, на Джербе, обитали «лотофаги» — «лotosоседы», сказали бы мы,— те, которые упомянуты в IX песне «Одиссеи». В наши дни и Гомер на службе у туристических компаний. Они, привлекая путешественников на Джербу, не преминут подчеркнуть, что именно тут жили «люди, питающиеся цветами». Даже одна из немногих гостиниц острова шеголяет названием «Лотос».

Мы сами лотосов здесь не видели, но приходилось чигать, что их растет много на побережье Сирта.

Не надо думать, однако, что Джерба в самом деле какой-то «знойный остров заточенья» вроде Святой Елены. Джерба так близко от материка, что даже связана с ним дамбой в двенадцать километров длиной.

На Джербу поворачивают в Меденине, городке, где все дома, двух- и трехэтажные, перекрыты одинаковыми длинными коробовыми сводами и стоят вплотную друг к другу. Через каких-нибудь полчаса вы уже на дамбе. Она ждала вас почти две тысячи лет. Поблагодарите римлян. Это они соединили «большую землю» с островом лотофагов. Так с тех пор и ездят по античной дамбе, если не на колесницах, так на автомашинах, и нет опасения, чтоб она не прослужила еще две тысячи лет.

Джерба — остров в своем роде единственный. Он лежит на поверхности моря, как подсохший блинчик, утыканный не то отслужившими кистями, не то расшепавшимися спичками. Его пальмы, которые воткнуты повсеместно в плоскую почву, кажутся жалкими после габесского оазиса. Они торчат по одной, по две, обветренные, как бы сучающие от подобной расстановки.

Кто-то назвал Джербу «оазисом, похожим на плавучий ковер». Но это лезть. Впрочем, на Джербе, где-то вне нашего поля зрения, есть села, сады и посева. Вероятно, после дождей остров и вправду весь зеленый.

Постоянно попадают большие, неуклюжие каменные колодцы примитивного устройства, с неизменными двумя столбами и двумя-тремя пальмами.

Джерба во времена уже турецкие (XVI век) была, между прочим, сильно укреплена. Из-за этого островка шла борьба между турками и испанцами. Сохранилась гравюра, где отчетливо видны крепостные стены Джербы, на которую направлены орудия многочисленных испанских каравелл.

Домики в поселках, как обычно, белые, но со своеобразными перекрытиями: либо это маленькие гладкие купола, по два и больше на здание, либо поднимающиеся под кровлей коробовые своды вроде тех, что в Меденине, во всю длину дома

Мы были на Джербе поздней осенью, для нас не была ощутима польза подобных куполов и сводов. Между тем они вызваны целями совсем не эстетическими. Их формы парируют удары солнца. Оно бьет беспощадно, но лучи скользят по округлым поверхностям, белизна же удерживает накал, и семья может внутри дома создать себе иллюзию

прохлады. На древесную тень здесь расчет плохой: пальмы слишком разрежены, их сухие, шуршащие опахала треплются где-то слишком высоко.

Среди домиков белеют мечети с глухими белыми стенами, с не отделенным от здания минаретом.

Интересно, что на Джербе сохранился до сего времени берберский язык, на котором, правда, говорит лишь несколько сот человек, — в остальном Махребе берберы перемешались с греками, римлянами, вандалами, арабами, турками, и язык их почти утрачен: на весь Махреб им пользуется менее шести тысяч душ.

Отель «Альжезира», где мы должны «отдыхать» четверо суток, — на северном берегу острова, неподалеку от города Хумт-Сук. Построен он с соблюдением местных традиций. Над его единственным этажом — несколько куполов, внутри — арабские дворики с аркадами.

С задней стороны — пустыри, сухая земля и сухие пальмы, редкие-редкие. Когда, бывало, вечером небо краснело, они становились подлинными образами самой печали. Черные их силуэты наводили тоску, от них хотелось бежать куда-нибудь.

Зато спереди перед гостиницей раскинулось то самое, из-за чего сюда влекутся иностранцы. Европейский «отдыхающий» или развлекающийся уже не в состоянии найти в Европе спокойный уголок, а поскольку расстояний практически не существует, он летит в Африку, — Флоберу требовалось побольше воли, да и выносливости, когда он пожелал побывать на Джербе.

Здесь единственный по величине средиземноморский пляж — на десятки километров. Море, как всюду в Сирге, очень мелкое, с прозрачной водой. Полное раздолье: вода и песок, ветер и безлюдье, нагота и удаленность, пусть отчасти кажущаяся.

Но при этом на острове лотофагов есть к услугам туристов хотя и не крупные, но комфортабельные отели. В отеле, где мы живем, распоряжается высокая, худощавая, рыжеватая, розоватая, любезная — но не слишком — немка.

В холле висит арабская клетка из тех, что похожи на Тадж-Махал. За прилавком продают глянецвитые, на американский вкус, яркие открытки.

Охота пуше невели — и наши чуть ли не все кинулись купаться. Искупался и я: лестно же погрузиться в волны на острове лотофагов.

Нам, привыкшим к Черному морю, вода показалась только прохладной, однако, кроме нас, купающихся почти не было. Поутру мебель во двориках вся в росе, как в холодном поту.

Пользуясь тихим сезоном, отель ремонтировали: перестраивали ограду в сторону моря, оформляли бассейн в одном из двориков. Несколько здоровых парней работали, не снимая шерстяных джемперов.

Окно нашей комнаты выходило на пустырь и шоссе. Изредка подъедет к гостинице машина грузовая — доставит продукты для нас, пустынножителей; в окошке «рено» или «фиата» пскажут на минуточку какие-то арабские дамы. Потом машина укатит вновь в сторону древнеримской дамбы или, может быть, к аэродрому на другом конце острова.

Машина отшелестит, и наступают, особенно если дело к ночи, минуты тишины, такой всецелой, что не знаешь, го ли это остров блаженства, то ли намек на покой небытия, «покой сверхъестественный и пронзительный, заставляющий грезить о меланхолии Эдема» — как выразился о Джербе тот же Дюамель.

Не думаю, чтобы подобная концепция райских блаженств устраивала правоверного мусульманина, но утомленному и истомленному духу современного западноевропейца здесь отвечает некое уже ничего не требующее сладострастие безнадежности.

Под утро мне иногда не спалось. Я лежал и подолгу смотрел на купол нашей комнаты. Скорее не просто смотрел, а созерцал окрестность над головой. Я никогда не думал, что простейшая геометрическая форма может дать такое удовлетворение эстетическому чувству. Не могло не восхищать и совершенство, с каким арабский строитель, следуя вековой народной традиции, вывел такую безупречную окрестность, такой безупречный купол.

Однако отрешенность и «меланхолия Эдема» оборачиваются здесь же, на Джербе, погрядным гротеском.

Мы как-то поехали вдоль берега моря. Километрах в десяти от нашей гостиницы приметилн какую-то необычную, показавшуюся нам сразу неестественной первобытную деревню, вроде как в тропической Африке. На берегу, но уже за пределами пляжа, торчали конусы из пальмовых веток, посаженные на деревянные подпоры. Одна «хижина» — если так можно назвать сооружение, ничем не выражающее житейских потребностей, — была значительно крупнее остальных. В одном месте среди «хижин» — бетонная площадка.

Нам навстречу вышел сторож, самый обыкновенный старый сторож. Никого больше нет. Сторож через переводчицу разъяснил, что «хижины ждут следующего сезона». Кого же они ждут?

Не знаю, может ли глупость служить критерием для отбора курортников (как у нас медицинская справка), но здесь, видимо, применяется именно этот принцип. Если в Хаммамете богатый буржуа может соприкоснуться с пиратской романтикой, то здешнему посетителю этого уже мало. Тут европейский сноб поступает радикальнее. Прибыв (на самолете, конечно, и в собственном автомобиле) в «дикарский лагерь», он прежде всего скидывает пиджак, брюки и башмаки. Нагота, впрочем, не доходит здесь до райской предельности, — для совсем голых в Западной Европе существуют специальные курорты. Здесь скромнее. Разоблачившемуся до исподнего представителю цивилизации предлагается легкая, «экзогическая» одежда типа туники. А ведь облаченные таким образом «лагерники» — это банковские деятели, адвокаты, владельцы универмагов.

А когда вечер оденет Джербу жарким унынием, они укладываются спать на циновки, под пальмовым конусом.

Кроме того, как только сноб прибыл в лагерь, у него вместе с пиджаком, брюками и башмаками отбирают все, что может напоминать о цивилизации. Отбирают даже доллары и тунисские динары. Но как же расплачиваться за все блага одичания? Очень просто и совершенно волшебю: вместо динаров и долларов сноб получает... жемчужные нити!

Теперь он окончательно слит с природой. Теперь, подойдя к прилавку той самой большой «хижины» (во время сезона в ней благоустроенный бар!), он за коробку сигарет и за рюмку коньяка будет платить жемчугом. Ведь это почти меновая торговля!

Ясно одно: стране нужна валюта.

Что думает про себя слуга или бармен, беря из рук сноба жемчужину за рюмку коньяка? Впрочем, довольно ясно, о чем он думает: о том, что до поры до времени он еще вынужден ослабляться перед подошедшим к нему субъектом в тунике, но что живет он все-таки в стране освободившейся, строящей свое будущее не только с энергией, но и осмысленно.

Поближе к середине острова есть город Гэллала. Это центр гончарного производства, которым славится Джерба. Здесь можно видеть целые скопища крупных глиняных сосудов для воды, их тонкие станы напоминают древнегреческие гидрии.

В Гэллале мы заходили в мастерскую-лавку, там можно купить любого вида горшочки, кувшины и прочее. Производство сохраняет характер кустарный, — именно поэтому древние средиземноморские традиции продолжают в нем жить. Но керамика Джербы высоко оценена и в Европе, здешние гончары — лауреаты Брюссельской международной выставки.

Однако самое интересное на Джербе — это Гриба.

Если Большая кайруанская мечеть — средоточье западноафриканского ислама, то синагога Грибы — центр иудейства, и не только местного.

Евреи на Джербе появились давно, во всяком случае они уже были на острове в X столетии. Вернее всего, что привело их на этот оторвавшийся от берега блин какое-либо из очередных средневековых преследований. Однажды осев здесь, они удивительным образом сохранили до наших дней не только застойность религиозного мышления, но и однажды установившийся быт. Сейчас евреев на Джербе около пяти тысяч. Это мало, но это насыщенный концентрат.

Гнезда еврейского рассеяния образовались в свое время не только на Джербе, но и по всему побережью обоих Сиртов. В городах обособились еврейские кварталы, по-

здешнему «хары» Более того, евреи доходили до сахарских рубежей. Там оторванность от культурного мира совсем снизила их духовный потенциал.

В двадцатых годах нашего века еврейские колонии Туниса и Ливии были обследованы Слушцем, профессором парижского университета. Вот какой приключился с ним достойный удивления случай.

Согласно древнему поверью мессия родится 9-го числа месяца Аба и явится иудейскому народу в облике бедняка и сидящим на осле. Как раз в одну из ночей месяца Аба профессор Слушц, запыленный и усталый от долгой дороги, ехал по пустынным местам и как раз на осле. Вскоре он заметил, что в сумраке наступающей ночи бегут какие-то люди, бегут по направлению к нему, прибавляются в числе, образуют целую толпу. Тут же начали они кланяться, протираться перед ним на землю. — и просвещенный парижский профессор понял, что его приняли за мессию.

Слушц в своем интереснейшем отчете говорит, что североафриканские евреи, среди которых встречаются и отдельные практические люди, процветающие в здешних условиях, в общем, живут в бедности и дикости, а духовно в мире легенд — религиозно-суеверных, закостенелых и беспросветных.

Легенда по-своему рассказывает и об возникновении грибской синагоги. Когда-то — век определить трудно — на острове, уже приютившем еврейских беглецов, появилась никому не известная молодая девушка, образец телесной и душевной красоты. Своими руками построила она хижину, где и стала жить в уединении, всех кругом удивляя скромностью поведения. Ее прозвали «Гриба», то есть «Необычная», «Удивительная». Никто к ней не входил, никто не любопытствовал об ее отшельнической жизни.

Но вот однажды люди увидели пламя над ее хижинкой. Испугались, подумали, что таинственная девушка предастся каким-то колдовским действиям. Наконец когда все же решились приблизиться, пожар уже угасал. На горячем еще пепелище увидели девушку — она была мертва, но тело ее не обуглилось, она лежала, как живая. В ней признали святую и на месте ее гибели решили воздвигнуть синагогу. Местные евреи как будто и сейчас относятся к этому преданию с доверием.

Изыскания синагога возобновлена в восьмидесятых годах прошлого века и носит все следы эклектизма тех незадачливых для архитектуры лет. В ней трудно различить, что осталось от прежнего здания, что привнесено реконструкцией. Она выдержана в «восточном» стиле, как его понимали в конце XIX века, с привнесением опознавательных символов — Соломоновой звезды, семисвечника, изречений, начертанных еврейским шрифтом. Внутри преобладает голубой цвет, но кафельная облицовка, видимо, европейского происхождения, мелко и грубо расцветчена.

В синагоге чисто, но душно от своеобразного, сладковатого запаха, столь сильного, что наша африканская руководительница, француженка, не могла выдержать и выбежала на свежий воздух.

Когда мы подъехали, нам навстречу вышел молодой еврей, одетый вполне по-европейски, нечто вроде синагогального старосты. Подчеркнутый европеизм, подтянутость молодого человека, а также аккуратность синагоги противоречат окружающему пейзажу и быту.

Рядом с синагогой расположилось маленькое еврейское селение Малая Хара, оно хранит вековечный облик Востока. Евреи на Джербе — и садоводы и ремесленники, главным образом по части ковров, но по общему впечатлению Малая Хара — селение бедняков.

Европеизм синагоги объясняется ее значением. Здешние ребята славятся ученостью. Сюда совершаются паломничества даже из-за пределов Иффрикии. Больные надеются на чудесное исцеление.

Когда мы вошли, синагога была почти пуста. На деревянных широких скамьях с точеными балюстрадами сидели старики в халатах с порванными по краю рукавами или в бурнусах, в шапочках, обмотанных полотнищем. Из-под полотнища спускаются пейсы, желто-седая борода почти касается священной книги, которую держат измятые морщинами руки. Старцы не подумали взглянуть на нас, не шевельнулись, когда мы невольно внесли с собой атмосферу другого мира, ни на минуту не прервали своего привычного углубления в текст писания.

Есть в синагоге особое помещение, куда входят, сняв обувь. Там в нише стены хранится древний драгоценный список горы. В настоящее время и священная тора стала предметом обозрения. Нам показывал ее бородатый служитель при храме со связкой ключей у пояса. Было у него плоское лицо, студенистое, бледное, испитое, как будто некая хвсрь пропитала весь этот не имеющий возраста подуризрак. Плоский нос, слезящиеся глаза. Тора, огромный манускрипт с метр высоты, обертывается вокруг стержня и разворачивается смотря по необходимости. Пергамент его хранит вмятины и складки на своей почтенной желтизне.

Ближе к выходу в простенке между окнами надпись на каменной доске приглашает верующих — на еврейском и, насколько мне запомнилось, на немецком языке — жертвовать в пользу грибской синагоги.

Косность евреев на Джербе вековая, застойная. Она проявляется и в том, что они упрямо возражают против каких-либо новшеств. Когда общине предложили основать новую школу, раввины ответили вопросом:

— А сколько вы желали бы получить денег за то, чтобы не открывать новую школу?..

Пребывание на Джербе подходило к концу.

Небо послало нам на прощанье грозу, хоть и африканскую, но с таким холодом, что одна наша спутница, встретив меня во дворике, возмущенно воскликнула: «Сибирская стужа!» — и, кутаясь в сложную систему джемперов и шарфов, поспешила скрыться в свою комнатку.

Гроза гремела всю ночь. Кто-то из наших наутро признался, что дрожал от страха, как бы куполок не рухнул на голову. Гроза шла с моря и гнала бушующие на мелком месте волны.

Откровенно говоря, мы не без удовольствия сели в свой уже ставший родным автобус.

Волны перехлестывали через древнеримскую дамбу, оставляя на камнях разбеги пены. Ударялись в скна автобуса и к стеклам прилипали оливково-черные водоросли. Это было весело и кратко.

Мы доехали снова до Меденина, и Али повернул влево.

Нас ждала ливийская граница.



ПУБЛИЦИСТИКА

П. ВОЛИН

★

ПРОДИКТОВАНО ЖИЗНЬЮ

Заметки о практической экономике

Социалистическую экономику невозможно развивать успешно, превращая в догмы однажды принятые решения и принципы, отрываясь от реальности,— невозможно без правильного использования экономических законов социализма, достижений науки и практического опыта, без объективной оценки всего происходящего вокруг. Это еще раз подтвердил сентябрьский Пленум Центрального Комитета нашей партии. Вспоминая недавнее прошлое, видишь особенно ясно, насколько своевременны и необходимы для страны решения Пленума — решения, рожденные и продиктованные жизнью.

Не лишне сегодня вспомнить вчерашнее. Не лишне потому, что нередко влечет нас сила привычки, инерция мышления, требований, взглядов. Ломку старого в методах управления не осуществишь без ломки в умах.

1

Подчас еще и сегодня на предприятиях, в планирующих и торговых организациях, на базах и в магазинах слышишь надоевшее слово «дефицит». Говорится при этом о совершенно разных, порой абсолютно несхожих предметах — от сложнейших машин до самых простых бытовых изделий. Мы настолько привыкли к непрекращающему звучанию этого слова, что подчас принимаем его просто на веру. Даже не пытаемся задуматься над тем, почему возник дефицит, оправдывает ли это слово отсутствие предмета.

В самом деле, так ли уж правомерен дефицит в наше время? У нас плановая экономика. Значит, все должно быть заранее предусмотрено, учтено, подсчитано и сбалансировано. Не должно быть ни дефицита, ни затоваривания. Почему же многие — повторяю: простейшие — предметы нередко приходится «доставать», «добывать»? Почему возникает на них голод? В чем его первопричина?

Тут одно из двух: или мы «физически» не в состоянии производить необходимое количество тех или иных изделий (не имеем достаточно сырья, оборудования и т. п.), или нерасчетливо планируем их выпуск. Третьего не дано. Так что же из двух?

Разумеется, смотреть на вещи надо трезво. Временная нехватка отдельных товаров может быть и при социализме. В какой-то мере это явление даже закономерное. Например, предметам, изготовление которых только-только началось, сразу же не заполнишь магазины. Изделиями, выпуск которых связан с большими затратами энергии, материальных и денежных средств, с потреблением ограниченных природных ресурсов, применением новейшего оборудования, не «закидаешь» потребителя. Не исключены наконец всякого рода случайности, влияющие на производство той или иной продукции,— скажем, вызванные стихийными бедствиями, непредвиденными изменениями на международном рынке и т. д. Только они, казалось бы, и могут нарушить главное течение экономики независимо от нашей воли и разума.

Когда наши химики освоили промышленное производство лавсана, было вполне понятно, что предметы из него на первых порах купить нелегко. Но почему и сейчас трикотажные изделия из этого материала в магазинах появляются нечасто? Ведь самого-то его теперь достаточно — посмотрите, сколько на прилавках нетронутых рулонов лавсановых тканей «скупных» расцветок или старомодной выделки.

Но что там лавсан! Шерсть — материал далеко не новый, «освоенный» в незапамятные времена, а поглядите, что происходит с ней. Самого «шерстяного» дефицита у нас давно уже нет: тканей в магазинах сколько угодно. Однако трикотажные изделия из шерсти по-прежнему редкость. Хлопчатобумажных, вигоневых, полшерстяных имеется с избытком, чисто же шерстяных очень мало. Шерсть ли в том «виновата»?

В позапрошлом году, когда засуха крепко ударила по урожаю, в торговле некоторыми продуктами случались перебои. Но чем объяснить, что в магазинах почти никогда не бывает, ну, скажем, грибов? Говорят, что такого «грибного» года, как прошлый, давно не было, а попробовали бы той осенью достать в магазинах сушеные, маринованные или засоленные грибы, не говоря уже о свежих, — бесполезно. Такая же примерно картина повторяется и нынче. Существуют специальные магазины «Грибы», но в них есть все что угодно, кроме главного фирменного товара.

Как-то мне понадобился электроудлинитель. Предмет несложный: электрошнур, на одном конце его вилка, на другом розетка. Всего этого в отдельности на прилавках полно, а вот удлинителей нет. Продавец сказал: «Зря ходите. Спрашивают их без конца, но получаем не чаще раза в год, да и то чуть-чуть».

Красноярцы жалуются: не сыщешь в магазинах черенков для лопат, стиральных досок, топорниц, веников... И это в городе, окруженном лесами, имеющем не один деревообрабатывающий комбинат!

Что же все это — трудности производства или просчеты планирования, упущения хозяйственных и торговых организаций?

Причины искусственного дефицита товаров разные. Планирующие органы подчас не учитывают перспектив спроса и возможностей сбыта изделий. Работники торговли жалуются, и не без оснований, на промышленность, которая не всегда считается с их требованиями. В свою очередь производственники справедливо сетуют на торговлю, которая нередко дает непродуманные заказы.

Все это так. Но ведь мы столько говорили о планировании снизу, о поощрении и развитии местной инициативы, о хозяйственном расчете и хозяйственной самостоятельности предприятий, о всяческом стимулировании их к такой деятельности, которая бы наилучшим образом отвечала интересам государства.

А как выглядели в действительности эти инструменты социалистического хозяйствования? Всегда ли они использовались умело, гибко, разумно? Как складывались на практике взаимоотношения «верхов» и «низов» в процессе планирования и производства?

К числу примеров странного дефицита, которые я только назвал, прибавлю еще один — клей. Обыкновенный столярный клей. Радиозавод однажды не выполнил годового плана только из-за того, что ему не хватило... такого клея. Все было: металл, провод, сложнейшие приборы, радиолампы — не доставало лишь клея!

На этом примере, пожалуй, стоит остановиться немного подробнее, чтобы проследить, как создается искусственный дефицит.

2

Но прежде чем продолжить разговор, хочу оговориться, почему именно этот предмет, на первый взгляд столь «невзрачный» (ну подумаешь, какой-то там клей — это в наше-то время!), привлек внимание автора. Дело в том, что предмет этот, с одной стороны, наистариннейший и простейший в приготовлении. Для его производства не требуется ни особо ценного сырья, ни уникальных машин, ни сложных технологических приемов. Словом, не тот грамм радия, что добывается из тысячи тонн руды. Все до примитива просто. «отшлифовано» вековым опытом.

А с другой стороны, столярный клей и в наш век остается предметом вполне современным, имеющим широчайшее применение. Более того, незаменимым для множества отраслей народного хозяйства — от изготовления игрушек, мебели, музыкальных инструментов и спичек до судостроения, радиопромышленности, электронной техники.

Итак, вещь всем известная, давным-давно освоенная,готавливаемая чрезвычайно легко, самыми доступными средствами, а снабженцам приходится «драться» за каждую тонну, предприятиям, торговым организациям — «выбивать» наряды в самой Москве. Парадокс!

Однако ведь парадокс этот должен иметь какое-то объяснение. Право же, причины дефицита столярного клея — не какое-то загадочное явление.

В Москве имеется учреждение с длинным названием: Росглавищеснаббытсырье. Оно-то и планирует выпуск и потребление клея. Строгое, надо сказать, учреждение: без его ведома запрещено отгрузить хотя бы килограмм клея или взять тонну сырья. Дефицит, а потому на все — предписание, разрешение, наряд. Так вот в этом учреждении мне заявили коротко и твердо: «Клей дефицитен только потому, что не хватает сырья».

На нет, как говорится, и суда нет. Не хватает сырья — тут уж ничего, кажется, не поделаешь. Но что же это за такое труднодобываемое сырье? Сырье это в прямом смысле слова валяется у нас под ногами: столярный клей варят из кости домашних животных. Кость — и ничего более.

Стало быть, выяснить сырьевые возможности здесь проще простого, не так ли? Надо только сесть и посчитать, сколько в стране будет произведено, переработано и потреблено мяса. Тогда станет известно и ожидаемое количество сырья для заводов, выпускающих столярный клей и другую продукцию из кости.

Если бы так в действительности поступали в Росглавищеснаббытсырье, то убедились бы, а самое главное, должны были бы признать, что предприятия можно буквально завалить сырьем. Но, произнеся «а», пришлось бы сказать и «б». Из такого признания неминуемо вытекала бы обязанность, лежащая на плечи главка: организовать сбор и максимальное использование сырья. Скажем прямо: задача непростая. И вот чтобы избавиться от нее, поступают совершенно иначе. Планируя заготовку сырья, исходят не из его наличия, а из потребности в нем клеевых предприятий. Рассуждают примерно следующим образом. Заводы могут дать двадцать семь — двадцать восемь тысяч тонн клея. Для этого им понадобится приблизительно двести тысяч тонн сырья. Поставки такого количества сырья и распределяются между территориальными районами. Причем распределяются так, чтобы охватить ими всю страну. Ведь получить от каждого понемножку куда проще и легче, нежели повсеместно наладить точный учет и обеспечить полный сбор в отдельных местах.

И вот на восемь клеевых заводов везут сырье чуть ли не со всего Советского Союза, гонят сотнями железнодорожных эшелонов за тысячи километров. В Энгельс — из Калмыкии, Казахстана, Средней Азии, Северного Кавказа, Нижнего Поволжья. В Москву — из Молдавии, Грузии, Азербайджана и т. д.

А в это же самое время рядом с клеевыми заводами остается «не востребованным» несметное количество точно такого же сырья, что везут издалека.

Убедиться в этом мне пришлось на Энгельском клеевом заводе — одном из самых крупных и современных в данной отрасли.

Директор этого предприятия рассуждал о клееваренном производстве широко, с размахом.

— Нет, не думают у нас о клееварении, — говорит он. — Ну куда это годится, что исследовательская работа ведется лишь в лабораториях на крупных заводах? Специальный научный институт необходим! И учебные институты нужны, и техникумы. Разве это дело: нефтяные, металлургические, всякие там медицинские и текстильные есть, а клееварочных — ни одного?!

Больше же всего волнует директора отсутствие общесоюзного органа, который бы держал в своих руках производство и распределение клея в стране и снабжение клеевых предприятий сырьем. Ибо все дело в сырье, будет оно — будет и вдоволь клея.

— А нас, — вздыхает директор, — часто подводят.

Я спрашиваю, по этой ли причине завод однажды не выполнил годового плана. Конечно, отвечает директор, только из-за этого: поставщики (далее следовал долгий перечень республик, краев и областей) недодали тысячи тонн сырья.

— Так, может, просто не хватает его?

— Какой там не хватает! Собирали бы как следует, не выкидывали на свалку, так хватило бы с лихвой. Возьмите хоть наш город да Саратовскую область.— Мой собеседник перечисляет столовые, и рестораны, и мясокомбинаты, дома отдыха, больницы, детские учреждения, где выбрасывают сотни тонн кости.— А в районах что делается! Заготовители собирают раз в десять меньше, чем могли бы. Я уж и в Москву писал, и в обком, и в газету.

Ну, а сам директор завода? Писать-то пишет, но так ли уж он безгрешен?

Накануне я побывал в Приволжском совнархозе. Там, между прочим, мне рассказали о таком случае. В восемнадцати километрах от клеевого завода находится Энгельсский мясокомбинат. Из года в год на нем скапливались отходы производства, не забранные клеевым заводом (ему хватало привозного сырья). К тому времени, когда у клееваршников «горел план», залежи этих отходов достигли многих сотен тонн. Завод имел на них неоспоримое право, однако воспользоваться им не спешил, больше был занят спором о том, чей транспорт должен вывозить с комбината сырье. А однажды директор приказал закрыть ворота даже перед комбинатскими грузовиками.

— Верно,— вспоминает он,— было такое дело. В тот раз с комбината привезли загрязненное сырье. Я, понятно, не взял.

Гляжу на этого человека и не знаю, о чем же спрашивать его еще. О том, какие существуют требования к чистоте сырья, поступающего на клеевые заводы? Возможно, он тут же вытащит из стола инструкцию на этот счет. И мне совсем не хочется спорить ни с ним, ни с авторами такой инструкции. Я вовсе не за то, чтобы сырье поступало грязным. Я за чистоту, за образцовый санитарный порядок, за культуру на производстве. Но я никак не могу понять директора завода, который в условиях бедственного положения с сырьем отказывается от него. Я никак не могу представить себе руководителя сидящего на голодном пайке предприятия, который с абсолютным спокойствием взирает на то, как разворачиваются у проходной неразгруженные машины с сырьем...

Я силюсь в чем-то убедить, переспорить руководителя предприятия, говорю об инициативе, хозяйственной самостоятельности, экономическом расчете. Но, увы, положение у нас явно неравное: у него в руках план поставок сырья, скрепленный подписями и печатями, графики, всякие правила и справки. Все мои доводы и призывы легко разбираются о всемогущее слово «инструкция».

Ах, какое это удобное, поистине спасительное слово! Не оставляющее ни в чем сомнений, легко и мгновенно выводящее из любого затруднительного положения. Ни тревог, ни волнений. Действовать можно всегда, не колеблясь, уверенно, решительно, а главное, без раздумий: все предусмотрено и расписано, требуется лишь одно — точно соблюсти параграф.

Шоферы государственных машин не имеют права перевозить посторонних лиц. И случается, автоинспектор недогнущей рукой прокалывает талон шоферу, который попутно и безвозмездно доставил в больницу «чужого» пассажира с большим ребенком. Инструкция!..

Учреждения Министерства просвещения РСФСР обязаны приобретать мебель только на базах Главснабпроса. И гонят из городов, где нет таких баз, грузовики за сотни километров в областные центры, чтобы привезти оттуда обычные столы, шкафы, стулья, когорых на месте хоть завались...

Предприятия, заказывающие в проектных институтах техническую документацию, должны выслать им светочувствительную бумагу. Но она выпускается в стандартной упаковке весом пятнадцать килограммов, а почта принимает посылки, не превышающие десяти килограммов. Распечатать же пачку нельзя, так как бумага засветится. Товарищи обратились в почтовое ведомство: как быть? Может быть, им посоветовали, что делать, или хотя бы объяснили, чем вызвано такое ограничение и почему нельзя его отменить? Ничего подобного. Из ведомства ответили: «В соответствии с

существующим положением предельный вес посылок... не должен превышать десяти килограммов».

Как-то я прослышал о безобразии, творившемся на одном из подмосковных шиферных заводов. Продукция его, что называется, нарасхват. Даже та, что получается с некоторыми отклонениями от технических норм: ее тоже могли бы с успехом использовать и охотно бы взяли строители. Но завод такой шифер никому не отдавал. Не имел соответствующих указаний. А чтобы он не загромождал территорию, на предпрятии его просто уничтожали. Давили бульдозерами, превращали в крошку.

Когда я с возмущением начал говорить об этом варварстве работнику Госарбитража, он даже не дослушал до конца:

— Знаю, знаю. Все верно, что вы говорите. Министерство торговли не установило цену на некондиционный шифер. Плохо, конечно. Но заводу ничего не оставалось, как его уничтожать.

Так-таки ничего и не оставалось?! Ну, а если просто не посчитаться с тем, есть цена или нет? Отдать шифер хоть бесплатно? Неужто это хуже, нежели уничтожать государственное добро?

Мне рассказали и о таком не совсем обычном случае. Произошел он в крупном сибирском городе. Там заготовили большое количество овощей и картофеля, больше, чем могли принять базы и склады по существующим нормам хранения. Как быть? Оставить «лишние» тонны на улице? Или все же пойти на какое-то превышение норм, предусмотрев, разумеется, меры предосторожности против порчи продуктов? Исполком, естественно, настаивал на последнем. А что сделали два руководителя местной торговли? Ссылаясь на инструкцию, они всячески возражали против максимальной загрузки продуктов, старались избавиться от них. Тогда городские власти приняли решение: перестраховщиков отстранить, а вместо них назначить людей, которые отличались бы от своих предшественников только одним — разумным отношением к делу. Новые руководители, люди расторопные и не трусы, пошли на заведомое нарушение инструкции и — благодаря этому! — обеспечили население города картофелем и овощами. Случай, прямо скажем, нечастый. Ведь двух руководящих работников сняли по существу за «слишком точное» следование установленному порядку, за служебное сверххрание. Если хотите — за безусловное соблюдение инструкции. Но, честное слово, насколько бы мы выиграли в нашей жизни, во всех наших делах, если бы подобное стало правилом! Если бы любая инструкция перестала служить — кому бы то ни было — чем-то вроде постоянной индальгенции, заранее и автоматически снимающей с человека служебный «грех», совершенный пусть и в рамках инструкции, но против нашей морали. Если бы никакая бумага со штампом не освобождала человека от необходимости думать, не могла стать прикрытием равнодушию, формализму, холодному исполнителству. Не превращалась в охранную грамоту на «легкую» жизнь.

3

А теперь я хочу еще раз вернуться к тому, с чего мы начали: отчего дефицитен клей.

Может быть, то, что произошло однажды в Саратовской области, на Энгельском клеевом заводе (предприятие провалило план, ссылаясь на то, что поставщики подвели его с сырьем, в то время как вокруг него не использовалось и пропало огромное количество такого же сырья), — всего лишь досадное исключение, «местный вывих»? К сожалению, нет. Приведу еще лишь одну цифру. В том же трудном для клееварщиков не только Энгельса году из Москвы непрерывно слали грозные телеграммы в республики, края, области: клеевые заводы остались без сырья, ускорьте его отгрузку. А в самой Москве, по официальным данным, имелось такого сырья в пять раз больше, чем получил столичный завод «Клейтук».

Вот вам и «не хватает сырья». Вот вам и «единственная причина» дефицита клея.

В Росглавпищеснабсбытсырье мне сказали: «Мы имеем дело с совнархозами, облисполкомами, крайисполкомами. К районам отношения не имеем». Понимать следо-

вало так: не нас-де следует упрекать в том, что вокруг клеевых заводов сырье остается неиспользованным, откуда нам знать, сколько его там остается, не можем же мы заниматься каждым районом, каждым городом в отдельности — посчитайте-ка, сколько их!

Верно, не могут. Из Москвы всего не охватншь. Зачем же тогда брать на себя задачу столь же непосильную, сколь и неразумную: распорядиться всем и вся до последней капли, не допуская никакой самостоятельности на местах? Тут куда правильнее довериться людям, знающим лучше, чем кто-либо иной, местные условия, потребности и ресурсы, положиться на их опыт и практичность. Взбодоражьте их инициативу и хозяйственную сметливость, предоставьте им простор для самостоятельности (а не для исполнения лишь указаний и директив), развяжите руки для наиболее рационального, целесообразного, экономичного ведения дела — и все пойдет совсем иначе.

Но для этого необходимо одно — заинтересовать местные организации в наилучшем применении своих возможностей, стимулировать их к максимальному использованию сырья, к изысканию новых и новых источников выпуска сверхплановой продукции; сказать местным руководителям: хотите, чтобы ваша область, край, республика имели с избытком производимых здесь товаров, хотите получить больше накоплений (а следовательно, дополнительные возможности хозяйственного развития) — мобилизуйте резервы, ищите и добывайте больше сырья, организуйте его учет, сбор, хранение и переработку так, чтобы не пропала ни одна тонна, ни один килограмм, увеличьте производственные мощности. И можно быть уверенным: мобилизуют, найдут, добудут, организуют, увеличат. А тогда и клей и многое другое перестанет быть дефицитным

Но в Росглавпищеснабсырье были обеспокоены одним — как бы не «ослабить гайку», мертвой хваткой держать на контроле каждый шаг, каждый вздох на местах. Сырье для производства дефицитного предмета под строжайшим запретом, и тут, как говорится, хоть лопни, но без наряда не коснись, пусть оно даже пропадет, но взять «для себя» (иначе говоря, для своего города, района, области) не смей.

В очерке «Дождь пополам с солнцем» («Новый мир», № 6, 1964) Ефим Дорош с болью раздумывает о том, почему в одном из виденных им небогатых колхозов, председатель которого ни черта не смыслит в сельском хозяйстве (он бывший банковский служащий) и, что еще хуже, человек просто неумный, незаскандованную солому предпочитают сжигать, но только не отдать ее колхознику. «И картошку повсюду оставляют в поле, и траву не выкашивают; если же колхозник возьмет себе, то он — вор». От этого ни колхоз, ни государство, конечно, ничего не выигрывают. И даже, наоборот, теряют, но зато соблюдается «порядок».

А происходит так потому, пишет автор, что порой противопоставляются интересы колхозника интересам государства: «пускай лучше солома сгорит... но зато будто бы «государственный интерес», в сущности, некая отвлеченная догма, соблюден».

То же самое происходило и здесь. «Государственному интересу» (в данном случае это слова, не более) противопоставлялись местные нужды. В итоге же проигрывали и места и страна в целом. А партия требует, учит правильно сочетать интересы всего общества с материальными интересами каждого производственного коллектива и каждого трудящегося в отдельности.

Необходимость существовавшей системы снабжения и сбыта руководителя Росглавпищеснабсырья оправдывали тем, что если, мол, отменить отпуск продукции по нарядам, то кто поручится, что она попадет прежде всего в ведущие, важнейшие отрасли народного хозяйства.

Гарантия здесь одна. Но зато абсолютно надежная — обилие предмета. А оно возможно только тогда, когда, повторяем, предприятия будут заинтересованы — экономически заинтересованы — в увеличении его производства. Когда вся сфера снабжения и сбыта перестанет наконец зиждиться на двух одряхлевших «китах» — нарядах и фондах. И тогда, право же, нечего будет опасаться ни за ведущие, ни за второстепенные отрасли: будет товара вдоволь — хватит его всем.

Затоваривание — явление, как известно, прямо противоположное дефициту. Но оба они не только не исключают друг друга, уживаются бок о бок, но порождаются одной и той же причиной — малоповоротливой, жесткой до крайности системой снабжения и сбыта, при которой сами производители и потребители материальных ценностей и пальцем не могли пошевелить, чтобы распорядиться ими наиболее разумно. Порой дело доходило до нелепости.

Вот обычный пример из хозяйственной практики. Снабженцам завода удалось заготовить впрок дефицитных изделий (например, крепежных деталей, или инструмента, или труб, кабеля и т. п.). Образовались излишки предметов, избавиться от которых, несмотря на их дефицитность... почти невозможно. Да, да, невозможно, ибо директор завода был не вправе передать их другому предприятию, пусть даже испытывающему в этих предметах острую нужду. Да что директор завода — правом распоряжаться сверхнормативными запасами не обладал совнархоз! В Московском совнархозе подсчитали: восемьдесят дней требуется предприятию, чтобы оформить реализацию сверхнормативных запасов сырья. И вот результат: здесь предмет дефицитен, в это же время там (а «здесь» и «там» нередко в пределах одного города, области, экономического района) затоварен.

Газовые трубы — один из тех видов промышленной продукции, что в значительной степени определяет развитие всего народного хозяйства. Но вот поразительный факт: в конце позапрошлого года на Выксунском металлургическом заводе лежало свыше четырех тысяч тонн «безнарядных» газовых труб!

Прошлым летом на горьковском заводе «Красная Этна» скопилось такое же количество холоднокатаной ленты — ценнейшего материала для машиностроения, электротехники. Причина? Та же. Союзглавметалл не дал вовремя наряды, хотя в этой ленте очень нуждались многие предприятия.

Как-то на предприятиях Кузбасса обнаружилось огромное количество бездействующего, лишнего оборудования — на тринадцать миллионов рублей! Местный совнархоз принял разумное решение реализовать сверхнормативные запасы. Покупатели нашлись тотчас же — сибирские колхозы и совхозы. Казалось, дело будет закончено легко и быстро, к общей выгоде сторон. Но нельзя же «так просто», без согласований. И бумага о передаче какого-нибудь токарного или фрезерного станка пошла гулять из одного главка в другой, со стола на стол, от начальника к начальнику, обрастая бесчисленными и противоречивыми визами и резолюциями: «Передать», «Не передавать», «Не разрешаю», «Не возражаю»... Как тут не вспомнить слова В. И. Ленина о том, что при бюрократическом подходе «утверждение» означает самодурство сановников, бумажную волокиту, игру в проверяющие комиссии, одним словом, чисто чиновничье убийство живого дела!

В прошлом году мне пришлось выяснять причины затоваривания готовой продукции на ряде московских предприятий. Обнаружилась довольно неприглядная картина: на складах, базах, под открытым небом по многу месяцев, а то и лет «дневали и ночевали» десятки станков, сотни различных машин, электромоторов, тысячи швейных изделий, десятки тысяч метров тканей и т. п.

Может быть, они изготовлялись «без адреса»? Нет, на все это в свое время были сданы заказы. Но между заявкой и ее исполнением проходил немалый срок. А жизнь не стояла на месте, менялись нужды, возможности, требования заказчиков.

Столичные заводы «Калибр», шлифовальных станков, «Спецстанок», например, получили заказ на оборудование стоимостью пятьсот тысяч рублей для Челябинского электромеханического завода. Когда же оно было изготовлено и пришло время отправлять его на Урал, оттуда сообщили: принять станки не можем, нечем за них платить. Оказывается, обещанные ассигнования Челябинский завод не получил. Полмиллиона рублей оказались замороженными в сделанных для него станках.

На московском Краснопресненском машиностроительном заводе несколько лет стояло шестнадцать ворсонарезных машин ВРД-110 стоимостью восемьдесят тысяч рублей. Производство их когда-то было запланировано по заявкам текстильных

предприятий. Но потом на хлопчатобумажных комбинатах, для которых предназначались машины, надобность в них отпала. Так повисли в воздухе и эти восемьдесят тысяч рублей.

Позвольте, спросит читатель, но при чем здесь организация снабжения и сбыта? Разве все эти неожиданности происходили из-за нее, разве они исключены при иной системе планирования? Нет, вовсе не исключены. Однако существовавшая механика планирования настолько сложна и громоздка, что не попевала за ними, не «срабатывала» вовремя. Изменения в финансовом положении предприятия-заказчика, в его производственно-техническом профиле, перспективах развития, потребностях и т. д. очень не скоро влекли за собой коррективы в плане предприятия-поставщика, потому что прежде они должны были получить «добро» во множестве инстанций, пройдя их сначала по восходящей линии, потом по нисходящей. Затем в обратном направлении. А сколько еще на этом пути промежуточных звеньев: отраслевые управления, снабженческо-сбытовые главки! Пока поправки доходили до исполнителя, миновал не один месяц. Удивительно ли, что они ловили «вчерашний день»?

А возьмите легкую промышленность. К середине прошлого года в стране скопилось «лишних» товаров народного потребления на два с половиной миллиарда рублей! Как могло это случиться? Отчего на складах и в магазинах лежат без движения вещи самой первой необходимости — швейные изделия, ткани, обувь, предметы домашнего обихода и т. п.? Оттого, что производство и потребление были оторваны друг от друга, непосредственная связь между ними, а также кооперированными предприятиями нарушалась вклинившимися многочисленными посредниками, ведающими снабжением и сбытом. Вместо простейшей и, казалось бы, такой естественной схемы «предприятие — магазин — покупатель» действовала усложненная и разбухшая: «предприятие — оптовая база — розничная база — магазин — покупатель». На практике это вело к тому, что промышленность зачастую работала не столько «на рынок», сколько на утвержденный в центре план.

Всякое предприятие стремится побыстрее сбыть свою продукцию. Это закономерно, вполне логично. И если бы оно передавало ее сразу же через магазины покупателю, то не могло бы не считаться с тем, пользуется ли данная продукция спросом. Но изделия сначала поступают на оптовую базу, и как только они приняты там, их дальнейшая судьба предприятие не волнует. Раз можно «спихнуть» продукцию базе, то зачем интересоваться тем, как меняются вкусы, требования покупателей, какие появляются новые материалы, приходят моды.

Но даже если предприятие стремилось поддержать свою марку, выпускать только то, что нужно и нравится людям, сделать это ему было затруднительно. Надо не мешкая обновить ассортимент, привести его в соответствие с сегодняшним спросом. Легко, однако, сказать: не мешкая. Изменения в ассортименте неизбежно «потянут» за собой все другие показатели плана, и снова каждая его графа и строчка должны быть проведены, ступенька за ступенькой, через длинную лестницу инстанций.

Словом, пока предприятие получит разрешение перестроить свою работу прицельно по сегодняшним требованиям рынка, наступит.. завтра. А ведь только получить такое разрешение мало, надо еще время, чтобы перестроиться. Скажем, швейная или обувная фабрика переходит на выпуск современных, модных, пользующихся большим спросом изделий. Для этого ей потребуются новые материалы. Ткани же, и кожа, и полуфабрикаты, и все остальное отпускаются только по нарядам, фонды давно распределены центральными учреждениями. Значит, предстояло еще одно нескорое путешествие по бесчисленным главкам, «утрясающим» поставки между смежными предприятиями.

Одно из прогрессивных направлений изобретательских поисков в технике — создание безредукторных передач — передач, которые не требуют специального механизма для изменения скорости движения.

Почему инженеры мечтают избавиться от редукторов? Потому что эти механизмы уменьшают коэффициент полезного действия машины, они потребляют энергию, но сами ничего не производят.

Не кажется ли вам, что в системе производственных связей многие снабженческо-сбытовые организации занимали, подобно редукторам, просто лишнее место? Что промежуточные звенья этой системы только усложняли ее, лишая гибкости и динамичности, снижая эффективность службы?

Но дело не только в этом. Любой инженер знает, что чем меньше в машине агрегатов и частей, тем, при прочих равных условиях, она надежнее в эксплуатации. Это и понятно: для безотказной ее работы должны исправно действовать все узлы, а чем они многочисленнее, тем больше шансов, что выйдет из строя хотя бы один.

(Помню, до войны по этому поводу остроумно высказался Валерий Павлович Чкалов. Когда его краснокрылый АНТ-25 готовили к беспримерному в те годы перелету Москва — США, летчика спросили, не рискованно ли лететь на одномоторном самолете: а вдруг единственный двигатель откажет?)

Чкалов ответил:

— Один мотор — сто процентов риска, четыре — четырехста.)

Нечто аналогичное происходило и в сфере материально-технического снабжения: чем длиннее лестница нескончаемых согласований и виз, чем больше «застав» на пути заказов, заявок, планов, тем возможнее ошибки, расхождения, неувязки.

Когда я беседовал о причинах затоваривания с работниками Союзглавмаша (главк по межреспубликанским поставкам продукции машиностроения), туда принесли телеграмму: «Черниговскому комбинату автопитатели АПС-120-Ш количестве 28 штук выделены ошибочно. Получения автопитателей отказываемся. Зампродукторсовнархоза Есиленко».

Ошибочно? Подняли документы, нашли письмо, полученное за три месяца до этого. В нем, в частности, говорилось: Украинский совнархоз просит обеспечить Черниговский камвольно-суконный комбинат автопитателями АПС-120-Ш. На основании такой просьбы Пресненскому машиностроительному заводу и было поручено сделать эти механизмы. Там изготовили их, все двадцать восемь штук, стоимостью более чем по полторы тысячи рублей каждый. Изготовили, чтобы... мучительно раздумывать, куда же теперь их деть.

Где-то, на каком-то из бесчисленных этапов планирования кто-то ошибся (и отыскать-то виноватого нелегко, да и что сейчас в том толку!), а материалы, труд, электроэнергия — все это на сумму сорок три тысячи рублей оказалось вложенным в изделия без адреса.

В Союзглавмаше телеграмма с отказом принять выполненный заказ кого-то рассердила, возмутила, у кого-то вызвала раздражение. Но никого не поразила своей неожиданностью. Я удивился этому. А мне ответили: ошибочные заявки — случай не первый и не последний. Привыкли!

Да, дефицит и затоваривание на первый взгляд явления-антиподы, однако по духу и по-происхождению очень близкие друг другу. Как две стороны медали.

5

«Карточная система» на промышленные изделия, как метко охарактеризовал чрезвычайно централизованную систему материально-технического снабжения покойный академик В. С. Немчинов, была необходима в те годы, когда наши производственные мощности были весьма и весьма ограничены, не могли обеспечить все нужды народного хозяйства. Приходилось — не от хорошей жизни! — скрупулезнейшим образом распределять промышленную продукцию, лимитируя ее потребление, регламентируя переработку сырья и т. д. Делать все это было возможно, разумеется, только из единого центра.

Теперь у нас другие силы, масштабы, потенциал. Это, конечно, вовсе не означает, что можно стать расточительными. Наоборот, в наше время бережливость еще более важна и необходима, чем прежде. Ибо при нынешних масштабах народного хозяйства всякий неверный шаг, ошибка, просчет в планировании обходятся нам куда дороже (в самом прямом, буквальном смысле этого слова), каждый процент куда весомее, чем раньше.

Однако бережливость — это не слепое скопидомство, а глубокий и продуманный расчет. Это ведение дела не по-плюшкински, а, как говорил В. И. Ленин, по-купцовски. Она заключается вовсе не в том, чтобы на все и вся «наложить лапу», а в том, чтобы с максимальным эффектом, выгодой, отдачей использовать наши материальные богатства. Если когда-то сложнейшая система материально-технического снабжения была хотя и вынуждена, но оправдана, то в нынешних условиях она, к тому же доведенная до крайности, лишь сковывала, связывала народное хозяйство, препятствовала оптимальному использованию великолепных возможностей плановой социалистической экономики.

По сути дела она сдерживала дальнейшее развитие товарно-денежных отношений, полное использование которых, как это сказано в Программе партии, необходимо в коммунистическом строительстве.

Жизнь настойчиво потребовала децентрализации снабжения и сбыта, установления связи между поставщиками и потребителями не через многочисленные «снабы» и «сбыты», а непосредственно между собой. И это не теоретическая догадка, сделанная методом «от противного»: многоступенчатая система, мол, плоха — значит, хороша будет малоступенчатая. Нет, это вывод, уже подтвержденный практикой.

В прошлом году две швейные фирмы — «Большевичка» в Москве и «Маяк» в Горьком — в виде опыта перешли на новые взаимоотношения с торговлей. Между ними и магазинами (не торговлей вообще, а конкретными магазинами) была установлена прямая связь. Фирмам предоставили полную самостоятельность в планировании производства. Они начали выпускать продукцию только по заказам магазинов и получили возможность оперативно вносить изменения в свои планы и действия без всяких согласований с вышестоящими инстанциями. Перед последними они отчитывались только по объему реализованной продукции и рентабельности. Во всем остальном — держали ответ перед потребителями. Вот это и есть права, соответствующие обязанностям!

Собственно, обязанность такого предприятия теперь сводится к единственному: работать с наивысшим экономическим эффектом. Но для этого оно должно обеспечить полную и быструю реализацию продукции. А это как раз и заставляет выпускать такие изделия — и по ассортименту, и по качеству, и по ценам, — которые не залеживаются.

Через три месяца после начала этого экономического эксперимента Совнархоз СССР подвел первые его итоги. Что же выяснилось? А вот что. Выпуск продукции увеличился на «Большевичке» на одну треть, на «Маяке» — на 44 процента, прибыль повысилась соответственно на 27 и 29 процентов. Неудивительно — изделия фирм быстро и целиком раскупаются.

А ведь незадолго до этого эксперимента приходилось слышать и такое:

— Что, фабрики будут работать без плана? — с усмешкой говорили иные скептики. (Будто планирование сводится лишь к тому, чтобы диктовать предприятию каждый его шаг, каждое действие.) — Может, вообще обойдемся без планирования, ведь капиталисты вполне уживаются с анархией производства и чувствуют себя при этом совсем неплохо? Так как же, а?

Помню, как меня просветил в те дни известный наш экономист профессор Института народного хозяйства имени Плеханова Александр Михайлович Бирман:

— Не надо пугаться страшных слов. Что значит в данном случае «без плана»? Только то, что с пути этих предприятий к лучшим результатам работы снимаются бюрократические рогатки. Ведь законы остаются советскими, принципы, нравы — социалистическими. Государство — единственный и полноправный хозяин предприятия. Оно, и никто другой, определяет его профиль, характер вырабатываемой продукции, кооперированные связи и так далее. Но в то же время оно предоставляет предприятию реальную возможность хозяйствовать без мелочной опеки.

Дать возможность местным хозяйственным организациям проявить самостоятельность, расчетливость, дальновидность для наиболее целесообразной, экономичной и эф-

фективной работы. Возложить на них полную ответственность за такую работу, но одновременно и «раскрепостить» их, заинтересовать в наилучших результатах. И тогда на местах станут всячески добиваться того, чтобы дать максимальное количество предметов (вот вам и избавление от дефицита), чтобы выпускать только необходимые изделия (верная гарантия от затоваривания). Обо всем этом прямо говорится в решениях Пленума ЦК. Децентрализации и упрощению снабжения и сбыта, повышению ответственности за использование материальных ресурсов, заинтересованности в их наилучшем, наиболее выгодном применении отвечает передача фондов и права распоряжаться ими министерствам.

Надо полагать, что это вообще оздоровит обстановку в народном хозяйстве, избавит его от некоторых застарелых болезней. Возьмите хотя бы такую «вечную» проблему, как проблема трврных перевозок. Порой диву даешься, глядя, как непродуманно распределяются у нас грузовые потоки. Но разве хозяйственные организации, будь они материально заинтересованы в наименьших затратах на производство своей продукции, не постарались бы по возможности «укоротить» перевозки? Стали бы, скажем, предприятия, подведомственные нынешнему Волго-Вятскому совнархозу, завозить электрооборудование из Армении, оргстекло с Урала, арматуру и морской кабель с Дальнего Востока, если все это изготавливается поблизости?

Сила привычки цепка, отрешиться от нее нелегко. Ведь, казалось бы, опыт двух швейных фирм ясно показал: ничего ужасного, что предвещали скептики, не произошло. Наоборот, швейники стали работать намного лучше, довольны все — и фабрики, и магазины, и покупатели. В нынешнем году на работу по прямым договорным связям переведено уже пятьсот различных предприятий! А отказаться от привычной опеки над предприятиями в иных организациях никак не могут.

Порой же дело доходит, если хотите, до нелепого. Глуховский комбинат, например, учитывая покупательский спрос, заказы швейников и торговли, намечает выпуск одних тканей, а ему предписывают делать другие. Заказывает поставщикам одно, а заставляют брать другое. И снова, как прежде, на складах скапливаются десятки, сотни тысяч метров тканей...

Мне могут возразить: коль скоро предприятию предоставлена самостоятельность в планировании своего производства, так оно может просто не посчитаться с подобногородя указаниями. Может-то может. Но ведь что там ни говори, а инстанция есть инстанция. Один директор не посчитается, другой же не станет лезть в драку... Нет, избавиться от застарелой болезни непросто, сбросить оковы традиций нелегко.

Итак, пятьсот предприятий работает сегодня по-новому. Это тоже пока эксперимент, однако другие масштабы — иные и возможности проверить, сравнить, увидеть.

Насколько улучшились условия хозяйственной деятельности и дела на этих предприятиях, доказывать не приходится. Однако значение такого эксперимента не только в том, чтобы практически опробовать и оценить то новое, что вносится во взаимоотношения между поставщиками и потребителями, промышленностью и торговлей. Новое здесь сосуществует бок о бок со старым. Если раньше копы сторонников и противников прямых договорных связей скрещивались в чисто теоретических, словесных спорах, то нынче на чаши весов кладутся конкретные факты, практика. А такое сравнение куда зримее, убедительнее. Не удивительно, что проводимый эксперимент обнажил острее, показывает еще нагляднее, чем раньше, пороки действующей снабженческо-сбытовой системы.

Огромное, сложное многоотраслевое хозяйство наше — цепочка теснейшим образом взаимосвязанных звеньев. Они так притерлись друг к другу, что во время движения не всегда даже замечаешь перебои. Но лишь стоило некоторые из них заменить новыми — и сразу же стало видно, как слабо, «со скрипом» тянут остальные.

На самостоятельное планирование перешли сотни предприятий, выпускающих ткани и обувь, одежду и кожи, меховые изделия и фурнитуру. Но ведь легкая промышленность не замыкается в самой себе, она «питается» продукцией тяжелой промышленности. А предметы, изготавливаемые последней, остались в руках прежней, лимитирую-

шей все и вся системы снабжения и сбыта. Тут-то, на стыке отраслей, и начинаются всякие неувязки, происходят срывы.

Допустим, трикотажная фабрика на основе заказов торговли должна сократить производство хлопчатобумажных изделий и соответственно увеличить выпуск синтетических. Первое сделать теперь просто — уменьшить заказ текстильщикам. А как осуществить второе, ведь синтетику дает химия? Ее же продукция давным-давно распределена, расписана между потребителями до грамма. Что же остается трикотажникам? Выпускать прежние изделия? Но торговля их не берет. Делать же новые, нужные не из чего.

Предприятия, поставленные в непосредственную зависимость от потребителей (а только такая зависимость и является вполне нормальной, объективной и закономерной), стремятся куда сильнее, чем раньше, совершенствовать свое производство, ибо отныне не предписания сверху, а сама жизнь заставляет думать о снижении себестоимости и улучшении качества изделий (иначе эти изделия просто-напросто перестанут брать), об увеличении выпуска ходовых товаров. Однако тут мало чего достигнешь без совершенствования технологии производства. А для этого нужны электроматериалы и новое оборудование, металл и приборы, подшипники и метизы. И опять же без наряда не получишь ни станка, ни метра кабеля, ни килограмма болтов.

Где же выход? Все в том же — в постепенной реорганизации системы распределения изделий и тяжелой промышленности, в постепенном переходе к оптовой торговле некоторыми материалами и оборудованием. Если, скажем, кожевенному заводу нужно установить дополнительные машины для увеличения выпуска товаров, пользующихся особенно большим спросом, или необходимы новые приборы для более тщательного контроля качества продукции, или наконец требуются моторы и электропровод для механизации какого-то процесса, что в итоге снизит себестоимость изделий, — он должен иметь и право и возможность все это приобрести.

Быть может, на первых порах стоило бы создать специальные фонды свободной продажи изделий тяжелой промышленности хотя бы тем пятистам предприятиям, на которых проводится экономический эксперимент... И опять я слышу испуганные и возмущенные голоса (не знаю только, чего в них больше, испуга или возмущения) сторонников распределительных методов снабжения и сбыта: «Подумайте, что вы предлагаете — свободная продажа! Да это же стихия рынка, анархия, черт знает что!» Но, право же, не стоит так волноваться по поводу «криминальных» слов. Ничего страшного, надо полагать, от подобной «рыночной стихии» не произойдет. Больше, чем нужно, никто покупать не станет — кому охота впрок запасаться тем, что можно в любой момент купить. А не будут создавать лишние запасы, не будут «хватать» — достанется товаров всем. Заго предприятия легкой индустрии, которым доверено самостоятельно планировать свое производство, будут поставлены в совершенно нормальные, естественные условия работы. Да и тяжелой промышленности это пошло бы только на пользу, заставило бы ее работников не ждать сигналов сверху, а постоянно думать и о техническом уровне изделий, и об их качестве, себестоимости: свободная купля-продажа быстренько поставит все на свои места, сразу же покажет, «что такое хорошо и что такое плохо».

Экономику Владимир Ильич Ленин называл «самой интересной» для нас в период мирного хозяйственного строительства политикой. Удивительно ли, что вопросы экономического развития, поиски его дальнейших путей волнуют не одних специалистов, а всю советскую общественность? Ведь это сама наша жизнь во всем ее необъятном многообразии, со всеми ее противоречиями и столкновениями, в которых проявляются не только чисто экономические, но и морально-этические воззрения, человеческие характеры, нормы общественного поведения.

* * *

Сентябрьский Пленум Центрального Комитета КПСС еще раз подчеркнул важность гибкого сочетания централизованного управления промышленностью — этой первоосновы руководства социалистическим народным хозяйством — с широкой самостоя-

тельностью предприятий, без которой невозможно максимально эффективное ведение дела, немыслимы высокие темпы экономического развития.

Полный хозрасчет — не тот формальный, что подчас лишь внешне прикрывал беспхозяйственность, а подлинный — опирающийся на «осязаемое» материальное стимулирование коллектива; все более широкое развитие прямых, договорных связей между изготовителями и потребителями; снабжение и сбыт, основанные на ответственности не за строку в отчете, а за точное выполнение хозяйственного договора — все это означает усиление экономических методов управления промышленностью. Методов, не терпящих администрирования, бездумия и шаблона, опирающихся на знание и деловитость работников, на их инициативу, на умение смотреть вперед и смело решать подчас нелегкие задачи, диктуемые жизнью.



К 70-летию со дня рождения С. А. Есенина

В. С. ЧЕРНЯВСКИЙ

★

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Владимир Степанович Чернявский (1889—1948) познакомился с Сергеем Есениным в Петрограде весной 1915 года. Дружеские отношения между ними продолжались до последних дней жизни Есенина.

В годы начала знакомства В. С. Чернявский был студентом, начинающим поэтом, некоторые его стихи были опубликованы. В конце жизни он стал известным чтецом.

В интересных воспоминаниях В. С. Чернявского, конечно, не следует искать абсолютной исторической полноты или предельной точности в анализе литературной обстановки того времени, в показе противоборствующих литературных группировок. Для этого есть специальные литературно-исторические труды. Мемуары Чернявского привлекают тем, что они, кроме того, что сообщают нам немало неизвестных фактов биографии Есенина, доносят и нечто большее, чем даты и факты,— живой облик поэта.

Воспоминания В. С. Чернявского были написаны в 1926 году, тогда же отрывок из них, посвященный началу литературного пути Есенина, в первой редакции был опубликован в журнале «Звезда» (№ 4, 1926). Воспоминания печатаются с сокращениями, рукописи, хранящейся в Государственном литературном музее и имеющей название «Три эпохи встреч». Публикация подготовлена А. Козловским.

I

Есенина я увидел впервые 28 марта 1915 года. Развертывалось второе полугодие войны... В пунктах сбора пожертвований, на возбужденном Невском, пискливые поэтессы и женственные поэты — розово- и зеленолицые, окопавшиеся и забракованные, — читали трогательные стихи о войне и о своей тревоге за «милых»... Достигший апогея модности Игорь Северянин пел под бурные рукоплескания про «Бельгию — синюю птицу». Патриотическое суворинское «Лукоморье» печатало на лучшей бумаге второсортные стихи о Реймском соборе под портретами главнокомандующих.

В зале Армии и Флота был большой вечер поэтов. Читал весь цвет стихотворчества. Седовласый Сологуб, являсь публике в личине добродушия, славословил «невесту Россию». И неожиданно, не в лад с другими, весь сдержанный и точно смущенный, появился на эстраде — в черном сюртуке — Александр Блок. Его встретили и проводили рукоплесканиями совершенно иного звука и оттенка, нежели те, с которыми только что обоняли запах северянинской пачули. Волнуясь, он тоже прочел стихи о России, о своей России, и о человеческой глупости, прочел обычным, холодноватым и все-таки страстным, слегка дрожащим голосом, раза два схватившись рукою за сердце. Был уже на этих вечерах под знаком патриотизма гнетущий налет...

Не то в перерыве, не то перед началом чтения я, стоя с молодыми поэтами (Ивневым и Ляндау) у двери в зал, увидел поднимающегося по лестнице мальчишка, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник (кажется, это был Городецкий) остановился

около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин¹.

В течение вечера он так и оставался с нами троими. Несколько друзей присоединились к нам. Мы плохо слушали то, что доносилось с эстрады, и интересовались только нашим гостем, стараясь отвечать на его удивительно ласковую улыбку как можно приветливее. Гость был по тому времени необычный и взволновал нас совсем по-новому.

На торопливые наши расспросы он отвечал очень охотно и просто. Мы услышали, как чуть ли не прямо с вокзала он пришел с узелком своим к Блоку, узнав его адрес в первой попавшейся редакции, как тот направил его к Городецкому, что стихи его, кажется, приняты в толстый и важный журнал, что он читал уже многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и поделиться тем, что привез.

Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной, застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренка в нем не было. Но в произношении его слышалось настойчивое «оканье»² и нет-нет попадались непонятные, по-видимому рязанские, словечки, звучавшие, казалось нам, пленительной наивностью. Блок принял его со свойственным ему немногословием и сдержанностью, но это, видимо, не смутило его:

«Я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал стихи о Прекрасной Даме»...³.

И сам, идя навстречу нашему любопытству, он, не уходя с площадки лестницы, где мы стояли, успел многое рассказать о своей жизни в деревне, интерес к которой угадал, вероятно, не в нас первых, и о том, как писал свои стихи:

«Уйдешь рыбу удить, да так и не вернешься домой два месяца: только на бумагу денег и хватало!»

Чем больше он говорил, тем больше сияли и умилялись окружавшие его кольцом умиленного внимания несколько человек. И не только потому, что принадлежали к сентиментальному тылу, а потому, что с первых минут знакомства, прослушав на ходу несколько коротких его стихов, ощутили в пришедшем новое для них очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности. В нем так и золотилось здоровье, юность — не то тихая, не то озорная, веющая запахом далекой деревни, земли, который показался почти спасительным. И весь облик этого неизвестного худенького чужака, ласковый и доверчивый, располагал к нему всякого, кроме заядлых снов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее.

Едва дождавшись окончания вечера, мы компанией из семи-восьми человек, все жившие и дышавшие стихами, оставив кое-кого из привязавшихся скептиков, пошли вместе с Есениным в хорошо известный многим «подвал» на Фонтанке, 23, близ Невского. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К. Ляндау, устроивший себе уютное жилище из бывшей прачечной, завесив его коврами и заполнив своими книгами и антикварией. Этот таинственный подвал, где жила и я, часто видел в своих недрах Сергея. Ничего общего с публичными подвалами богемы это логово не имело, но некоторые ее представители нередко стучались сюда — прямо в окно с решеткой, — и тут постоянно звучали споры и стихи.

Есенина, которого все называли уже просто по имени, посадили посреди комнаты у круглого стола, а большинство гостей устроилось в полумраке на ди-

¹ Нам слышалось не Есенин, а «Ясенин», и мы несколько произвели эту фамилию не то от «ясности», не то от «ясея», не подозревая, что она означает «осенний» (осень). (Примечания здесь и далее автора мемуаров.)

² Здесь автор имеет в виду не диалектное «оканье», а индивидуальное отличие, сугубую напряженность речи Есенина, особенно сказывающуюся в чтении стихов. (Примечание публикатора.)

³ Эти и нижеследующие буквальные слова Есенина (они поставлены в кавычки), а также даты я беру из собственных моих писем к другу моему поэту В. В. Гиппиусу, находившемуся на фронте.

ванах, чтобы его слушать. На парче под настольной лампой появился шартрез и венецианские рюмки. Помню, было жарко, и Сергей, сняв пиджачок, остался в своей голубой рубашке. Ему не понравился шартрез; он выпил и поморщился.

«— Что, не понравилось?»

— Поганый!»

Такого рода замечаний им было сделано немало, а когда присутствующие улыбались, сам Сергей, поглядывая вокруг, тоже отвечал им улыбкой, немного сконфуженной, немного лукавой: такой, мол, как есть.

Про него в тот приезд говорили недоброжелатели, что его наивность и народный говор — нарочитые. Но для нас, новых его приятелей, все в нем было только подлинностью и правдой. Мы, пожалуй, преувеличивали его простодушие и недооценивали его пристальный ум. Конечно, мы замечали: Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания, и он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно. Но мы видели также, как в первые недели его выхода в большой свет, когда иронически посмеивающиеся «наблюдатели» доводили его до краски в лице и ощущения неловкости, эти корявые словечки вырывались у него совсем естественно, от души. Нам верилось, что иначе он и не должен говорить. И тогда и впоследствии для нас оставалось несомненным — и мы готовы были ревностно это защищать, — что руководили им не наигрыш, не кокетство, а прямая гордость за отеческий язык, в красоту которого он сам яростно верил...

С радостью начал он чтение стихов, вошедших после в «Радуницу». Первое впечатление нас совершенно пронзило — новизной, трогательностью, настоящей плотью поэтического чувства. Он читал громче, чем говорил, в обычной, идущей прямо к сердцу «есенинской» манере, которую впоследствии только усовершенствовал, потряхивая своей мальчишеской желтой головой и немного напевно. Но протяжной вкрадчивой клюевской тонировки в этом чтении не было и помину, простые ритмы рублились упрямо и крепко, без всякой приторности...

После стихов он принялся за частушки: они были его гордостью не меньше, чем стихи; он говорил, что набрал их до 4000 и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрутские темы; с ними чередовались рязанские «страдания», показавшиеся слушателям менее красочными. Но Сергей убежденно защищал их, жалея только, что нет гальянки, без которой они не так хорошо звучат. Пел он по-простецки, с деревенским однообразием, как поет у околицы любой парень, но иногда, дойдя до яркого образа, внезапно подчеркивал и выделял его с любовью, уже как поэт.

Ему пришлось разъяснять свой словарь, мы ведь были «иностранцы» и ни «паз», ни «дежка», ни «улогий», ни «скатый» не были нам понятны. Попутно он опять весело рассказывал о своей жизни в селе, о ранней любви свей к бродяжничеству, об исключении из учительской семинарии, про любимого старого деда и пр. Брошенные вскользь слова о пребывании в Москве мы пропустили мимо ушей — так нам хотелось видеть в нем поэта без вчерашнего дня, только что «от сохи».

Говорили и о современных поэтах. Не только к Блоку и поколению старших, но и ко многим едва печатавшимся у него было определенное отношение. Он читал их с зорким и благожелательным вниманием, предпочитая чистую лирику. С умилением и чуть-чуть с хитрецой вспомнил, как на ближайших днях Блок беседовал с ним об искусстве.

«Не столько говорил, сколько вот так, объяснял руками. «Искусство — это, понимаете...» (он сделал несколько подражательных кругообразных жестов). А сказать так и не умел...»

Еще два характерных вечера из периода этих первых шагов. 30 марта редакция «Нового журнала для всех» созвала литературную молодежь на очередную вечеринку в свое маленькое помещение, где умели принимать по-семейному, тепло и скромно. Не помню, с кем пришел туда Сережа.

Гости были разные, из поэтов по преимуществу молодые акменсты, охотно

посещавшие вечера «с чаем». Читали стихи О. Мандельштам (признанный достаточно, кандидат в мэтры), Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие. Наибольший успех был у Мандельштама, читавшего, высокопарно скандируя, стрфы о римах Гомера. Попросили читать Есенина. Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочел, помимо лирики, какую-то поэму, кажется «Марфу Посадницу».

В таком профессиональном и знающем себе цехе общества он несколько проигрывал. Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его «коровам» и «кудлатым щенкам», идилические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки...

Памятен и другой вечер, у поэта И., нашего общего с Сергеем приятеля, причисляемого в то время по бездомности к футуристам, вечер безалаберно-богемный и очень характерный. Тут была поэтическая разногласица с некоторым шипением друг на друга. Есенину отведено было почетное место, он был «гвоздем» вечеринки.

В обществе преобладали те маленькие снобы, те иронические и зеленолицые молодые поэты, которые объединялись под знаком равнодушия к женщине, — типичнейшая для того «александрийского времени» фаланга. Нередко они бывали остроумны и всегда сплетничали и хихикали. Их называли нарицательно «юрочками»...

Пожалуй, никому из «юрочек» и маленьких денди не пришелся по вкусу Есенин: ни его стихи, ни его наружность. То, что их органически от него отталкивало, объяснялось и петербургским снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью (настаиваю на этом) к тому, что было у него, а им не хватало: подлинности, здоровья, поэтической «внешкольности». Их цех ощерился в защиту «хорошего вкуса».

Но это была не литературного порядка зависть, хотя они и поспешли нацепить на Есенина ярлык «кустарного петушка», сусального поэта в пейзажном стиле. Ярлык этот был закреплен некоторыми акменстами старшего призыва.

Есенин, не казавшийся нелепым в этом кругу только потому, что там ничто не могло быть странным и все могло быть забавным, принимал их прилично затуманенную язвительность за питерскую любезность...

Так Сергей, попав сначала, по счастью, к поэтам старшим, познакомился лично со многими сверстниками по перу. Но шероховатости этого знакомства точно не коснулись его тогда, он, конечно, все видел, но, казалось, ничего серьезно не различал и не принимал к сердцу по простоте ли, потому ли, что, упорно пробивая себе путь в этом прихотливом интеллигентском лесу, ему не интересно и не надо было ничего замечать.

В Петербурге он пробыл после этого весь апрель. Его стали звать в богатые буржуазные салоны, сынки и дочки стремились показать его родителям и гостям. Это особенно усилилось с осени, когда он приехал вторично. За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустацией, торжественно усадив посреди гостиной на золоченый стул. Ему пришлось видеть много анекдотического в этой обстановке, над которой он еще не научился смеяться, принимая ее доброжелательно, как все остальное. Толстые дамы с «привычкой к Лориган» лорнировали его в умилении, и солидные папаши, ни бельмеса не смыслящие в стихах, куря сигары, поощрительно хлопали...

В его обхождении с этими людьми, которых он еще вовсе не хотел называть «вылощенным сбродом», была патриархальная крестьянская благовоспитанность и особая ласковая жалость, но сквозь них, как непокорная прядь из-под скуфейки, изредка пробивался и подмигивал приятелям озорной и лукавый огонек, напоминавший, что «кудлатый щенок» не всегда будет забавлять их так кротко и незлобиво...

Такова была среда, в которой поневоле вращался Сергей и с которой он инстинктивно был не менее осторожен, чем доверчив. Говорили, что его неизменно

«развратит». «Подлинный цветок — и столько бесов вокруг», — заметил один дружеский голос. Но за него, оказалось, бояться было нечего: ему удалось без хитрости перехитрить «инострanceв».

С шутливым недоверием относясь к богемной эротике, он, помню, рассказывал, сидя вечером с товарищами в нашем милом «подвале», какова бывает любовь в деревне, лирически ее идеализируя.

Тут было дело не в личных признаниях (хотя он говорил, а покалуй, и фантазировал, о собственных ранних чувствах там, на родине). Эта тема была только поводом вспомнить о рязанских девушках и природе. Ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи — в глазах тех, кто не может знать их так, как он. От этого полубытового мечтательного рассказа о деревенской любви и всего, что с нею связано, у меня в памяти твердо остался только образ серебрищихся ночью соломенных крыш...¹

Мы и тогда, думается, чувствовали, что он, Сережа, этой весной прошел среди нас огромными и фантастическими легкими шагами по воздуху, как бывает во сне, прошел, найдя немало приятелей (первые десятки из будущих сотен!) и, может быть, ни одного друга: весь еще в туманности наших иллюзий, — золотоголовый крестьянский мальчик с печатью непонятного обаяния, всем чужой и каждому близкий...

II

В том, что рассказано выше, намечаются начальные вехи двойственного пути, казавшегося некогда Сереже широким, непочатым простором... Если тут есть предостережения, то лишь очень смутные.

Во второй половине 1915 года, да и в 1916 году Сергей на поверхностный взгляд мало менялся, продолжая пассивно осваиваться с новым миром и разбираясь в «разногласии миссий»... Он знал себе цену, но помахивал о ней: к откликам прислушивался с детской радостью, преувеличивая их искренность; на шипение не плевал, а скорее улыбался. С резкими выпадами еще не боролся, притихал. Но стремление по-своему оценивать людей и вещи, входящие в круг его ближайших интересов, проявилось в нем сильно. Он судил обо всем уже определенно, решительно. «Буйственно». Его смущение было чисто внешним. Никакая рефлексия не размичала его здоровых мускулов.

Если иногда на миру, в обществе так называемых «культурных людей», его вовлекали в щекотливый литературный спор, он старался не теряться. Но его нестройный разговорный язык не ассоциировал с академической речью, и над ним смеялись.

Начиная развивать свое мнение на отвлеченную тему и лица обобщающих формул, он впадал в косноязычие и орудовал одними народными образами первобытного «имажинизма», облекая в них все понятия. Он хотел говорить, как поэт.

На эту удочку его легко было поймать, и, когда он сбивался, не менее легко было почесать являки по поводу некультурности «черноземного паренька». Нечего и говорить, что Сергей не любил этих бесед.

Но в своей компании, где тянулись к нему нити дружбы, где перестали помнить, что он чужой и «гость», он спорил с азартом и отстаивал свои мнения упрямо, по-мальчишески поругиваясь, пересылая свои доказательства неизменяемым: «Понимаешь? Да ты пойми!» Был он всегда весел, и, когда вносил свою незабываемую «Сердубинку» улыбку на порог комнаты, мы все становились еще моложе, чем были. Он часто смеялся, не очень громко, погикивая, высоким доб-

¹ К деревне и к дому он возвращался в разговорах постоянно, до последнего года жизни. Он говорил об этом с внезапным приливом нежности и мечтательности, точно отмахивался от всего, что вьется и цуется вокруг него в бесполойном сне. Ни в коем случае не была для него деревня только «основной лирической темой». Это был действительно самый почтенный уголок его внутреннего мира, реальнейшая точка определяющая его сознание. Мать, сестры (особенно младшая), родина, дом — многие помнят, я думаю, как говорит с них Есенин не только в стихах.

рым смешком, до щелочек сощуривая свои озорные глаза, делая меткие сравнения и всех заражая своим задором. Хорошо было веселой гурьбой — с ним в центре — гулять по улицам...

В строении его индивидуальности в ту эпоху значительную роль играли Клюев и отчасти Блок (что он и сам подтверждает в своей лаконической автобиографии). О некоторых моих впечатлениях я могу упомянуть.

В Петербург Сережа вернулся в средних числах октября 1915 года и 25 октября выступил в организованном Городецким большим вечере (в Тенишевском зале) под названием «Краса». Тут же вынес наконец на эстраду свою родную тальянку. Кроме него и Клюева — поэтов крестьянства, — выступали и представители города — Алексей Ремизов и сам Городецкий. В основу этого нарочито «славянского» вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера: публика и печать не приняли его всерьез, и искусственное объединение «Краса» с этих пор само собой заглохло. Но та белая с серебром рубашка, которую посоветовали надеть на этот вечер Есенину, положила начало театрализации его выступлений, приведшей потом к поддевкам и сафьяновым сапогам, в которых он и Клюев ездили показаться москвичам.

В ноябре Сергей по частным причинам отошел от Городецкого, и с этих пор его ближайшим другом, учителем и постоянным спутником становится Николай Клюев, и начинается полоса их общей работы, прошедшей под знаком верности народным «истокам» и той распри, о которой писал впоследствии Сергей...

Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета, инстинктивно и упорно стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин благоговел перед Клюевым как поэтом...

В тонкую, обоюдоострую систему клюевской морали естественно входила и ложь как единственное оружие... против интеллигентов. К лагерю этих святых лжецов он недвусмысленно стремился присоединить и послушного ему на некоторое время Сергея...

В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел. С этих пор, не отрицая значения Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески сердитого негодования...

В ином свете рисуются отношения Есенина с Блоком. Их внешние проявления незначительны, их рамки узки. С 1916 года, да и раньше поэты встречались не часто. Блока почти нельзя было видеть на рядовых литературных сборниках, где Сергей был постоянным гостем. В практической жизни писательского круга Есенин от Блока не зависел, но изредка по невольному влечению приходил поговорить с ним... Если не ошибаюсь, был только один случай, правда резкий и надрывный, даже решающий, когда, являсь к Блоку, он держал себя с ним, по собственному признанию, вызывающе и дерзко, а потом, вернувшись домой, нахмуренный, объявил, что у него с Блоком напечено и что больше он к нему не пойдет. Это был период, когда он в яростном напряжении молодых сил и самоуверенности ничего не видел, кроме рождения «новой России» в мужичьих яслях.

То, что в Блоке было похоже на холод и сухость, его углубившаяся «от дней войны, от дней свободы» замкнутость, всегда несколько отшатывало и уводило от него Есенина. Не мне одному приходилось слышать в его порою недобрых словах нечто, подобное отвращению к педантизму и выдержанности Блока. Но инстинкт иного порядка долго заставлял Сергея не терять его из виду и искать новых встреч, в которых он относился не просто, а с каким-то волнением. «К Блоку только сначала подойти трудно», — говорил он мне в 1916 году. Преодолев это наплывающее на него каждый раз чувство отчуждения, он вновь начинал видеть в Блоке родного ему поэта, первого, к кому он пришел, и пришел не случайно.

В памяти моей неизгладимо запечатлелось, как неподвижные и несколько надменные черты Блока вдруг прояснились самой ребяческой, так и не сходившей с лица улыбкой, когда читал свои стихи Сергей. Из своего одиночества Блок

лучше, чем кто-либо, предупреждал его об опасности хождения по буржуазным салонам и общения с литературными дегенератами, советуя ему хранить себя и углубленно работать. Сергей ценил эти советы и часто с любовью повторял его слова. Помню, как он наставительно и серьезно уговаривал меня заниматься науками, шутливо прибавляя: «Ну, запрись ты хоть на время от баб. Ты сиди, сиди, как Блок сидит...»

О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного за год до смерти из Тпфлиса: «Отними... Клюева, Блока... — что же у меня останется? Хрен да трубка, как у турецкого святого».

III

Когда мне хочется вспомнить самое крепкое из дальнейшей жизни Сергея, я вспоминаю конец семнадцатого года...

В февральскую эпоху мы продолжали быть в разброде. Нечетко помнится мне Сергей — в гимнастерке, гладко выстриженный — на вечере поэтов в Тенишевском зале, во времена Керенского. Мелькнет еще один «богемный» вечер у одного адвоката, где я впервые видел Сережу совершенно пьяным. Зато поздней осенью мы встретились с ним неожиданно вечером на улице, радостно обнялись и точно нашли друг друга вновь. После этого мне пришлось почти полгода провести с ним в постоянном общении. Правда, предательница-память сохранила об этих днях мало конкретного, никаких «частностей»: все сроки плясали в глазах, слова и впечатления расточались в воздухе. Мои воспоминания ведут меня к дому № 33 по Литейному. В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зинаидой Николаевной Райх (тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок).

Первое время, впрочем, Сергей жил еще в доме № 49 близ Симеоновской, куда и повел меня за собой. Там, в общей столовой, похожей на склад литературы, сидели за чаем, видимо, партийно связанные друг с другом жильцы с типичной наружностью работников печати, недавних подпольщиков. Кажется, Сергей говорил мне о своей причастности к партии левых с.-р., но, вероятно, мне и тогда подумалось, что прямого участия в политической работе он не принимал. В первый раз я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков.

Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии.

С оживлением сообщил он мне о своем желании устроить как можно скорее самостоятельный вечер стихов. Ему хотелось действовать на свой страх и уже не ради простого концертного успеха; он верил в свою личную популярность и значительность голоса поэта Есенина в громах событий. Тем не менее организовал он свое выступление не вовремя и достаточно наивно.

Он наставлял, чтобы вступительное слово («присловье», как впоследствии по его желанию было напечатано в афише) читал я — не присяжный критик, но зато свой человек. Напрасны были мои уверения, что это будет с моей стороны возмутительным дилетантством и что крестьянская линия в поэзии недостаточно мною осознана. Сергей и слышать ничего не хотел.

Через несколько дней я принес ему мою работу с новым отказом ее огласить. Но Сергею неприятная статья моя очень понравилась. Кажется, ему особенно по душе был анализ соприкосновения его поэзии со стихами Клюева и выводы в пользу полной самобытности Есенина. «Вот дурной! Да пойми сам, что ты лучше всех меня понимаешь». Мы вместе вышли на улицу посмотреть на толь-

ко что развешанные афиши: «Б среду 22 ноября 1917 года состоится вечер поэзии Сергея Есенина: автор прочтет стихи из книг «Радунница» и «Голубень», поэмы «Октоих» и «Пришествие». Сергей был уже в прекрасной меховой шапке и хорошей шубе, с румянцем на щеках, очень крепкий и светлый, не тот, каким его знали недавно.

Правда, и тогда бывали минуты, когда в глазах его появлялась грустная сосредоточенность и голос начинал звучать тихим «уходом в себя», но говорил он о будущем всегда с дерзкой, веселой верой в свою силу и требовательно грозил в пространство кулаком, похожим на длань пророка и щепящую лапу...

Мы полюбовались на афиши и пошли бродить. Сергей говорил о революции — по-своему, сумбурными образами и метафорами... И, конечно, читал новые стихи, в римах и символах которых я должен был уловить не объяснимое словами. В полумрачной слякоти — без уличных фонарей, с редкими огнями в окнах и лужах — стоял над нами Октябрь, веселый и мрачный, беспокойный и необыкновенный.

В такой черный вечер отправились мы и на выступление Сергея в Тенишевское училище. Публики было очень мало, вся она сбилась в передних рядах: с десяток-другой людей от литературы и общественности, несколько друзей, несколько солдатских шинелей да какие-то районные жильцы (иначе в те дни и быть не могло).

При скудном освещении, один на эстраде, в белой русской рубашке, Сергей был очень трогателен и хорош. Читал он с успехом, так что отсутствие публики в результате его не очень огорчило. «Радунница» действовала, как всегда, беспринципно. Поэмы были приняты слабее. В артистическую собрались слушатели-общественники, и в отдельных кучках было настроение диспутирующее. Доклад мой поругивали. Незнаемый молодой критик взял его в карман для ознакомления и потом так и не вернул...

В доме № 33 по Литейному молодые Есенины наняли во втором этаже две комнаты с мебелью, окнами во двор. С ноября по март был я у них частым, а то и ежедневным гостем. Жили они без особенного комфорта (тогда было не до того), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно... И он и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были настоящими «молодыми». Сергею доставляло большое удовольствие повторять рассказ о своем сватовстве, связанном с поездкой на пароходе, о том, как он «окурился» на лоне северного пейзажа. Его тогда еще не очень избалованного чудесами, восхищала эта неприхогливая романтика и тешило право на простые слова: «У меня есть жена». Мне впервые открылись в нем черточки «избяного хозяина» и главы своего очага. Как-никак тут был его первый личный дом, закладка его собственной семьи, и он, играя иногда во внешнюю нелюбовь ко всем «порядкам» и ворча на сновывающие мелочи семейных отношений, внутренне придавал укладу жизни большое значение. Если в его характере и поведении мелькали уже изомы и вспышки, предрекавшие непрочность этих устоев, — их все-таки нельзя было считать угрожающими.

В требующей, богучей атмосфере послеоктябрьских дней этот временный кров Сергея и его нежная дружба были притягательны своею несхожестью ни с чем и ни с кем другим. В молодых литературных кругах расплылось и растерялось многое, а он, сохранивший еще тогда первоначальную целостность, переживал революцию по преимуществу внутри себя и своей поэзии... И прежде всего — он был еще по-рязански здоров, он был «крестьянский сын», и на лире его были натянuty живые крепкие мускулы.

Бывало, заходил я к ним около полудня. Сергей нередко вставал поздно и долго мылся и теряя полотенцем в маленькой спальне. Но иногда я с утра заставал его в большой «приемной» комнате за столом и, не отрывая его от работы, тихонько беседовал с его женой.

Исправив строчку или найдя нужный ему образ (неизменно космический!), Сергей, нежно поприветствовав гостя — меня или другого, — начинал без разбору

распоряжаться: «Почему самовар не готов?», или «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или «Ну, налей ему еше!»

У небольшого обеденного стола близ печки, в которой мы трое по вечерам за тихими разговорами пекли и ели с солью картошку, нередко собирались за самоваром гости. Из них в то время очень желанными и «своими» были, насколько я помню, А. Чапыгин, П. Орешин и художник К. Соколов (все трое не изменяли Сергею в преданной дружбе).

Чапыгин — спокойный, укладистый, уютный, с отеческим юмором, самый старший; Петр Орешин — неразговорчивый, бледный, сумрачный, тесно уязвленный, по виду — типичный городской пролетарий; Константин Соколов — наш общий с Сергеем друг — кидаящийся, всклокоченный, в очках, очень русский художник и человек; меня за некоторые мои слабости Сергей именовал «русским Гамлетом» и находил, что у меня «произведенный ум»...

В эти месяцы были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции. Их немного, но тогда казалось, что они заполняют его время словесной лавиной. Идея избранничества томил его разум мировыми размахом; эсхатология крестьянской Валгаллы, где собственный дед дожидается его «под Маврикийским дубом», где мать его прыдет лучи заката, был его единственной религией; он был весь во власти образов своей «есенинской библии»; его пророческое животное, рязанская красная корова, именем которой он поражал салоны, с растущим задором возводится им в символ божества. В редко роняемые им лирические стихи западает символика этих мужичьих пророчеств.

За чайным столом, едва положив перо и не трогая еды (ел он вообще мало), Сергей, страстно сосредоточенный, насунувшись, читал только что написанное своим друзьям, тряс головой и бил кулаком по скатерти. В таком непрерывно создающем состоянии я его раньше никогда не видел. Прочитав, он, довольный собой, улыбочиво и просто спрашивал, как всегда: «Ну что, нравится тебе?» Но недооценка его стихов таким критиком, как я, его несколько не трогала, а на мелкие стилистические и метрические поправки он ни за что не соглашался и, немного подумав, отвечал на замечание хитрой улыбкой: сам, мол, знаю, что хорошо и что худо.

Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице как о некоем реально существующем граде и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония — иная страна».

В дни, когда он был так творчески переполнен, «пророк Есенин Сергей» с самой смелой органичностью переходил в его личное «я». Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией; но это все-таки было бесконечно больше, чем литература. Его любимыми книгами в это время были библия в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он по-новому открыл их для себя, носил их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, русская земля, ты уже за горю!»

С наступлением революции он, уже по свободному почину, крупными шагами шел навстречу большой интеллектуальной культуре, искал и приобщающих к ней людей (тяга к Андрею Белому, Иванову-Разумнику, чтение, правда, очень беспорядочное, поиски теоретических основ, авторство некоторых рецензий и пр.).

Но одновременно именно в эти дни прорастала в нем подспудная потребность распоясаться в себе, поднять, укрепить в стихах этой культуры все корявое, соленое, мужичье, что было в его доколе невозмущенной крови, в его ласковой, казалось, не умеющей обидеть «ни зверя, ни человека» природе.

Этот крепкий деготь бунтующей, неожиданно вскипающей грубости, быть может, брызнул и в личную его жизнь и резко отразился на некоторых ее моментах. И причина и оправдание этой двойственности опять-таки в том, что он и тогда — такой юный и здоровый — был до мучительности, с головы до ног поэт, а «дар поэта — ласкать и карябать».

С Блоком в то время было у него внутреннее расхождение, о котором я упоминал выше. В холоде, который он почувствовал к Блоку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос «первого русского поэта» в период Октября. Ни «Скифы», ни «Двенадцать», казалось, не тронули Сергея.

Не помню подробностей общения его с Белым, с которым я не был знаком. Но зато к новым книгам и стихам Белого он относился с интересом и иногда с восхищением. Нравился ему и, как ни странно, казался лично близким «Котик Летаев». Некоторую кровную связь с Белым он хотел закрепить, пригласив его в крестные отцы своего первого, тогда ожидаемого, ребенка. Но впоследствии крестным его дочки Тани, родившейся после отъезда Есениных из Петрограда, записан был я. Белый крестил второго «есененка» — Котика.

С большим уважением и любовью относился Сергей к Иванову-Разумнику, с которым неизменно встречался по делам практическим и душевным. «Иду к Разумнику, покажу Разумнику, Разумнику понравилось», — слышалось постоянно. Статьи Р. В. Иванова, принимавшего Есенина целиком, как большого поэта революции, совершенно удовлетворяли и поддерживали Сергея. Такой «отеческой щедрости» он, наверно, ни позже, ни раньше не находил ни у кого из авторитетных критиков.

Вся эта эпоха запомнилась мне, как еще очень здоровая и сравнительно счастливая. Ни о каком глубоком разочаровании и надрые не могло быть и речи. Только изредка вспыхивали при мне в Сергее беспокойная тоска и внезапное сомнение в своей мирной удовлетворенности. Чаще всего эти маленькие срывы, эти острые углы пробивались в наших разговорах на улице, когда мы провожали куда-нибудь друг друга. Но перелом в жизни Сергея произошел не на моих глазах: им начался предстоящий ему бурный московский период...

IV

Шесть лет я совершенно не видел Сергея и не переписывался с ним... Про него доходили из Москвы неправдоподобные, на мой взгляд, слухи — об его эпатирующих костюмах, цилиндре, гримировке, о дебоширстве, о том, что он стал эдептом и даже верховодом не дошедшего еще до петербургских обывателей имажинизма. Кое-чему приходилось верить, но представить себе таким былого Сережу я не умел. Новые стихи его, печатавшиеся в дни военного коммунизма чуть ли не на оберточной бумаге, не были мне известны... Соединение имени Есенина и Дункан, которой я восхищался, еще будучи подростком, казалось непостижимым и неприятным парадоксом.

За несколько месяцев до приезда Сергея в Ленинград в 1924 году мне пришлось слышать его голос, записанный на валике диктофона в Институте истории искусств. Насколько чужим казался этот голос, настолько блестящей была его читка монолога Хлопуши с отчаянным, ударяющим криком: «Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!» Только в напористых «р» и в знакомом «о», звучащем иногда как глухое, упрямое «у», узнал я прежнего Сережу и представил себе его буйно взмахивающую голову.

Наконец весной появились на улицах афиши, возвещающие о его приезде; на них огромными буквами: «Есенин» — и рекламный зазыв в духе московских имажинистов. С волнением пошел я в зал б. Городской думы увидеть Сергея, живого и нового. Работа, как назло, задержала меня, я пришел в разгар вечера и остановился у дверей около усиленного наряда милиционеров. Не забуду моего первого впечатления.

На скамье, над сгрудившейся у эстрады толпой, освещенный люстрой ярче, чем другие, кудрявый, с папироской в руке, с закинутой набок головой, раскачиваясь, стоял и что-то говорил совершенно прежний, желтоволосый рязанский Сергунька. Голос его звучал сипло, и в интонациях была незнакомая мне надрывная броскость. В зале было беспокойно, публика шумела, слышались выкрики: «...Перестаньте разговаривать! Читайте стихи, стихи!»

На большой скамье по обеим сторонам кидавшего в толпу плохо слышные, отрывистые, заумные фразы Сергея сидели, по-видимому, ленинградские имажинисты; они шептались, ерзали, неловко улыбались и имели вид ожидающих скандала администраторов этого зрелища.

Наконец, когда дело подошло, казалось, вплотную к скандалу, он сам крикнул: «Я буду читать стихи!»

И начал «Москву кабацкую».

Читал он прекрасно, с заражающим самозабвением. И чем дальше, тем ярче, основательнее ощущалась происшедшая в его поэзии и в нем самом болезненная перемена. То «лирическое волнение», которое в ранние годы только светилося и бродило в нем мальчишеской мечтательностью и удалью, те вызовы миру, которые в дни революции так зрели и крепили в кипении здоровых сил, — теперь замутились и мучительно слились с горестной затравленностью. Теперь стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния...

Его упрямые жесты рукой, держащей погасшую папироску, знакомые, резкие, завершающие движения его золотой головы ни на минуту не казались актерскими, но придавали ему вид воистину поющего, осененного поэта.

Необыкновенно хорошо прочел он свои «Годы молодые»: от прежнего молодецкого размаха первых выкриков особенной нежной скорбью притушились последние строки:

.. как ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли,—
Синие твои глаза .. в ка-ба-ках... промокли...

На этом, махнув угловато рукой, он сошел со скамьи и, не глядя на публику, быстро прикурил от чьей-то папиросы. Ему рукоплескали шумно, восторженно... Было что-то невыразимо грустное в этой несправаданной победе нового Есенина и в обстановке, среди которой она произошла.

Его увели, объявили перерыв. В артистическую комнату ломались многие, меня долго не пускали, грубо отказываясь сказать обо мне Есенину. Его охраняли, как знаменитого артиста. Недавнее настроение скандала еще висело в воздухе. Наконец, когда я, отчаявшись и решив ждать у дверей его выхода, в третий раз прокричал, что я его старый друг, меня пустили...

С моргающей улыбкой, точно неуверенный, я ли это, он взглянул на меня и пошел мне навстречу с протянутыми руками. Мы долго не умели ничего сказать, кроме: «Ну, какой ты? Покажись! Вот ты какой!» — но, казалось, что шести лет разлуки не было. Новее всего во внешнем облике Сергея было для меня его очень бледное (я не понял, что запудренное) лицо. Но улыбка была та же, никакого Парижа!..

Он стал быстро водить меня под руку по комнате, любовно перебирая кое-какие дорогие ему имена из нашего прошлого: от кого-то ему были известны мелкие подробности моей жизни. В нем был некоторый лоск, своего рода изящество, модный пиджак сидел на нем прекрасно, но чем-то неуловимым — то ли неизменным рязанским акцентом и междометиями, то ли вот этой манерой заботливо закручивать вокруг горла теплый шарф — он больше походил на раннего, весеннего Сергуньку, больше даже, чем на женатого Сергея дней революции и на того московского денди, каким успел стать. Он звал меня ехать куда-то компанией по окончании вечера и при этом все оглядывался на бывших в комнате лиц, которые, очевидно, должны были его сопровождать. Не знаю почему — я предпочел перенести наше свидание на другой день. Он дал мне адрес дома № 1 на Гагаринской, но, видимо, не мог ручаться, что будет именно там. «Тебе там скажут... ты уж найдешь...»

...Его долго не отпускали. Молодежь толпой взобралась на эстраду и окружила его. Помню его стоящим на стуле, уже в шубе, с меховой шапкой в руках, сникшего, совсем охрипшего среди возбужденных юных лиц.

Прощальные стихи он прочел точно в полусне, почти перейдя на шепот. Те строфы, которые в печати пестрели многоточием за «не принятые в обществе» слова, прозвучали грустно-грустно, чистейшим и трогательным — «есенинским» — лиризмом.

Наконец кто-то надел ему на голову шанку, и его увели, почти неся на руках¹.

На другой или на третий день мне удалось застать его на Гагаринской...

Не умею обобщить всего, что он рассказал мне о себе вечером и ночью, передам отрывочно то, что запомнилось.

В продолжение часов десяти — до рассвета — я видел его поочередно и трезвым, и очень пьяным, и вновь прояснившимся, особенно милым и нежным. Его рассказ лился непрерывно, он не успел даже прочесть ничего из стихов, и я сам о них не думал. Наш город продолжал радовать его и обещать новую жизнь. Он решил обосноваться здесь, у хорошего приятеля (по московским годам и перепалкам), в трех комнатах, которые скоро освободятся. Он звал меня на время моего летнего одиночества переехать к нему и, сам решив за меня этот вопрос, заботливо спрашивал, не стеснит ли меня, если через некоторое время он будет не один... Но в дальнейшем ему хотелось зажить иначе и поставить некоторый предел своей божьей обстановка. Он мечтал перевести сюда учиться своих сестер. Ему особенно хотелось показать мне младшую сестренку, наружность и душу которой он очень хвалил. «Тебе, именно тебе, она непременно понравится, я уж знаю», — повторял он с гордостью.

...Про Запад он рассказывал беспорядочно и сбивчиво, перебрасываясь от смешной наивности к острым наблюдениям, точно радуясь тому, что он не принял Европы и она не приняла его. Но проскальзывала тут и уязвленность, неприятная ему самому. Я почти не помню сейчас отдельных поведенных им эпизодов, часто интересных только тем, что их трагикомическим, а иногда и трагичским участником был он, Сергей Есенин, русский поэт. Точно отталкиваясь от всего бесплодно пережитого там, он с заносчивостью говорил, что все это, «всю Европу», пришлось ему видеть с птичьего полета, «с аэроплана». Заграничные встречи не принесли ему ни одной приятной минуты, ни один из эмигрировавших литературных знакомых его не приветил. Он не скрывал, что возвращение его на родину было бегством от Запада и от любви...

...На Москву он был, видимо, сердит. За спиной осталось много теснящего и раздражающего. Московских собратьев, не внушавших на расстоянии никакой симпатии, он защищал, но не без улыбки. У него, за исключением редких жестких и часто несправедливых минут, все в его личном кругу были «хорошие люди». И теперь, не меньше чем в юности, он казался замороженным этой цемьющей нежностью к людям, этой рассеянной слезотой, уживающейся с зоркостью резкого

¹ В эти же дни состоялось еще одно выступление Сергея, более интимное, в доме Самодеевского (будущего Апп) театра. Вся атмосфера вечера была не похожа на думскую. В памяти присутствующих он остался светлым и Сергей сам был им очень доволен. Публика была не утиная, не обывательская, «ариянская», преобладала театральная молодежь нового призыва. Прихода Есенина ждали долго. В десять часов вечера друзья под руки провели его по залу между рядами; он был в шубе, с волосами, подобными nimbu, в руках цилиндр. Его встретили овацией, он радостно улыбался во все стороны. Его дружеское, «родственное» отношение к собравшимся соответствовало приему, он только раз, да и то мягко, вскрикнул против раздававшихся в зале нападков на окружавшую его группу «мажористов», пояснив, что они его товарищи и он очень просит их не обижать. Его спутники, не смущаясь ничем, заполнили своими крайне крикливыми декларациями и стихами солидную часть вечера. Тут и произошла заминка. Публика стала настойчиво и сердито вызывать «одного Есенина». Тогда Сергей тоже сказал свое слово. Начав с защиты друзей он —вольно или невольно — спроверг многое из сказанного ими. Его выводы были таковы: напрасно меня считают крестьянским поэтом («Вот Клюев на меня обижается!») напрасно «вот они все хоть они друзья мне, считают меня своим» «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт». Читал он очень много, все, что мог, с повторениями. Вечер превратился в настоящую бурю восторга по его адресу.

ума. В жизни его дружба и товарищество продолжали занимать почетное место, они поддерживали и облегчали его

...В одну из тихих минут задумался он о не оставленной еще надежде жениться на хорошей, верной девушке, которую все не удается встретить. Но это так — только мелькнуло. Больше всего было воспоминаний. Со мной надежнее, чем с другими, мог он, ничего не объясняя, говорить о прошлом, о той полосе его личной жизни, которая началась у меня на глазах в октябрьские дни и, видимо, не переставала все эти шесть лет его мучить. И отбрасывая эту язвящую его тему, он за новым стаканом возвращался к ней опять, то с болью укоряя, оплевывая самого себя, то с нарочитой бранью обвиняя других, то рассказывая, как он был жесток и груб, то ударяя кулаком по столу и уверяя, что «нельзя, нельзя было иначе». И буйствуя и успокоиваясь, он настаивал на том, что это в его жизни было первое и главное, то, что не сможет никогда забыть...

Такой длительной и «раскрывающей» встречи у нас больше не было, хотя я и старался часто заглядывать к Сергею. На некоторое время он уезжал в Москву и опять возвращался — все еще без вещей, «постояльцем» с чемоданом...

В течение этих месяцев он гостил, пил и читал в незнакомых мне семьях и обществах. Кажется, его почетно и дружески принимали литературные круги. Но некоторые лица «с глазами кроликов», с которыми иногда приходилось его встречать, поражали своим внешним несходством с ним самим.

Что объединяло их, кроме расейской забубенности, в которой воспялялись их тусклые глазки, а его глаза темнели подлинным страданием и от которой погиб только он один? В большинстве случаев у них был подозрительно-довольный и весьма не одухотворенный вид. Но он явно искал у них тепла, нежно прислонялся к ним, а они умели слушать его песни и по-своему были ему верны, в то время как иные, более «почтенные» друзья, понимаясь, отходили от него в свою скорлупу.

...И опять проблеском — трезвая, ясная собранность, в свете которой являлся из этого тумана живой и настоящий Сережа... Таков был один вечер, тоже «без денег и вина», но приятный. Сергей в библиотеке, очень тихий, деловитый, разбирающий книги, влезая на лесенку. Перелистывал, когда я вошел, Глеба Успенского, но, отложив его в сторону, заговорил о тяге своей к настоящим классикам, к магистрали русской литературы. Его лицо было серьезно, он совсем не шутил, на лбу — морщинки, в глазах — еще новая для меня зрелость. Он весь был погружен в созерцание своего большого писательского дела. Показывая мне корректуры собрания своих стихов (тогда предполагалось два тома), он оценивал их как законченный этап. Имена Пушкина и Гоголя мелькали в его четких замечаниях. К стыду моему, я не сумел разглядеть тогда его культурного роста, давно перешедшего за грани знакомого мне ребячества.

Незадолго до отъезда он утром, едва проснувшись, читал мне в постели только что написанную им «Русь Советскую», рукопись которой с немногими пометками лежала рядом на ночном столике. Я невольно перебил его на второй строчке: «Ага, Пушкин?» — «Ну, да!» — и с радостным лицом твердо сказал, что идет теперь за Пушкиным...

Мы не простились с ним как следует. («Так я и не увидел тебя перед отъездом», — написал он мне через полгода.) Уехал он с безалаберной экстренностью, на день раньше, чем думал, намереваясь через две недели ликвидировать дела в Москве и перевезти сюда все свои вещи и обосноваться тут надолго. Но обещанного со дня на день его возвращения я так и не дождался...



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

О. ЧАЙКОВСКАЯ

★

ПРИРОДА И ВРЕМЯ

(Заметки о пейзаже в современной литературе)

В русской литературе всегда были великие знатоки и изобразители природы, и в поэзии и в прозе ей отведено немалое место, причем в прозе она не менее поэтична, чем в поэзии. Роль, которую она играет, весьма разнообразна: то она служит фоном, на котором разыгрывается действие, то как бы аккомпанементом к происходящему, дождями оплакивая грусть героев или солнечным блеском утверждая их счастье. Она дает повод для философских размышлений, материал для аналогий, аллегорий и символов — порою символов великих и знаменитых, подобных дубу в «Войне и мире», раздавленному колесом репейнику в «Хаджи-Мурате» или «клеяким листочкам» Достоевского. Иногда она являлась нам в произведении героем, как то было в «Записках охотника» или в чеховской «Степи».

Словом, XIX век оставил нам в наследство великие традиции пейзажа и замечательные образцы его.

В литературе советской поры природный мир играет тоже немалую роль, причем современный герой, более энергичный и деятельный, нередко сталкивается с природой, как с противником, которого нужно преодолеть и побороть — строят ли герои города, проводят ли дороги, возводят плотины или идут на помощь друг другу через тайгу и метели. Но вряд ли стоит доказывать, что лирическая и философская темы природы в нашей литературе никогда не прерывались: достаточно назвать имена Пришвина или Паустовского, чтобы в во-

ображении встал целый мир — луговой, лесной, озерный, — мир не только поэзии, но и мысли.

«Просто глядеть! — пишет Владимир Тендряков. — Полные, то ленивые, то быстрые реки. Плоты кувшиночных листьев в черных заводях. Сумрачное серое небо, опускающееся до жесткой щетины еловых лесов. Серые, под воробьиный цвет избы, шипели дряхлых церквей среди них. Просто глядеть! Ведь когда-нибудь можно же доставить себе такое скромное счастье».

«Просто глядеть!» Всякому ясно, что это стремление совсем не так просто. Напротив, с ним связаны очень сложные душевные переживания, и нам хотелось бы понять, почему они возникают и к чему приводят.

Тендряков называет тягу к природе ностальгией, тоской по родине. «В ту пору, когда на столичных скверах лопались почки, начиналась тоска по зелени, настоящей зелени, не огороженной чугунными решетками Тверского бульвара, не подстриженной старательными садовниками на газонах, по зелени вольной, необхожденной, избыточной. Вечерами задирал голову кверху, надеялся увидеть закат, пусть городской, пыльный, тусклый, но дома закрывали его. Хотелось услышать запахи распаренной влажной земли, но проносившийся грузовик обдавал ароматом бензина».

Я думаю, что эта «тоска по родине» посещает не только бывшего жителя деревни — коренной горожанин, если он хотя бы раз близко соприкоснулся с природой,

обычно ее уже не забывает, ему кажется, что новая встреча с ней обязательно впереди.

Что она такое, эта тяга к природе? В чем ее смысл? На этот вопрос можно было бы, наверно, ответить, исследуя пейзаж в литературе любого периода; мне представилось наилучшим избрать для этого современную нам прозу — примерно последних десяти лет. Она, несомненно, — в лучших своих образцах — впитала в себя традиции великих наших предшественников и, кстати сказать, обладает особенностями, для нас не безынтересными.

Одна особенность бросается в глаза: интерес к природе в последнее время сильно возрос, причем все чаще появляются произведения, где она служит не фоном, не аккомпанементом и не поставщиком символов, но как бы героем произведения и главной темой его.

В повести Ефима Дороша «Четыре времени года» много действующих лиц, несколько сюжетных линий, немало злободневных проблем. И одним из главных героев — так покажется вам, когда вы закроете книгу, — стало здесь озеро. Дело не только в том, что события по большей части разворачиваются на берегах этого водоема или что вопросы, связанные с его мелиорацией, так важны для действующих лиц и для самого автора. Ежедневная жизнь озера, его воды, его льдов, его берегов и зарослей, становится тоже как бы содержанием повести.

В первый раз вы видите его ранней весной во время ледохода, когда «навстречу весенним ручьям, впереди качающейся плены дождя, закрывшей противоположный берег, встают и движутся льдины. Свинцовые, шершавые, поблескивая на изломе, обнажая белую, скользкую и почти прозрачную подводную часть, льдины налегают друг на друга, обламываются, тонут, лезут из воды».

И вот разлив. «Река выходит из берегов, заливаает луг, течет между стогами сена».

Между рядами еще не убранного картофеля появляется вода.

Кормившийся в ивовых кустах лось перестал жевать ветку, втянул ноздрями воздух, повернулся и зашагал прочь, а вслед за ним, завихряясь вокруг каждого прутника, бурля и посвистывая, течет ивняком вода.

Падает и падает в поблескивающее водное пространство плотный, тяжелый дождь. Намокшие стога сена, недвижимо темневшие посреди воды, колыхнувшись, медленно трогают с места, плывут, постепенно разваливаются».

Все очень просто — вода, ивняк, стога. Но на что ни укажет писатель, все становится на удивление привлекательным — и поднимающийся прямо из воды тростник, и «черный береговой ил, истоптаный скотиной», который «пестрит лужицами, налившимися в следы от копыт».

И привлекательность эта как-то связана с тщательностью, подробностью описания.

Не пытаюсь устанавливать какие-то законы, отметим только, что, как нам кажется, многие современные писатели стремятся к более детальному изображению природы.

Некогда описание боярышника у Марселя Пруста, занимающее что-то около двух страниц, вызывало удивление. Сейчас подобные описания уже не удивляют. Вот как, например, описывает Владимир Солоухин в своих «Владимирских проселках» нехитрую ягоду бруснику и ее «соседей» по бору:

«Все знают, как красиво и заманчиво выглядывают по осени из темной глянцевиной зелени яркие кисточки брусники... но мало кто замечал, как цветет этот вечно зеленый боровой кустарничек... Нужно только не полениться сорвать несколько веточек, а еще лучше опуститься на колени и бережно разглядеть».

То, что издали казалось одинаковым, поразит вас разнообразием. Вот почти белые, но все же розовые колокольчики собрались в поникшую кисть на кончике темно-зеленой ветки. Каждый колокольчик не больше спичечной головки, а как пахнет! Это и есть цветы брусники...

А вот собрались в кисточку крохотные белые кувшинчики с яркими красными горлышками. Кувшинчики опрокинуты горлышками вниз, и из них целый день летит и летит аромат. Это целебная трава толокнянка. Нет, только издали похожи друг на друга боровые цветы. Если взглянуть — по тонкости работы, по изяществу и хрупкости ничем не уступит брусничный колокольчик другому, большому цветку».

Все это, как видно, было радостно и интересно писать и, несмотря на, казалось бы, излишне подробную детализацию, ин-

тересно читать. А поскольку природа бесконечно разнообразна, то и возможности здесь открываются безбрежные.

Писатели, словно бы вступив в соревнование друг с другом, словно бы наперегонки ищут новые детали, иногда более точные, а иногда просто более подробные.

Однако тут возникает и опасность. Живые подробности, которым, кажется, нет предела, на самом деле нестойки и недолговечны. Возьмем, к примеру, вскрытые снежных сугробов или росу, эти разноцветные огни в свежих травах. Каждый раз в жизни они вас трогают, производят впечатление. Только вот беда: в литературе они повторялись так часто, что уже перестают сверкать. И когда Солоухин написал: «Висят на траве крупные седые капли» — они для нас тоже уже не были новостью, хотя это и неплохо сказано.

Передо мной сборник рассказов Юрия Куранова «Белки на дороге». Многие из этих рассказов являют собой картинки природы. Правда, мелькнут здесь иногда и люди, возникнет тот или иной, по большей части весьма несложный сюжет, но главное, что влечет автора, это, конечно, природа. Полдень. Туман. Можжевеловник. «Ветер в еловых стенах». Вечерние взгорья, покрытые тревожно бегущими травами: луна, просвечивающая сквозь тучу и похожая на размытый кусок янтаря; лужи, где «гуси плывут в небесах под ногами», так что кружится голова; и сверкающие «голубые топоры», которыми в грозу под молниями мужики рубят избу. — все это подмечено зорко, точно передано и ясно ощутимо. Все это нужно.

Однако порою подробности эти становятся как бы слишком назойливыми, и автор вдруг начинает вас безудержно зазывать: «Слушай, слушай, как звенят в эту пору расклевывшиеся на все небо березы!.. А смотри, смотри, какой золотой снег сыплется в поля и рощи!.. Подними, встряхни на ладони рыжеватые легкие снежинки и догадайся...» Когда тебя так действительно упрямывают, почему-то не хочется не только догадываться, но даже и смотреть.

Пейзажные дебюты Ю. Куранова были хорошо встречены, привлекли общее внимание. Автору, привыкшему к пейзажным удачам, начало казаться, что стоит только поставить хорошую природную декорацию — и на фоне ее можно разыгрывать любой сюжет. Это заблуждение с особой

очевидностью сказалось в последних его рассказах.

Рассказ «Острова» был задуман автором как «бессюжетный», его суть, по-видимому, должна была заключаться в отгнетках психологических переживаний героев, в самом поэтическом настроении вени. К решению столь сложной задачи автор пошел самым легким для себя путем — он загнул свой рассказ пейзажем. Туманы, дожди, острова и заливы, дощатые плоскодонки, чайки и лоси — все это должно было создать ту атмосферу поэзии, без которой рассказы подобного типа вообще существовать не могут. Герои поочередно берут лодку, «расправляют весла» и плывут. Они бродят в тумане, или под дождем, или под звездным небом и слышат, «будто где-то поет девочка» (это «будто где-то поет девочка» писатель делает как бы рефреном рассказа).

Однако из всего этого ничего не получилось: переживания героев не очень любопытны. Пейзаж и сюжет отклонились друг от друга и стали друг другу не нужны. Да и сам пейзаж на этот раз у Ю. Куранова не нов и не интересен, что уж совсем обидно, поскольку речь идет о писателе, свежо и остро чувствующем природу.

Писатель думал пригнать лиричность своим героям, окунув их в туманы, дожди и звездный блеск, а когда чигаешь, трудно отделаться от впечатления, что это туман, все, так сказать, поэтическая растушевка призвана прикрасить бледность и худосочность образов героев.

Все эти попытки — поэзией природы возмещать нехватку поэзии отношений, пейзажем дополнить недочеты психологические — не так уж редки в литературе. Разве не случилось нам видеть, как писатель, бесслышный передать грусть героя, спасительно заслоняется унылой картиной непогоды?

Такого рода «эксплуатация» природы принимает порой самые разнообразные формы. Надеюсь, что природа сама собой — стоит только «подбавить» ее в надлежащем количестве — привнесет в повествование красоту, взволнованность, лиризм, иные литераторы погружают нас в далеко не поэтический мир — не красоты, а красотостей.

«В Киеве цвели каштаны», — так начинается Виктор Тельпугов рассказ «Киев, весна, каштаны», где, впрочем, говорится и не о Киеве, и не о весне, и не о каштанах, а о

том, как сын инженера Прокопенко Сашко решил ехать на целину.

Вновь о природе писатель вспоминает лишь в самом конце рассказа. «В Киеве цвели каштаны,— как бы сначала начинается он.— Цвели буйно, мириадами лепестков облепляя фасады зданий, делая весь город бледно-розовым сверху донизу, будто он только что вышел из большой весенней побелки».

Нетрудно заметить, что пейзаж является здесь собой веселенькую цветную рамку, в которую вставлен поучительный эпизод из жизни семьи Прокопенко. Вместо этой картинки можно было бы вставить какую-нибудь другую.

Порою литераторов влечет к природе жажда многозначительности, они ищут в ней символов — по большей части тоже возвышенных и жизнеутверждающих. Поверженный дуб, пустивший молодые побеги, в таких случаях вполне устраивает их.

У В. Тельнугова есть рассказ «Чудо-дерево» — о небольшом деревце, коренастом и крепком, роняющем ранней весной прямо в сугробы свои легучие желтые семена. Автор долго стоит перед деревом и дивится. Подходящий прохожий и тоже удивляется. Откуда такая сила?

«Мимо идет поезд. Семена лежат в его сторону, будто хотят уцепиться за поручни, уехать в другие края... На дощечках вагона читаю: «Москва — Челябинград».

Значит, вырастут такие вот чудо-богатыри и в казахской степи — под Карагапдой, Кочетавам, Акмолдой. Кто бывал там, тот видел на открытом всем ветрам плоском берегу Ишима тонкие, упрямые прутьки, гордо вознесенные к бурому, быстро лежащему небу».

Здесь дерево уже не только символ жизненной сил. Оно «обслуживает» сугубо конкретные, злободневные требования момента.

Я привела эти примеры, чтобы показать, с каким простодушным утилитаризмом подчас относятся авторы к пейзажу, как «кромсают» его, быть может, с самыми лучшими намерениями, вырезая из него цветные рамочки, вставные картинки, возвышенные символы и разного рода лирические заплатки. Здесь нет никакой тяги к природе, нет даже простого внимания к ней, а стало быть, нет проблемы и не в чем искать смысл. Если мы задаемся вопросом, зачем нужен в литературе пейзаж, то ответ здесь может быть только один: **незачем.**

Другое дело — произведения, где природа входит как неотъемлемая часть содержания, где она определяет собою структуру вещи, ее настроение, выражает чувства автора, несет в себе его заветные мысли.

Мы, разумеется, несколько преувеличили, когда говорили о том, как нестойки природные образы, как быстро умирают они под литературным пером: если бы это было всегда так, то описания природы никто бы не читал, их просто пропустили бы в тексте как ненужное. Между тем в произведениях, предположим, таких писателей, как Дорош, Тендряков, Казаков, Солоухин, их не только не пропускают, но читают со вниманием.

Тем сильнее желание понять, что влечет писателя, а также и читателя к природной теме. Кому нужны, скажем, эти мельчайшие цветочки брусники? Почему они нам милы? Потому что красивы? Но в природе, кстати говоря, не все красиво. Например, много прекрасных (иногда вполне прекрасных) слов было сказано об осенних листьях, но вот как точно увидел их Эдуард Шим в «Королеве и семи дочерях». «Мы привыкли повторять: «Золотые листья», — пишет он, — а листья совсем не золотые. Старая, лист делается как бы промасленным, грязновато-прозрачным; мелкие дырочки видны на просвет, края листа сморщиваются и темнеют, как обгорелые, — медленный огонь тления уже коснулся их... И все же грязные, загнивающие листья, облепленные паразитами, прекрасны... Это ли не чудо — грязь, тление, смерть, вдруг обернувшиеся красотой?»

Казалось бы, вопрос о том, почему писатели так часто и подробно изображают природный мир, равнозначен другому вопросу, более общему: зачем вообще человеку нужно искусство? Почему Гольбеину, когда он писал своего французского паста с его легкой сквозной бородой вокруг тяжелого лица, понадобилось писать не только лицо, но и камзол с его дорогим мерцающим шитьем, на котором видны легшие неровно золотые стежки? Зачем ему и нам этот камзол и эти стежки? Да, действительно, в описаниях природы мы видим ту же жажду человека правдиво рассказать о жизни средствами искусства, повторить ее в достоверном изображении, осмыслить и сделать таким образом своей.

Правда, часто в угоду собственному на-

строению или душевному состоянию своего героя автор мало заботится как раз об абсолютной достоверности в описаниях природы, наполняет ее человеческими радостями, печалью и страстями. Романтики любили «пустыни, волн края жемчужны, и моря шум, и груды скал», им нравилось разыгрывать свои трагедии при блеске молний и громовых раскатах. В сущности, газетное и не раз осмеянное: «Казалось бы, сама природа радуется (или скорбит) вместе с людьми» — бессознательно присутствует иногда и в художественной литературе. Вспомните описание леса у Тендрякова в «Суде», леса, полного предчувствием несчастья, которому предстоит здесь произойти.

Всякому ясно, что ни грозам, ни бурям, ни лесам нет никакого дела до наших душевных переживаний, между тем Сальватора Розу с его демоническими пейзажами в этом было бы трудно убедить. Да и каждый из нас невольно и неизбежно одушевляет природу во всех ее проявлениях и видах. Речка для нас дремлет, солнце кажется ласковым или, напротив, безжалостным, а животные уже и вовсе ведут себя по-человечески.

Вот как пишет Г. Троепольский в своем очерке «В камышах»: «Неистово чирикают воробьи, размахивая ногами пиджачков и наскакивая друг на друга задиристо и безрассудно, упоенные любовью и оглушенные ревностью, потерявшие всякий воробьиный облик в этой вакханалии. Еще недавно он, такой доверчивый и смиренный попрошайка-воробышек, сидел на форточке при последней поземке и ныл. «Чик-чирик! Подайте Христа ради! Чик-чирик! На бедность и погорельцев — чик-чирик!»

Антропоморфическое вторжение в природу не мешает, а подчас, напротив, помогает автору видеть ее поэтически. Таково, например, описание у Г. Троепольского «свадьбы» цапель.

«Солнце взошло совсем. Позолотило ветлы. В его лучах сверкали серебряные крылья серых цапель. Они все ходили и ходили точно по эллипсу, явно соблюдая какой-то ритуал. То кто-то из них немного снизится и каркнул погромче, а она ответит на цапельном языке таким ласковым коротким курлыканьем; то один самец догонит другого и обойдет его на невидимом для нас треке... один из них, кажется самый большой, сузив круг, неожиданно сел рядом с

невестой. Она несколько раз переступила, изогнув шею и опять же приоткрыв крылья. Он обошел вокруг ее. Потом еще раз обошел, но уже в обратную сторону... Было очень похоже на плавный танец.

Потом он направился к протоке. Там он остановился у маленькой заводинки, замер и вдруг вытащил из воды рыбку... Как он шел с ней обратно! Как шел! Гордо, уверенно и в то же время удивительно вежливо. А она, уже полураскрыв крылья, приветствовала его голосом. Он подошел и подарил ей рыбку из клюва в клюв. Она присела!»

Идиллия эта, наверное, продлится недолго. Возможно, она кончится выстрелом охотника, который уложит если и не ту самую цаплю и ее жениха, то их соседа по болоту — селезня (кстати, существует не менее поэтическое описание утиной свадьбы в «Лесном шуме» старого писателя Лесника). Там же. «В камышах», написано: «Точный выстрел — и я счастливый».

Жизнь охотника в лесу, как и вообще вся жизнь леса, природы, далека от идиллии. Природный мир жесток, и нашу невольную склонность воспринимать его идиллически трудно совместить с законами биологии.

Некоторые писатели пытаются ввести в картины природы, как неизбежно ей присущее, и эту простую биологическую жестокость. У Юрия Казакова, например, герой, знакомя свою возлюбленную с дорогими ему местами, показывает ей разметанные по земле перья — остатки лисьего пиршества. «Я представил себе эту лису с сельной на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы слухать с носа пух». Словом, природа есть природа. Но все же и противоречие остается. Ведь не для того уходим мы в природу, чтобы еще раз убедиться в суровости ее законов. Видно, что-то другое ищем мы в ней.

Но о чем же все-таки она с нами разговаривает и что поучительного может рассказать? Каким образом пришло нам в голову связывать с ней философские и нравственные проблемы?

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека.
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Это Тютчев. Но если он прав — значит, нужно зачеркнуть добрую половину нашей литературы (и самого Тютчева). Значит, лгут нам и наши собственные чувства. Зна-

чит, и нравственно-философическое отношение к природе — наша выдумка, и к ней самой никакого отношения не имеет.

Значит, нечего было Андрею Болконскому смотреть в небо Аустерлица и искать в нем ответа на вопросы жизни.

Небеса решительно ничем не могли ему ответить.

У Юрия Казакова есть рассказ «Осень в дубовых лесах». Это рассказ о счастливой ночи и счастливом дне, которые, как обычно случается с высокочастливыми часами, проникнуты ощущением невозвратности, печальным и вешим чувством, подсказывающим нам, что они никогда не повторятся. С тем же чувством читаешь и самый рассказ. Герой идет встречать возлюбленную, которая должна приехать (должна, но может быть, и не приедет) ночью на катере, пристающем прямо к берегу Оки. Он идет осенним лесом, и листья, сотни раз шелевшие под ногами литературных героев, здесь шумят совершенно по-новому.

Я читаю рассказ не впервые, я знаю, что герой придет на берег, сядет, потушит фонарь и станет ждать, но все же мне уже жаль, что этот его ночной тревожный путь окончен и больше не повторится, жаль, хотя впереди еще замечательное ожидание у репки, и встречи, и обратная дорога до дому вдвоем, и еще множество минут одна счастливой другой. И кончится все это первым снегом и странным льдыстым днем. «Колен затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-под льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударили по ним ногой, они сламывались и, гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам...

Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из ручья возле срубленной осины...

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо, — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы».

И уходят от нас эти герои счастливыми и тревожными (уж слишком все хорошо),

уходят, «как в белом сне», в котором наконец они вместе.

А ведь были у них и несчастные дни, которые вспоминаются, как черный провал, — это дни, проведенные ими в городе. Им просто некуда было деться, негде остаться вдвоем — у родных тесно, в гостиницах нет мест и даже рестораны закрыты. Подъезд? Вокзал? Наглый таксист и пригородный лесок? Странно видеть эту прекрасную женщину — сильную, крепкую, чей «северный выговор был как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи», — в московской подворотне. Неприкаянной и оскорбленной мыкается по городу эта любовь.

Но все же кажется, что дело здесь далеко не только в бездомности, кажется все-таки, не будь этой ночи, когда над ними «текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды», не будь ночной реки, в которой двоился, отражаясь, огонек бакена, если бы не было осенних лесов и четырехугольников полей на холмах, то счастье было бы не то.

Как много в последнее время у нас появилось рассказов, повестей и очерков, где именно природа подчас и рождает у героев ощущение полноты жизни, а подчас и счастья.

Невольно возникает подозрение: уж не народился ли в наше время некий неоруссоизм? Уж не думают ли авторы подобных произведений, что близость к первобытной природной среде способствовала бы решению нравственных проблем, возвышая и облагораживая человеческое общество? Не призывают ли они нас (я повторяю шутку, некогда произнесенную по адресу самого Руссо) встать на четвереньки — и в лес? Или, может быть, они злокозненно зовут к уходу от общества, а тем самым и от социально-нравственных проблем?

Последнее предположение немедленно разобьется о факты: вряд ли можно найти литературные произведения, более наполненные духом подлинной гражданственности, ощущением своего времени и живой тревогой за человеческие судьбы, чем произведения, скажем, Дороша, Тендрякова или Троепольского, столь насыщенные пейзажем. Более того, самые чувства этих писателей к природе, если можно так выразиться, глубоко социальные, их любовь к ней носит гражданственный характер.

В повести «Среди лесов» Тендряков описывает поле — жертву административного невежества и глупости «Пожалуй, нет на свете более печального зрелища, чем хлеб на поле, мокнувший под дождем глубокой осени. В сухую погоду дует ветер, и через все поле покатится волна. Она тобегает до конца, и крайние колосья низко кланяются придорожной траве, кланяются и снова поднимаются. Поле живет, радуется глаз. Теперь мокрые стебли не могут сдерживать даже пустого... колоса. Они бессильно гнутся в разные стороны, покорно ложатся на холодную, неприветливую землю. Это — смерть, но смерть медленная, мучительная, это — гниение заживо...»

Нет, пожалуй, есть зрелище еще более печальное. В очерке «Ненастье» районное руководство, чтобы выполнить план, заставило колхозников сеять в непогоду, когда поля были под водой. Обреченные семена, гонимые ветром, прибывают к краю бровки. Разве не ясно, что писатель, увидев и описав эту грустную картину, отнюдь не отошел от общественно-нравственных проблем, а, напрогив, вторгся в самую их суть?

Глубокая, чисто крестьянская жалость (я беру это слово «жалость» в его народном смысле) к природе пронизывает произведения многих художников независимо от того, приходилось ли им пахать или нет и течет ли в их жилах «крестьянская кровь, способная волноваться от запаха вскрытой плугом земли». Именно она, эта жалость, подсказала Троепольскому его последнюю статью «О реках, почвах и пресечем».

Словом, несмотря на то, что природе в жизни человека и даже всего общества эти писатели действительно отводят очень большую роль, программы «прочь от современной цивилизации» они не разделяют. Дело здесь в другом.

Разумно ли, однако, говорить вообще о каком бы то ни было едином подходе литераторов к природной теме? Вель все эти художники разные, они по-разному видят и ищут природу.

«Каждый год в то время, когда полая вода идет на спад, река Пелеговка начинает «рвать берега». Огромные, как грузовые медвежьи туши, куски земли с прошлогодней щетинистой гравой или с чисто выбитыми прибрежными гронками то там, то тут ухают вниз, взбрасывая вверх мутные

брызги». Вот так начинается Тендряков свою «Чудотворную».

Его прозу не спутаешь с чьей-либо иной, и, пожалуй, все то, что мы говорили до сих пор о натуральных описаниях наших писателей, к этому явлению неприменимо. Здесь нет акварельной ясности и некоторой возторженности, свойственной, например, Солухину. У Тендрякова все написано широко, подчас грубыми мазками. Пасмурен гендряковский пейзаж.

«Под небольшой полянкой возвышались две березы. Одна — коряво могучая, заполнившая листвою и ветвями все небо над головами охотников. Вторая — в стороне, под берегом, по пояс в высоких кустах. На объемистом, в полтора обхвата, дуллистом стволе ключьями висит жесткая кора, сучья — словно сведенные судорогой когтистые руки, ни одного листочка на них... Десятки лет назад ее корни перестали гнать из земли по стволу соки, дающие жизнь, а дерево продолжает упрямо стоять и, мертвое, не падает.»

Солнце чуть склонилось к вершинам елового леса. В нагретом воздухе пахло грибами и прелой хвоей. Что-то отяжелевшее, покойное, как дремота после обильного обеда, чувствовалось в природе. Ели бессильно повесили грузные лапы, на раскинувшейся в небе березе не шевелится ни один лист. Только умильное, убаюкивающее воркованье упрямого в кустах ивыяка тайного перекатца, только комариный писк над головой — немого кругом.

Страшный лес. Даже речей, который обычно придает такую веселую ясность лесному пейзажу, своим «умильным воркованием» только увеличивает сумрачность его. А тут еще эти кошмарные собаки, особенно Калинка, в чьей пасти «было что-то безжалостно жестокое, какая-то особая холодная хищность, которая иногда поражает, если внимательно вглядываться в челюсти матерой щуки; узкие, словно кожа туго натянута к ушам, глаза скользят по лицам охотников с угрюмым безразличием». Но, быть может, самый поразительный пейзаж у Тендрякова — это развороченная дорога в «Ухабах», где грязь лежит бугристыми хребтинами, меж которых глубокое колесо — как ушелье.

Самый простой и, казалось бы, обыденный пейзаж у Тендрякова на редкость неспокоен.

Совершенно иное дело проза Дороша. Нето-

роплива его внятная речь, внимателен взгляд, с одинаковым интересом описывает он и широкий пейзаж, и самую маленькую былинку. Казалось бы, полное душевное равновесие. Его «натурные кинокадры» кажутся черно-белыми, и вы не сразу замечаете, что в них проступают краски, порою очень яркие и всегда чистые (вспомним рыжего теленка, что скачет по яркой зелени, освещенной грозным светом).

И совсем иное дело — описание природы у Троепольского. Тут разные интонации: то гротескная, то лирическая, а то и торжественная. Тут много пестрых красок и блеска, некоторая перегрузка эпитетами («нежно-беленький», и тут же «снежно-белые», и неподалеку «голубое-голубое»), а восклицательные знаки восхищения расставлены уже неприкрыто.

Действительно, различные писатели. И в самом деле, они по-разному должны ощущать природу, разного искать в ней, разное и находить. Для Солоухина здесь, пожалуй, прежде всего радость созерцания, да и не только созерцания, но и бытия, недаром так ясны его описания даже пенястной поры года. Для него, как и для Дороша, как и для Троепольского, природа не только всегда притягательна и полна обаяния — это всегда благо.

Иное дело угрюмая природа Тендрякова, которая так часто оборачивается для человека недругом — то грозит ему, как в «Суде», то выматывает и губит, как в «Ухабах» или «Находке». Может показаться, что она несет в себе недоброе начало.

Однако такое пошмание было бы неверным. У Тендрякова природа не зла, она трагична и несчастна. «Лес стоял измученный тяжелым, как смертельная болезнь, ненастьем», — пишет он в «Находке». Дорога в «Ухабах» («враг — хитрый, неожиданный, беспощадный») «исковеркана страшными колдобинами, вкось и вкривь иссечена рваными колеями, как поле битвы костями, усэана жердями, толстыми слегами, измочаленными стволами недавно срубленных березок». Измученная, изуродованная природа.

Для всех названных писателей общим будет только одно — тяга к природе, какой бы они ее ни видели, пасмурной или светлой, доброй или сумрачной. Вель и ненастьи, и бури, и свирепые вьюги — все это тоже можно любить.

Но все же есть в отношении писателей к природе — сколь бы они ни были различны

и как бы различно ее ни воспринимали — и еще один подход, философический. Иногда он выявляется отчетливо, подчас его можно только угадывать.

В путевых заметках и «деревенских дневниках» литературы после них лег наблюдается одно любопытное явление, которое, быть может, многое нам разъяснит. Чтобы его понять, обратимся снова к «Четырем временам года» Ефима Дороша.

В негорючий рассказ, полный простых картин и самых обычных событий и людей, неожиданно вторгается образ, казалось бы, несовместимый с общим стилем вещи. Это архангел Михаил, железной флюгер на одной из башен монастыря. Он появляется в книге четыре раза, каждый раз, поворачиваясь со скрипом, знаменует перемену в природе и вместе с тем служит как бы поэтическим рефреном повести.

Вот он возникает перед нами в первый раз: «Сквозь крупный косой снег, падающий с темного неба, летит в своих развевающихся одеждах и трубит в длинную трубу крылатый, вырезанный из жести архистрагиг. Кажется, вот-вот оставит он шпиль монастырской башни, железный шатер и серые стены когорой облеплены снегом». Это зима. А вот он ранней весной. «В неспокойном, как бы дымящемся небе, медленно поворачивая на северо-восток, мчится среди сонмища низких туч и трубит тревогу воевода небесного воинства. Теплый юго-западный ветер шлет вездеходу архистратигу редкие и крупные капли первого весеннего дождя».

Откуда он здесь со своими развевающимися одеждами и романтическими тревогами? Казалось бы, не дело ему лететь над свинарниками и телятниками, над колхозными полями, где гудят тракторы, над дорогами, где вязнут грузовики. Уж не для красоты ли ввел его автор?

Вряд ли. На данного автора это очень не похоже. Да и у читателя решительно нет ощущения, что архангел вторгается в повесть чужеродной ей стилизацией, напротив, он кажется здесь уместным и даже необходимым.

Архангел Михаил совсем не ошюк в рассматриваемой нами литературе. «Путевые заметки» Тендрякова, например, тоже полны «выходцами» из далекого прошлого. То это древняя русская изба «с ее брезжачатой логикой», то старинная деревянная

церковь, поразившая автора своей простотой и благородством. А вот «часозенка — крохотное рубленое здание, чуть побольше обычной крестьянской баньки, с одним, много с двумя окошками и крышей, как у любого дома. Только на этой крыше вместо трубы торчит церковная луковка». Легкими тенями проходят здесь персонажи старинной иконописи — Параскева Пятница или Георгий Победоносец на коне, уже прямой «родственник» Михаилу-архангелу.

Писатель, путешествуя по родному краю, никогда не упускает случая хотя бы ненадолго коснуться истории. Пребывая в Каргополе. В. Тендряков вспоминает вождя крестьянского восстания Ивана Болотникова, который был утоплен здесь в ледяной воде Онеги, или князя Голицына, который в мужничкой телеге проехал мимо города в ссылку.

Эксперсы в историю стали неременной составной частью путевых заметок и дневников. У В. Солоухина за непрерывной панорамой природы как бы вторым планом тянется цепь исторических картин, очень живых и интересных: умирающий Багратион, Иван Аксаков, отбывающий свою ссылку в селе Варварино. А то и совсем давние дела — борьба князей при сыновьях Всеволода Большое Гнездо.

Все-таки это интересно — зачем понадобился Тендрякову, который отправился в путь с девизом «просто глядеть!», зачем ему стал нужен князь Голицын? Не такой уж он великий деятель, чтобы отмечать подобный биографический факт: проехал, да еще мимо Каргополя. Между тем зачем-то он понадобился, и это не так уж трудно понять.

Князь Василий Васильевич Голицын — фигура эффектная, этот воевода известен своей европейской просвещенностью в век довольно темный. При имени его в нашем представлении встает целая эпоха, еще допетровская и уже на грани перелома. Таким образом, князь призван служить как бы исторической вехой, знаком эпохи. Следуя за Бологниковым и за мимоходом упомянутым Иваном Грозным, он создает впечатление исторической перспективы. Тем же целям, думается мне, служит и Багратион, и сыновья Всеволода Большое Гнездо, и древние славяне у Солоухина. Это тоже расставлены исторические вехи.

Еще теснее тема природы и тема прошло-

го сливаются воедино в книге Ефима Дороша «Дождь пополам с солнцем».

Здесь описаны те же, что и в «Четырех временах года», места. та же невзрачная, но бесконечно интересная автору (и его читателю) природа. Повсюду в тексте разбросаны описания разногравья и разноцветья, кошенные и некошенные (трава по плечи) луга. Здесь тоже уже известное нам желание разглядеть пейзаж поближе и получше («Дрожат на ветру колоски, метелочки — то зеленые, то серебристые, то красноватые. Алеет липкая гвоздичка. Голубеют колокольчики»). Мало того, автор вводит в повествование настоящие уроки ботаники (весьма длинные), для чего в повести существует Николай Семенович, великий луговод и семеновод. Герои то и дело говорят о травах (что клевер-де заповилчен, а тимopheвка просто засорена), их свойствах, их истории, их роли в народном хозяйстве. И тут мы видим, как поля, луга, самая земля приводят писателя к мысли о прошлом. «Николай Семенович говорит, что и овес уже выколосился... хорошее лето! А я смотрю на рожь и думаю о том, что так вот, в лесах, и начиналась Русь». Знаменательный переход.

Рассказ Дороша о нынешней колхозной деревне переполнен историческими ассоциациями и воспоминаниями о давно ушедших поколениях, причем, как правило, автора привлекают не крупные государственные деятели, а самые простые, забытые историей люди. Дневник сельского полика, у которого в год нашего Наполеона умер маленький сын. Не Кутузова и не Багратиона выбрал Е. Дорош (что тоже, разумеется, не было бы грехом; кстати, в другом месте есть у него и Багратион), не вершителей судеб войны, а самую маленькую из ее жертв.

Вот течет речка, обыкновенная грязная речка, в которой голенастые девочки ловят корзинной уклеек и лещарей. «Речка и семьсот лет назад была такая, как сейчас. — замечает автор, — если стоявшие на ее берегах войска могли перекидываться камнями, как говорит летописец».

Старые здания, будь то уездный ампириный особняк или древний собор, заставляют автора вспомнить о тех, кто их строил. Поле — о поколениях мужиков, которые его пахали. Вот Николай Семенович рассказывает ему о липе, «дереве славян», о ее цветах, о липовых колодах и ложках. «Я слушаю его, —

пишет автор,— и мне приходит на мысль, что прежде, пока я не стал бывать в этих краях, я не чувствовал, с какой естественностью настоящее связывается с прошлым».

Здесь и заключается заветная мысль автора, мысль о преемственности поколений.

Для него земля не только планета и не только почва, а то вечное, что воссоединяет прошлое с настоящим. «Как тесно заселена тут земля — в пространстве и во времени», — восклицает он. «Этот в земле, — говорит один из его героев, — и вон тот, и тот... Всех земля взяла! — И вдруг с растерянностью, какой я никогда в нем не видел, замечает: — Сколько же там народу!»

Тема природы и тема прошлого вообще сливаются легко и органично. Обе они связываются с течением времени, и той и другой в нашем восприятии сопутствует поэзия воспоминаний (не случайно, конечно, туристы, что бредут с рюкзаками по полям-лесам, обязательно останутся у древних церквей и башен). Природа и прошлое сочетаются так же естественно, как естественно входит силуэт церкви Покрова на Нерли в пейзаж владимирских лугов.

Дело здесь не только в гениальности произведения искусства — любящие древние камни как бы впитывают в себя время, которое прожили. Стоя около них, мы ощущаем века, а природа заставляет нас вспомнить о тысячелетиях. Мы невольно начинаем искать во времени собственное место — свое, своих близких, своего поколения и общества. А это уже философия.

В своем стихотворении «Измучен жизнью...» Фет рассказывает о том, как в трудные минуты жизни на помощь ему приходят видения вечной вселенной, где

...неподвижно на огненных розах
Живой алтарь мирозданья курится,
В его дыму, как в творческих грезах,
Вся сила дрожит и вся вечность снится.

Подобные душевные озарения посещают нас не так-то часто, потому что все время жить человеку с таким ощущением трудно. Это было бы все равно что жить под током высокого напряжения. Но бывают минуты, когда подобные душевные вспышки необходимы.

Правда, видения фетовского мира умозрительны, они рождены не то неоплатонической, не то немецкой романтической философией, а не жизнью. В реальном космосе нет огненных роз и не курятся алтари. Но, по совести говоря, мысль о вселенной, где в

черной темноте и адском холоде носятся по эллипсам мертвые мировые тела, не дает чувства покоя и радости нашей душе. Нам легче и отрадней находить олицетворение вечности в нашей домашней, обжитой и любимой природе земли. Фетовские чувства мы легко поймем, стоя в чистом поле или на берегу реки, а тем более в степи или у моря, и вполне можем сказать вместе с поэтом:

И в этом прозреньи, и в этом забвеньи
Легко мне жить и дышать мне не больно.

А иногда и больно. Чувство сопричастности бескрайнему и вечному мирозданию (а именно его «представителем» и является для нас наша природа) — это сложное чувство. Оно являет собою сплав и печали, и радости, и, что скрывать, горести от сознания своей «временности»; здесь и головокружительное чувство, где робость перед масштабами вселенной смешана с гордостью оттого, что принадлежишь к такому огромному роду, как человечество. Словом, описать его трудно, перечислить все его оттенки невозможно. Но это всегда бескорыстное и высоко нравственное состояние души.

Замечательно, что подобное «философическое» душевное состояние доступно миллионам самых простых людей. Для того чтобы испытать его, не нужно кончать университета или академии, оно не требует знакомства ни с Аристотелем, ни со Спинозой.

В одном из рассказов Юрия Казакова как бы исследован самый механизм возникновения подобного строя мыслей и чувств.

Петр Николаевич, пожилой человек, приехал вместе с сыном в места, где охотился в юности. Первым чувством его было разочарование — так все здесь постарело и поблекло: лесная сторожка обветшала и заросла крапивой, «во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья». Природа, казалось бы, тоже уже не та, но это совсем иное разочарование, да это скорее и не разочарование, а более сложное чувство. «Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось! Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок...» Герой идет разыскивать поляну, на которой когда-то разводил костер. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут

было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята: ползли муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Копечно... круговорот вещей,— растерянно и огорченно думал Петр Николаевич,— все проходит, все изменяется...»

В этом лесу сейчас герой живет одновременно тремя жизнями — своим прошлым, когда «ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим левучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная»; своей сегодняшней, настоящей жизнью, уже уходящей. И еще — жизнью своего юного сына, так же ошалевшего от счастья, от леса, от предвкушения жизни — бесконечной и радостной.

Но читатель, верно, уже заметил, что герой Юрия Казакова живет еще и четвертой жизнью, связывающей его со всем человечеством, людьми прошлого и будущего. «И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли».

Таково действие, такова «работа» природы.

Ну, разумеется, она влечет нас к себе тем, что хороша. Расцветающая и умирающая, пышная южная или северная, которую по-человечески принято называть скромной, окидываем ли мы ее широким взглядом или рассматриваем, став на колени,— всегда она является нам, как красота (даже в своей некрасоте, как уже говорилось об этом). Нам очень важно, что красота эта насковозь пронизана и стократ усилена ощущением «времени и пространства».

Да и узнавали мы эту красоту тоже коллективно, всем человечеством. Нас учил

древний иконописец, который пейзажа не писал, но природные краски, во всей их чистоте, схватывал замечательно точно: нас просвещал Левитан или импрессионисты, вместе с которыми мы неизмеримо продвинулись по пути понимания природной красоты. Она тоже связывает меж собою поколения.

Сколько бы мы ни жили на свете, нас никогда не перестанут удивлять тайны прорастания и простая огородная грядка не перестанет казаться чудом. Никогда не привыкнем мы к сменам времен года, не оставит нас равнодушными ни первый снег, ни первая капель. Более того, чем дольше мы живем на свете, тем острее и томительнее ощущение этих перемен — наверно, в каждой новой весне для нас воскресают все прошлые весны. И тут чувство природы связывается с ощущением времени.

Далеко не бесполезно бывает для нас (если говорить языком несколько возвышенным) сверить наши жизненные часы по хронометру вечности.

Ведь именно это и произошло с Андреем Болконским, когда в своей суетной погоне за славой, в грохоте, в кровавой суетоке сражения он увидел вдруг над собой неизмеримо высокое и бесшумное — вечное — небо с медленно ползущими по нему облаками. В тот миг оно, конечно, разговаривало с ним вятым языком. Я думаю, что у каждого из нас было в жизни свое небо Аустерлица, хотя, быть может, оно и явилось морем, или лугом, или рекой — представителем вечно существующей и вечно возрождающейся природы.

Возвращаясь к тютчевскому сравнению, можно сказать, что природа — это сфинкс, который о своих загадках ничего не знает. Но все же есть в ней загадки и тайны; есть в ней — бездушная, бездумная и ничего не знающая о нравственности — и лиричность, и философия, и нравственность. И если мы задаем ей вопросы, она отвечает.

Как бы ни влекла природа художников своей красотой, бесконечным разнообразием, неизменным возрождением, ко всему этому применивается (у одних сознательно, у других бессознательно) глубоко нравственная и глубоко социальная потребность сверить свои часы с бегом времени.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. П. СМЕРНОВ-СОКОЛЬСКИЙ

★

ПОСЛЕДНЯЯ НАХОДКА

Недavno ко мне пришел старый литератор-этнограф Баранков-Энгелей и принес мне хранившуюся у него черновую тетрадь, написанную рукой Бунина. В тетради-альбоме оказались наброски, записи «для памяти», начатые, но неоконченные стихотворения и прочее. Большинство их написано чернилами, но кое-что и карандашом. Размер тетради — половина писчего листа. В ней около ста пятидесяти исписанных страниц. На первом листе характерная подпись: «Н. Бунин». Записи датированы со 2 августа 1917 года, кончая маем 1918 года.

По словам литератора, принесшего мне бунинскую тетрадь, она попала к нему лет тридцать назад от человека, близкого к редакции альманахов «Шиповник», издававшихся в 1907—1916 годах.

Часть парижского архива Бунина ныне привезена в Москву и находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Хранившаяся у меня тетрадь, очевидно, из тех бумаг писателя, которые он, уезжая за границу, не смог взять с собой и либо рассовал по знакомым, либо просто бросил. Вот она и пролежала почти сорок лет, может быть, поджидая своего законного владельца. Но владелец, как мы знаем, на родину не вернулся...

«Я слежу за вашими рассказами о книгах и автографах,— сказал мне литератор, принесший бунинскую тетрадь,— и мне кажется, что вы, пожалуй, скорее других займетесь этими записями Ивана Бунина и, если они окажутся интересными, опубликуете их».

Баранков-Энгелей был в то время тяжело болен и умер примерно через месяца два после свидания со мной от какого-то молниеносного рака.

Откровенно говоря, дело, которое он мне оставил, оказалось действительно не легким.

Главную трудность составляла расшифровка записей, которые Бунин вел явно для себя, горючливым, укасающим по неразборчивости почерком.

Сейчас эта работа закончена, и я имею возможность познакомить читателей с некоторыми наиболее интересными записями Бунина.

Опубликование всей тетради целиком — дело какого-нибудь специального журнала, да и многое в ней носит характер чисто деловых заметок вроде «был там-то», «послал тому-то», «виделся с тем-то». Но есть зато и чисто художественные страницы в особенности с описаниями природы. Это своего рода эскизы и этюды «живописца словом», каковым по справедливости считается Бунин.

Открывается как бы лаборатория писателя, в которой он день за днем записывает то, что видит его глаз небо, звезды, листву деревьев. В некоторых записях Бунин спорит сам с собой, подбирая те или иные краски, сравнения, эпитеты. Есть такая, например, запись: «Про яблоны, кажется, неверно записал вчера — они... ну грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком». А вчера эти же самые яблоны казались Бунину «золотисто-бронзовыми»...

Впрочем, зачем об этом рассказывать? Вот записи самого Бунина:

«2 августа».

Очень холодное, росистое утро. День удивительный. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянулся, сквозь сад некрашенная, железная, иссохшая крыша амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха жавчьины).

«Последняя находка» — одна из неопубликованных работ покойного Н. П. Смирнова-Сокольского, известного библиофила, автора многих рассказов о книгах и рукописях.

8 августа.

Идеальный августовский день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотиной Ростовцева, думал, что бывает так, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца. И никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопли, подсолнухи. На мужицких гумнах молотба, новая солома возле тока, красный платок на бабе.

20 августа.

День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья с вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля — поля за садом, идущего вверх покато неба синего и великолепных масс белых облаков на небе — и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона. И все мука, мука, что не могу выразить, нарисовать.

21 августа.

В 10 1/2 вышел гулять по двору. Луна уже высоко — быстро неслась среди ваты сблоков, заходя за них, отбрасывая на облака круг, еле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от парка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенные, точно боклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер?

Спать наблюдал сад. Он при луне тесен — точно сдвигается. Сумрак аллен, почти вся земля в черных тенях — полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

Лежал в гамаке, качался — белая луна на пустом синем небе качалась, как маятник.

7 сентября.

Клен в жадовском саду — цвета кожи королька, по оранжевому темно-красное. Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый — и вдруг одно дерево сплошь все в листе прозрачно-багряной и розовой с фиолетовым тоном крови.

30 сентября.

Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз впору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневой листве, краснеющий не то от зари (хотя зари почти бесцветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, через который за долиной воздух чуть зеленеват и зари наполняет весь сад розовым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и в аллеях, лишь яблони в золотисто-бронзоватой мелкой, мертвой листве.

7 октября.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, с великолепными звездами. Мертвая тишина. Юпитер. Телец, Плеяды очень высоко (над юго-западом). На юго-западе Орion. Где Сириус? Есть звезда над Орionом, но глухо и слабо видна. Листва точно холодным мылом потерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) — деревья на валу

идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, идет вместе и много вперед. Сзади идет со мной Юпитер и пр. Идешь назад — всё обратно. То же и по аллее. А я писал «неразборчиво». Звезды бежали навстречу. Глупо! Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листе. О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир перевел дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября.

Поехал на дрожках в Скородное — круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бока. Думал:

Могучим блеском полон голый сад,
Синим и сияющим эфиром...

В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колесе, где тень, — голубая сахарная пудра. По инею под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози. В лесу летней думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса — тени осинки по блестящей мокрой листве. В лошине, полной деревьев, блеск мелкого стекла — сучки, оставшиеся листики. В даль восточной стороны: там, где всегда грязь и ухабы, по кусочку дороги между деревьями грязь салится, под салом земля еще тверда, бледно-водянистое зеленое пятно, за лугом направо лес; по косягу лежащий, — весь сизоватый дым, весь почти голый — осинник, среди этого верхушки берез удлинными кулами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли) — выделяются. Думал о своей «Деревне». Как верно все там.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, направо. Вся в ухабах глубоких, грязь, засыпанная листвой. (Перед этим все глядел на верхушки берез, сохранивших розовато- и рыжеватую-желтую мелкую листву на изумительном небе.)

Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая зелень под листвой. Думал: здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишь, среди стволов, на спуске с горы было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная, полная надежд на что-то и на любовь, как всегда! — была бы. Выехал на гору — среди стволов еще четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из леса — далеко, далеко налево, на юго-востоке, возле Предтечева, густой белесый пар под солнцем, над ним полого свет горизонта.

В голове Одесса, Керчь, утро в ней, синь густая моря, белый город...

{Октябрь}.

Закат с легчайшим чуть фиолетовым туманом за Бахтеяровской усадьбой на зеленых и по Бахтеяровскому саду и Колонтаевка в нем. Солнце за Бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром, чуть шафранного стекла.

Постоял, подивился — хорош кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывшего серо-палевым, обмакнули в воду с кровью.

16 октября.

Вечера поразительные. Часов в 6 уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце), сквозь аллею (даже ближе к сараю), а еще заря на западе — розово-оранжевая. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, — несколько ночей полная. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем людской, крыша которой кажется почти черной, — вспомнился Цейлон даже.

17 октября.

Дни похожи по погоде один на другой — дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера луна и полоса красноватая на закате... Смотрел с дороги, уже близко от школы вдали на реке что-то вроде коричневого острова камы-

шей. Дальше необыкновенно прелестный скат речной заводи. По дороге отпотевшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

18 октября.

5 1/2 часов вечера. Зажег лампу. В окно горизонт — смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?) переходящая в светло-зеленое небо, выше синее, сине-зеленое, на котором прекрасны ветви деревьев палисадника — голого тополя и сосны. Краски чистейшие. 15 минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневатый.

Утро с большой изморозью. Ходил с Евгением за покупками. В час уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, превосходный. Оглянувшись — нежно и грустно защемило сердце. Там, в рошице, лежит мама, которая так прозрела не забывая ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Таковы записи Бунина о природе. Несмотря на то, что они сделаны писателем не для опубликования, эти маленькие картинки полны очарования и говорят о тонкости наблюдательности и мастерстве их автора.

Чрезвычайно также любопытны записи Бунина, относящиеся к прочитанным им книгам. В какой-то мере записи эти знакомят с мировоззрением писателя, вводят в круг его литературных интересов и своеобразных вкусов. Вот наиболее интересные из этих записей:

«2 августа.

Перечитываю Мопассана. Много воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять — все сухие пустяки, не оставляющие никакого впечатления, лозко и даже неприятно, щеголевато-литературно сделанные...

3 августа.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмеявшийся без конца говорить, что жизнь вся под властью женщины.

13 августа.

Читал «Наше сердце» — «Хвост и уши отрубить (собаке) — злей будет». Как глупо!

14 августа.

Кончил «Наше сердце». Искусно, местами хорошо, но остался холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковым. Герой совсем неживой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

16 августа.

Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, волновался, грезил, думал о путешествии Бауну в Финикию, потом читал Вернон Ли и думал о Наполеоне, Капри, вспоминал Флоренцию.

18 августа.

Читаю эти дни Вернон Ли «Италия». Все восторгается, все изысканно и все о красивом только, о изящном — это скоро начинает приводить в злобу.

21 августа.

Перечитываю «Федона». Этот логический блеск оставляет холодным. Как много Сократ сказал того, что в индийской и буддийской философии.

22 августа.

Начал читать Львову — ужасно! Жалкая, бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порой Чирикова. Вечная ирония над героями — язык пошленький.

Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана Чем восхищается Брюсов? Рассказы — лубочная фантастика, изысканность, красавость, жестокость и т. д. Смесь Э По и Майльда — стыдно читать. «Ученье есть припоминание» — Сократ. Последние минуты Сократа, как всегда, очень взволновали меня.

23 августа.

Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойней прочих «новых поэтов», так называемых. Но какая мергвечина, как все эти мысли и чувства мергвы, вбиты в размеры!

25 августа.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мутно вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической природы в ней нет ни на йоту.

9 сентября

Читал Жемчужникова. Автобиография его Какой такт, благородство!

11 сентября.

Читал «Анну Каренину».

16 сентября.

Дочитываю «Анну Каренину». Последняя часть слаба, даже неприятно немного, и неубедительная. Помнится, раньше испытывал то же к этой части.

17 сентября.

Дочитал «Анну Каренину» Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части? Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?

4 октября.

Все читал Фета (море пошлого, слабого, одно и то же).

8 октября.

Понемножку читал все эти дни «Село Степанчиково» Чудовишно! Уже 30 страниц и ни на йоту, все долбит одно и то же! Болтовня, лубочная в своей литературности! всю жизнь об одном, «подленьком, гаденьком»!

13 октября.

Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасны «народные» разговоры. Длинно, мертво, паташено из книг. Местами недурно, но почему знать, может быть, ворованное? Несносно долбление одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идею — Христос — Антихрист!

17 октября.

Прочел Тескова «На краю света». Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа — очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

21 октября.

Читал отрывки из Ницше — как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей» — мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности.

Вышеприведенные записи Бунина с впечатлениями о прочитанных им книгах сближают найденную черновую тетрадь с дневником. Однако дневником в точном смысле этого слова тетрадь не была. Бунин записывал в нее все, что приходило в голову: воспоминания, мысли, афоризмы, зарождающиеся темы произведений. Ряд страниц испещрен какими-то бесформенными рисунками, бесконечными вариантами подписи: «И. Бунин», «Иван Бунин», «Бунин»

Некоторые записи Бунина глубоко пессимистичны. Они свидетельствуют о начавшемся у него в эти годы внутреннем разладе, о душевном смятении писателя, основанном, по-видимому, на непонимании происходящих событий. Бунин пробовал работать, но работа не получалась. Вот несколько его записей:

«11 августа.

Дней десять назад начал кое-что писать, начинал и бросал. Нынче опять почувствовал тупость к этой вещи.

14 августа.

Утром работал немного над «Любовью», немного так — одесское утро (начало чего-то, еще сам не знаю).

15 августа.

Вчера обдумывал рассказ. Конец 20-х годов в Псковской губ. Приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует. И она его любит. Объяснение. «Не могу». Почему? Была в летаргии, побывала уже в могиле.

Нынче другой рассказ. Англичанка с термосом. Всюду встречаю Бреннер-Пассед, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир «very nice». Но хороша, как ребенок, радостна.

20 августа.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю...

6 октября.

Отупел я, обездарел, как живу, чем живу? Позор!

7 октября.

Нынче хорошее настроение, написал 2 стиха.

20 октября.

Совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего; пытаюсь — ремесло и даже жалкое, мертвое».

Дни мрачного настроения Бунина крайне редко перебиваются днями, когда записи носят более оптимистический характер. Так, 4 августа Бунин записывает: «Если человек не потерял способности ждать счастья — он счастлив. Это и есть счастье!» А 22 августа у Бунина еще более жизнеутрачивающая запись. Он восклицает: «Нет, в людях все-таки много прекрасного!» Эта запись особенно любопытна тем, что она стоит в тетради после ряда резких высказываний о людях вообще, о человечестве, о народе.

Однако какие же люди в эти дни окружали Бунина? Кого именно он принимал за «человечество», за «народ»?

Ответом на эти вопросы в какой-то мере служит запись писателя от октября 1917 года:

- Григорий идет от кума.
 — Пять бутылочек на двоих выпили.
 — И ты не выпимши?
 — Да нет! Я ведь ее чаем запиваю...

В Осиновых дворах два мужика: один рыжий, пос картошкой, ласково-лучистый — профессор. Другой паразит — XVI век. Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди и правда не похожи на нынешних. Какое ничтожество и мелкость черт у ребят молодых.

Говорили мужики эти, что они новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только осиновые дворы. Как возможно народоправство, если нет знания своего государства, ощущения его, русской земли, а не только своей десятины?

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пия — не преследуют вкуса: лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения.

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!

Внизу сада, возле плотины слышу матерную брань. Вижу, Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет 25-ти, долговязый малый лет 20-ти, не совсем деревенского вида.

- Когой-то ругаете?
 Пьяный:
 — Да дьякона вашего.
 — Какой же он мой?
 — Как же не ваш? А кто же вас хоронить будет, когда помрете? Вон П. Ник. помер — кто ж его хоронил? Дьякон!
 — Ну, а вот ты дьякона ругаешь, тебя-то кто же будет хоронить?
 — Он мне керосину в потребиловке не дает...»

Оторванность Бунина от реальной жизни, ст происходящих в эти дни событий просто поразительна. Писатель как бы отгородился в своем маленьком мире, в котором, кроме его ближайших родственников и двух-трех соседей, действуют еще кривой сын Савки, какой-то пьяный мужик и «малый не совсем деревенского вида».

Бунин в эти дни кажется человеком, выпавшим из времени. 16 октября, почти накануне Великой Октябрьской революции, Бунин записывает: «Про политику и че пишу. Изболел...»

Но что мог знать Бунин о политике, если даже газеты в эти дни доходили до него случайно, изредка? Можно было бы не поверить этому, если бы перед глазами не была такая, например, его запись от 26 августа: «Позавчера был с Верой (жена писателя.— Н. С.-С.) у Лозинских.— у них оназлось «Русское слово» за 20-е. Мы ходили при луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли».

Стоит только припомнить кипящую и бурлящую Россию тех дней — и покажется почти чудовищным это бунинское «у них оназлось «Русское слово», и то чуть ли не за прошлую неделю!

Надо ли удивляться, что, когда в тетради Бунина изредка проскальзывают записи, носящие более или менее злободневный, политический характер, эти записи чаще всего обывательски наивны, хотя порой и точны.

Вот несколько таких записей:

«13 августа.

Кажется, одна из самых вредных фигур — Керенский. И направо и налево. А произвели в герон

14 августа.

Взял «Раннее утро» Прочел первый день Мос. совещания. Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречие, «я», «я», и опять и направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя.

13 октября.

Вот-вот выборы в учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим. Русский народ взывает к богу только в горе великом. Сейчас счастливы — где эта религиозность? А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Как церковный собор — кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковский, м.... ..

30 октября (после отъезда из Глотова в Москву).

Москва. Поварская, 26. Проснулся в 3 — тихо. Показалось, все кончилось, но через минуту очень близко удар из орудия, минут через десять снова. Потом — шелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту раз пять, десять. Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез раненых. Одного я видел — как его вносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови, и подушка в крови. Потрясло.

4 ноября.

Вчера не мог писать — один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера подписан мирный договор. Вчера часов в 11 узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Влюблись молодые солдаты в наш веггибюль — требуют оружие.

Выходил на улицу после своего отсуживания в крепости. Странное чувство свободы и рабства. Командующий войсками Московского округа — солдат Муралов, комиссар — Малиновская. Старк тоже комиссар. О боже!

11 ноября.

Среди Москвы зарыли чуть ли не 1000 трупов. Вчера самое ошеломляющее: Ленин сместил Духонина и назначил главнокомандующим Крыленко. Он всего-навсего — прапорщик.

21 ноября.

12 часов ночи. Сажу один — слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, мудрость, чувственность, ощущение запахов и прочее. Это не так просто, в этом какая-то суть темного существования. Передо мною бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия. Где она теперь? О боже, боже. »

После грустной записи о «потерянной» России, которая предстала перед писателем в виде печати и государственного герба на этикетке бутылки с вином № 24 удельного ведомства — большие перерывы в записях. Кроме того, они куда менее интересны. Последняя запись датирована 2-19 мая 1918 года. Она говорит:

«В 12 часов был в книгоиздательстве Потом в Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы назвали мою фамилию, — моментально принял. Сначала хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелее говорить. Обещал всяческое содействие. Можно и в Японию, «можно скоро будет думать, через Финляндию, тоже и в Германию...»

Хлопотами о заграничных паспортах кончается тетрадь Бунина и пребывание его в Москве. Как известно, Бунин уехал в Одессу, пробыл там почти год и уехал за границу.

В отделе рукописей Библиотеки имени Ленина хранится экземпляр сочинений И. А. Бунина, изданный в Берлине в издательстве «Петрополис» в 1934–1936 годах, с правками автора.

В десятом томе (год издания 1935) напечатаны два отрывка значительного размера каждый — оба занимают почти целиком том — под заглавием «Онаинные дни». Первый отрывок охватывает время с 1 января 1918 года по конец марта того же года. Второй отрывок имеет подзаголовок «1919 год» и охватывает время с 12 апреля по конец июля 1919 года.

Между прочим запись от 3 июня 1919 года гласит «Год назад мы приехали в Одессу...». Напечатанный последний отрывок кончается словами: «Тут обрываются мои

одесские заметки Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы в конце 1920 года никак не мог найти их» (том 10, стр. 207).

Обе приведенные цитаты помогают установить место пребывания Бунина и время его отъезда.

Имеющиеся у меня записи Бунина датированы:

1. С 1 августа 1917 года по 21 ноября того же года (основной массив записей).
2. Отдельная тетрадоочка с 16-29 апреля по 14 мая 1918 года.
3. Отдельные две страницы в начале дневника, но на обороте листов датированы 18 января 1918 года.

Когда исследователи жизни и творчества Бунина захотят установить дату его отъезда на чужбину, находящаяся сейчас у меня тетрадь писателя подскажет им, что это произошло значительно ранее того момента, когда он физически пересек границу.

Почти два года до этого русский писатель Иван Бунин уже отошел от жизни своей страны, был внутренним эмигрантом.

До нас дошли замечательные стихи Ивана Бунина, написанные в эмиграции:

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора,
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора.
Сказать прости родному дому...

Тридцать шесть лет, почти половину долгой своей жизни, провел Бунин на чужбине, вдали от родного народа, от природы своей страны, природы, которую он так нежно любил и умел изображать как большой, талантливый художник.

Ничего особенно значительного не написал Бунин за границей. Все лучшее, все наиболее художественное и замечательное было им создано на родине, до отъезда.

Еще раз подтвердились слова Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись».

Подготовила к печати С. П. Ближниковская.



К АВТОБИОГРАФИИ И. БУНИНА

Бунин несколько раз принимался за свою автобиографию и оставил довольно много автобиографических заметок и материалов. Наиболее известны из них автобиография, вошедшая в книгу Ф. Фидлера «Первые литературные шаги» (1911), и развернутая автобиографическая заметка, написанная по просьбе профессора С. А. Венгерова для второго тома «Русской литературы XX века» (1915). К этому времени Бунин уже был прославленным писателем, академиком, признанным авторитетом в литературном мире.

В архивах сохранились и более ранние варианты автобиографии, написанные тогда, когда имя писателя только-только приобретало читательскую известность. Одно из автобиографических писем Бунина к поэту А. А. Коринфскому (1895) сравнительно недавно увидело свет. Другое письмо Бунина, к А. Н. Сальникову (1901), публикуется впервые. Автобиографические сведения, содержащиеся в этом письме, предназначались для книги «Русские поэты», которую А. Н. Сальников готовил к печати.

В качестве автобиографических материалов большой интерес представляют интервью, которые Бунин в разное время дал корреспондентам столичных и провинциальных газет (главным образом в Москве и Одессе). Далеко не все из этих материалов разысканы и учтены. Между тем, помимо любопытных автобиографических подробностей, они содержат ценный автокомментарий ко многим бунинским произведениям.

Публикуемые ниже беседы Бунина относятся к 1910—1912 годам — времени наибольшего читательского успеха его произведений в России. Первая же критическая статья о «Деревне», появившаяся в печати раньше, чем эта повесть увидела свет, побудила Бунина выступить с возражениями против произвольных и неверных толкований его замысла.

Два интервью для печати Бунин дал накануне двадцатипятилетнего юбилея своей литературной деятельности. Этот юбилей был торжественно отмечен 28 октября 1912 года специальным заседанием в Москве. Свои поздравления юбиляру прислали В. Короленко, М. Горький, Ф. Шалапин, Л. Андреев, В. Брюсов и другие.

Настоящую публикацию заключает развернутый ответ Бунина на анкету, проведенную газетой «Одесские новости» в 1914 году к десятой годовщине со дня смерти А. П. Чехова. Газета обратилась к нескольким литераторам, находившимся тогда в Одессе, с вопросом: «Что наиболее ценного для вас в Чехове и что вам дал Чехов как писатель?» Кроме Бунина, в анкете приняли участие известный историк русской литературы Д. Н. Озянничко-Куликовский, писатели Д. Я. Айзман, А. М. Федоров и С. С. Юшкевич. Мысли Бунина о Чехове, высказанные полвека назад, и поныне сохраняют свою силу, как всякое живое, идущее от глубины души слово.

1

И. А. БУНИН — А. Н. САЛЬНИКОВУ¹

2 марта 1901 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич!

Затрудняюсь немного, что написать Вам о себе, и потому прошу Вас взять из этого письма постольку, поскольку Вам нужно.

Зовут меня Иваном Алексеевичем, происхожу я из старинного дворянского рода, ведущего свое начало от Семеона Бунковского, выехавшего в XV в. из Польши к великому князю Василию Темному. Отец мой — помещик Орловской и Тамбовской губерний, мать (урожденная Чубарова) — из дворянок Орловской губернии. Родился я 10 октября 1870 г. в Воронеже, но детство (с 4-хлетнего возраста) провел в имени отца, в Орловской губернии. Учиться начал лет с 8, с русским гувернером, человеком довольно образованным, владевшим несколькими языками и способным дилетантом в живописи, музыке и литературе². Чтение английских поэтов, а потом Гомера (в пере-

воде) пробудили во мне в эту пору страсть к стихотворству. Мальчиком я был довольно впечатлительным и мечтательным,— напр[имер], чтение «Житий святых» вызвало на время страстные мечты об иноческой жизни... Учился я в елецкой гимназии, затем жил в деревне, уситенно занимаясь самообразованием³, много бродил по России, потом за границей, зимы проводил в столицах и на юге и т. д.

Стихи мои стали появляться в печати с мая 1887 г., сначала в иллюстрированных журналах, а затем (с осени 1888 г.) в «Неделе», «Северном вестнике», «Вестнике Европы», «Русском богатстве», «Мире божьем», «Русской мысли» и т. д. Рассказы — сначала тоже в иллюстрированных журналах, а с весны 1893 г.— в «Русском богатстве», «Мире божьем», «Новом слове», «Жизни» и в детских журналах. В 1897 г. выпустил книгу рассказов («На край света» и другие) рассказы. После этого печатал рассказы в тех же журналах, которые назвал выше («Байбаки», «В деревне», «Кукушка», «На Чегеме», «Велга», «Без роду-племени», «Антоновские яблоки»...).

В 1899 г. выпустил стихотворный перевод книги Лонгфелло «Песнь о Гайавате»⁴, в 1898 г. небольшой сборник стихов «Под открытым небом», в 1900 — «Стихи и рассказы», в 1901 г.— «Истопад» (сборник стихотворений).

В настоящее время очень много и тщательно работаю по беллетристике.

Вот и все, что могу сообщить Вам. Что касается отзывов, то, к сожалению, я не могу исполнить Вашей просьбы — не собираю рецензий. Те клочки, которые у меня под рукой, посылаю. Возвратите их, будьте добры, по указанному выше адресу. Желаю Вам успеха. Карточку послал.

С ист[инным] уваж[ением]

Ив. Бунин.

¹ Автограф письма хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) в Ленинграде.

² Имеется в виду Н. О Ромашков, первый домашний учитель Бунина, оставивший заметный след в духовном развитии будущего писателя.

³ С 1886 года, не закончив четырех классов гимназии, Бунин продолжил занятия дома со старшим братом Юлием Алексеевичем, выпускником Московского университета, участником народовольческого движения, высланным в это время на родину в Орловскую губернию под надзор полиции.

⁴ Первое отдельное издание «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. Бунина появилось в 1896 году, второе — в 1898 году. В данном случае Бунин указывает на московское издание, осуществленное в 1899 году издательством «Книжное дело».

2

В одном из последних №№ московской газеты «Утро России» был помещен краткий пересказ новой повести И. А. Бунина «Деревня», первая часть которой должна появиться в мартовской книжке «Современного мира»¹. По словам газеты, «Деревня» — вещь высокохудожественная, вещь, представляющая собою одно из выдающихся произведений текущего сезона. Краткая газетная заметка не может, конечно, дать читателю истинного представления о подобном произведении, так как в сухом и сжагом изложении пропадают главные достоинства его, достоинства чисто художественные.

По поводу изложения «Деревни» в «Утре России» нам довелось беседовать с автором повести И. А. Буниным.

— Повесть моя, — сказал нам И. А., — изложена в «Утре России» более или менее правильно. Некогда только давали к освещению ее неверны. Так, например, автор статьи, говоря об одном из главных персонажей повести, Тихоне Ильиче Красове, указывает, что Красов «замешан из того же теста, что и чеховский Лопухин». Это неверно. Лопухин — купец; Красов — мужик. Благополучие свое он основал не столько — как то полагает автор статьи — на развалинах разорившейся дворянской усадьбы «Дурновки», сколько, главным образом, — на деревенской бедноте. Неверно также и указание на тоску Тихона, явившуюся якобы следствием отсутствия у него личного счастья... Такой тоски у него нет. Есть тоска будней — тоска очень грязной, обыденной жизни... Слишком банален был бы этот тип внезапно затосковавшего мироеда, и я вовсе не хотел выводить такой тип... Тихон, правда, пьет... Но пьет потому, что все кругом пьяно,

тоскует потому, что нельзя не тосковать в буднях русской жизни... Повесть моя представляет собою картины деревенской жизни, но, кроме жизни деревни, я хотел нарисовать в ней и картины вообще всей русской жизни... И Красов — типичный русский человек... Неправильно понять также и один из остальных персонажей повести — Денника... Определенно «мечгатель» совершенно не подходит к этому персонажу... Это тип нового человека в деревне, тип, заключающий в себе черты и цинизма и застенчивости вместе... Но все это, повторяю, детали. В общем же повесть моя изложена в статье «Утра России» более или менее правильно... Важное в этой повести, если хотите, не столько персонажи, даже сам Тихон Красов, сколько весь уклад, весь быт русской жизни...

Еще одно, с чем я никак не могу согласиться с автором статьи, это с его заключительной характеристикой моей повести. Так, автор говорит о ней как о произведении «обвеянном легкой грустью и лирикой увядания и запустения». Это совершенно неверная характеристика. В действительности в «Деревне» ни грусти, ни лирики нет и в помине, как нет ни увядания, ни запустения. Мне кажется, что повесть моя написана очень просто, очень объективно, очень реально, и заблуждение автора мне, признаюсь, непонятно. Хотя это уж так установлено, что критики и вообще пишущие о писателях — народ весьма консервативный в деле своего отношения и понимания физиономии писателя... Определили в начале его литературной деятельности каким-нибудь характерным для его творчества эпитетом, зафиксировали и успокоились навсегда... Так и по отношению ко мне... «Лирика увядания...» «Грусть запустения...» Все тот же «Листопад» — старое определение, которым, конечно, легче пользоваться, чем отыскивать новые...

— Как, например, Комиссаржевская и чайка!

— Вот именно, — улыбнулся И. А.

В заключение мы заинтересовались вопросом, насколько справедливы сообщения некоторыми из столичных газет слухи об уходе И. А. из издательства товарищества «Знание».

— Слухи эти, — заявил И. А., — совершенно неосновательны. Поводом для них послужило то обстоятельство, что 6-й том моих произведений выходит в издательстве не «Знания», а «Общественной пользы». Это действительно так, но из «Знания» я не ушел и уходить не думаю².

На этом наша беседа закончилась.

(«Одесский листок», № 58, 12 марта 1910 года)

¹ Имеется в виду статья В. Батуринаской «Деревня». Новая повесть Ив. Бунина» («Утро России», № 119-86, 2 марта 1910 года).

² В феврале 1910 года Бунин писал Горькому: «За маленькую измену «Знанию» не сердитесь. И повесть я отдал «Современному миру» и VI том (состоящий из стихов и рассказов) продал «Общественной пользе» потому только, что Константин Петрович (Пятницкий. — А. И.) не отвечает мне по полугоду». Бунин продолжал печататься в «Знании» до 1912 года.

3

Вчера возвратился в Москву после легких каникул И. А. Бунин.

В беседе с нашим сотрудником писатель поделился своими впечатлениями, сообщил об исполненных за это время работах и литературных планах на будущее.

После морского путешествия на о. Цейлон с весны И. А. поселился в имении своей сестры в Орловской губернии¹. Прекрасная старинная усадьба, по словам И. А., как нельзя лучше располагающая к творческой работе.

— И действительно, все время я посвятил непрерывной и напряженной работе. Буквально за три месяца не вставал из-за письменного стола. Я привез с собой шесть небольших рассказов и повесть — произведения вполне законченные, посвященные описанию жизни современной деревни². Кроме того, мною написана первая часть большой повести-романа под заглавием «Суходол».

— В чем заключается содержание этого романа?

— Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью «Деревня». Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мешан, а здесь...

Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще. Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д. В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имею возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса...³ Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.

В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев. После произведений Толстого и Тургенева существует пробел в художественной литературе о дворянах: нельзя же считаться с книгой Атавы, которая рассматривает дворянство со стороны его экономического «оскудения», как с художественным произведением⁴.

Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обуславливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословия, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике. Эта работа, я предполагаю, составит содержание трех больших частей.

— А что является предметом ваших рассказов?

— В них тоже рисуются различные стороны народной жизни — мужиков и мещан. Причем меня интересует воспроизведение подлинной народной речи, народного языка. Рассказ ведется не от автора, а от имени действующих лиц. Хороший колоритный язык народа средней полосы России я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов,— то это я считаю отвратительным варварством.

— Каковы ваши планы на будущее время?

— В конце этого месяца намерен поехать на о. Капри к М. Горькому, с которым мы в переписке⁵. Он усиленно работает и закончил последнюю часть «Городка Окурова». В сборнике «Знание» пойдет и моя повесть.

— Вообще нынешним летом я вполне доволен,— закончил И. А.— После усиленной работы отдохнул некоторое время около Одессы, над морем, на даче моих друзей художников Нилуса и Буковецкого. По соседству жил С. Юшкевич, наезжал иногда художник Пастернак⁶.

(«Московская весть», № 3, 12 сентября 1911 года)

¹ Большое заграничное путешествие через Средиземное, Красное моря и Индийский океан растянулось с декабря 1910 по апрель 1911 года. Весну и лето Бунин провел в деревне Измалково под Орлом.

² За лето 1911 года были написаны рассказы «Крик», «Снежный бык», «Древний человек», «Сила» и другие.

³ Скрытая реплика писателю В. Муйжелю, заявившему в печати, что Бунин по-настоящему никогда не был в деревне и видел ее лишь из вагона экспресса.

⁴ Имеется в виду книга С. Атавы (Терпигорева С. Н.) «Оскудение» (1881), характеризующая положение русского дворянства после отмены крепостного права.

⁵ Из России в Италию на остров Капри Бунин выехал в конце октября 1911 года вместе с женой В. Н. Муромцевой-Буниной и племянником Н. А. Пушешниковым.

⁶ Нилус Петр Александрович (род. в 1869 г.)—художник-жанрист, пробовал свои силы как писатель.

Буковецкий Евгений Иосифович (1866—1948) — член «Товарищества южнорусских художников», преподавал в Одесской художественной школе.

Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — писатель, печатался в горьковском издательстве «Знание».

Пастернак Леонид Осипович (1862—1945) — известный художник, педагог живописи, отец поэта Бориса Пастернака.

4

После летнего перерыва с запасом свежих сил в Москву понемногу стали собираться писатели.

Возвратился на днях И. А. Бунин, поселившийся на текущий осенний сезон в одной из московских гостиниц.

Из окон его тихого номера, куда не залетает шум и суета города, задумчиво виднеется лишь осеннее небо да верхушки кремлевских храмов и башен.

— Мне,— говорит писатель,— нравится жить в таком месте, я нарочно хочу быть подальше от раздражающей обстановки, чтобы иметь полную возможность свободно, без помех, работать. А работать предстоит мне не мало! Нужно писать и писать!.. Нынешнее лето прошло в этом смысле весьма продуктивно и дало, кроме того, массу интересного материала.

— Где вы провели это лето?

— По своему излюбленному обыкновению, в русской деревне. Гостил, между прочим, у А. С. Черемнова, сотрудничающего стихами в сборниках «Знание»,— в северной части Витебской губернии¹. Огромный лесной край, чрезвычайно любопытный в бытовом отношении. Мне пришлось очень много ходить пешком, вступать в непосредственное соприкосновение с местными крестьянами, присматриваться к их нравам, изучать их язык. Причем я сделал ряд интересных наблюдений. У крестьян этой полосы, по моему мнению, в наиболее чистом виде сохранились неспорченные черты славянской расы. В них видна порода. Да и живут они хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в средней России...

— Что вы написали в течение лета?

— Очень много стихотворений, а также и по беллетристике. Вот и теперь заканчиваю большую новую вещь, которая впервые будет мною прочитана в Обществе любителей российской словесности накануне юбилея. Помимо того, мною задумана и даже начата одна повесть, где темой служит любовь, страсть². Проблема любви до сих пор в моих произведениях не разрабатывалась. И я чувствую настоятельную необходимость написать об этом.

Не менее сильно ощущаю потребность писать стихи.

— А скажите, И. А., какое место в вашем творчестве занимает поэзия, что больше влечет вас: стихи или проза?

— Прежде всего я не признаю такого деления художественной литературы на стихи и прозу. Такой взгляд мне кажется неестественным и устарелым. Поэтический элемент стихийно присущ произведениям изящной словесности одинаково как в стихотворной, так и в прозаической форме. Проза также должна отличаться тональностью. Многие чисто беллетристические вещи читаются как стихи, хотя в них не соблюдается ни размера, ни рифмы. У Толстого, например, в романе его «Война и мир» есть такие поистине поэтические описания, которые не уступят шедеврам стихотворного искусства. К прозе не менее, чем к стихам, должны быть предъявлены требования музыкальности и гибкости языка.

— Равным образом я отрицаю ту эстетическую теорию, которая поэзии предписывает только чисто художественные задачи, различает направления гражданских мотивов, лирику и т. п. По-моему, предметом поэтического воспроизведения может быть все многообразии действительности.

«Мир идей и сюжетов велик!»

Возьмите Байрона, Шекспира, Гёте, Шиллера...

Поэт «на все откликается сердцем своим, что просит у сердца ответа».

С этой точки зрения я считаю, что русская поэзия остановилась в своем развитии на Фете, Ал. Толстом. А последние пятнадцать лет представляют пустое место.

Мне говорят, будто форма стиха сделалась теперь совершеннее, рифма богаче,

поэтические образы смелее... Все это в высшей степени спорно, почасту рискованно, а главное, искусственно и неприятно. Если сравнить того же Пушкина, «солнце русской поэзии», с существующими стихотворцами (я не буду называть имена), то... какое может быть сравнение?

У кого из современных поэтов вы найдете более музыкальный стих, чем, положим, в стихотворении «Для берегов отчизны дальней», или разве встретите в русской поэзии последних лет такие смелые, мощные образы, как в пушкинском «Обвале».

Что касается разнообразия размера или богатства рифмы, то и в этом отношении трудно соперничать хотя бы с Меем и Минским³. Разница та, что у последних просто и естественно, в то время как нынешние блещут надуманными стихотворными «ухабам».

Мне думается, я буду прав, если скажу, что поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха.

(«Московская газета», № 217, 22 октября 1912 года)

¹ Лето 1912 года Бунин провел в деревне Клеевка у своего приятеля поэта Александра Сергеевича Черемнова (1881—1919).

² Речь идет о повести «Игнат» (первоначальное название «Любовь»), печатавшейся частями в газете «Русское слово» с середины июля 1912 года.

³ Мей Лев Александрович (1822—1862) — поэт-лирик, знаток русского фольклора, автор стихотворной драмы «Псковитянка».

Минский Н. (Вилецкий Николай Максимович, 1855—1937) — дебютировал как поэт в восьмидесятых годах XIX века

5

На днях исполняется 25-летний юбилей поэта И. А. Бунина.

В настоящее время И. А. Бунин — в Москве, и мы воспользовались этим, чтобы побеседовать с ним.

— Родился я в Воронеже в 1870 г., — говорит И. А. Бунин. — Детство проводил то в Орловской, то в Воронежской губ[ерниях], в деревне, в имении отца. Принадлежу я к старому дворянскому роду, который уже дал нескольких представителей в русской литературе. Назову из них В. А. Жуковского, который был сыном помещика Бунина и пленной турчанки Сальмэ, и известную в свое время поэтессу екатерининской эпохи Анну Петровну Бунину.

Учился в елецкой гимназии, но, слава богу, мое казенное воспитание продолжалось недолго. Это дало мне возможность развиваться самостоятельно.

Жил в Орле, в Харькове, Полтаве, учился, немного работал в провинциальных газетах, странствовал по югу России, года два служил в полтавском губернском земстве статистиком, библиотекарем. Временами порядочно нуждался.

Писать я начал очень рано. Мое первое стихотворение было напечатано в «Родине», когда мне было всего 16 лет. Вот оттого-то и приходится теперь, в 42 года, в старики записываться: 25-летний юбилей — это как-никак звучит солидно. С сентября 1888 года стал печататься в «Книжках Недели» Гайдебурова.

Пережил я очень долгое народничество, затем толстовство; теперь тяготее больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности.

В настоящее время в газетах появляется обо мне много неверного. Например, «Утро России» решило, будто я одержим «мировой скорбью»¹. Может быть, газету ввела в заблуждение та грусть, которая сквозит в некоторых моих прежних юношеских вещах, но грусть — ведь это потребность радости, а не пессимизм, и отсюда еще очень далеко до мировой скорби. Я, наоборот, настолько люблю жизнь, что с удовольствием прожил бы хоть две тысячи лет.

Какое из своих произведений я считаю наиболее удавшимся? На этот вопрос трудно ответить.

Из всех написанных мною книг я все-таки считаю наиболее удачными «Деревню», «Суходол» (сборник повестей и рассказов 1911—12 гг.). Затем некоторые стихотворения последнего периода и прозаические поэмы моих странствований — «Тень птицы»,

«Иудея», «Пустыня дьявола». Что касается вообще странствований, то у меня сложилась относительно этого даже некоторая философия. Я не знаю ничего лучшего, чем путешествие.

На нынешнюю зиму у меня был план кругосветного путешествия, но я себя чувствую неважно и не могу сказать, к чему сведется поездка — может быть, всего лишь к Испании и Италии. Вообще мне приходится за последние годы проводить зимы в теплых краях. Благодаря этому, я хорошо знаю Турцию, не раз бывал в Софии, в Палестине, в Египте, в Нубии, в Сахаре, на Цейлоне, объехал северо-западное побережье Африки и, конечно, почти всюду бывал в Западной Европе. Путешествия играли в моей жизни огромную роль.

Вы спрашиваете мое мнение о современной литературе? Должен признаться, что меня, за немногими исключениями, современная литература совсем не удовлетворяет. Русская литература сейчас европеизируется. Я, конечно, не против этого; но, с другой стороны, нельзя не заметить, что эта европеизация дала пока лишь самые незначительные результаты. Дело в том, что то, что происходит сейчас в западной литературе, тоже не бог весть как ценно. Мы же стараемся гнаться за модой. К пресловутым стилизации и схематизации я отношусь вполне отрицательно. Это все порождения мертвого сердца. Когда человеку нечего сказать, то он обычно толкует об исканиях формы, прячется за стилизацию и т. д.

Вы замечаете, между прочим, что русская литература за последние годы, может быть, в связи с общественными течениями как-то растерялась и не знает, что сказать? В ней появилось что-то нервное, честолюбивое. Это какая-то боязнь отстать от последнего крика моды.

Следует отметить еще одну странность в характере современной литературы. Я подразумеваю, что она дает много пищи для рассуждений критикам, но зато, мне кажется, она утратила способность непосредственного воздействия на душу читателя. Между тем цель литературы заключается именно в непосредственном, эмоциональном воздействии. И вот этого-то эмоционального, органического элемента слишком мало в произведениях современных писателей, но зато в них более, чем надо, элемента головного.

(«Голос Москвы», № 245, 24 октября 1912 года)

¹ Речь идет о статье Н. Клест[ова], который писал о Бунине, что «мотивы «мировой скорби» давно уже звучат и в его поэзии, и в его прозе. Он всегда смотрел на мир опечаленным взглядом. «Деревня» и «Суходол» эту скорбь только усилили» («Утро России», 2 октября 1912 года).

6

— Что наиболее ценного в Чехове? Да в нем в с е ценно. Огромная художественная изобразительность, своеобразие — эта черта всякого большого художника, благородство простоты, отсутствие литературщины, книжности, чудесная форма, стройность, гармоничность, — все это чрезвычайно ценно. Дорог его ясный, необыкновенно яркий и трезвый ум. Особенно дорог он теперь, когда царит все противоположное. Теперь нет изобразительности, есть выдумка. О простоте и говорить нечего — все вычурно, надуманно и, главное, по большей части глупо...

Вот что я, между прочим, пишу о Чехове в своем последнем очерке, который должен этими днями появиться в печати¹:

«Часто думалось мне за эти годы: будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал он, если бы дожил до 3-й, до 4-й Думы, до толков о «босоножках», о Саниных, до «венских кодавов», до гнусных кликов о солнце, столь великодушных в атмосфере военно-полевых судов, до изломавшихся, изолгавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричащих на весь кабак о собственной гениальности, до той свирепой ахиней, которая читается теперь писателями по городам под видом лекций, до дней славы Пуришкевича, Распутина, Макса Линдера, слона Ямбо и Игоря Северянина...»².

«Чехов до сих пор не разгадан, не понят; не почувствован, как следует — слишком

своеобразный и сложный был он человек. Дума сокровенная, застенчивая даже, в силу своей тонкой организации, и воедино слитая с редким по остроте умом. Всегда было много не в меру открытых и крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком говорил Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса».

«Я думаю, что он никогда ни с кем не был дружен, близок по-настоящему. Я говорил об этом еще в первом своем очерке. Теперь это подтверждается. Замечательная строка есть в недавно опубликованных отрывках из его записной книжки:

«Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, и живу одиноким...»

«Лет 15 иначе и не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумрачных настроений», «большим талантом», «человеком, смотревшим на все безнадежно равнодушно».

Я уже писал, как он возмущался этим:

— Какой я,—говорил он,—«хмурый» человек, какая я «холодная кровь», какой «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый рассказ «Студент»... И слово-то противное: «пессимист». Нет, критики еще хуже актеров. А ведь, знаете, актеры на целых 75 лет отстали в развитии от русского общества.

«Теперь без всякой меры гнут палку в другую сторону, треплют фразу о «небе в алмазах»... Последние 10 лет твердят: «чеховская нежность и теплота», «чеховская грусть», «чеховская любовь к человеку», «певец вишневых садов».

«И читать все это положительно нетерпимо. Помню, если случалось, что бездарный человек пускался при Чехове кого-нибудь характеризовать или копировать, Чехов не знал, куда глаза спрятать от стыда за этого человека».

«Что же почувствовал бы он, читая про свою «нежность»? Была у него в душе нежность, но можно ли говорить о какой-то специально чеховской? Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем.

Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». Печаль, а не грусть есть в его произведениях, печаль глубокая и большая. А ведь идут еще дальше: его — воплощенную сдержанность, трезвость и ясность — сравнивают иногда с Комиссаржевской»...

«В основе его натуры лежала жизнерадостность. Повторяю и подчеркиваю: как только он чувствовал себя мало-мальски сносно, он преображался. В моих воспоминаниях о днях, неделях, иногда целых месяцах в его доме преобладающее воспоминание: смех, хохот, шутки. Это, конечно, не исключает и других воспоминаний, помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не грусть».

— Я привел вам выдержки из моего последнего, не изданного еще очерка о Чехове. Но еще в свое время я писал и настаивал на том, что Чехов по натуре своей далеко не был нытиком³. Он любил смех, но смеялся он — и смеялся заразительно — только в тех случаях, когда слышал что-нибудь смешное. Он любил шутки, нелепые прозвища, мистификации. Как только ему становилось лучше, он с таким тонким комизмом осуществлял свои затеи, что все неудержимо смеялись. Сам он умел рассказывать самые смешные вещи и без малейшей улыбки. Как же можно после этого называть Чехова «нытиком»? Читатель привык ссылаться на героев Чехова. Но ведь не все же герои у него нытики. Да и не виноват же Чехов в том, что в те годы, когда он жил, страна находилась в состоянии... апатии, а интеллигенция переживала период дряблости. Нельзя смешивать автора с его героями. Некоторые объясняют это отождествление тем, что бодрые произведения приходится читать, а пьесы, проникнутые тоской или печалью, приходится по нескольку раз в сезон видеть со сцены. Ну, а критики, которые не только смотрят Чехова со сцены, но и изучают его во всей его совокупности? Нет, в определении личности Чехова имеется много неправильного. Послушаешь иных, то получится впечатление, что Чехов был слабый, безвольный, податливый человек. Это не так. Сбить его с позиции было нелегко. Он был строг и ни в какой мере не поддавался чужим влияниям. Это была цельная, своеобразная натура.

Имел ли на меня, как на писателя, Чехов влияние? Нет. Я был поглощен, восхищен им, но не испытывал желания: вот бы так именно написать, как написал Чехов.

Для меня был богом Л. Н. Толстой. Конечно, как умный благородный человек, с которым я имел счастье встречаться, Чехов имел на меня влияние, но влияние это было не непосредственное.

Наиболее ценными произведениями я считаю: «Счастье», «Студент», «Скучная история», «Убийство», «Палата № 6», «Архиерей». Как в зеркале, в этих произведениях отражается ум, душа Чехова, поразительная изобразительность, наблюдательность и необычайная концентрация мысли.

(«Одесские новости», № 9398, 2 июля 1914 года)

¹ Имеется в виду мемуарный очерк «О Чехове. Из записной книжки», опубликованный московской газетой «Русское слово» 2 июля 1914 года. При переработке очерка для собрания сочинений Бунин исключил из текста наиболее резкие характеристики современной общественной и литературной жизни, данные им на страницах «Русского слова» и «Одесских новостей».

² Санин — герой одноименного полупорнографического романа М. П. Арцыбашева, изданного в 1907 году.

«Венские кошмодавы» — намек на дебоширства в ресторане «Вена», где обычно собиралась литературная богема.

Пуришкевич В. М. — ярый черносотенец, основатель «Союза русского народа», депутат 3-й и 4-й Государственной думы.

Макс Линдер (1883—1925) — популярный комический актер французского немого кино.

³ Об этом Бунин писал в своих ранних воспоминаниях «Памяти Чехова», опубликованных в третьем сборнике «Знания» за 1904 год.

Публикация, вступительная заметка и комментарии А. Нинова.



ЖИЖНОЕ ОБЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Кондратович. Накануне войны.— **А. Лебедев.** Дороги, которые мы выбираем.— **Г. Макаров.** Книги-близнецы.— **А. Меньшутин.** Пути русской поэзии.— **М. Ландор.** Дар надежды.— **М. Чудакова.** По строгим законам науки.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Шарапов. Рассказывают московские большевики.— **О. Лацис.** Новое надо отстаивать.— **Г. Старушенко.** Арьергардные бои идеологов колониализма.— **Алексей Эйсер.** Они сражались за Испанию.— **А. Монгайт.** Новые методы в археологии.— **Д. И. Щербанов.** Преображенная тайга.

Литература и искусство

НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Александр Розен. Последние две недели. Роман. «Звезда», № 1, 1965.

Сколько произведений о войне начиналось с описания того поистине трагического дня 22 июня 1941 года, когда рано утром проснулись под бомбами Киев и Севастополь, Минск и Рига, пришли в движение войска от Балтики до Черного моря, а в двенадцать часов о войне уже знала вся страна. Нападение врага было внезапным, беда была неожиданной.

Но вот роман ленинградского писателя Александра Розена «Последние две недели», где, кажется, все наоборот. Автор ставит точку там, с чего другие начинали — на дате 22 июня, а до этого идет описание последних двух мирных недель жизни его героев. И чего-чего, но благозвучности в этом описании нет. Напротив, драматизм повествования растет день за днем (главы так и обозначены: «8 июня», «9 июня», «В тот же день...»), неотвратимо приближая нас к войне, и здесь, в этом романе, война — не гром с ясного неба.

Так что это — полемическое произведение, противостоящее написанному ранее? Ничуть.

Да, так оно и было, и не случайно тот первый военный день, день оглушительной вести, так многократно описан в нашей литературе. Нападение врага было и впрямь внезапным...

Но в силу ли одного коварства врага или были и другие причины, объективно потворствовавшие этому коварству? Еще не так давно сама постановка этого вопроса была бы расценена как злокозненная. Между тем без полного ответа на этот вопрос и раньше нельзя было понять, каким образом гитлеровское командование сумело сосредоточить у наших границ 170 вооруженных до зубов дивизий. Одна из причин — документ, который читать сейчас и горько и стыдно. «В иностранной печати, — заявляло ТАСС за неделю до войны, — стали муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией». Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве все же сочли необходимым, ввиду упорного муссирования этих слухов, уполномочить ТАСС заявить,

что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны... По данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям».

Это заявление по сути дела дезинформировало советских людей. И добро бы оно исходило от человека чрезмерной доверчивости, но мы-то знаем, что Сталин отличался совсем иными качествами.

Не будем сейчас заниматься догадками по части психологии. Факт остается фактом: в самый канун войны многие из нас думали, что до войны далеко и вероятный враг вовсе не гитлеровская Германия. И в этом весь трагизм положения народа в первые дни и месяцы войны, в этом одна из причин того, что нашей армии пришлось терпеть тогда горькие поражения

Иногда эти поражения пытаются свести к мелкой «правде факта», которой, дескать, далеко до истинной «правды явления»; писателей, которые вглядываются в то грозное лето сорок первого года и стремятся понять, что тогда произошло, называют «недалекими литераторами». Но мы потеряли в те месяцы сотни тысяч, если не миллионы людей, отдали врагу, пусть временно, громадную территорию, и называть это мелкой, несущественной «правдой факта», пожалуй, кощунственно. «Отговаривать» же писателей от «темы 41-го года» — значит по меньшей мере обнаруживать незаинтересованность в исторической правде.

Если роман А. Розена с кем-нибудь и полемизирует, то вот с такими советчиками. Заботясь об исторической правде, автор исследует то время, не доверяясь ни устоявшимся представлениям, ни тем более привычным формулировкам, поддерживающим эти представления. Предвоенные дни, сте-

пень подготовки наших войск к войне, чудовищная дезинформация, которой поверило наше командование, и многое другое еще никак не освещены в нашей литературе, хотя документального, архивного материала для этого вполне достаточно. Писатель первый говорит то, о чем уже пора сказать, и в этом нельзя не увидеть его заслуги: еще одна страница истории представит очищенной от наслоений заведомой неправды.

Но эта ясность понимания тех дней — преимущество, дарованное нам временем. В сорок первом ее не могло быть, и для большинства людей правдой были слова ТАСС. А тот, кто знал больше, кто сталкивался с фактами, противоречившими общему мнению, тот мучился этими противоречиями, не мог связать концы с концами, жил тягостным предчувствием надвигающейся беды и ничего не мог сделать, чтобы предотвратить ее.

В таком положении оказались главные герои романа А. Розена, братья Зимины — Сергей Сергеевич и Глеб Сергеевич. Младший, Глеб Сергеевич, — работник советского торгпредства в Берлине, Сергей Сергеевич — генерал, кадровый военный, достаточно проницательный, чтобы из отдельных фактов сделать далеко идущие выводы, во всяком случае доверяющий прежде всего фактам, ценящий их, какими бы они ни были — приятными или неприятными.

Они встречаются ночью на железнодорожной станции, и короткий разговор их полон тревоги. Глеб вызван в Ленинград, и сам этот вызов необычен. Отказала только полученная из Германии импортная турбина, выяснилось, что на двух лопатках ее сталь нелегированная. Случай, наводящий на размышления, тем более что в последнее время «вытягивать» из немцев советские заказы становится все труднее и труднее: каждый раз немцы ссылаются на чрезвычайные обстоятельства, на войну. Эти подозрения усилились в дороге, когда пришлось повидать странное: наши гонят с востока на запад эшелон за эшелонам с пшеницей, а обратно идет один порожняк, на вокзалах шумнее, чем в тридцать девятом, немцы стягивают к нашей границе орудия, танки. «Говоришь, у них все бензином пропахло?» — переспрашивает Сергей Сергеевич. — «Ну, а я каждый день рапорты пишу: бензина не хватает. Понял?» — «Нет», — отве-

чает младший брат. «Вот и я — нет», — говорит старший.

Здесь, в этом ночном разговоре 8 июня, «схвачено» то, что будет потом мучить Зиминных и девятого, и десятого, и одиннадцатого — вплоть до рокового дня начала войны, когда все сразу же определится и станет ясно, что нужно делать. До этого же полная неясность и, что тяжелее всего, невозможность самому прояснить обстановку.

И в самом деле «у них все бензином пропахло». «Отсюда немецкая пограничная стража просмагривается, — докладывают генералу Зимину, — и не только стража. С наблюдательной вышки просматриваем танки, бронемашину, артиллерию, тяжелую и легкую. Кое-что немцы маскируют, а кое-что прямо в открытую. В километре отсюда городок немецкий... Форменное гнездо, товарищ генерал: штаб стрелковой дивизии, потом эсэсовцы...»

«У них все бензином пропахло», а у нас «бензина нет». Это противоречие не так-то легко понять и объяснить. Ведь бензин есть, так же как есть пшеница, которую увозят в Германию по дружественному договору. Бензин есть — и его нет. Так же, как нет укрепленный на границе: на старой они отданы колхозникам под овощехранилища и даже кое-где взорваны, а на новой еще строятся. Когда будут построены, никто не знает. «Работайте... Осенью приедем, взглянем», — говорит начальство. На границе нет и полноценных, готовых к бою частей: почти все они оттянуты туда, где должны находиться глубокие армейские тылы.

Все по ту сторону границы указывает на близость войны. Но на нашей стороне о ней нельзя говорить вслух и уж тем более что-то предпринимать, готовиться к ней: это может быть расценено как провокация, как неверие в мудрость Сталина. Характерен в этом смысле разговор двух генералов: Зимина и Гукова — инспектора Генерального штаба.

«— Да, вы человек недюжинный, — говорит Гуков Зимину, — и я думаю, что вы, именно вы можете понять ту гигантскую работу, которую делает товарищ Сталин, чтобы избежать войны. Каждое неосторожное движение, любой легкомысленный шаг может привести к катастрофе. Как вы думаете, немецкая разведка ничего о нас не знает? Ни о ваших передвижениях, ни о трех батальонах? Вы думаете, что немецким генералам это нравится?»

— Разведка немецкая, к сожалению, и так знает слишком много! — сказал Сергей Сергеевич. — Еще полгода назад здесь повсюду и совершенно свободно разгуливали переодетые немецкие офицеры, занимались, так сказать, «репатриацией», а попросту сказать — шпионажем. Что нравится и что не нравится немецким генералам? Я думаю, им очень нравится, что сил у нас здесь мало.

— Ошибаетесь. Немцы недовольны, они считают, что мы здесь сконцентрировали очень много сил».

Читая роман А. Розена, иногда ловишь себя на мысли: да неужели такое говорили буквально за несколько дней до войны? Да, так, как Гуков, думали и так говорили многие, и уж если задумываться о подлинности персонажей романа и их образа мыслей, то можно кое-где усомниться в Зимине, но не в Гукове.

Зимин — умный и наблюдательный генерал, но иногда кажется, что он умнее своего времени, знает больше, чем мог знать, и этими знаниями его «обеспечил» романист, пишущий уже в шестидесятые годы. Зимин и действует соответственно своим мыслям. Вот к нему приезжает старый знакомый лектор Широков. Зимин, уже утвердившийся в своем мнении, что война близка, отсылает лектора обратно: выступать в частях с лекцией, в основу которой положено «Сообщение ТАСС», он не позволит. Это происходит на другой день после опубликования «Сообщения» и выглядит не очень правдоподобно. Как раз тогда это «Сообщение» было принято на веру и успокоило многих из тех, кто сомневался в прочности союза с Германией.

Автор кое-где модернизирует образ мыслей своего героя, и в этом нельзя не усмотреть некоторое отступление от правды.

Гуков нарисован точнее. Вот он-то весь в своем времени. Он не прочь и прикинуться добрым мальчиком, и пожаловаться на свою судьбу, которая чинами его не обделила, но настоящего авторитета среди военных не дала. «Я, — кокетничает он, — признаюсь, черный завистник. Завидую каждому, кто свое хозяйство имеет. Да что же это за военный, который ни разу ничем не командовал? Просился. Отказали. Вот и ездит Гуков с места на место и врагов себе наживает». Но это чистое притворство: как раз ответственности Гуков больше всего и боится, на своем хозяйстве легко можно голову сломать, а Гукову, как всякому карьеристу

сту, это совсем ни к чему. И, как карьеристу, ему свойствен цинизм. Та легкость, с которой он отбрасывает факты, прямо противоположна напряженной работе мысли Зимины, несколько угрюмого. Но характерная черта того периода: именно Зимин мог оказаться тогда отстраненным от командования за то, что не согласовывал свои слова и поведение с общим успокоительным тоном пропаганды, уверявшей устами того же Гукова, что всякие разговоры о войне — провокация.

При всей своей примитивности, Гуков — явление не такое простое. Заманчиво представить его в первый день войны: конечно же, он сразу «забудет» о том, что говорил вчера, в то время как Зимины еще долго будет терзать совесть: он не сделал всего того, что мог сделать.

Опасную борьбу ведет и Зимин-младший. Рекламация ленинградского завода признана провокационной. И снова: «Что это значит — «фашисты не хотят торговать»? Разве это не прямое неверие в сталинскую оценку международных отношений?» Но ведь лопатки на турбине действительно полетели, и старый хозяин фирмы Кубе признал, что они сделаны не из легированной стали. Да, но старый Кубе выжил из ума и надо доверять младшему Кубе, а тот отрицает виновность своей фирмы. И опять: «Не провоцировать немцев!»

«Не провоцировать» и «неверие в сталинскую оценку международных отношений» звучат достаточно грозно, тем более что это слова следователя по особо важным поручениям НКВД Люминарского. Как и Гуков, Люминарский не желает считаться с фактами: тем хуже для фактов, если они противоречат высшим указаниям. И тем

хуже для тех, кто упорствует, защищая эти факты.

Поединок совести, честности, который ведут Зимины, обостряется тем, что ведь и Зимины верят в Сталина, в его мудрость и всеведение. Но они не Гуковы и Люминарские, они не привыкли верить слепо, в крайнем случае они готовы списать его ошибки за счет других («Сталин не знает»), но не могут закрыть глаза на них.

Здесь и пролегал водораздел между Люминарским, Гуковым и братьями Зимины. И тем трагичнее, что в иные исторические моменты Зимины куда хуже жить на свеге, чем Гуковым и Люминарским, что Зимины зависимы от них. Начнись война чуть позже — и не миновать бы Сергею Сергеевичу исключения из партии, а Глебу тюрьмы, а может, еще и худшего.

Начавшись как историческая хроника предвоенных дней, роман А. Розена перерос рамки хроники. Писателя интересуют истоки психологии таких людей, как, скажем, следователь Люминарский. В поисках социальной родословной некоторых персонажей автор порой увлекается: к чему, например, долго выяснять биографию сослуживца Глеба Зимины Шкroeва, играющего в романе чисто подсобную роль? Тем более что сам Шкroeв весьма смахивает на персонажей, знакомых по беллетристике. Однако само стремление автора глубже понять время, историю, возратить им их истинный смысл заслуживает поддержки.

Многое, о чем пишет А. Розен, представляется невероятным. При чтении часто задаешься вопросом: как же это могло быть? Но уже само это удивление — благо: значит, мы довольно далеко ушли от того времени.

А. КОНДРАТОВИЧ.

★

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Арчил Сулакаури. Возвращение Авеля. Рассказы. Перевод с грузинского. Тбилиси. 1964. 268 стр.

Манера, в которой пишет Сулакаури, озадачивает. Произведения, включенные в его сборник, читаем мы в послесловии к книге, — «одно из самых знаменательных явлений новой грузинской прозы», и «принадлежат они перу уже известного поэта, рабо-

тающего в последние годы и в жанре рассказа». Между тем наивная патетика рассказов Сулакаури порой как бы зовет к снисхождению: с такой же вот захлебывающейся интонацией, очень искренней аффектацией говорят иногда подростки, мыс-

ли и чувства которых только еще обретают запальчивую смелость первой самостоятельности.

Да и сами герои Сулакаури частенько напоминают себе: «мы уже не дети»; «теперь мы должны знать, кто мы и что мы. Детям простительно не знать этого... Нам — нет, не простительно!» Однако речь их звучит порой как импровизированная исповедь старшеклассника. «Пять лет дружить с человеком, и вот в один прекрасный день оказывается, что все это вранье, одно притворство. Друг, оказывается, совсем не тот, за кого себя выдавал. В этом случае ты теряешь не только друга. Потеряны годы, те мысли и чувства, которые ты ему отдал. Такое впечатление, как будто какой-то нахал тебя ограбил...» Некоторые страницы производят впечатление излияний сугубо личного свойства: «...Я описал все, как было. Мне хотелось больше написать о тебе, но вышло так, что в основном я занимался своими же чувствами. Хорошо или плохо, иначе у меня не получилось. Я рад, что все лучшее в моей юности связано с тобой, Бежан, что мы были чисты, как дети, и, как дети, полны светлой мечтой... Как был бы ты рад хорошей погоде, расцветающим тучам, сгнившему наваждению. Мы были созданы для хорошей погоды и чистого воздуха...» и т. д.

Такая манера может раздражать. Между тем она рассчитана на внимание: в словесной шелухе, как говорит сам писатель, иногда «прячется боль», и несколько претенциозная манерность порой оказывается незрелой формой искреннего чувства, важной мысли. Но в одной ли манере тут дело?

О самых разных людях пишет Сулакаури, о самых разных жизненных случаях и ситуациях — о солдате, гибнущем на войне; о железнодорожнике-пенсionере, который все ждет и ждет в гости свою маленькую внучку; о мальчишке, у которого отнята любимую собаку; о дружбе теперешних подростков; о любви, которая приходит к человеку в шестнадцать лет, и о человеке, который возвращается в родной город после восемнадцатилетнего заточения по несправедливому приговору... И все-таки прежде всего книга рассказов Сулакаури — монолог, лирический монолог автора, который, рассказывая о всех этих судьбах и всех этих людях, стремится лишь одну «мысль разрешить» И потому проникновение в сущность характеров героев Сулакаури, в смысл

ситуаций, описываемых им, — это узнавание все одной и той же главной его мысли.

Отсюда, как видно, и явная в ряде случаев условность персонификации действующих лиц, отсутствие ярко выраженных национальных черт. Даже имена героев Сулакаури порой демонстративно условны: «Солдат», «Девушка», «Старшина», «Мальчик», «Авель» и подразумевающийся, быть может, в последнем случае «Каин». По существу перед нами один герой, выступающий в разных ситуациях в различных обликах.

Главный герой всей книги — это человек, стоящий на пороге своего нравственного совершеннолетия. Он хочет быть нравственно самостоятельным наконец. Он не хочет, чтобы его понуждали к радости, чтобы ему предписывали горе. И больше всего ему теперь противна вообще всякая вынужденность чувств.

«Иногда вдруг всплывало в сознании время, когда он учился в первом или во втором классе. Вспоминалось смутно, словно увиденное во сне. Учеников построили парами и повели к дому, где у входа толпился народ. Какие-то люди плакали. Детям всучили тяжелые венки по одному на двоих. Первая пара несла увеличенную, вставленную в рамку фотографию. На ней был их одноклассник. Процессия медленно двинулась. Шли так долго, что стало скучно, тогда начали кидать друг в дружку цветы, выдергивая из венков туго сплетенные стебли. Учительница остановила и выбрала их. Усталые, обессиленные, они шли бесконечно долго. Пудовые ветки оттягивали руки. Казалось, никогда не кончится это шествие... А потом все пошло по-прежнему».

Кажется, что человек, о котором пишет Сулакаури, только что вырвался из рамок школьного регламента моральных предписаний и больше всего поэтому он хочет сейчас нравственной самостоятельности. Он хочет отныне сам избирать свои жизненные пути — и по законам своей совести. Он смутно чувствует, что только человек, самостоятельно избравший свой жизненный путь, по-настоящему и отвечает за свои поступки. Предписанное поведение — поведение внутренне безответственное. Уже из одного только чувства внутреннего протеста хочется тогда смеяться на похоронах, как может потом захотеться плакать на свадьбах. Герои Сулакаури частенько

ко смеются и плачут именно в таких ситуациях.

Сказанное приложимо не только к «школьной» поре в жизни человека.

Вот возвращается в свой дом человек, когда-то невинно осужденный.

«Вдруг ему почудилось, что кто-то следит за ним... Невидимый соглядатай давно жил с ним. И даже в нем... Авель вспомнил, что восемнадцать лет назад, когда поезд мчался по тайге, вот точно так же кто-то увязался за ним. Сначала присматривался издали, потом пододвинулся ближе, сел рядом и стал копошиться в его душе.

— Авель,— сказал он ему шепотом,— ведь мне удалось сломить тебя, Авель!

— Да, удалось сломить меня...

— Ты виноват, Авель!

— Да, я виноват.

— Ты двурушник и предатель, Авель!

— Да, я двурушник и предатель.

— Ты и изменник, Авель!

— Да, я и изменник.

...Но иногда, правда очень редко, быть может, из тысячи случаев раз, Авель приподнимался, расправлял плечи и безмолвным воплем оглашал снежную пустыню:

— Но разве я на самом деле виновен?!

— Авель!

— Я ничего не говорил!

— Ты о чем-то подумал, Авель!

И он был прав: Авель действительно о чем-то подумал, а мысль тоже была преступлением, ибо его убедили, вколотили в его мозг и сознание, что он двурушник и предатель... А тот, безликий и скользкий, потирал, довольный, руки, еще глубже и удобнее устроившись в его душе».

«Возвращение Авеля» — так называется этот рассказ Сулакаури. «Изгнание Каина» — так можно было бы его назвать, имея в виду победу героя над игом ложно понимаемого долга. «...В этом рассказе.— пишет в послесловии к книге Г. Маргвелашвили,— опубликованном до замечательной повести Солженицына, писателя интересует не описание реалистических подробностей «одного дня» или похожих на него многих страшных дней, выпавших на долю его героя, а почти исключительно жизнь его души...»

Действительно, душа героя книги. ведомая мыслью автора, как бы проходит некие «круги ада» — каждый рассказ исчерпывает тему одного такого «круга»: любовная драма, испытания дружбы, судьба человека на войне, одиночество старости, наконец тра-

гедия изгнанника в своем отечестве, оклеветанного своим вчерашним единомышленником. Так автор утверждает абсолютный универсализм принципа «жизни по законам совести». Нет, по его мнению, такой ситуации, при которой бы отступление от этого принципа могло бы считаться оправданным.

Надо всегда поступать лишь так, как велит тебе твоя совесть, ибо, изменяя себе, ты предаешь других. Таков идейно-этический лейтмотив книги Арчила Сулакаури. Герои Сулакаури чувствуют это порой чисто инстинктивно. И этот нравственный инстинкт оказывается для них той силой, которая понуждает их зачастую действовать вопреки иным своим интересам и устремлениям, вопреки вообще всяческой «прозе» бытия. Именно это определяет драматизм всех описываемых Сулакаури ситуаций. Но именно так и сам Сулакаури вновь возвращается к системе этических представлений, согласно которой «законы совести» обретают в характерах его героев черты нравственного ригоризма, превращаются в какой-то «кодекс чести». В самом поведении героев подчас проступает некая подневольность, что ли, их поведение неожиданно оказывается предопределенным и вынужденным.

«— Я знала, что ты уйдешь... и не вернешься. Ты гордый, не то что...— голос ее оборвался. В глазах Юлии стояли слезы. Она чувствовала себя обкраденной, опустошенной и только сейчас поняла, что потеряла самого для нее дорогого на свете человека. потеряла навсегда.

— Юлия, я не могу остаться, не могу,— сказал уже с порога Ладо.

— Знаю... И я не могла п... сказала... Знала, что уйдешь, и все же сказала...

Под ногами скрипел снег. Ладо шел куда глаза глядят...»

Так расстаются двое любящих друг друга людей.

И вновь не они сами выбирают свои дороги — их дороги оказываются для них едва ли не каким-то внутренним фатумом, нравственной участью их.

«...— Такова жизнь, Авель... Ты потерял жену.

— Да, я погубил жену.

— И сына, Авель.

— И сына...

— В моем доме сейчас живут чужие люди.

— Да, они живут в моем доме.

— Если бы ты жил просто, так же, как живут другие...

— Я не знаю, как живут другие...

— Если б ты жил, как все...

— Я жил так, как я должен был жить».

Так в душу героя возвращается только что изгнанный из нее «внутренний Капи».

«Человек должного («то — нельзя, а это — можно»), — писал в свое время Луначарский, — это мещанин, он человек обычаев, приличный, угрызений совести и прочих этических прелестей... Сознательный пролетарий — человек безусловной свободы, для него нет ничего должного. Если он поступает определенным образом, то не потому, что он должен так поступать, а потому, что он хочет так поступать, что находит это целесообразным». Запальчивая категоричность этого суждения, несомненно, схематизирует действительную и подчас весьма сложную диалектику должного и желаемого. Но мера различия природы должного и желаемого подчеркивается в этом случае очень отчетливо. Когда-то люди Возрождения умели «из необходимости делать доблесть». Можно сказать, что для героев Сулакаури нравственная доблесть оказывается подчас тяжелой духовной необходимостью, слишком тяжелой.

Одинок старый машинист Габо. Жизнь свою он уже прожил. Были у него жена и сын. А теперь он остался один-одинешенек. Только в пенсионный день собираются у него такие же, как он, старики пенсионеры и беседуют в свое удовольствие до утра.

«— Такова жизнь, — скажет Михо, — мы выполнили свой долг... Такова жизнь.

— Что значит «выполнили долг»? — спрашивает большеголовый Гогиа.

— То и значит, — ответит Михо и наполнит себе стакан...

— Ну, так и не надо мне никакого твоего долга. Верните мне мой паровоз!..»

Габо богаче своих приятелей. Кроме воспоминаний о «своем паровозе», у него есть еще Гугута, внучка, «беленькая, светловолосая, маленькая девочка», живущая с матерью в деревне. И вот теперь Габо все ждет, когда Гугута навестит его. И, получая пенсию, Габо делит ее на две части — одну часть оставляет себе, другую постоянно посылает Гугуте. Наконец однажды «раздался осторожный стук в дверь». У старика задрожали колени. «Гугута приехала! — завтра весь город узнает об этом».

А Гугута оказалась не только краснощекой и круглолицей, но и грубой, жадной, циничной. Это была другая Гугута.

И снова Габо остался один. Только в день пенсии собираются у него, как и раньше, старики приятели. И снова до утра ведут они беседы о разных своих разносях.

«... — Так не хочу я никакого твоего долга, верните мне мой паровоз! — это сказал большеголовый Гогиа.

Может быть, и Габо не хочет выполнять свой долг. Верните ему маленькую Гугуту, которую он ждал пятнадцать лет. Верните ему красивую, беленькую Гугуту».

Есть у Сулакаури рассказ «Вверх и вниз». Вверх и вниз носятся по гулким лестницам городского дома мальчик и девочка. Потом проходит время, и дети вырастают. И Гоги — так зовут юношу — уезжает куда-то из города: он стал геологом. А потом возвращается. Лия — так зовут девушку — работает теперь в кукольном театре. Гоги сразу же идет в этот театр, хотя уже поздно и спектакль кончился.

«В зале было темно. Только игрушечный лес над ширмой озарялся фиолетовым светом от рампы... А вдоль леса двигалась над ширмой рыжая кукла в белом платье с цветочками и в красной шапочке...

— Лия... Я Гоги... Гоги...

Кукла как будто побледнела, застыла как вкопанная и не шевелилась.

... — Я Красная Шапочка, — сказала кукла детским голосом.

... — Лия, выходи. Я знаю, ты за ширмой. Не прячься, выходи, Лия!»

Но сам герой не спешит за кулисы. Кажется, что Гоги просто боится, как бы при ближайшем рассмотрении его Красная Шапочка не оказалась бы взрослой Гугутой. И вот он вновь в каком-то далеком походе. Группа остановилась на ночлег. «В этом молчании, в этом необъятном безмолвии мне хочется позвать Лию. И я зову ее. И горы повторяют мой зов и возвращают мне его обратно...» Но, замечает герой рассказа, «и этим не кончилась наша история. И не кончится, пока мы живы, я и Лия». Вот и старый Габо считает, что он все-таки «вернет, он пойдет и разыщет» свою прежнюю маленькую Гугуту.

Так собственная нравственная потребность у героев Сулакаури превращается в долг, в какие-то моральные костыли, на которые им теперь приходится опираться, чтобы не

упасть даже в своих же собственных глазах.

Противоречивейшие чувства обуревают героев Сулакаури. Кажется, пишет автор книги, «то, что давило их, сдвинулось и низверглось, увлекая их самих в хаос поступков и чувств. Что-то падало, разбивалось. Слышался звон и треск ломающихся вещей». От всего этого у героев Сулакаури сделалось какое-то «кружение сердца». И в нем оказались теперь вместе — убежденность и неуверенность, непреклонность и растерянность, решимость и нерешительность. Герои Сулакаури страстно хотят идти по дороге, которую они самостоятельно наконец для себя избрали. И в недоумении остаются на месте: никакой дороги перед ними нет. И им начинает казаться, что

кто-то их обманул, что сама жизнь их подвела. И они припадают в слезах к светлому образу «маленькой Гугуты» и поверяют свое горе «Красной Шапочке». Патетический драматизм их переживаний поражен сентиментальной инфантильностью, хотя в словесной шелухе их слишком шумного и слишком литературного отчаяния порой слышится настоящая боль: путь, на который они было ступили, тернист, и тернии эти уже не литературного свойства — они ранят всерьез, от них по-настоящему больно.

Герои Сулакаури еще не знают, что дороги, которые мы выберем, — самые трудные дороги на свете. Потому что их просто не существует, куда их сам не протришь...

А. ЛЕБЕДЕВ.



КНИГИ-БЛИЗНЕЦЫ

Алексей Налдеев. Владыка мира. Тема труда в современной советской прозе. «Советская Россия». М. 1965. 176 стр.

Александр Власенко. Герой и современность. Раздумья о положительном герое в литературе наших дней. «Советская Россия». М. 1964. 156 стр.

Если попытаться определить главную особенность книг критиков А. Налдеева и А. Власенко, это, на наш взгляд, будет их поразительное сходство. Несмотря на различие тем (одного автора волнует тема труда, другого — проблема положительного героя в литературе), можно заверить читателя, прочитавшего какую-либо одну из этих книг, что во второй он встретит не только имена тех же писателей, анализ тех же произведений, но и полную общность приемов, идентичность взгляда на литературу и почти дословное совпадение критических выводов. Даже по стилю своему эти книги неразличимы — будто их писала одна рука.

Начнем с основных положений, высказанных авторами. А. Налдеев говорит о необходимости «так или иначе глубоко раскрыть характер современника» (стр. 33). А. Власенко пишет об особой воспитательной силе произведений, «отражающих непосредственно современную действительность» (стр. 3). А. Налдеев заботится о том, чтобы читатели находили в художественных произведениях «образ сознательного труженика, величие его дел, богатство и красоту его духовного мира» (стр. 33). А. Власенко пишет: «Решительно отвергая всякую лакировку,

украшательство, мы не боимся больших слов, чтобы воспеть советского человека, красивого своими делами и душой» (стр. 95). Решив, что высказать эту мысль один раз недостаточно, критик на странице 152 повторяет: «Решительно отвергая всякую лакировку, украшательство, мы не боимся больших слов, чтобы воспеть советского человека, красивого своими делами и душой».

Эти и другие подобные им — правильные по существу — высказывания А. Власенко мог бы, пожалуй, повторить и в третий раз. Однако они становятся общим местом и пустой фразой, если не облечены в плоть и кровь живого и убедительного конкретного анализа художественных произведений.

Мы уже говорили о том, что оба критика привлекают в качестве примеров произведения одних и тех же авторов. Сам по себе этот факт еще ни о чем не говорит — важно, чтобы критик по-своему анализировал проблемы, поставленные писателями. Однако в книгах А. Налдеева и А. Власенко царит полное и прямо-таки удручающее однообразие: и в своих похвалах, и в своих осуждениях оба автора неизменно единокорны.

Единственным исключением является, пожалуй, повесть Н. Строковского «История одной ночи». По мнению А. Власенко, повесть Н. Строковского служит ярким примером «целестремленного, перспективного» освещения «героической жизни» народа в современной литературе. Критик цитирует слова одного из героев повести: «В дальнюю дорогу человек берет с собой самое необходимое, самое дорогое. Вот и мы в дальнюю дорогу берем скромность, порядочность, честность...» «Эти слова,— заключает А. Власенко,— могут служить эпиграфом ко многим книгам», прославляющим «высокие моральные качества героев» (стр. 40).

А. Налдеев высказывает иное суждение. Он пишет: «Н. Строковский пытается показать героя с «требованиями», с идейной закалкой. Но поступки и мысли его героев... банальны и пошлы». По его мнению, герои повести — «отсталые, пошлые люди» (стр. 102). Это резкое несоответствие взглядов наших авторов тем более бросается в глаза, что совершенно непонятна причина, приведшая к такому неожиданному диссонансу в суждениях. Ведь во всем остальном критики являют пример почти полного единообразия.

А. Власенко нравится, например, роман Е. Белянкина «Садыя». Не будем удивляться, что и А. Налдееву он по душе. «В атмосфере трудовой романтики и новаторства живут и действуют... герои романа Е. Белянкина «Садыя»,— пишет А. Налдеев (стр. 86). «...Белянкин все время в центре внимания держал,— продолжает он.— не проблемы технологического производства (автор, разрабатывающий тему труда в прозе, вероятно, хотел сказать «технологии производства».— Г. М.), а душу своих героев» (стр. 96). А. Власенко считает: Петров показан в романе «как мыслящий труженик» — и возражает критику, который увидел в романе Е. Белянкина «ущемление интеллектуальности» героя «физическим трудом» (стр. 16). Известно, что критика писала об интеллектуальной бедности героев романа «Садыя», о серости, слабости изобразительных средств романа. Однако А. Власенко с этим не согласен. Он призывает учиться по этому роману тех презираемых им «интеллектуалов», «кто слабо соприкасается с жизнью и не постигает сущности прекрасного» (стр. 17).

Возьмем другой пример. А. Налдееву нра-

вится роман В. Крюкова «Творцы и пророки», в котором автор, по его мнению, «хорошо показал» и «смело развенчал штатного (?) столичного конструктора Пронтарского» (стр. 86) и «в сложном и остром конфликте раскрыл характер подлинного — по призванию! — новатора Алексея Вершина» (стр. 87). А. Власенко столь же восторженно отзывается об этой книге В. Крюкова, освещающей, по его мнению, «самые разнообразные вопросы нравственного воспитания». Он пишет: «Книга отличается богатством связей человеческих судеб» (стр. 94). В ней «верно решается проблема воспитания в каждом человеке коммунистической сознательности.. В жизни Алексея возникла необходимость подчинения своих личных желаний требованиям общественного долга. Его возлюбленная Ира, уезжая после окончания педагогического института в другой город, зовет его с собой. Но Алексей не может оставить родной завод в такой момент... ибо не представляет себе личного счастья без ощущения выполненного долга» (стр. 95).

Еще больший и единодушный восторг вызывает у наших авторов роман М. Бубеннова «Орлиная степь». «...Оттчи и дедичи,— пишет А. Налдеев,— перед лицом опасности говаривали: «Сдюжим!»— так и Леонид Багрянов — герой «Орлиной степи» — ...уверенно сказал: «Выдержим!» (стр. 80). «Леонид Багрянов — это цельный образ, в котором воплощены лучшие качества наших современников»,— утверждает А. Власенко. «Когда Светлана потребовала от Багрянова слова, что он уедет в Москву и тем самым докажет свою любовь к ней, он «вздрыгнул... а на виске сильно забились жилка: «Я готов доказать это чем угодно! Хочешь, руку отрублю?.. Да мне легче удавиться, чем уехать отсюда!» (стр. 11).

Правда, по поводу Леонида Багрянова нашим авторам приходится делать некоторые оговорки, как бы вливать в бочку меда ложку дегтя, но и здесь они действуют в полном согласии и очень деликатно.

А. Власенко заявляет так: «Правда, порой автор поднимает своего героя на такую высоту, что он становится неправдоподобным (!), и все рядом с ним кажутся уж очень маленькими людьми, и все же, несмотря на этот недостаток, мы вправе говорить о творческой удаче М. Бубеннова в создании многогранного образа нашего со-

временника» (стр. 11—12). То же самое мы читаем и у А. Налдеева: «Хотя М. Бубеннов и не удержался от некоторых внешних эффектов при изображении характера своего героя... тем не менее Багрянов — образ живой и цельный» (стр. 81).

Не скупится на восторженные, хотя и несколько однообразные комплименты А. Власенко, разбирая повести В. Федорова. «Повесть «Марс над Козачьим Бором»... — если верить А. Власенко, — вмещает в себе исторически емкую картину народной жизни. С первой до последней страницы читаешь ее, волнуясь, испытывая радость...» (стр. 62). Критика тронуло то, с какой любовью В. Федоров пишет о Катюше, «показывая ее характер в движении, в полете к прекрасному будущему» (стр. 59—60). С радостью отмечает критик и то, что «чистой нравственного облика пленяет юная Наташа, вся устремленная в будущее» (стр. 63). Свои восторги наш критик завершает так: «О глубокой чистой кринице нашего стремительного бытия и написал В. Федоров свои талантливые произведения» (стр. 63).

Конечно, хорошо, когда критик обладает способностью увлекаться тем или иным художественным образом, тем или иным произведением, но, видимо, это надо делать не с таким самозабвением.

Время от времени наши критики дают понять читателю, что они не чужды учености. «Еще древние римляне говорили, — читаем мы в книге А. Налдеева, — «Хонорес мутант морес» («Почести изменяют нравы»). Это мудрое изречение древних не приняло, однако, в расчет самими нашими авторами.

Восторги, комплименты и прочие знаки одобрения наши авторы раздают поистине с царской щедростью. «Талантливый писатель», создающий повести, исходя «не из каких-то отвлеченных проблем, а из содержания самой жизни, из конкретной действительности»... Он умеет донести до читателя понимание смысла человеческого подвига — «настоящий героизм в жизни»... Герои писателя «живут в полную меру», «всего себя отдавая людям», они чувствуют «вкус к жизни», помогают другим «выйти из состояния равнодушия»... Писатель умеет «ярко показать» и «тонко подметить»... Мы «верим» в его героя, который становится «читателю близким и родным»... «Да, это правда нашей жизни, и радостно сознавать», что «именно героиня труда, героиня будней, без

эффектов и самолюбования... составляют существенные качества характеров многих героев». К такому выводу приходят критики. Мы нарочно не указали, где в этом страстном панегирике слова, принадлежащие А. Власенко, и где — слова А. Налдеева: оба критика дружно, в одних и тех же выражениях восхваляют писателя... Но кто он? К сожалению, мы должны разочаровать любителей литературы. Все приведенные выше похвалы наших авторов относятся к повестям «Синие ветры» и «Сдвинутые берега» писателя Е. Карпова, человека способного, но едва ли удачно проявившего себя в этих произведениях, о чем, на мой взгляд, убедительно писал Ф. Свегов в своей рецензии на «Синие ветры» («Новый мир», № 7, 1963). Ликование А. Власенко и А. Налдеева кажется нам по меньшей мере неожиданным.

Очень нравится А. Власенко и роман И. Шевцова «Свет не без добрых людей», автор которого, оказывается, «тонко раскрывает творческую лабораторию большого художника, тесно связанного с жизнью»...

Пышные похвалы звучат и в адрес произведений В. Кочетова «Братья Ершовы», «Секретарь обкома» и особенно «Журбины». «Самым значительным произведением о рабочем классе в советской литературе» называет «Журбины» А. Налдеев и добавляет, что этот роман «стал произведением эпохальным в период перехода к строительству коммунистического общества» (стр. 17).

Но было бы неверно, если бы у наших читателей сложилось мнение о А. Налдееве и А. Власенко как о чрезмерно добрых людях, которые по любвеобилию своему венчают славой всех подряд. Это далеко не так. Умеют критики и браниться, да еще как! Вот, например, А. Власенко сопоставляет повесть В. Тендрякова «Тройка, семерка, туз» и повесть Э. Шабая «Прощай, зимовье». Мастерство Э. Шабая в повести «Прощай, зимовье», по мнению критика, оказалось значительно выше мастерства В. Тендрякова. Почему же? Никакого анализа художественных недостатков повести В. Тендрякова в книге А. Власенко нет, так же, впрочем, как нет в ней и конкретного анализа художественных удач повести Э. Шабая. Зато А. Власенко энергично «разъясняет» В. Тендрякову необходимость бороться с «родимыми пятнами» капитализма и изобразить «силу положительного примера» (стр. 90), чего тот якобы не делает.

То же самое наблюдаем мы и у А. Налдеева. Его, например, восхитила картина художника Е. Сазонова «Смена идет». «Группа рабочих идет по железнодорожному полотну,— описывает он картину.— Здоровые, жизнерадостные... они улыбаются первым лучам восходящего солнца». По мнению А. Налдеева, эта картина является выдающимся произведением искусства. «Кто хоть раз увидел картину художника Е. Сазонова...— пишет критик,— у того на всю жизнь останется неизгладимое впечатление» (стр. 97). И, наоборот, рассказ В. Войновича ему страшно не нравится, потому что его герой прораб Самохин «выглядит душевно вялым, расслабленным, без огонька». Он без особого восторга встает с постели, чтобы идти на стройку, и критик

строго спрашивает: «Почему Самохину «не хочется идти на работу»...?» (стр. 98). Как видим, наши критики не такие уж добродушные люди.

На ста семидесяти шести страничках книжицы карманного формата А. Налдеев называет произведения около семидесяти писателей. Примерно на такой же площади А. Власенко уместил анализ книг около сорока авторов. Во всех случаях отрицательные оценки произведений литературы столь же решительны и шумливы, как и оценки положительные. И — добавим — столь же необидительны, так как читатель ничего не найдет в книгах А. Налдеева и А. Власенко, кроме тощих фраз, невзыскательности и беспомощности конкретного литературного анализа.

Г. МАКАРОВ.

★

ПУТИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ

Л. Гинзбург. О лирике. «Советский писатель». М.—Л. 1964. 381 стр.

Читая иные историко-литературные работы, даже добротные написанные, утрачиваешь ощущение накаленной атмосферы, без которой немислимо искусство. Мы еще можем вспомнить о бунте молодого Маяковского, намеревавшегося «бросить Пушкина с Парохода современности». Но коль скоро речь заходит о более отдаленном прошлом, картина подчас приобретает безмятежно-спокойный вид — как будто русская классика, прежде чем получить этот почетный титул, не была живой и бурной современностью, как будто она не восставала на собственные (как казалось, «устаревшие») авторитеты, не шла новыми, непроторенными путями.

Книга ленинградского литературоведа Лидии Гинзбург «О лирике» заинтересует читателя именно своим живым отношением к явлениям литературного прошлого. Рассматривая развитие поэзии на протяжении века (от Батюшкова до Блока и раннего Маяковского), Л. Гинзбург уделяет особое внимание таким теоретическим проблемам, как воплощение авторского «я», пути философской лирики, сложное взаимодействие традиции и новаторских открытий, которым нередко сопутствует запальчивый спор с предшественниками.

Одна из вспышек такой полемики падает на 1820-е годы. Самые разные поэтические группировки, действовавшие в последекабристскую пору, недвусмысленно заявляли о своей враждебности к предшествующим традициям и ответственность за «гладкие стихи» элигонов охотно возлагали на направление Жуковского и Батюшкова. Приговор, конечно, исторически несправедливый, но по-своему симптоматичный: он дает почувствовать, как действительно и по-новому вставал тогда вопрос о создании философской лирики, поэзии мыслящей и ярко очерченной личности. Эта задача привлекла к себе внимание не только представителей более молодого поколения (Веневитинов и другие «любомудры», юный Лермонтов) — мимо нее не прошли и поэты, еще теснейшим образом связанные с элегической школой начала века.

Характерный пример — Баратынский. Его зрелая лирика сильно выразила «уединенность души, чьи связи со всеобщим трагически оборваны». Там, где Лермонтову, к примеру, понадобилась бы форма пламенного монолога, Баратынский развертывает цепь философских раздумий, поражающих глубиной и оригинальностью. В замечательном стихотворении «Осень» вечная, казалось бы,

жалоба на бренность всего земного предстает в резко индивидуальном освещении. Связанные с давней традицией образы — тризна, океан, звезда — выступают в неожиданных, «дерзновенных» смысловых сочетаниях.

Пускай, приняв неправильный полет
И вспять стези не обретая,
Звезда небес в бездонность утечет;
Пусть заменит ее другая;
Не явствует земле ущерб одной,
Не поражает ухо мира
Падения ее далекий вой,
Равно как в высотах эфира
Ее сестры новорожденный свет
И небесам восторженный привет!

Разбирая это стихотворение, Л. Гинзбург показывает, что традиционные архаизмы выступают здесь в новом смысловом качестве. «Вой падения не очеловечивает гибнущую звезду (это было бы прямолинейно), но превращает ее в некое особое существо, отчаянно страдающее. Ухо мира (если мир внеслет, то у него может быть ухо) отдаленно предсказывает метафору Маяковского:

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо».

Автор книги «О лирике» стремится передать сложность, можно сказать, драматизм литературного процесса. Отсюда, в частности, желание разобраться в таких странных на первый взгляд, непонятных явлениях, как кратковременный, но шумный успех Бенедиктова — и глухота многих современников к великим достижениям Баратынского, Тютчева. Более того, и Пушкин в своих исканиях зрелой поры, как напоминает Л. Гинзбург, не встретил должного понимания и сочувствия.

Время исправляет такого рода «несправедливости». Но они сохраняют теоретический и исторический интерес, свидетельствуя о том, что художественные искания часто идут на разных уровнях — более поверхностном и более глубинном — и что готовность разрешить эстетическую задачу, встающую на очередь дня, далеко еще не равнозначна творческой победе.

Один из примеров — поэты-любимудры, которые много говорили об интеллектуальной, философской лирике, мечтали совершить целый литературный переворот, но которые в силу своего художественного кон-

серватизма и известной абстрактности самого мышления не оставили яркого следа в истории русской поэзии. Сходная участь постигла и поэтов кружка Станкевича. Сам Станкевич в ранней юности писал стихи на романтически-философские темы: о дуализме «земного» и «небесного», о слиянии с абсолютным и бесконечным.

Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной —
И станешь жизнью
повсюдной —
И все наполнится тобой.

Это «почти похоже» на знаменитое тютчевское:

...Час тоски невыразимой!..
Все во мне и я во всем...

Круг идей и настроений, казалось бы, близкий. Но по существу перед нами совершенно разные художественные явления: в одном случае лишь слабая, робкая попытка выразить ту мысль, которая в другом гениально воплощена.

Книга Л. Гинзбург хорошо раскрывает своеобразную эстафету поэтических поколений, наглядно показывает, как некоторые задачи вновь и вновь возникали в ходе поэтического развития и как вместе с тем поразному реализовались они в работе поэтов, принадлежавших к разным эпохам, разделявших разные вкусы и убеждения. Центр тяжести в значительной мере переносится на характеристику массовых художественных усилий, на выявление общих стилевых черт, преобладавших в данный период, но на этом фоне интересно «прочитывается» и творчество ряда крупнейших русских лириков. Глава, в центре которой оказывается фигура Блока, названа: «Наследие и открытия». Тема эта, проходящая через всю книгу, здесь развернута особенно полно. И по самому своему историческому положению, и по индивидуальному складу дарования Блок был очень восприимчив к традициям предшественников. В его поэзии слышатся отзвуки Некрасова, Лермонтова, Тютчева. «Цыганщина» Блока порой воспринимается как прямая реминисценция из столь любимого им Аполлона Григорьева. Но Блок был поэтом нового времени, и с наследием, завещанным прошлым веком, он обошелся свободно, по-своему используя его для создания собственной художественной системы.

В книге «О лирике» высказан ряд интересных соображений, которые проясняют картину творческих исканий Блока, позволяют отчетливей почувствовать внутреннее единство лирической «трилогии вочеловечения». Недаром у Блока совершенно особое развитие получил принцип циклизации. Разные стихотворения, объединенные в группы, становились как бы главами некоего «романа в стихах», последовательно повествовавшего о судьбе лирического героя-современника, который, пережив кризис индивидуализма, мужественно встречает «правду века», жадно прислушивается к нарастающим революционным «мятежам» и «переменам»...

При чтении главы о Блоке, как, впрочем, и многих других страниц книги, невольно вспоминаются горячие споры по насущным вопросам современной нашей поэзии, полемика вокруг понятия лирический герой. Термин этот одни критики склонны рассматривать как некий универсальный ключ, которым можно открывать все «замки» и секреты поэзии, другие же видят в нем зловредную литературоведческую ересь, подлежащую неукоснительному искоренению. В этом споре Л. Гинзбург занимает свою позицию.

Широко привлекая исторический материал, исследователь обращает внимание на многообразные способы воплощения в лирике авторской личности. У Лермонтова, Блока, Маяковского эта личность выдвинута на первый план, ей отведена роль главного персонажа или (здесь этот термин вполне уместен) лирического героя. Между реальным, биографическим обликом поэта и этим героем нет полного тождества. Но, заключая в себе долю условности, такая соотношенность становится вполне осознанным принципом, который последовательно проводится и постоянно подчеркивается самим поэтом, предлагающим рассматривать его стихи как лирическую исповедь, как повествование о трагедии, происходящей с ним в жизни и достойной всеобщего внимания:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества или гибели моей...

(Лермонтов)

После Лермонтова эта традиция была подхвачена, с особой полнотой выражена Блоком, а вслед за ним рядом поэтов более младшего поколения — Маяковским, Цветаевой, Есениным. Самоуглубления, испо-

ведальная лирика Блока тоже напоминает некую драму, разворачивающуюся на глазах у целого мира.

Не таюсь я перед вами,
Посмотрите на меня:
Я стою среди пожарищ,
Обожженный языками
Пренсподнего огня.

Далеко не всегда, однако, авторская личность была выражена в поэзии столь прямо, непосредственно. Поэтому в своей книге Л. Гинзбург и возражает против злоупотребления термином «лирический герой», против слишком широкого толкования этого термина: «Под единую категорию лирического героя подводятся самые разные способы выражения авторского сознания, тем самым стирается их специфика, ускользает их познавательный смысл. В подлинной лирике, разумеется, всегда присутствует личность поэта, но говорить о лирическом герое имеет смысл тогда, когда она облекается некими устойчивыми чертами — биографическими, психологическими, сюжетными». Эти соображения заставляют лишний раз задуматься о многообразии путей и возможностей русской поэзии, о разных традициях, выработанных ею на протяжении девятнадцатого века и завещанных веку двадцатому.

В книге «О лирике» затрагивается также творчество ряда поэтов, заметно уклонившихся от того пути, который был столь рельефно обозначен Блоком. С одной стороны, это И. Анненский, с другой — Ахматова, Мандельштам, Пастернак. В исканиях этих поэтов тоже было немало разного. Но они тяготели к типу лирики, в которой личность поэта не была уже так резко выдвинута на первый план, а существовала как бы на равных правах со всем окружающим «вещным» миром. Недаром в одном из позднейших высказываний Пастернак прямо признавался, что еще в период создания сборников «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь» он всячески стремился преодолеть ту «романтическую манеру», которая ставит во главу угла личность самого поэта, его исключительную судьбу (демонстрируемую изо дня в день как некое «житие») и которая, по утверждению Пастернака, таит опасность фальши. Признания такого рода заведомо пристрастны. Но они важны для понимания позиции самого Пастернака, равно

как хорошо передают возможность выбора разных поэтических путей.

В книге Л. Гинзбург, впрочем, о Пастернаке сказано бегло. Вообще разговор о развитии русской поэзии в предреволюционный период несколько скромнее, что особенно ощутимо в сопоставлении с широким освещением поэтических процессов, характерных для девятнадцатого века. Все же одно из главных достоинств книги состоит в том, что тема «наследия» взята здесь не изолированно. Спор о лирическом герое — далеко не единственный пример, когда автор на историческом материале решает проблемы, представляющие насущный интерес для современного поэтического движения. Крайне поучительна воссозданная в книге общая картина сложных исканий, атмосфера творческих дискуссий, столкновения разных поэ-

тических направлений и индивидуальностей. Этот опыт прошлого напоминает о высоком и трудном призвании поэта, для которого творчество всегда (если, конечно, он настоящий поэт) «езда в незнание», смелый поиск, открытие...

Книга «О лирике» принадлежит к тем исследованиям, которые будят мысль, заставляют по-новому взглянуть на хорошо знакомые, казалось бы, явления. Л. Гинзбург не только предлагает ответы, но и выдвигает на очередь дня вопросы (в том числе связанные с самой методологией исследовательской работы). Многие наблюдения, характеристики, выводы автора найдут, думается нам, живой отклик и в профессиональной среде критиков, литературоведов, и у более широкого круга читателей.

А. МЕНЬШУТИН.

★

ДАР НАДЕЖДЫ

**Ф. Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Роман. Перевод с английского
Е. Калашниковой. «Художественная литература». М. 1965. 180 стр.**

У этого романа счастливая судьба: им увлекаются и знатоки и неискушенные читатели. Литературоведы относят образ Гэтсби к самым глубоким и сложным в американской прозе. А непочтительный Холден («Над пропастью во ржи»), которому повсюду чудилась «липа», об этом романе говорит чуть ли не с благоговением: «Да, Гэтсби. Вот это человек. Сила!» Вероятно, многие молодые американцы разделяют этот его простодушный энтузиазм.

Объяснить это нетрудно. В основе динамичного сюжета произведения лежит романтическая история, которая трогает и тех, кто не оценивает авторский замысел во всей его сложности.

Герой Фицджеральда хочет вернуть прошлое. Накануне отправки за океан, на первую мировую войну, он встретил девушку с «волнующим» голосом; дни знакомства, а потом любви к ней были лучшими в его жизни. Еще до возвращения в Америку он узнал, что она не дождалась его и вышла замуж. Но он уверен, что прошедшие годы не в счет, что романтическое счастье, возможное для него только с нею, достижимо. Кажется, что так и есть и преданность героя должна вознаградиться. Но на пороге счастья он погибает.

Начало книги воспринимается как парадокс. Обходительный и застенчивый нувориш устраивает празднества на своей вилле около Нью-Йорка. Там много знаменитостей, но куда больше случайных гостей: яркие огни привлекают всех и никому нет отказа. Сам хозяин держится в тени, теряется среди общего веселья. Ходят слухи, что это племянник кайзера, а может, — кто знает — удачливый убийца.

Кто разгадает в этом современном Тримальхионе мечтателя? Нувориш с темной репутацией — и он же романтик? Быть может, Фицджеральд наложил слишком густую тень? Но когда мы узнаем историю Гэтсби (а она открывается уже под конец, перед развязкой), сказочно роскошная вилла не кажется нам чем-то посторонним ни его натуре, ни его мечте.

Парень с захолустной фермы жаждал жизни, не скованной мелочными заботами. Кумиром его юности стал буйный пионер Дальнего Запада, миллионер с обветренным лицом, словно сошедший с реклам «американского успеха». Плавая на яхте этого богача с удалью и размахом, сын бедного фермера узнает жизнь, полную мишурной, но неотразимой для него красоты.

И в любви Гэтсби, такой поэтичной, есть чисто американский оттенок.

Только война дала ему доступ к свету, в города Юга, где он встретил красавицу Дэзи. Бедняк, наделенный воображением, мешкает, прежде чем признать в ней героиню своих фантазий. «Он знал: стоит ему поцеловать эту девушку, слиги с ее тленным дыханием свои не уместающиеся в словах мечты,— и прощай навсегда божественная свобода полета мысли».

Но именно здесь, перед отъездом на фронт, его пленяет блеск богатства. В воркующих, переливчатых звуках голоса Дэзи он услышит потом звон денег, и это его не смутит. Обаяние роскоши усиливает для него обаяние этой девушки.

После войны герою нелегко вернуть Дэзи: прежде всего ему самому надо вернуться в ее мир. Ради этого он бестрепетно вступает на путь нелегальной наживы. И довольно скоро безденежный демобилизованный офицер становится владельцем по-голландски ослепительной виллы, достойной южной красавицы.

Фицджеральд тонко показывает, что его романтик — это энергичный янки: он одновременно принадлежит и своей мечте, и интересам дела. Во время долгожданного свидания с Дэзи, когда герой испытывает и замешательство, и безоглядную радость, звонит телефон, и деловитый Гэтсби песяет на несмышленного партнера: «Ну, если Детройт по его представлениям — небольшой городок, так нам с ним вообще говорить не о чем». Романтика — и тут же нравы, исключаящие шепетильность. Поразительна естественность перехода: для Гэтсби в этом нет контраста.

В самой его мечте есть истинная красота — и поддельная, мизурная. В ней противоестественно сочегались поэтичная любовь и деньги, которые не пахнут. Перед нами романтик американского образца, выросший в стране, где богатство окружено ореолом.

Но, поместив своего героя в самой гуще американской жизни, Фицджеральд показывает его одиночество.

Гэтсби вхож в разные миры, и в каждом он чужой. Когда гости разъезжаются после его шумных празднеств, он одиноко стоит на крыльце: ведь все эти сборища затеяны только ради Дэзи, а ее с ним нет. Его ценят в мире подпольной наживы, но, когда он гибнет, это там никого не касается.

Покровитель Гэтсби, аферист большой руки, не хочет даже ехать на похороны: прежде всего дело и нечего попусту рисковать.

Что уж говорить о мире потомственных богачей, в который герой хотел войти, чтобы вернуть Дэзи? Там на него смотрят как на выскочку, человека низшей касты, и даже бешеные деньги не помогают. Для мужа Дэзи, туповатого Тома, бог весть откуда взявшийся Гэтсби — это не просто соперник; нет, он ставит под вопрос традиционную мораль, семейные устои. Распавшийся Том чувствует себя «на последней баррикаде цивилизации». И он, охраняя респектабельность, подстраивает убийство возмутителя спокойствия.

Повесть об одиноком и обреченном мечтателе естественно переключается в романтический план.

В начале книги рассказчик видит на берегу трепещущую фигуру: Гэтсби напряженно вглядывается вдаль. Потом он называет своего соседа художником, создавшим в мечтах идеальный образ Дэзи. И сравнит героя, которого манил к себе зеленый огонек на причале около виллы Дэзи, с первооткрывателями материка, увидевшими нетронутое зеленое лоно нового мира. Романтизм Гэтсби, его «редкостный дар надежды» возводится к высокой американской традиции.

В одном образе есть и национальная самокритика, и поэзия национального характера.

Глубина этого образа была не сразу понята. Во всяком случае тех литераторов, которые прислали Фицджеральду восторженные письма о романе, меньше всего удовлетворил главный герой. Известная романистка Эдит Уортон написала: чтобы сделать Гэтсби действительно великим, надо было подробнее рассказать его предысторию; будь больше овещено прошлое героя, читатель сильнее пережил бы его трагедию. Поэт Джон Бишоп находил, что образ Гэтсби словно сшит из лоскутков, очень разношерстный. Эти упреки, однако, не учитывали двуплановости образа: герой существует в разных измерениях, и его нельзя было изобразить так же полно, как обычный реалистический характер. Нелепый современный Трималхион — и почти символ романтической мечты. Но эта двуплановость не ведет к распаду образа и не

мешает книге находить отклик благодаря мастерски введенной фигуре рассказчика.

Рассказчик Ник Каррауэй — полная противоположность Гэтсби: по натуре он умерен, сдержан, кропотливо изучает банковское дело. Его стихия — ирония: пышные празднества на вилле соседа ему претят, сам Гэтсби кажется ему чудовищно сентиментальным. Ирония помогает незаметно переключать повествование из одного плана в другой: в самых романтических пассажах, посвященных любви Гэтсби, поэзия идет рука об руку с анализом.

Но у Гэтсби и Ника есть нечто общее: оба они провинциалы, уроженцы Среднего Запада, не прижившиеся на Востоке. Рассказчик, поначалу столь далекий от Гэтсби, крикнет ему напоследок о тех, кто его окружает: «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто... Вы один стоите из всех, вместе взятых». Он уподобляет героя американскому народу, который хочет вернуть то, что осталось позади, и живет иллюзиями. И в то же время отделяет Гэтсби, близкого к американским корням, от порочной и фальшивой цивилизации Нью-Йорка.

Хемингуэй сказал в своих парижских очерках, что у Фицджеральда был естественный талант — как узор на крыльях бабочки. Но думать он научился потом, когда пыльца у него стерлась.

Вероятно, говоря о естественном таланте, Хемингуэй имел в виду поразительную у послевоенного писателя свежесть романтических образов. Едва ли кто-нибудь из прозаиков «потерянного поколения» мог написать так, как Фицджеральд писал о грезх своего героя — без оглядки на скептическое восприятие читателя: «Под тиканье часов на умывальнике, в лунном свете, пропитывавшем голубой влагой смятую одежду на полу, разворачивался перед ним ослепительно яркий мир». Или так легко, словно между прочим, набрасывать описания одной и той же розовой комнаты, освещенной закатным солнцем, а после — зажженной лампой. Вообще многие описания в книге не только лирически насыщены, но и необычайно живописны.

Однако в таланте Фицджеральда было сочетать противоположности. На эту особенность его дарования обратили внимание после того, как само время помогло оценить силу его поэтической мысли.

Рассказчик чувствует очарование нарядного и стихийного веселья на вилле Гэтсби:

тут нет никакой регламентации, никакого надзора — и много молодости, жизнерадостности. Чувствует он и прелесть Нью-Йорка — «прямый, дразнящий привкус его вечеров». Но на пути в город находится Долина Шлака — мрачная свалка, над которой красуются гигантские блеклые глаза доктора Эклберга со старого объявления окулиста. Это символ рока — по соседству с беззаботным весельем.

Фицджеральд был одним из самых чутких писателей двадцатых годов: в годы бума он писал романы и рассказы «с оттенком бедствия», как он сам выразился потом, словно предвидя (вернее, предчувствуя) крах 1929 года, которым завершилось просперити. Огромная пустая вилла с погасшими огнями и без гостей — это была вешая картина.

«Великий Гэтсби» признан в Америке классическим романом. При всей свежести дарования Фицджеральда, в нем чувствуется высокая литературная культура: за интонациями рассказчика-моралиста угадывается внимательное чтение французов и англичан. Но предпочтение Фицджеральд отдавал великому русскому писателю. «Я всегда любил Достоевского, обращенного к широкому кругу, больше, чем кого-либо еще из европейцев», — писал он Хемингуэю. И, защищая «Гэтсби» от обвинения в анекдотичности, Фицджеральд заметил, что и «Братьев Карамазовых» можно свести к анекдоту, но ведь важно видеть и второй план.

Перевод Е. Калашниковой передает многослойный стиль «Гэтсби» — от пародии на светскую хронику до мрачных видений в духе Эль Греко. Русский текст сохраняет поэзию романа, а это требовало высокого чувства слова, изобретательности и воображения.

В странах Запада Фицджеральд — один из самых популярных и почитаемых писателей нашего века. Известно, что он писал и чисто коммерческие вещи, они давно забыты; но охотно переиздают лучшие из его ранних новелл (такие, как опубликованный у нас рассказ «Первое мая»). По ним видно, что Фицджеральд научился думать уже в начале своего пути. Большой интерес во многих странах вызвали его поздние романы — «Ночь нежна» и «Последний магнат». Эти книги, наиболее острые по анализу, показывают, что пыльца у него не стерлась и в самые грустные годы, когда он записал

по поводу своей недолгой писательской карьеры: «В жизни американца нет второго действия».

Мне кажется, прав был Дж. Б. Пристли, заметивший в предисловии к лондонскому изданию Финджеральда: поразительно не то, что американский писатель не смог развить свой талант (он это глубоко пережи-

вал), поразительно, что в нелегких условиях он смог написать немало первоклассных вещей.

Те из русских читателей, кто прочтет его лучшую книгу, будут ждать новых встреч с Финджеральдом — надеемся, они не за горами.

М. ЛАНДОР.



ПО СТРОГИМ ЗАКОНАМ НАУКИ

Труды по русской и славянской филологии. Ученые записки Тартуского государственного университета, т. I, 1958, 224 стр.; т. II, 1959, 304 стр.; т. III, 1960, 316 стр.; т. IV, 1961, 382 стр.; т. V, 1962, 409 стр.; т. VI, 1963, 410 стр.; т. VIII, 1965, 235 стр.

В многочисленных литературоведческих сборниках, «ученых записках» и «трудах», которые каждый год издаются институтами и университетами, легко заметить одну особенность. Проходит два-три года, а иногда и меньше после опубликования статьи на тему: «Проблематика романа Тургенева «Дворянское гнездо» (или «Отцы и дети»), «Романтический герой у Горького» (или Короленко) — и в каком-нибудь томе «ученых записок» непременно вновь появится статья с подобным названием.

Это однообразие материала, вновь и вновь вовлекаемого в оборот, как бы узаконивает невнимательное отношение исследователей и к работе друг друга, и к собственной работе. Авторы статей-двойников и не стремятся исчерпать тему, сделать свою работу принципиально новой. Они идут по следам друг друга, стараясь не свернуть с протоптанной тропы тем и подходов, не раз бывших в употреблении. В то же время большой историко-литературный материал остается вовсе не исследованным или исследованным под уже знакомым углом зрения.

«Труды по русской и славянской филологии», выпускаемые Тартуским государственным университетом, заметно выделяются среди сходных по типу изданий.

Каждый из этих сборников — это книга о литературе, составленная внимательно и целеустремленно, а многие из ее материалов интересны не только филологам.

Основное, что отличает разнородные статьи и публикации тартуских сборников, — это пафос открывания новых фактов, имен, документов, воскрешения забытых, но значительных судеб. История литературы, когда она история не по одному лишь на-

званию, умеет вызывать из забвения не только факты и тексты, но и самих людей, их имена, чувства, строй мысли. Она не позволяет нам беспечно уверовать, что настоящее отделено от прошедшего бесповоротно и непреложно и не имеет с ним живых связей.

Одна эпоха русской жизни с ее людьми и событиями особенно явственно возникает перед читателем тартуских сборников — полное молодых споров время «ранних» декабристов, вольнолюбцев и конспираторов, с воодушевлением их политических трактатов и с церемонным слогом дружеских писем («Что ты умолк, любезный друг? Не от удовольствия ли жить в свободном краю, огражденном осьмьюстами тысяч русских штыков, и среди вольных прений, заглушаемых барабанами и командными словами вахтпарадов?»). Этой эпохе посвящены исследования Ю. Лотмана. Работы этого автора обычно меняют какую-либо традиционную концепцию, порожденную предвзятостью или просто недостаточным вниманием исследователей к блестящему обилию идей и «горячих голов», но слишком «рукописно» протекавшему и на своем языке говорившему времени.

Биография графа М. А. Дмитриева-Мамонова, одного из самых богатых людей России и видного деятеля раннего этапа декабристского движения, впервые исследована столь полно в статье Ю. Лотмана. Человек этот был признан сумасшедшим и взят из собственного имени, однако не врачами, а жандармами. Несколько лет перед этим строил он в своем имени (закрытом даже для близких знакомых) укрепленный военный лагерь, который, по словам исследо-

вателя, «смог бы сыграть совсем не химерическую роль в приготовляемой военной революции». До конца своих дней — и уже до подлинного, а не мнимого сумасшествия — Мамонов был оставлен под домашним арестом. Для него были учреждены специальные правила, «общие» и «частные», и первый пункт их гласил: «Поскольку граф отказывается признавать императорскую династию и правительство, установленные императором Николаем I, его предупреждают, что ему вернуть свободу и его права лишь в том случае, если он признает законность и правомочность правительства». Он так и не признал этого.

Еще в 1958 году отдельным выпуском «Трудов» вышла книга Ю. Лотмана о незаслуженно забытом А. С. Кайсарове (1782—1813) — авторе диссертации «О необходимости освобождения рабов в России», ученом-слависте, одном из самых первых преподавателей русского языка и словесности в стенах Тартуского (Дерптского) университета, профессоре, ушедшем в 1812 году в партизаны и вскоре погибшем. В работе Ю. Лотмана «П. А. Вяземский и движение декабристов» (т. III) впервые после единственной статьи на эту тему, напечатанной еще в 1932 году (Н. Кутанов, «Декабрист без декабря»), обстоятельно изучена эта интересная историко-литературная проблема.

В работах Ю. Лотмана традиционные концепции часто уточняются при помощи новых или, напротив, хорошо известных, но оставляемых без внимания фактов.

В одной из своих статей Ю. Лотман замечает, что известная концепция развития русской литературы 1830—1840-х годов («пушкинский период» — творчество Гоголя — «натуральная школа») «убедительно объясняет истоки творчества великих реалистов середины XIX века: Некрасова и Салтыкова-Щедрина, Гончарова и Островского, Тургенева и молодого Достоевского», однако не охватывает всех сторон литературной жизни. Например, необъясненными оказываются истоки мировоззрения и творчества Л. Н. Толстого. Обнаруживается неполнота историко-литературных построений, казалось бы, не раз проверенных и отшлифованных усилиями многих исследователей. В статье Ю. Лотмана «Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов» (т. V) справедливо сказано об образности материала литературоведческих работ, о том, что «исследовательская тради-

ция узаконила определенный круг художественных произведений, подлежащих рассмотрению». Многие очень значительные литературные памятники «остаются за его пределами не в силу художественной неполноценности, а потому, что не уместаются в рамках концепций». В общих работах, где освещается эволюция Пушкина, как правило, не упоминаются «Анжело» и «Тазит»; нет ни одной работы о повести Гоголя «Рим». Между тем эти произведения, в контексте всего творчества писателей, помогают понять, как Гоголь и Пушкин приходят в конце тридцатых годов к отрицанию «самого принципа политической структуры» общества, предвзято утопические социальные идеалы Толстого.

Монография, подробный рассказ о забытой или мало исследованной судьбе — обычный жанр в тартуских сборниках. Б. Егорову принадлежит целый ряд статей о литературных деятелях пятидесятых—шестидесятых годов: о С. С. Дудышкине (т. V), ведущем сотруднике «Отечественных записок» на протяжении почти двадцати лет (1847—1866), о М. Л. Михайлове, поэтессе-переводчице и критике «Русского слова» и «Современника» (т. IV), о В. Р. Зотове (т. II) — критике и публицисте пятидесятых годов, корреспонденте Герцена.

Это не серия случайных портретов, а выполнение единой задачи, поставленной перед собой исследователем, который пишет о почти полной неизученности работы «рядовых участников журнальной борьбы, чьи имена забыты или даже потеряны».

Б. Егоров обратился и к таким интересным людям середины века, как Аполлон Григорьев и В. П. Боткин. Жизнь их была сложной, а деятельность — не совпадающей с привычными представлениями о непрерывной эволюции взглядов исторического лица в сторону все большей прогрессивности или, напротив, реакционности. «Трудно найти в истории русской общественной мысли XIX века фигуру более сложную, чем Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил, артист, поэт, редактор, критик». В двух статьях Б. Егорова впервые так подробно исследована сложная эволюция Ап. Григорьева как мыслителя и критика и собрана библиография его критических работ и художественной прозы. Обширная публикация переписки Ап. Григорьева существенно дополняет эту работу.

Так же мало было специальных исследо-

ваний о В. П. Боткине, путь которого пересекается с жизнью едва ли не каждого из замечательных писателей середины прошлого века. В. Боткин и сам был талантливым кригигом с тонким вкусом и умом, и хотя обладал, по собственному признанию, характером нетворческим («Я могу до мельчайших подробностей, до тонкости наслаждаться всяким художественным произведением, — но никакой внутренней потребности написать что бы то ни было», — объяснял он брату), однако сыграл в истории нашей культуры заметную роль. Когда-то М. Зощенко, перечисляя в своей «Голубой книге» те «неудачи», которые часто сопутствовали жизни писателей и поэтов, закончил свою «сентиментальную новеллу» о Боткине такими словами: «Вскоре он умер. И никто о нем не вспомнил. И только Панаева о нем написала: «Он был скуп, мелочен и трус». Вот вся память, которая осталась от ценителя искусства. Какая неудача!»

Статьи Б. Егорова, так подробно и внимательно восстанавливающие память об этом человеке, наконец-то незаслуженную «неудачу» компенсируют.

Уже не судьбы забытых литераторов, а судьбы забытых журналов и газет, имевших свою, часто весьма драматическую, биографию, восстанавливают ценные работы П. Рейфмана. Совсем новый научный материал содержится в его книге «Демократическая газета «Современное слово», в статье о журнале «Заграничный вестник», вышедшем под редакцией П. Л. Лаврова («Труды», т. VIII, 1965).

Проблема русско-эстонских связей, бывшая до сих пор предметом главным образом юбилейных статей или самых общих, во многом случайных сопоставлений, впервые с действительно научной основательностью исследована в работах С. Исакова («Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов», «О «ливонских» повестях декабристов» и другие). Сложная для строго научной интерпретации тема взаимовлияний возникает также и в статьях В. Беззубова, где восстанавливаются забытые или малоизученные, но литературно важные связи между вполне самостоятельными творческими судьбами: «Лев Толстой и Леонид Андреев», «Л. Андреев и А. Чехов». Малоизученный материал самых ранних лет революции тщательно исследован в статьях З. Г. Минц о драматурге А. А. Вермишеве (т. IV), по-

гибшем в 1919 году, и А. И. Тодорском (т. II).

Блок занимает особое место в работе тартуских исследователей. Почти в каждом томе их «трудов» есть материалы, к нему относящиеся.

Из воспоминаний о Блоке ныне покойной Е. Тагер, В. Веригиной и Н. Волоховой (т. IV) встает необычное, недолгое время символизма, когда «стихи были почти наш разговорный язык». Под знаком стихов, шуточных и значительных полунамеков идет эта жизнь, талантливо воссозданная авторами воспоминаний: их творческая, праздничная молодость, «снежные, вьюжные зимы» Петербурга и фигура Блока — и вовлеченная в этот хоровод «снежных масок», и как бы отделенная от него строгой чертой. В воспоминаниях В. Веригиной появляется редкий в мемуарной литературе облик веселого Блока, готового легко откликнуться на шутку, игру, мистификацию.

Превосходны эти страницы, так щедро отвечающие читательскому интересу к Блоку не только как к большому поэту, но и как к человеку, вставшему на границе и двух веков и двух эпох, почти современнику, о котором еще есть кому не только помнить, но и вспомнить.

В 1964 году опубликованы отдельным томом «труды» научной конференции по изучению жизни и творчества Блока, проходившей в Тарту в 1962 году. Уже самый спрос, которым пользуется эта книга, говорит о довольно широком к ней интересе. Чтобы не повторять того, что уже было сказано о «Блоковском сборнике» его рецензентами, упомянем только о воспоминаниях современников поэта, прокомментированных литературоведами, которых мы уже встречали в тартуских сборниках. Отрадно, что так серьезно и полно рассказано о Евгении Иванове, друге Блока, человеке, который, по признанию автора вступления к его запискам Д. Максимова, «чисто литературными вопросами интересовался лишь относительно», но «принадлежал к числу тех людей, в которых их человеческий стиль имеет едва ли не большее значение, чем их идейная ориентация и внешние факты их биографии». В воспоминаниях и дневниковых записях Е. Иванова, с большой тщательностью публикуемых в сборнике, интересны не только эпизоды из жизни Блока, его семьи. Нам открывается необычный внутренний мир человека глубоко

бескорыстного, очень доброго, но беспощадного к себе; вечно «неустроенного», и это объясняет нам многое в самом Блоке, так дорожившем дружбой с Е. Ивановым.

Если вполне очевидна ценность собиранья и публикации мемуарного материала о событиях полувековой давности, то еще более ценно стремление тартуских исследователей литературы советского периода искать, печатать и, главное, стимулировать само написание воспоминаний о недавнем прошлом, о литературной жизни двадцатых—тридцатых годов. Запомнившиеся В. Каверину горькие слова Ю. Н. Тынянова: «Не только люди, память гибнет» — были сказаны в годы, когда бессмысленно уничтожались неопределимые документы, рукописи, письма, дневники. Но, к сожалению, забывается, что в каком-то смысле «память гибнет» все время, ежедневно и даже ежечасно, не только потому, что все рedeют свидетели и очевидцы, но даже просто с неизбежным угасанием когда-то ярких впечатлений. И если кажется порой, что слишком много пишется сейчас мемуаров, — пройдет десятилетие или два, и мы убедимся, что их писалось слишком мало. Потому что, как бы ни нуждались свидетельства очевидцев в поправках и уточнениях, но для теперешних и особенно будущих историков литературы советского времени заменить их нельзя ничем.

Очень значительны в ряду тартуских публикаций по литературе двадцатых—тридцатых годов воспоминания Е. Полонской (т. VI, 1963). Они читаются с большим доверием к писательнице, потому что с первых страниц заметна собственная ее требовательность к своему слову и памяти, стремление сообщить читателю только то, что было, и только в тех очертаниях, которые действительно помнятся, а не домысливаются задним числом.

Лучшая часть мемуаров — глава «Мое знакомство с Михаилом Зощенко». Е. Полонская рассказывает о своих первых встречах с Зощенко на занятиях известной студии переводчиков при горьковском издательстве «Всемирная литература», где они оба взялись писать рефераты о Блоке, о собрании «Серапионов», где Зощенко прочел свой рассказ «Виктория Казмировна», который совсем не казался слушателям юмористическим, — «это был собственный, своеобразный сказ Зощенко, его манера го-

ворить о высоких вещах самым простым, будничным языком». Кончается глава рассказом о самом последнем и самом тяжелом времени жизни писателя, о его болезни и смерти.

В только что вышедшем восьмом томе «Ученых записок ТГУ» опубликованы написанные специально для этого издания воспоминания о Горьком М. Сергеева, возглавлявшего в двадцатые годы издательство «Прибой». Они совмещают в себе, по верному замечанию З. Минц, комментирующей эти воспоминания, достоверность чисто «мемуарного» материала с основательностью, библиографической оснащенностью серьезной историко-литературной статьи. Журнальная работа Горького в первые годы революции, его намерение в 1921 году издавать за границей «внепартийный журнал «Путник», который потом был назван «Беседой», — обо всем этом М. Сергеев сообщает много нового. Едва ли не впервые за много лет рассказано о судьбе З. И. Гржебина, издательство которого играло заметную роль в литературном процессе двадцатых годов.

Неизменная подробность комментария к публикациям в тартуских сборниках — свидетельство, пожалуй, не только эрудитского комментатора, но и внимания к работе человека, его судьбе, порой самой памяти о нем.

Так, например, двухсотлетней давности переписка А. М. Кутузова, «сочувственника» А. Н. Радищева, с «любезным другом» своим И. П. Тургеневым встает будто бы рядом с судьбой человека совсем другого времени, тоже уже ставшего историческим, когда мы читаем краткую биографию первого комментатора этой переписки ленинградского ученого В. Фурсенко — разносторонне эрудированного человека, переводившего с латинского А. Гумбольдта (он в 1942 году умер в эшелоне во время эвакуации из Ленинграда).

Библиография занимает в изданиях ТГУ особенное место; тартуским ученым чужда та нелюбовь к работам предварительного характера, которая стала, к сожалению, обыкновением не только отдельных исследователей, но порой и целых научных коллективов. Решение общих проблем движет науку — но только если оно идет рядом с накоплением фактов. Сейчас в филологии ошутима диспропорция между этими двумя путями. Большие коллективы специалистов

работают над проблемами связей и взаимодействия целых национальных литератур XIX века, занимаются историей отражения тех или иных идей во всей русской литературе XIX века. Однако еще не установлен в полном объеме «корпус» этой литературы. Нет научной библиографии русской литературы XIX—XX веков, нет словаря русских писателей: в изданный Пушкинским домом в 1962—1963 годах двухтомник вошли, по обыкновению, лишь немногие из известных в свое время литераторов. И разве простиительно, что при наличии современных больших научных коллективов до сих пор главными справочными пособиями являются труды, сделанные когда-то усилиями одного человека — Венгерова, Мезьер, Масанова?

В работах, опубликованных в тартуских «ученых записках», и в наиболее интересных, и в менее удачных, есть, несомненно, общие особенности в подходе к литературе. И главное, как кажется, — это общее стремление исследователей, работающих над самыми разными проблемами, к доказательности своих утверждений, к тому, чтобы выводы порождались материалом, а не конструировались, как это часто бывает, при помощи случайных цитат.

Если стремление к точности исследовательских методов пока осуществляется в тартуских сборниках главным образом на

уровне идей и проблем литературного произведения, то в большой работе Ю. Лотмана «Лекции по структуральной поэтике. Выпуск I (Введение, теория стиха)», вышедшей в 1964 году отдельным выпуском тартуских «ученых записок», излагаются некоторые принципы применения точных методов литературоведческого исследования к проблемам поэтики. Эта работа, в сущности, первый опыт систематического изложения основ структуральной поэтики. Она открывает новую серию выпусков «Ученых записок ТГУ» — «Труды по знаковым системам», — разговор о которой уже выходит за пределы чисто историко-литературных проблем.

Кафедра русской литературы Тартуского государственного университета делает большое и серьезное дело, научное значение которого неоспоримо. Это своего рода научное общество, работа которого ведется с редкой основательностью и целеустремленностью. И если порой удачи тартуских изданий зависят от интуиции талантливого исследователя, то гораздо чаще они прежде всего связаны с вполне сознательным стремлением авторов к тому, чтобы ход мысли историка литературы развивался по строгим законам науки.

М. ЧУДАКОВА.

★

Политика и наука

РАССКАЗЫВАЮТ МОСКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ

Слово старых большевиков (Из революционного прошлого). «Московский рабочий», М. 1965. 272 стр.

А. С. Курская. Пережитое. «Московский рабочий». М. 1965. 260 стр.

У нас издано уже немало мемуаров, восстанавливающих картины и атмосферу героического прошлого советского народа. Как правило, они пронизаны размышлениями о времени и о себе, поучительны и хорошо читаются.

Но, к сожалению, во многих из них автор воспоминаний выступает с самого начала личностью сложившейся. Повествование о событиях его жизни редко касается того, как он пришел к осмыслению окружающего мира, как сформировал и отточил свое мировоззрение.

Это и понятно. Мы еще не свыклись с тем, что больше половины населения Советского

Союза родилось и выросло после 1917 года. Вместе с теми, кто учился читать в первый год революции, эти люди составляют основную толщу нашего народа. Идеология марксизма-ленинизма — идеология победившего рабочего класса — стала господствующей. Во всех проявлениях советские люди впитывают ее с детских лет.

Одно дело, когда нам приходится сталкиваться с растлевающим влиянием буржуазной идеологии, выкорчевывать пережитки прошлого, и совсем другое — попытаемся представить себе это — жить в условиях враждебной среды, чуждого мировоззрения, насаждаемого силой и авторитетом полиции-

ского государства, монархии и церкви. Чтобы представить это конкретно, надо бы перенестись на пятьдесят — шестьдесят лет назад. Такое ощущение путешествия во времени возникает, когда читаешь скромно изданную книжечку мемуаров «Слово старых большевиков».

В сборнике семнадцать мемуарных очерков, тринадцать из них публикуются впервые. Уже одно это привлекает к нему внимание. Но особенно ценно в нем то, что каждый из авторов ставил перед собой задачу рассказать, как он стал марксистом.

У В. И. Ленина есть такие слова: «...Инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки... по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д.». Рецензируемый сборник — лучшая к ним иллюстрация. В самом деле. Вот первый из авторов — А. Д. Блохин, член КПСС с 1903 года. Начиная с чтения ленинской «Искры», будучи свердловщиком механического завода Густава Листа. В 1903 году А. Д. Блохин стал посещать нелегальный кружок. Очень удивился он, попав в комнату, где десять человек сидели за самоваром и бутылкой водки, но быстро понял, что это маскировка. После кружка, на занятиях которого изучались Программа и Устав партии, — массовки за городом, в Измайлове, Сокольниках, Останкине, жаркие споры с меньшевиками, эсерами, анархистами. Отличную школу прошел там Александр Дмитриевич Блохин. А затем его направили в кружок пропагандистов, организованный Московским комитетом. Преподавали в нем М. Н. Покровский, И. И. Скворцов-Степанов, М. Ф. Владимирский и другие. После 9 января 1905 года А. Д. Блохин стал выступать на летучих митингах — у памятника Пушкину, в театре «Аквариум», на фабрике Цинделя.

А вот другой рабочий — И. И. Панкратов, член КПСС с 1906 года. Был он столяром-краснодеревцем. После разгрома декабрьского вооруженного восстания, в котором он участвовал, он был осужден, затем бежал из ссылки и эмигрировал. В 1909 году И. И. Панкратов попал на Капри и стал заниматься в пропагандистской школе. Лекции А. М. Горького и А. В. Луначарского увлекли его. Но вскоре И. И. Пан-

кратов и другие рабочие узнали, что Ленина не случайно нет в составе лекторов каприйской школы, что Владимир Ильич отказался туда приехать. Школа на Капри была мнимопартийной, она находилась в руках отзовистов и богоискателей. Богданов, Алексинский и другие преподаватели приступили тем временем к «обработке» слушателей.

В середине октября 1909 года И. И. Панкратов послал В. И. Ленину в Париж письмо — просил совета, как поступать, когда на Капри фактически действует фракционная школа. Затем к этому письму присоединились и другие слушатели. Владимир Ильич пригласил рабочих в Париж. Там они слушали его беседы и лекции.

И наконец третий пример. «Мой путь к марксизму и в партию большевиков» — так озаглавил первый раздел своих мемуаров К. В. Островитянов, член КПСС с 1914 года, ныне известный советский экономист, академик. Путь этот был нелегким, своеобразным. Гром первой русской революции заставил юного тамбовского семинариста оглядеться и критически присмотреться к жизни, которая бурно протекала вокруг. К. В. Островитянов пишет, что он в ту пору пытался примирить толстовские и марксистские идеи. Много лет спустя вице-президент Академии наук СССР К. В. Островитянов принимал австрийского профессора теологии, носившегося с идеей примирить священное писание с марксизмом, католичество — с социализмом. «В свое время, — сказал ему советский ученый, — я также пытался примирить христианство с марксизмом. Но из этого ничего не вышло, я стал марксистом».

В книге немало и других интересных судеб. Е. А. Киселев рассказывает о встрече с В. И. Лениным на Пятом съезде РСДРП в Лондоне. Когда речь зашла о том, что многие интеллигенты, примкнувшие к революции во время подъема, стали уходить из партии после поражения революции, Владимир Ильич сказал:

— Ну и пусть уходят. Теперь самим рабочим необходимо вести всю подпольную агитацию и пропаганду. Противники большевиков — меньшевики и эсеры будут использовать против нас все наши слабые стороны. Вы больше читайте, учитесь говорить таким языком, чтобы вас понимали малосознательные рабочие. Особенно хорошо готовьтесь к пропагандистской работе.

И большевики выполняли этот ленинский наказ. Недаром даже враги Советской страны признавали, что большевистская пропаганда и агитация творят чудеса. Объясняя это «чудо», В. И. Ленин подчеркивал, что суть его в том, что основой основ революционной пропаганды является правда. Эту правду несли в массы и старые коммунисты — авторы воспоминаний. Они считали и считают это высокой честью для себя.

«Слово старых большевиков» — значительный вклад в историко-революционную мемуаристику. Много новых интересных деталей сообщают московские большевики. Память этих замечательных людей воссоздает не столь широко известную картину будничной работы — подпольной и легальной — в годы, предшествовавшие революции. Именно в этих буднях закалялись негибимые, твердокаменные большевистские характеры людей, которые повели массы трудящихся в открытый бой с царизмом и капитализмом.

Память об этих людях хранят улицы и площади, заводы и фабрики Москвы. Думается, однако, что еще немногим московским заводам и фабрикам присвоены имена активных деятелей городской партийной организации в дореволюционное время и в первые годы советской власти. Подумать об этом следует.

С Москвой, с московской партийной организацией была связана деятельность Дмитрия Ивановича Курского — наркома юстиции первого десятилетия советской власти, старого большевика, ставшего видным дипломатом. О его жизни повествует в своей книге «Пережитое» А. С. Курская, член

КПСС с 1905 года, друг и помощница Д. И. Курского. Целая галерея московских большевиков проходит перед читателем. Тут и бесстрашный, рано сгоревший Сибиряк — А. С. Ведерников, строгий конспиратор, подпольщик Влас — В. М. Лихачев, доктор В. А. Обух и многие другие.

«Пережитое» А. С. Курской, имея, разумеется, самостоятельную ценность, отлично дополняет воспоминания старых московских коммунистов. Обе книги вводят читателя в живую жизнь тех времен, которые были кануном нашего сегодня.

В конце двадцатых годов А. С. Курская очутилась в Италии, куда Д. И. Курский был назначен полпредом. Эти страницы ее воспоминаний приобретают особый интерес, так как еще и еще раз знакомят с А. М. Горьким, его жизнью в Италии. Большая дружба, связывавшая А. М. Горького с Д. И. Курским, забота советского посла о великом писателе — обо всем этом читателю интересно будет узнать.

Однажды в 1920 году Н. К. Крупская спросила А. С. Курскую:

— Скажите, Анна Сергеевна, а вы пишете воспоминания? Ведь мы живем в такое неповторимое время, о котором долго еще будут вспоминать... Для современной молодежи и особенно для людей будущего крайне интересно, как формировалось мировоззрение большевиков, какой жизненный путь был пройден ими.

И А. С. Курская, и авторы сборника «Слово старых большевиков» именно об этом и рассказали нам.

Ю. ШАРАПОВ.



НОВОЕ НАДО ОТСТАИВАТЬ

Е. К. Лигачев. Экономика, политика, принципы управления. «Советская Россия». М. 1965. 126 стр.

В. И. Терещенко. Организация и управление (Опыт США). «Экономика». М. 1965. 47 стр.

Интересна эта книга или скучна? — вот первый вопрос, возникающий у читателя, берущего в руки книжную новинку. Догмы он не признает: может счесть скучной детективную повесть и может вдруг влиться в брошюру на экономическую тему. Вот, например, тоненькая книжница В. Терещенко под неброским заглавием «Организация и управление». Издана она огромным для экономической литературы тиражом, а

попробуйте-ка ее купить... Она разошлась мгновенно.

Эта книжница родилась из газетной статьи. Как указывается во введении, она «является продолжением начатого на страницах «Известий» интересного и важного разговора об организации и управлении как науке». Строго говоря, это не совсем точно. Как в «Известиях», так и в некоторых других газетах первые (после

двадцатипятилетнего перерыва) статьи об этой науке появились несколько раньше, чем статья В. Терещенко. Но вот других статей читателям не заметили, а эту запомнили, с ней (и о возрождающейся науке) сразу заговорили, захотели узнать больше, засыпали письмами — потребовали написать книгу.

В. Терещенко подкупает и глубоким знанием дела, и обилием интересных фактов, и новыми (либо прочно забытыми) мыслями. Но главный секрет его успеха в другом: перед нами активный пропагандист своих мыслей, своей позиции. Книга сражается с бескультурьем, отсталостью, обломовщиной в работе руководителя, инженера, да по сути вообще всякого специалиста, интеллигента.

Автор возмущается: «Люди с большим опытом и знаниями, могущие действительно много дать обществу и сделать много для великого дела строительства коммунизма, часто вынуждены попусту тратить свое драгоценное время на всякую административную чепуху...»

Он дает деловые рекомендации на основе современного состояния практики управления: «...человеческие способности в этом отношении довольно ограничены. Единственным способом «поднятия потолка» поэтому становится децентрализация управления и передача максимально большого количества функций сверху вниз управленческого аппарата».

Он разъясняет читателям классовую сущность буржуазной науки об управлении, в частности так называемой теории о «революции управляющих» (менеджеров), и пишет: «Менеджеризм, как американская теория управления, является в конечном итоге апологетикой капитализма».

Утверждая метод, систему как антитезис штурмовщины, В. Терещенко пишет: «Самопожертвование в труде — это великая и благородная вещь, но лишь тогда, когда оно рационально и необходимо. Если же самопожертвование вызывается лишь плохой организацией и отсутствием дисциплины, то тогда оно является преступлением и перед собой и перед обществом, ибо человек — это самый дорогой из всех производственных ресурсов».

Твердо, уверенно ведет автор своих читателей к решающему выводу: в системе управления главное — человек, его обучение и воспитание. Эту мысль не раз подчерки-

вал В. И. Ленин. В. Терещенко напоминает: еще в дни, когда в США только зарождалась идея организации и управления как комплексной науки, Ленин отмечал, что в организации и управлении разнородными предприятиями, учреждениями и ведомствами есть много сходного. Ленин призывал заниматься «теорией организации», требовал срочно написать учебники по организации труда и специально труда управленческого, добыть книги об этой науке за границей.

Практические рекомендации В. Терещенко конкретны, обоснование их надежно. Можно спорить с этими рекомендациями, можно не соглашаться с теми или иными суждениями, но, пожалуй, даже ярый противник этого автора скажет, закрывая его книгу: да, вот так надо вести пропаганду, так надо отстаивать свои идеи.

Про книгу Е. К. Лигачева этого не скажешь. Она затрагивает близкую тему, но уже в заголовке чувствуешь подход куда более солидный: «Экономика, политика, принципы управления». И внутри все очень солидно. Автор словно боялся упрека, что он что-то забыл, чего-то «не осветил». Поэтому ничто не забыто: есть разделы и о значении хозяйственной политики вообще, и об истории развития системы руководства хозяйством, и о новых задачах планирования, и о моральных и материальных стимулах, и о коллективности руководства, и о многом другом.

Впрочем, кто же станет возражать против такой основательности? Е. Лигачев очень правильно пишет о демократическом централизме в управлении хозяйством. Очень правильно отстаивает принцип централизованного руководства экономикой, который позволил нам одержать столько исторических побед. Но ведь этот принцип (именно как общий принцип) столь же бесспорен, сколь общеизвестен. Мало напомнить читателю то, что он давно знает, — надо рассказать ему, как практически осуществлять этот принцип сегодня, какие именно рычаги централизованного руководства эффективны в нынешних условиях. Ведь именно об этом илут в последние годы жаркие дебаты, именно этот вопрос — коренной в экономике — решает сейчас страна.

Может быть, у Е. Лигачева нет своей точки зрения по этому поводу и он одинаково равнодушен к добру и злу? Нет, точка зрения есть, и притом, на наш взгляд, вер-

ная. Но не так легко отыскать ее в книге: автор как бы сглаживает, прячет свое мнение. Прочтите, например, длинную тираду на двадцатой странице, где Е. Лигачев раскрывает, что же означает централизация руководства народным хозяйством. В этом перечислении помянуты разработка основных направлений хозяйственного строительства, определение главных народнохозяйственных пропорций, проведение единой политики в области внедрения новой техники, размещения производительных сил, зарплаты, цен, финансов.

И здесь и дальше речь идет об экономических средствах централизованного управления и нигде — о прямом административном регулировании. Но ведь оно существует, о нем ведутся споры. Экономисты доказывают, что больше нет нужды диктовать предприятию из центра номенклатуру и количество абсолютной всех изделий. В другие времена — например, во время войны — такое прямое распределение было необходимо как самое оперативное и надежно обеспечивавшее нужды обороны. Сейчас оно уже не нужно, а главное — невозможно. В новых условиях развитого хозяйства, достигшего огромных масштабов, излишняя регламентация деятельности предприятий может принести только вред.

Не ясно ли, что решение на сей счет — не из простых. Прямую команду предприятиям нельзя просто отменить, ее надо заменить надежными экономическими стимулами, чтобы отдельные коллективы не забывали об интересах общества. И это тоже было предметом споров — в газетах, журналах и книгах, на совещаниях и прямо на заводах, где ставятся различные опыты.

Но Е. Лигачев будто и не слышал споров. Среди задач централизованного планирования он из помянул прямого распределения производства и сбыта продукции в номенклатуре. Правильно сделал! По этой детали внимательный и осведомленный читатель поймет, какова позиция автора, — но и только. Неосведомленный ничего не заметит, непонимающий не получит разъяснения по острому вопросу, несогласный не будет переубежден.

Надо ли говорить, как важно обеспечить единство материальных интересов отдельного предприятия и государства. Касается этой темы и Е. Лигачев. Он подробно рассказывает о ленинской идее хозрасчета и

замечает (опять-таки вполне правильно): «Наряду с материальным поощрением хозрасчет предполагает и материальную ответственность предприятий, цехов, участков перед государством за свою работу». И вновь умалчивает о том, что долгое время эти принципы соблюдались недостаточно, контроль хозрасчетный заменялся административным. Умалчивает о том, что восстановление подлинного хозрасчета — одна из главных проблем сегодня.

И ведь нельзя сказать, что автор ушел от злободневных проблем, — нет, формально ничто не забыто. Он пишет о несовершенстве показателя валовой продукции и рассказывает об экспериментальной проверке на предприятиях Татарии другого показателя — нормативной стоимости обработки (НСО). Вот подходящий случай проанализировать массовый эксперимент, который был отлично поставлен подлинными энтузиастами экономической работы. Результаты этого опыта известны. Он подтвердил, что показатель НСО более или менее свободен от некоторых недостатков «вала», но имеет свои не менее существенные недостатки. Эксперимент в Татарии был полезен главным образом тем, что наглядно показал, по какому пути не должно развиваться централизованное планирование, растаяла призрачная надежда управлять сверху каждым шагом предприятия, хотя и с помощью более совершенных показателей. В ходе этого и других экспериментов укрепились позиции тех, кто считает бесполезным уповать на улучшение способов административной регламентации. Надо освободиться от такой прямой регламентации и научиться планомерному управлению хозяйством с помощью экономических рычагов.

Именно этот эксперимент вызвал горячий спор сторонников двух направлений. Но Е. Лигачев почему-то о споре не упоминает. Он с удовлетворением пишет об «успехе» эксперимента, не намекая даже, сколь своеобразен был этот успех. Но самое интересное — следующий (буквально следующий!) абзац. В нем автор объясняет, что нужно «полностью использовать товарно-денежные отношения, дать простор для действия хозрасчета, цены, прибыли, кредита, заработной платы на предприятии...». Золотые слова! Но надо же было хоть словом намекнуть, что они отражают позицию противников НСО.

Впрочем, автор и здесь застраховался от упреков замысловатой фразой: «На приведенном примере работы партийных организаций Татарии мы хотим подчеркнуть не столько экономическую целесообразность нового объемного показателя в сравнении с существующим, сколько сам факт крупного эксперимента в экономике промышленности при живейшем участии масс, партийных и общественных организаций». Вот так. И не против НСО, и не за «экономическую целесообразность нового объемного показателя»...

Бесстрастная, скучная мысль, бесстрастный, скучный язык. В книге много вот таких, например, фраз: «Развитие творческой инициативы людей в производственной жиз-

ни объясняется факторами объективного и субъективного порядка». Тоже, между прочим, все правильно, но до чего же скучно!

Новое входит в жизнь. Оно провозглашено с трибуны сентябрьского Пленума ЦК КПСС, оно испытывается на сотнях предприятий. Но над ним еще надо думать, для него надо работать. В книжке Е. Лигачева вы не найдете противоречия с этим новым. Он не против. Но и «за» не ратует. Книга его не вредная. Но и пользы от нее не так-то много. Стоит ли в таком случае писать? Главное ведь не в том, чтобы писать гладко, а в том, чтобы отчетливо излагать то, что думаешь, и смело отстаивать свои взгляды.

О. ЛАЦИС.

★

АРЬБЕРГАРДНЫЕ БОИ ИДЕОЛОГОВ КОЛОНИАЛИЗМА

Е. Д. Модржинская. Распад колониальной системы и идеология империализма. «Наука». М. 1965. 342 стр.

В этой книге на большом и интересном материале показано, как изменяются приемы, направленность и средства колониалистской идеологии. Еще не так давно ее острее было направлено в сторону метрополий, население которых обрабатывалось в откровенно расистском духе: обывателю внушали мысль о превосходстве белого человека над «цветными», его пугали перспективой потери колоний и якобы неизбежным после этого ухудшением условий существования в метрополии. С населением колоний не считались: оно было лишь объектом властвования, объектом эксплуатации.

В наше время идеологи колониализма пытаются обработать население колоний и молодых национальных государств. Их ближайшая цель — заставить оовоуждающиеся народы забыть злодеяния империалистических держав, выдать колониальный грабеж за благодеяние, варварскую эксплуатацию — за приобщение к труду.

Буржуазная пропаганда утверждает, что колониализм западных держав — это-де злостная выдумка и «пропаганда» Москвы. Американский социолог Р. Эмерсон пишет, что «империализм ушел в прошлое» и бывшие империалисты теперь «стремятся к равноправному и дружественному сотру-

ничеству с народами, развитию которых они хотят помочь».

Е. Модржинская разоблачает прием, при помощи которого буржуазные социологи обосновывают подобный вывод. Они сводят колониализм к политическому господству, в то время как это еще и экономический и социальный гнет. Колониализм — «это закрепляемая политическим гнетом экономическая эксплуатация страны монополиями, препятствующая подлинному развитию ее производительных сил и в первую очередь важнейшей производительной силы — трудящихся». Понятно, что уничтожение политического господства уничтожает лишь режим колониального управления, но не уничтожает ни последствий колониализма, ни империалистического господства, которое приобретает теперь новые формы. Неоколониализм — это сохранение старых и захват новых позиций империализмом посредством экспорта капитала, включения молодых государств в военные блоки, создания на их территории военных баз, навязывания им марионеточных режимов, заключения с ними кабальных договоров о военной и экономической помощи и т. д.

Каким же образом идеологи неоколониализма рассчитывают сохранить освобож-

дающиеся страны на положении колоний нового образца?

Первоначально они пытались убедить колониальные народы в том, что в современную эпоху ядерного оружия не может быть ни подлинно независимых, ни подлинно нейтралитетских государств. Американская пропаганда выдвинула и усиленно рекламировала идею создания «мирового государства», которое фактически представляло бы осуществление идеи американского господства.

Однако вскоре выяснилась полная несостоятельность подобной политики. Процесс освобождения колониальных народов продолжался неодолимо. В этих условиях в тактике империализма произошел крутой поворот. Она стала оборонительной, всячески стремясь спасти то, что еще остается у империализма. Ее конечная цель — «приспособившись» к происшедшим в мире переменам, прежде всего опираясь на реакционные элементы в молодых государствах, удержать эти государства в мировой капиталистической системе, не допустить их перехода на некапиталистический путь развития, на путь социализма. Естественно, что это не означает полного отказа и от апологии прежних методов (теория локальных войн, отрицание государственного суверенитета и т. д.), особенно в тех случаях, когда новые методы не дают результатов (провал «Союза ради прогресса» в Лагунской Америке и возврат к политике прямой вооруженной интервенции — Доминиканская республика).

Чтобы сохранить бывшие колонии в системе капитализма, буржуазная социология прибегает к различным методам и средствам. В рецензируемой книге выделяются следующие основные направления этих усилий.

Во-первых, под прикрытием разговоров о развитии в «условиях порядка», о «ненасильственной революции», под которой понимается серия проводимых сверху под наблюдением американских советников куцых реформ, она пытается отвлечь народы от революционной борьбы. Этот проповедываемый сегодня многими государственными деятелями и социологами курс следующим образом формулируется, например, Л. Блумфилдом, бывшим ответственным сотрудником госдепартамента и одним из идеологов американского неокOLONIALИЗМА: «Главная цель Америки... найти средства для того,

чтобы повлиять на развитие социальных революций в слабо развитых районах в таком направлении, чтобы мы не оказались изолированными во враждебном окружении, но оставались в мире, где демократические ценности и наш общественный строй смогут процветать».

Но одно дело сформулировать цель, а другое достигчь ее. Ни идеологам, ни государственным деятелям Запада так и не удалось «найти средства», с помощью которых можно было бы остановить национально-освободительные и социальные революции в «трегьем мире». Империалистические державы снова и снова прибегают к испытанным методам международного разбоя. События во Вьетнаме, Конго, Омане, Доминиканской республике наглядно свидетельствуют не только об агрессивности империализма, но и о тщетности его идеологических диверсий.

Во-вторых, империалистическая социология пытается ослабить освободительные движения отдельных стран и мировые революционные силы путем прогнвопоставления национально-освободительного движения международному рабочему движению, национализма — социализму, путем заигрывания с реакционными силами в националистическом движении. Она утверждает, будто марксизм — учение, разработанное только для развитых капиталистических стран с сильным рабочим классом, а поэтому оно якобы неприменимо в отсталых крестьянских странах Азии, Африки и Латинской Америки. В подтверждение приводится такой довод: большинство афроазиатских стран завоевало политическую независимость под знаменами национализма, а не марксизма-ленинизма, следовательно, марксизм ими отвергается.

Но распространенность идеологии национализма на начальном этапе национально-освободительной борьбы колониальных стран вовсе не свидетельствует о неприемлемости для этих стран марксизма. Размах национализма объясняется тем, что на первом этапе развития национальных движений он бывает обычно начальной формой осознания грядущими противоречивости своих классовых интересов интересам иностранной буржуазии. В национализме угнетенных наций прогрессивное общедемократическое содержание, направленное против угнетения (антиимпериализм, антифеодализм), на этапе борьбы за политическую

независимость обычно превалирует над его консервативной стороной (противопоставление своей нации другим, предпочтение национальных интересов перед интернациональными и классовыми). Это и привлекает к национализму борющиеся народы. В тех же странах, где имелся рабочий класс, где действовали влиятельные коммунистические партии, национальное освобождение было завоевано под знаменем марксизма-ленинизма.

После завоевания политической независимости, когда на повестку дня в освобождающихся странах встают социальные проблемы (достижение экономической независимости, ликвидация нищеты и невежества, участие народных масс в управлении делами государства и т. д.), в рядах националистов происходит размежевание, а их идеология претерпевает серьезную трансформацию. Реакционная часть правящих кругов молодых государств, прежде всего воспитанная на Западе элита, пытается остановить дальнейшее развитие революции, направить страну по капиталистическому пути. На нее-то и делает ставку Запад.

Однако, как показывает автор книги, лучшую, значительную и в конечном счете наиболее влиятельную часть молодежи развивающихся стран не прельщает карьера изменников родины, и она идет по пути решительной борьбы против империализма. Революционная, подлинно патриотическая часть вчерашних националистов смело приступает к решению социальных задач. Ее усилиями общенациональные партии периода борьбы за независимость превращаются в авангардные, то есть объединяющие наиболее передовые и революционные силы общества, революционно-демократические партии (Суданский Союз Мали, Демократическая партия Гвинеи и другие), или такие партии создаются заново (Партия социалистической программы в Бирме, Арабский социалистический союз в ОАР). Эти партии борются за дальнейшее развитие национально-освободительных революций, за их перерастание в революции социальные, социалистические, ибо, как показывает жизнь, насущные социальные проблемы молодые государства могут решить только на пути, ведущем к социализму. Последовательная защита национальных интересов своего народа ведет подлинных патриотов, порой извилистыми путями, к научному социализму.

Поэтому и все национально-освободительное движение в целом не противостоит международному рабочему движению и его главному детищу — мировой социалистической системе, а является его самым надежным союзником и в значительной степени единомышленником в борьбе против империализма.

В-третьих, реакционные буржуазные социологи пытаются приукрасить капитализм, скомпрометировать, исказить принципы научного социализма и коммунизма, ослабить их влияние на ход развития молодых национальных государств. В рецензируемой книге на множестве примеров показано, как этого пытаются достичь. Тут и приукрашивание капиталистической действительности, и выдумки по поводу «советского колониализма», и вздорные утверждения о несовместимости религии и строительства социализма, и лживые восхваления теорий «национального» социализма в противовес научному социализму.

Автор не только разоблачает подобного рода теории, но и излагает позитивную марксистскую программу революционных сил молодых государств. Такой метод критики значительно повышает ее убедительность и значимость самой работы. В этом одно из несомненных достоинств рецензируемой книги.

В работе показано, что и страны, где сегодня нет революционной ситуации, то есть где социалистическая революция не может победить немедленно, могут развиваться в направлении к социализму по некапиталистическому пути, идея которого была развита применительно к современным условиям Совещанием представителей коммунистических и рабочих партий 1960 года. Осуществляемые на этом этапе общедемократические преобразования создают предпосылки для строительства социалистического общества.

Политической формой организации общества на этапе некапиталистического развития может стать государство национальной демократии или подобное ему. Такое государство, как справедливо указывается в книге, не ставит своей целью полную ликвидацию эксплуататорских классов или окончательное построение социализма, как не ставила такой задачи в первые годы своего существования и МНР. Это — переходная форма государства.

Переход к социализму государств, разви-

вающихся по некапиталистическому пути, как показывает тот же опыт МНР, встречает сильное сопротивление реакционных сил и поэтому возможен только в результате коренных преобразований всей социально-экономической структуры общества. И хотя эти преобразования могут быть растянуты на ряд лет и могут не иметь характера кратковременного переворота, но исторический опыт и марксистско-ленинская теория говорят о том, что они неизбежно носят революционный характер. Следовательно, некапиталистический путь является путем революционным, а не реформистским.

Понятно, что страны, где возникнут необходимые предпосылки для социалистической революции и революционная ситуация, перейдут к социализму примерно так же, как это имело место в СССР или в странах народной демократии. Но так как сегодня во многих молодых государствах такие условия отсутствуют, некапиталистический путь, как правильно отмечает автор, «освещает завтрашний день народов, завоевавших политическую независимость». Ввиду того, что существенные преобразования общества были произведены на общедемократическом этапе развития, переход от государства, подобного национальной демократии, к социализму произойдет сравнительно легко, в соответствии с особенностями каждой страны тогда, когда для него созреют условия.

Вступление на путь некапиталистического развития, ведущий к социализму, целой группы стран (Гана, Гвинея, Мали, ОАР, Алжир, Бирма) — важнейшее историческое событие современности, следующее по своей значимости за ликвидацией колониальной системы. Оно свидетельствует о тщет-

ности попыток империалистических идеологов задержать движение народов к социализму.

Опыт развития стран, вставших на некапиталистический путь, свидетельствует и о несостоятельности попыток буржуазных социологов подменить научный социализм «национальным» в его различных вариантах («африканским», «арабским» и т. д.). Когда стало ясно, что этими терминами нередко прикрываются силы, ставящие своей целью увести народы от социализма, оторвать их от социалистических государств, революционно-демократические партии объявили, что их идеология «базируется на научном социализме» (Программа партии Национального конвента Ганы). Условия, в которых происходит некапиталистическое развитие, в разных странах могут быть весьма своеобразны, но движутся они в одном направлении — в сторону социалистического общества в соответствии с основными закономерностями, сформулированными в теории научного социализма и подтвержденными опытом ряда стран.

Таким образом, на всех основных направлениях идеологи колониализма и империализма терпят поражение. Не исключено, конечно, как справедливо пишет Е. Д. Модржинская, что, «спекулируя на реальных трудностях и раздувая действительные недостатки в строительстве нового, социалистического мира, наши идеологические прогивники, возможно, еще не раз попытаются внести замешательство в ряды освободительного движения, но это — усилия обреченных». Проиграв основное сражение, нельзя выиграть кампанию в арьергардных боях.

Г. СТАРУШЕНКО.



ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ИСПАНИЮ

Под знаменем Испанской республики. 1936—1939. Воспоминания советских добровольцев—участников национально-революционной войны в Испании. «Наука». М. 1965. 576 стр.

Недавно утром, шагая по Солянке в Историческую библиотеку, я повстречал еще молодявого генерала с голубыми лампасами. Ни девушка, взбегавшая по ступеням Академии медицинских наук, ни группа кубинцев, направлявшихся в находящуюся поблизости профшколу, не обратили на него никакого внимания. Мне же неодно-

кратно доводилось видеться с этим генерал-майором авиации на собраниях испанской группы Комитета ветеранов, и я раскланиваясь с ним. Когда мы разминулись, я подумал, что если бы случайным прохожим были известны фамилия этого генерала и содержание лежащей в моем портфеле книги «Под знаменем Испанской республики», то

хорошенькая девушка, по всей вероятности, задержалась бы на ступеньках, чтобы с любопытством взглянуть ему вслед, молодые кубинцы почтительно расступились бы перед сероглазым генералом, да и другие, идущие мимо, проявили бы к нему — одному из самых замечательных участников этого сборника — смешанный с уважением интерес.

Таких авторов, как встреченный мною на Соланке генерал-майор М. Н. Якушин, в книге одиннадцать. Их воспоминаниям предпослана статья председателя Испанской коммунистической партии Долорес Ибаррури: «Интернациональная солидарность народов Испании и СССР». В этой статье, значительной частью посвященной современности, подчеркивается, что подвиг испанского народа, выступившего «в авангарде европейского сопротивления фашизму» и отсрочившего своей борьбой «на целых два года начало второй мировой войны», был возможен «благодаря братской солидарности Советского Союза, который, кроме оружия, послал в Испанию «когорту героев-добровольцев — летчиков, танкистов, артиллеристов, военных специалистов». Прочувствованными словами напоминает Долорес Ибаррури о том, что сделали эти «благородные, проникнутые революционной романтикой советские герои» для Испании. «Многие из них не вернулись к своим семейным очагам,— заключает Долорес Ибаррури этот раздел статьи,— они покоятся в испанской земле вместе с нашими павшими бойцами. Мы их не забыли. Они были нам близки, как наши сыновья, братья и отцы, как бойцы интернациональных бригад, память о которых вечно жива в благодарном сердце испанского народа».

Обширная статья академика И. М. Майского «Национально-революционная война испанского народа и Советский Союз» дает историческое освещение темы, очень близкой к той, какую в политическом аспекте подняла Долорес Ибаррури. Написанная отнюдь не академично, предназначенная скорее для массового читателя, она популярно излагает предысторию и течение испанских событий 1936—1939 годов. Наиболее значительными, однако, оказываются у И. М. Майского странички личных воспоминаний и помещенная в конце интереснейшая подробность, относящаяся к ним же, поскольку в печати ничего подобного до настоящего времени не попадалось. Отметим,

что с осени 1937 года, когда подводные лодки фашистской Италии стали топить практически все суда, направлявшиеся в средиземноморские порты республиканцев, и «поток советского оружия» пришлось направить северным путем, через Балтийское море и французские гавани, И. М. Майский прибавляет: «Ибо по причинам, на которых у меня нет здесь места останавливаться, Франция с середины 1937 г. по середине 1938 г. вынуждена была держать франко-испанскую границу открытой». Нельзя не пожалеть об этой недоговоренности. Тем более что в указанные сроки на этой границе происходили самые радикальные перемены. Насколько мне не изменяет память, французское правительство на деле закрыло оставшийся в руках республиканцев отрезок границы еще в мае 1937 года, и уже в июле я дважды имел случай самолично убедиться в этом. В марте же следующего года я пересек ее и вернулся из Парижа на загруженной до предела «испано-суизе» без малейших осложнений.

О том, как республиканские артиллеристы защищали Мадрид, рассказывает Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов. Появившийся в испанской столице еще в половине октября 1936 года комбриг Воронов был сразу же назначен советником главного инспектора артиллерии республиканской армии. Воспоминания Н. Н. Воронова, в целях конспирации превратившегося во француза Вольтера и ставшего испанским полковником,— этот драматический рассказ о начальной стадии борьбы за столицу, лишенный всякого фразерства и окрашенный легкой иронией, когда речь заходит о деликатном положении комбрига Красной Армии, приставленного к самолюбивому и националистически настроенному испанскому кадровому офицеру Фуэнтесу,— сам по себе уникален. Отдельные же места из воспоминаний Н. Н. Воронова — портреты, например, того же Фуэнтеса, престарелых генералов Посаса и Мпачи или представителей образованной части испанского штабного офицерства Висенте Рехо и будущего предателя Сигизмундо Касадо, а также некоторые трагикомические эпизоды вроде обеденного перерыва в артиллерийской дуэли и случая, когда командир испанской центурии, излишне прямо поняв просьбу двух советских товарищей показать, где фашисты, подвел их вплотную к

вражескому окопу,— могли бы послужить вполне достойным дополнением к «Испанскому дневнику» Михаила Кольцова.

Н. Н. Воронов ни на минуту не отступает от этой самой дорогой ему темы — республиканской артиллерии, его детища.

Воспоминания Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского были уже ранее напечатаны в «Огоньке». Естественно, что рассказ о добровольном участии в испанской «прелюдии ко второй мировой войне», исходящий от одного из виднейших ее полководцев, приложившего крепкую руку к окончательному разгрому гитлеровской армии, привлечет повышенное читательское внимание, закономерно усиливаемое занимаемым Р. Я. Малиновским высоким постом. Включенный в сборник, этот рассказ во втором чтении скорее только выигрывает.

Будучи как бы продолжением воспоминаний Н. Н. Воронова, рассказ этот охватывает по времени почти половину всей войны и, в частности, описывает до сих пор последовательно не излагавшуюся в нашей печати катастрофу на Арагонском фронте весной 1938 года. Свидетельство очевидца и участника этих трагических событий чрезвычайно ценно и пригодится будущим историкам испанской национально-революционной войны.

Направленный в Испанию по собственной просьбе, Р. Я. Малиновский пробыл в ней пятнадцать месяцев — значительно дольше принятого для советских добровольцев срока. Дважды за это время огзываемый, он сумел оба раза добиться отсрочки. В третий раз Р. Я. Малиновского отозвали в разгар отступления на Арагоне, «в те грозные для Испании дни», как он пишет. «В телеграмме говорилось: в случае отказа меня считают «невозвращением». Откровенно говоря, мороз прошел по коже от такого словечка». В приведенном Р. Я. Малиновским мелком, казалось бы, факте отразились некоторые характерные черты того периода. А ведь это происходило в преддверии решающей схватки с фашизмом.

Воспоминания бывшего советского военно-морского атташе при законном испанском правительстве и будущего наркома Военно-морского флота Н. Г. Кузнецова дорисовывают общую картину еще с одной стороны. Они написаны на фоне исчерпывающей истории флота Республики — от попытки корабельных офицеров привлечь

флот к мятежу 18 июля 1936 года и до ухода его в Бизерту в начале марта 1939 года. Около четырех печатных листов разделены на главы с точными подзаголовками, напоминающими оглавление специального научно-исследовательского труда. Однако написаны они очень живо, и даже приводимые по ходу изложения статистические или технические сведения всегда любопытны и служат не иллюстрацией, но основанием для высказываемой Н. Г. Кузнецовым мысли. При почти полном отсутствии командных кадров и по многим другим причинам главный советник республиканского флота и тогда считал, и поныне продолжает считать его основной задачей конвоирование перевозок оружия морским путем. Это не случайная мысль и не подсказанная обстоятельствами линия наименьшего сопротивления. Это выношенная концепция, оправданием которой служит почти все написанное по данному поводу Н. Г. Кузнецовым. Его позиция не пользуется безоговорочным признанием. Республиканский флот, и во время войны и позднее, многими, в том числе и виднейшими испанскими коммунистами, неоднократно подвергался резкой критике за бездействие. Однако теперь, после ознакомления с веской аргументацией Н. Г. Кузнецова, эти обвинения нельзя больше повторять огульно. Отсюда, конечно, вовсе не вытекает, что всем надлежит принять установку Н. Г. Кузнецова, но вступать с ним в спор можно лишь во всеоружии, зная вопрос не хуже его (что не так просто) и располагая запасом фактов, которые противостояли бы его логике.

Генерал армии П. И. Батов в отличие от остальных участников сборника половину проведенного им в Испании времени состоял советником при одной из интернациональных бригад, почему его воспоминания и носят заголовок: «В рядах добровольцев свободы». О том, какой П. И. Батов хороший рассказчик, можно судить по вышедшей в 1962 году его книге «В походах и боях». Значительная часть того, что он рассказывает о войне в Испании, находится на том же уровне. Это в особенности относится к сложным обстоятельствам путешествия через всю Европу двоих не знающих языков командиров РККА и к первым впечатлениям по прибытии к цели. Это относится и к некоторым подробностям неудачной республиканской контратаки пол

Сесеньей, где впервые действовали пятнадцать советских пушечных танков, совершивших под командованием прославленного Армана героические дела, и к отдельным деталям проведенного в день нового (1937) года по плану и под оперативным руководством П. И. Батова (о чем он не упоминает) первого с начала сражения за Мадрид успешного наступления. И больше всего это относится к главе о гибели Лукача. Ведь когда он был смертельно ранен в голову осколком улавшего перед машиной снаряда, «коронель Фриц» (П. И. Батов) был ранен в ногу другим осколком и единственный из четверых находившихся в «пежо» не потерял сознания.

К сожалению, память не всегда верна П. И. Батову, и тогда случается, что прочитанное или услышанное позже он принимает за собственные воспоминания. Так произошло, в частности, при упоминании о памятнике из белого камня на могиле Матэ Залки с высеченным четверостишием из светловской «Гренады». А ведь это абсолютно невозможно, потому что расположенное на твердой породе валенсийское «симентерно» скорее схоже с колумбарием: умерших там не зарывают в землю, а хоронят в бетонных нишах. Впрочем, рассказ этот сопровождается оговоркой: «Если это и легенда»... Но если это легенда, притом совершенно неправдоподобная, то следовало ли включать ее в воспоминания?

Генерал-полковник А. И. Родимцев рассказывает о своем участии в тяжелых оборонительных боях республиканцев против наступавшего на Гвдалахару моторизованного корпуса, присланного Муссолини, дабы помочь Франко овладеть наконец Мадридом. Сама по себе эта эпопея много раз описана. Недостаточно широко известен, однако, сообщаемый А. И. Родимцевым факт: в первые трое суток (до 12 марта) XI и XII интербригады вместе с батальоном советских танков «по сути приняли на себя всю тяжесть боя с интервентами и сбили натиск италийских войск».

Особняком стоит в сборнике статья И. Н. Нестеренко «Комиссариат — знаменосец Народного фронта». Особняком во всех отношениях, начиная с отмененного, но славного звания автора — дивизионный комиссар — и кончая тем, что это именно статья, а не воспоминания. И. Н. Несте-

ренко состоял советником при Генеральном военном комиссариате республиканской армии, но столь решающее обстоятельство оказалось тут как бы ни при чем, и статью эту можно бы считать за серьезную, хорошо документированную кандидатскую работу начинающего историка. Впрочем, вряд ли даже очень вдумчивый и очень усидчивый молодой ученый сумел бы извлечь из источников весь тот материал, каким располагает И. Н. Нестеренко. Но главное достоинство его статьи — не историческая, а политическая сторона. Автор не только сам глубоко убежден, но убеждает и читателя, что основной задачей комиссаров-коммунистов, преобладавших в Комиссариате, было укрепление и сплочение армии на базе испанского Народного фронта, единственной силы, которая могла тогда противостоять заговору собственного и международного фашизма. В конце статьи справедливо утверждается, что Республика еще долго бы держалась, когда б не нанесенный изменой удар в спину. «С богатырских плеч сняли голову — не большой горой, а соломинкой», — вырывается у И. Н. Нестеренко, и этот нарушающий академический тон статьи эмоциональный возглас, этот крик души заставляет пожалеть, что И. Н. Нестеренко ограничил себя узкими статейными рамками — в воспоминаниях он был бы несомненно и шире и ярче.

Генерал-лейтенант С. М. Кривошеин вспоминает, как в октябре 1936 года он на теплоходе «Комсомол» прибыл в Картажену вместе с первыми Т-26 и пятьюдесятью советскими танкистами, как под Мурсией обучал испанские экипажи, как отправил пятнадцать танков с латышом Арманом во главе для участия в контрнаступлении на Сесенью и как наконец включилась в сражение за испанскую столицу вся группа. Воспоминания С. М. Кривошеина «Танкисты-добровольцы в боях за Мадрид» занимают всего двадцать пять страниц и, конечно, не исчерпывают тему, но по ним читатель без вынужденных недомолвок кольцовского «Испанского дневника» узнает о доблестном поведении молоденьких танкистов из Белорусского военного округа, дравшихся и умиравших за свободу Испании.

Если статья И. Н. Нестеренко выделяется по жанру, то пятнадцать страничек, переведенных из второго тома воспоминаний

Игнасио Идальго де Сиснероса, выделяются по содержанию, да и по форме. Испанский аристократ, произведенный в офицеры еще королем, но уже тогда убежденный республиканец, известный авиатор, во время войны назначенный командующим военно-воздушными силами Республики, он вспоминает о советских летчиках как благодарный испанец и одновременно дает им оценку как начальник. Включенный в сборник отрывок из его книги заканчивается описанием необыкновенного подвига летчиков Якушина и Серова, первых в истории авиации, кому удалось при тогдашней несовершенной технике, сбить вражеские бомбардировщики ночью.

Этот подвиг не составляет, однако, единственного содержания воспоминаний самого М. Н. Якушина, теперь генерал-майора авиации, удачно озаглавленных «В первой битве с фашизмом», но, естественно, занимает в них центральное место. М. Н. Якушин «после ряда просьб и ходатайств» подоспел в Испанию как раз к Брунетской операции в середине 1937 года, когда республиканская авиация стала пополняться не только испанскими и советскими летчиками, но и лучшими людьми из интербригад. Он попал в смешанную эскадрилью, куда вместе с несколькими добровольцами из СССР зачислили трех испанцев, двух австрийцев, двух американцев и одного югослава. Сражение за Брунете было очень тяжелым не для одних наземных войск, и М. Н. Якушин не скрывает пережитых трудностей (по поводу которых его соратник, тоже генерал-майор, Б. А. Смирнов, печатавший в 1957 году свою книгу об Испании в «Новом мире», как-то признался, что завсю вторую мировую войну он не нес такой физической и нервной нагрузки, как на аэродроме под Мадридом).

В отличие от М. Н. Якушина еще один будущий генерал-майор авиации — Г. М. Прокофьев вдвоем со своим другом И. И. Проскуровым оказался в Мадриде раньше всех, в сентябре, задолго до прибытия советских самолетов. Оба они были зачислены в основанную Андрэ Мальро частично из наемников интернациональную эскадрилью, о которой немало писалось. В ней уже находились несколько советских летчиков, штурман и два инженера. Летать, а главное воевать, им пришлось на безнадежно устаревших «ньюлорах», ост-

роумно прозванных «летающими этажерками», и тому подобных допотопных аэропланах. То, что рассказывает о вылетах на устаревших бомбардировщиках «бреге» генерал-майор Г. М. Прокофьев, и вообще все, что читатель узнает от него о советских добровольцах в интернациональной эскадрилье, еще никогда и никем, в том числе и Михаилом Кольцовым, не рассказывалось.

По страницам воспоминаний Г. М. Прокофьева проходят такие, пользуясь выражением старинной песни, «орлы боевые», как Э. Шахт, В. Хальзунов, Н. Остряков, П. Рычагов, С. Тархов, Г. Тупиков и многие другие, но при этом они не превращаются в однообразное перечисление имен и фамилий. В каждом, кто бился с ним в воздушных боях, Г. М. Прокофьев различает личные, неповторимые черты, для каждого не вернувшегося с задания находит относящиеся именно к нему искренние прощальные слова. Читатель узнает и о последнем бое эмигрировавшего в СССР итальянского коммуниста Примо Джибелли, который стал советским летчиком и еще в 1925 году был награжден орденом Красного Знамени, а в 1928-м отличился при спасении тонущих рыбаков; и о самопожертвовании испанского летчика Рамоса, покончившего с собой и разбившего свой неисправный бомбардировщик, чтобы не задерживать над вражеской территорией всю эскадрилью, и об одновременной и безвременной смерти экипажей двух Валентинов — Баженова и Федорова.

Н. Г. Кузнецов, говоря о взаимодействии бомбардировочной авиации с флотом, в свою очередь с уважением называет друзей и товарищей Г. М. Прокофьева — летающих летчиков И. И. Проскурова и Н. А. Острякова — и добавляет, что Н. А. Остряков, вернувшись на родину, был назначен командующим авиацией Черноморского флота и погиб в Севастополе, о дальнейшей же судьбе И. И. Проскурова не упоминает. Г. М. Прокофьев повторяет, что Н. А. Остряков был убит под Севастополем, командуя, когда ему шел тридцать второй год, военно-воздушными силами целого флота, но не забывает поведать, что «прямолинейный, не терпящий сделок с совестью» И. И. Проскуров (занимавший, кстати говоря, еще более ответственный пост) «стал жертвой сталинских репрессий и погиб в 1941 г. в расцвете твор-

ческих сил и таланта в возрасте 34 лет. Та же грагическая судьба постигла и Эрнеста Шахага.

Сборник воспоминаний кадровых командиров РККА, сражавшихся под трехцветным знаменем Испанской республики, завершает человек мирной профессии — капитан дальнего плавания Г. А. Мезенцев. Объясняется это легко. Доставлявшие грузы из СССР в Испанию моряки торгового флота, пересекая Средиземное море, попадали в обстановку военных действий. Г. А. Мезенцев был капитаном пушенного ко дну теплохода «Комсомол». Вся команда (тридцать шесть человек, включая буфетчицу и уборщицу) была пересажена со шлюпки на борт фашистского крейсера, а затем заключена во франкистскую тюрьму. Все мы в Испании были тогда уверены, что «Комсомол», в предыдущий рейс разгрузивший в Валенсии вооружение, в этот раз потоплен вместе с ним. Отлично помню, как М. Е. Кольцов говорил мне, что вся на подбор из комсомольцев команда, которую он, Кольцов, прекрасно знал, несомненно, сама отправилась «Комсомол» на дно, чтоб фашисты не захватили его и не увели к себе с находившимися в трюмах танками. Воспоминания Г. А. Мезенцева опровергают эту версию. Он пишет, что «Комсомол» плыл с рудой в Бельгию. Таким образом, потопление «Комсомола» может рассматриваться исключительно как акт подлой мести со стороны франкистов.

В тюрьме с торговыми моряками обращались так, что в Г. А. Мезенцеве до сего времени не угас пафос негодования. Только спустя почти десять месяцев после ареста одиннадцать узников во главе с капитаном были освобождены, и лишь спустя еще две недели Франко выпустил следующих восемнадцать. А семь комсомольцев провели в фашистском плену еще три года.

Единственное, что несколько портит интересную книгу, это описки в транскрипции испанских географических названий и слов, а порой даже в написании русских предложений. Так, в характеристике Фуэнтеса сказано, что «его служба в основном проходила в качестве военного атташе ряда иностранных государств» (очевидно, Фуэн-

тес был испанским военным атташе в ряде государств). Неправильно написаны и фамилии офицеров интербригад: командир XV интербригады венгр Галл, командовавший на Хараме сводной дивизией, назван Гало и артиллерист Баллер, тоже венгр, — Батлером.

Нельзя не отметить, что общее число подобного рода ошибок превышает в сборнике допустимое. Достаточно указать, что в список замеченных опечаток попала такая непростительная небрежность, как превращение брата М. Кольцова карикатуриста Б. Ефимова в «Ефримова». Между тем, если у книги и не было корректора (таковой по крайней мере не назван), то редакторов у нее имелся избыток: вместе с техническим не хватило лишь одного для полной аналогии с поговоркой о семи няньках... Во всяком случае даже список опечаток обличает недостатки редактирования. Нельзя же всерьез выдавать за орехи набора изменение напечатанного «три» на «два», «Або» на «Турку», «юго-восточный» на «северо-восточный» или исправление неверного синтаксиса целого абзаца — все это не что иное, как запоздалая редакторская правка. А ведь кроме подклеенных в конце замеченных «опечаток», по книге рассыпано множество других.

Но вот необыкновенно интересная, представляющая большую историческую ценность книга прочтена. еще раз пересмотрены сопровождающие текст уникальные фотографии. И после того, как смолкли голоса героев, нельзя не испытать прилива гордости. Гордости за революционный народ, постоянно выдвигающий из своей среды славных и смелых, за Красную Армию, воспитавшую этих людей. Но к чувству гордости примешивается и горечь: ведь тот, с кем они тогда сражались и кто победил только благодаря помощи Гитлера и Муссолини, сейчас, поддерживаемый новыми хозяевами, продолжает властвовать над землей, обильно политой кровью забываемых наших товарищей.

Алексей ЭЙСНЕР.

НОВЫЕ МЕТОДЫ В АРХЕОЛОГИИ

Археология и естественные науки. «Наука». М. 1965. 346 стр.

Многие ученые зарубежных стран пинут и представляет известную опасность для общества конфликт между гуманитарными и естественными науками. Огромные успехи естественных наук косвенным образом повели и к тому, что наука об обществе в последнее время стала отодвигаться на задний план. Появилось высокомерно-пренебрежительное отношение к гуманитарным наукам. Даже в среде ученых создалось такое положение, о котором совершенно справедливо писал в статье, опубликованной в «Литературной газете», академик А. Д. Александров: «Не нужно быть академиком, чтобы понимать сегодняшнее значение атомной энергии, электронно-вычислительных машин и пр. А вот проблемы гуманитарные и для многих академиков не так уж ясны...»

Если в отношении некоторых гуманитарных наук — экономических, социологических — это неправильное отношение сейчас изживается, то хуже всего обстоит дело с историей. Нужно сказать, что историки сами в какой-то мере виноваты в том, что их наука до некоторой степени утратила авторитет. Сочинения, состоящие из одних цитат и их комментирования, содержащие повторения одних и тех же банальных истин, были так распространены на книжном рынке, что среди них терялись подлинно интересные научные труды, а таких было немало на всех этапах развития советской историографии.

Еще больше, чем бесцветные сочинения, принесли вреда авторитету исторической науки «труды», продиктованные соображениями преходящей конъюнктуры. Они подорвали доверие к истории как науке вообще, так как субъективизм является прямой противоположностью научному подходу к любой проблеме. Не удивительно, что иногда приходится не только говорить о значении истории в воспитании и образовании людей, но и вообще доказывать, что история — это наука. Между тем история — это не только подлинная наука, но, как и все отрасли науки в наши дни, она постепенно отходит от описательных, неточных методов и все больше использует точные зависимости и закономерности. Нагляднее,

чем в других отраслях исторической науки, эта тенденция проявляется в археологии.

Археология связана с естественными науками генетическими связями. Когда в XIX веке возник такой раздел археологии, как первобытная, то в большинстве стран он рассматривался как раздел естественных, а не общественных наук и его создавателями были ученые-естественники: биологи, геологи и т. д. Вопросы происхождения человека и начальных этапов развития человечества должны были изучаться в связи с природным окружением человека, в связи с древним животным миром и т. п., и вполне понятна здесь роль естественных наук. Возник даже спор, продолжавшийся и в XX веке, к категории каких наук следует относить первобытную археологию: гуманитарных или естественных? Казалось, что первобытная археология ничего общего не имеет, скажем, с археологией античной, в которой видели в первую очередь открытия, связанные с историей искусства, или с археологией средневековой, дававшей вспомогательные материалы для изучения эпох, уже подробно описанных в письменных источниках. Лишь с развитием археологии, когда оказалось, что выработанные для нее научные методы и принципы применимы для разных ее разделов, пришло признание того, что это единая наука и что она является отраслью истории и отличается от последней лишь специфичкой изучения ее источников. История, основанная на письменных источниках, — лишь кратковременный эпизод в развитии человечества по сравнению с историей, основанной на вещественных археологических источниках и длящейся уже сотни тысяч лет. И вот этот раздел исторической науки все больше применяет в своих исследованиях методы естественных и точных наук, традиционные связи с которыми особенно возросли в наше время.

Рецензируемая книга представляет собой переработанные для печати доклады, сделанные на созванном Институтом археологии Академии наук СССР Всесоюзном совещании по применению в археологии методов исследования естественных и технических наук. Первый раздел посвящен важнейшей проблеме — хронологии. Последовательность событий, их хронология, яв-

ляется тем костяком, на котором основываются исторические исследования. Без знания хронологии бессмысленны попытки писать историю. Однако установить, когда произошло то или иное событие, не так просто даже для эпох, история которых освещена письменными источниками. Достаточно сказать, что современные историки колебались в установлении даты начала истории Египта, и разница в датировке составляла около 1500 лет. Еще хуже обстоит дело для эпох дописьменных. Существуют системы специальных собственно археологических методов датировок: вещи могут быть датированы по своему типу, характерному для каждого исторического периода, по технике изготовления, по совместной находке с другими вещами, время изготовления которых известно, и т. д. Но бывают случаи, когда археологические источники сами по себе не дают ответа на вопрос, к какому времени они относятся. Кроме собственно археологических, в археологии применяется ряд методов установления дат, заимствованных из естественных наук: геологический, астрономический, палеоклиматологический и другие. В последнее время большую роль играет предложенный физиками метод датировки по радиоактивному углероду.

С помощью этого метода установлены уже десятки тысяч важных исторических дат. И все же есть еще ученые, сомневающиеся в надежности и точности этого метода. Статьи С. В. Бутомо и В. С. Титова посвящены проблемам радиоуглеродного датирования. Они способствуют утверждению точки зрения большинства советских ученых, считающих радиоуглеродный метод чрезвычайно важным средством определения абсолютного возраста памятников. Второй метод датировки, в разработку которого советские ученые сделали ценный вклад,— дендрохронологический. Сущность его заключается в том, что по годичным кольцам определяется дата рубки дерева, а соответственно и дата археологических деревянных сооружений. Этот метод был предложен в начале нашего века американским ученым Дуглассом и долгое время не получал развития в Европе, так как здесь нег так долго живущих растений, как те, на которых основывал свои выводы Дугласс. Однако начиная с конца тридцатых годов и в особенности в послевоенные годы ученые Скандинавии, Англии и других

стран проделали серию исследований, заложивших основы применения дендрохронологии к европейским объектам. В Советском Союзе начиная с 1957 года ведутся работы по дендрохронологии, особенно успешные по материалам Новгородской экспедиции. В Новгороде хорошо сохраняется дерево, и удалось по его образцам составить шкалу изменения толщины годичных колец за период свыше тысячи лет (с IX по XX век), а такая шкала дает возможность датировать деревянные дома и мостовые древнего города с точностью до одного года. Но есть и другая полезная сторона этих исследований: изучая структуру и колебания роста годичных колец, мы можем судить о климате прошлого, о его изменениях за сотни и тысячи лет. Проблемы дендрохронологии рассматриваются в статьях Б. А. Колчина и Н. Б. Черных.

Третий метод датировки, отчет о развитии которого содержится в сборнике, это археомагнитный. Работы по применению этого метода ведутся в Париже, Оксфорде и Москве. Сущность его заключается в том, что обожженная глина в момент обжига фиксирует магнитное поле Земли таким, каким оно было в данное время в данном месте. Обожженная глина может сохраняться тысячелетиями, а магнитное поле Земли постоянно меняется. Если удастся узнать, как менялось поле, и сравнить с ним магнетизм, зафиксированный на отдельных обожженных глиняных изделиях, то удастся датировать эти последние. Об этом подробно рассказывается в статье С. П. Бурлацкой и Т. Б. Нечаевой.

Вопросы датировки, на первый взгляд имеющие лишь прикладное значение, на самом деле имеют гораздо более общее значение и иногда коренным образом меняют представление о том, как протекали исторические процессы на земном шаре. Так, значительно удревелись факты, относящиеся к эпохе неолита, разрушено представление о том, что на Востоке все происходило раньше, чем в Европе, и что отсталая Европа лишь заимствовала открытия с Востока и т. д.

Второй круг вопросов, рассматриваемых в книге, относится к анализу археологической находки для установления происхождения и состава материала и предмета и технологии его изготовления. Однако и здесь результаты исследования не ограничиваются этими узкими задачами, из их

решения вытекает масса широких и узких исторических проблем, касающихся распространения и этнической принадлежности древних культур, экономических связей древних народов, истории техники и производительных сил и многих других. Для таких исследований применяются спектральный анализ, мегалитография, пегрография, рентгенография, микроскопический анализ, химический анализ и т. п.

Приведу примеры: с помощью спектрального анализа был установлен состав металла, из которого изготовлены найденные в раскопках древние мечи. Обнаружены элементы, которые явно не были добавлены древним металлургом, а содержались в использованной руде. Если известно, в какой местности встречаются руды с подобными примесями, то можно решить, где изготовлены мечи, а следовательно, как далеко завозились изделия из данного металла от места их изготовления.

Спектральный анализ древнерусских стеклянных изделий показал, что на протяжении пяти веков, с XI по XVI век, русские мастера несколько раз меняли технологию изготовления стекла. Начав с заимствованного у византийцев рецепта варки стекла, они упорно искали свою, наиболее выгодную рецептуру и в начале XII века нашли состав стекла из местного дешевого сырья.

Археологу приходится решать вопросы истории земледелия, животноводства, изучать палеогеографию — древний ландшафт, климат и т. п. Здесь приходят на помощь спорово-пыльцевой анализ, агробиологический анализ зерна и злаков, изучение погребенных почв, остеология, ихтиология и т. д.

Основные материалы археолог добывает в раскопках: археологические памятники скрыты под землей, а иногда и под водой. Один из разделов сборника посвящен совершенствованию методов работы в поле: разведки (обнаружения) памятников и их раскопок. Аэрофотосъемка помогает не только быстро обозревать значительные территории, но и открывать археологические памятники, часто невидимые с земли. С воздуха становятся заметными некоторые косвенные признаки существования памятника: цвет почвы, растительности, небольшие изменения в рельефе, выделяющиеся по теням, и т. п. Этот вопрос рассматри-

вается в статьях Н. И. Игонина и Б. В. Андрианова.

Наиболее широко применяющая аэрометоды Хорезмская экспедиция обнаружила с их помощью в пустынях на огромных территориях сотни памятников разных эпох от стоянок каменного века до дорог и караван-сараяв позднего средневековья. Геофизические методы — электроразведка, магниторазведка, акустическая разведка, поиск методом индукции и другие — позволяют выявлять археологические объекты, не нарушая поверхностного слоя земли, не производя каких-либо земляных работ. Это значительно удешевляет и ускоряет археологические разведки. Специальные статьи В. Д. Блаватского и Б. Г. Петерса посвящены техническим проблемам подводной археологии — поискам затопленных городов и поселений, затонувших кораблей и их грузов.

Последний раздел книги содержит статьи о применении в археологии математических методов и кибернетики. Поиски наиболее надежных методов сбора, хранения, обработки и выдачи научной информации — важная задача, стоящая перед всеми науками. Но для археологии они особенно важны не только потому, что мало разработаны применительно к этой области науки, но и потому, что археологи имеют дело с очень массовым и изменчивым материалом, объективное изучение которого возможно лишь с применением математической статистики.

Наряду с внедрением математической статистики другой важнейшей задачей археологов является создание справочно-информационной картотеки с механизированным поиском информации.

Итак, перед нами, казалось бы, очень специальная книга, трактующая проблемы поисков новых методов исследования в археологии. Вместе с тем в ней отразилось необычайно ярко все то, что характеризует современное состояние науки вообще и ее неслыханный прогресс и взаимозависимость наук и синтез как важнейший путь развития. Но самый главный вывод, который делаешь, читая рецензируемую книгу, — это то, что общественные науки, и в том числе история, хотя и занимают в классификации наук особое место, могут быть или по крайней мере стремятся стать такими же точными, как науки естественные. Ведь и эти последние лишь относительно

точные. Даже точность самой точной науки — математики — заключается в том, что она может только указать степень неточности, и все ее грандиозные научные построения основаны на нескольких недоказуемых постулатах. Трудно рассчитывать, чтобы в ближайшее время история и археология стали пользоваться такой методикой исследования, которая дала бы возмож-

ность говорить о безусловной доказательности их построений и выводов, но уже сейчас совершенствование методов исследования и заимствование методов естественных и точных наук позволяют покончить с субъективизмом, который так скромно метрировал историю.

А. МОНГАЙТ,

доктор исторических наук.



ПРЕОБРАЖЕННАЯ ТАЙГА

Б. И. Вронский. На золотой Колыме. Воспоминания геолога. «Мысль». М. 1965. 280 стр.

Простые, бесхитростные рассказы о жизненных событиях, написанные бывалыми людьми, могут быть не только увлекательны, но и глубоко поучительны. Я каждый раз с некоторым волнением беру в руки такую новую книгу, особенно если речь в ней идет о краях, знакомых мне. Кажется, все уже знаешь об этой земле, накрепко запомнил ее неповторимый облик — те особо привлекательные и ставшие тебе близкими черты природы, которые на всю жизнь остаются перед глазами. И все же со страниц книги бывалого человека часто в несколько ином свете снова встают безбрежные низменности, волнистые плоскогорья, речные долины... «На золотой Колыме» — именно такая книга.

Громадный бассейн порожистой Колымы был открыт казаками еще в середине семнадцатого столетия, но по существу до начала нашего века о нем знали меньше, чем даже о некоторых районах Арктики. Хищническая добыча ценной пушнины, экстенсивная разработка случайно открытых золотоносных участков — так шло «освоение» неисчерпаемых природных богатств Колымы в царское время. Подлинно научное исследование Охотско-Колымского края началось после революции — в двадцатых годах, — и вскоре оно полностью подтвердило давние смелые предположения о несметных подземных богатствах, которые справедливо принесли краю славу золотой Колымы.

Открытие нашим талантливым, недавно умершим геологом С. В. Обручевым огромного хребта Черского, золотоносного на площади в семьсот километров, имело великое значение для последующих поисковых работ. В трудные для нашей страны

годы на Колыму отправились десятки геологических экспедиций, героическим трудом которых были открыты не только золото, но также олово и уголь. Среди скромных тружеников, пробиравшихся узкими горными тропами, крутыми берегами, через пороги коварной северной реки, чтобы разведать труднодоступные месторождения, оценить их мощност и нанести первые данные на первую геологическую карту, — был Борис Иванович Вронский.

Еще студентом-геологом Вронский встречается со знатоком и энтузиастом «большой Колымы» Юрием Александровичем Билибиным — человеком огромных знаний, неимоверной энергии и настойчивости. Я не раз был свидетелем того, как этот рыжеволосый взлохмаченный геолог со страстной убежденностью защищал свои представления об обширной золотоносной зоне в бассейне верхнего течения Колымы. Б. И. Вронскому посчастливилось в самой тайге, работая в экспедиции Билибина, познакомиться с плеями эрулита геолога, перенять его богатый поисковый опыт. Скупыми мазками рисует он образ своего учителя, смело поручающего студентам третьего курса руководить поисковыми партиями. «Чтобы научить щенка плавать, — посмеиваясь, говорил Билибин, — его надо бросить в воду». В экспедиционных условиях в тайге он организует нечто вроде курсов повышения квалификации, читая молодым геологам лекции на тему «Все о золоте». Но главное, чему учит молодых разведчиков опытный геолог, — это выносливости.

В таежных буднях постепенно, шаг за шагом воспитывается воля геологов-поисковиков, приобретаются ценные навыки.

Суровый климат, невероятные трудности передвижения, недостаток продовольствия — все это преодолевается неудержимым стремлением к цели. «Все мы приехали осваивать новый край, — пишет Б. И. Вронский, — нас влекла работа, мы видели впереди цель, которая зажигала наши сердца, звала, манила». Но не одной крепостью духа сильны разведчики этого сурового края. Они закаляются физически. «Каждое утро в тулупах поверх белья, в валенках на босу ногу, с полотенцем в руках мчались мы к большой проруби в русле Колымы... Быстро раздевались и, бултыхнувшись в прорубь, окупались три-четыре раза. Затем выскакивали на расстеленный тулуп, быстро вытирались, еще быстрее надевали белье, набрасывали на плечи тулупы...» Физическая закалка помогла справиться с жестокостями колымской погоды.

С увлечением читатель следит за походами, овеванными подлинной, а не надуманной романтикой. В связи с этим стоит остановиться на одном несколько забавном, но любопытном эпизоде из жизни экспедиции. Геологи стояли на устье Среднекана. Однажды, когда столбик термометра опустился до цифры 61, коллектор Добролюбов, читая Джека Лондона, обратил внимание на такое место: «...Смок плюнул в воздух. Через секунду раздался звон упавшей льдинки... Сейчас, должно быть, не меньше семидесяти или семидесяти пяти...»

У американцев температура измеряется по Фаренгейту. Определенный Смоком уровень холода соответствует 56,7—59,4 градусам Цельсия. И вот при морозе в 61 градус молодые, никогда не унывающие геологи затевают проверку истинности наблюдений Джека Лондона. «Тщательно оплывали мы окрестности во всех направлениях, — вспоминает Вронский, — смоком упорно не хотела замерзать в воздухе».

Разумеется, эта смешная деталь ни в коей мере не может ослабить покоряющей силы романтически ярких рассказов Джека Лондона о золотоискателях. Большому писателю мы можем простить это небольшое отступление от действительности. Но как часто в погоне за экзотикой некоторые авторы теряют чувство меры, допуская в своих очерках и рассказах значительно более грубые преувеличения и ошибки...

Нет нужды в каких-то особых средствах

изображения, когда речь идет о жизни тех, кто идет непроторенными путями. Неожиданности, приключения ждут разведчиков на каждом шагу: ведь они проходили там, где до них не ступала нога исследователя. Одну за другой раскрывали они тайны подземных кладовых северо-востока нашей страны, заполняя «белые пятна» на карте.

С какими только людьми, характерами не встречаешься на страницах книги! Вот «отец» экспедиции, пожилой промывальщик Пульман — обрусевший латыш. Это чистойшей воды пангенст, созерцатель и любитель природы, знаток бесчисленного множества примет. Ему понятен язык птиц и зверей: с ним запросто говорит ворон, дятел предупреждает его о приближении человека. Бывший старатель, он стал необходимым человеком в экспедиции. Пульману нравится сам процесс поиска золота, но он лишен жадности и корыстолюбия, столь характерных для его некоторых собратьев из клондайкских рассказов Лондона.

В тогдашние времена для помощи геологам направлялись некоторые обитатели лагерей. Это были главным образом так называемые бытовки. В геологические маршруты ходил и медлительный, простодушный, но с хитринкой Иван Иванович, бывший заготовитель скота, и проштрафившийся связист Котман... Запоминается образ Леваккина, артистически промывающего золото. С большой точностью и юмором рисует автор своих спутников, безупречное прошлое которых должно было бы, казалось, вызывать необходимость и опаску. Но люди эти, хотя и не освободившиеся еще от некоторых скверных привычек, работали добросовестно, проявляли к геологам и друг к другу добрые человеческие чувства. Уважение к человеку, доверие к нему были здесь превыше всего.

«На золотой Колыме» — книга о путешествиях и приключениях, о смелости и отваге, о прекрасном начале освоения Колымы. Как-то мне пришлось лететь над необозримым пространством Колымского бассейна. Как глубоко вогрелась в эту еще недавно дикую природу северо-востока наша советская жизнь! Неузнаваема сейчас колымская земля. Очагами культуры стали некогда маленькие поселки. В центре края — благоустроенный город Магадан с высокими домами, театром, клубами, магазинами. Мощная горнодобывающая промышлен-

ность, заводы, автобазы, крупные электростанции, тысячи километров высоковольтных линий, шоссейные дороги, новые порты — вот лишь некоторые черты преобразенной тайги.

И тем интереснее читать ныне книгу о былой дикой Колыме, где шло героическое наступление на стихийные силы природы. Значение таких книг трудно переоценить. Ведь, несомненно, много интересного могут поведать не одни только геологи, но и географы, этнографы, геодезисты, океанологи, археологи и многие другие специалисты «странствующих» профессий. Не все они, конечно, обладают способностью просто и

интересно рассказать о виденном и пережитом, как это делает Б. И. Вронский. Но они вправе рассчитывать на помощь литераторов и журналистов. Вспомним о давней горьковской идее организовать так называемые мемуарные кабинеты, в которых бывалым людям помогали бы записывать их воспоминания. Когда-то, еще до войны, эта идея начинала осуществляться, но потом дело заглохло. Есть большой смысл снова развернуть эту работу, и тогда у нас, несомненно, появится много полезных и интересных книг.

Академик Д. И. ЩЕРБАКОВ.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВСТРЕЧИ С С. Я. МАРШАКОМ

Стихи С. Я. Маршака меня всегда радовали. В ноябре 1957 года, когда я узнала по радио, что писателю исполняется семьдесят лет, я по почте поздравила его. Прошло некоторое время — и вдруг я получаю книгу (переводы Бёрнса) с надписью и вложенное в книгу короткое, но очень сердечное письмо.

В следующем году летом, когда я была в Москве, я позвонила Маршаку и поблагодарила за книгу. Он попросил меня зайти в тот же вечер.

И вот я стою у дверей его квартиры на Чкаловской и робко нажимаю на звонок. Кто мне открыл — я не помню. Зашла и сразу увидела Самуила Яковлевича в глубине передней. Мы здороваемся, он приглашает меня в кабинет. Он внимательно смотрит на меня, внимательно расспрашивает, внимательно слушает. Его интересует все — мой сын, мой внук, где я работаю, кто были мои родители, сколько мне лет. Ну, настоящая анкета.

А я сижу и смотрю на его лицо. Не встречались мне до сих пор такие лица. И голос его тоже был какой-то необычный. Казалось, уже по одному его голосу можно было определить ту высокую степень духовной культуры, которая меня всегда поражала в стихах Маршака.

Он стал читать мне свои новые стихи. Читал очень много, увлекательно. Читал переводы из Бёрнса, Блейка. Он много курил, кашлял и снова читал. Я боялась, что он устанет, и несколько раз порывалась уходить. Но он не отпускал меня.

— Нет, нет, сидите, сидите.

Была в этих словах какая-то особо настойчивая нотка. Впоследствии я часто слышала этот настойчивый, даже немного резкий тон, не допускающий возражений.

Мы просидели несколько часов. Изредка Самуил Яковлевич спрашивал:

— Вы не устали меня слушать, голубушка?

Слово «голубушка» он повторял часто, и, как я впоследствии заметила, это было его обычное обращение ко многим своим знакомым.

И вот я сейчас думаю: как все бывает относительно. Слово «голубушка», которое было для меня довольно неприятным словом (я, например, не люблю, когда на работе мои заказчицы меня так называют; мне кажется, гораздо лучше называть по имени-отчеству), — это слово в устах Маршака звучало совсем иначе, будто и не то слово: тут были и нежность, и уважение, и сочувствие. И как часто я теперь тоскую по этому слову, чего-чего я бы только не дала, чтобы услышать его вновь от Самуила Яковлевича, это простое устарелое слово, в которое Маршак умел вложить много чувства, как только он умел вкладывать во все слова.

Через два дня я уехала в Киев. А на Октябрьские праздники вдруг получаю телеграмму от Маршака. Вот так и пошла наша переписка. С тех пор я все годы проводила свой отпуск в Москве и старалась, чем могла, помогать Самуилу Яковлевичу.

Помощники ему всегда были нужны, так как работы у него был непечатый край, причем часто работа бывала просроченной. Уложиться в сроки — оставалось для Маршака недостижимой мечтой. Конечно, это не было каким-то неумением распределять свое время. Напротив. Самуил Яковлевич относился к своему времени бережно и даже разумно. Я пишу «даже», потому что знаю, что слово «разумно» вызовет улыбку у многих людей, близко знавших Маршака. Мол, где уж тут говорить о разумности, когда он принимал иной день столько посетителей, что буквально не было возможности оторваться на полчаса для отдыха; когда

обедал он порой в десять часов вечера; когда он часто с высокой температурой сидел за письменным столом...

Но вместе с тем даже болезнь, даже множество приезжающих посетителей, даже, казалось бы, полное отсутствие распорядка дня не мешали Самуилу Яковлевичу все время, в любой час дня и ночи, быть «в полной форме», то есть отличать вещи по степени их важности. И получалось иногда: то, что со стороны его близких казалось безумием, было, напротив, вполне обосновано его отношением к жизни, к творчеству.

Он мог отложить неоконченную статью, по поводу которой много раз звонили из редакции, и углубиться во что-то другое, совсем не спешное, и ради этого нового встать ночью в два часа и просидеть в кабинете до утра.

Он мог неделями не отвечать на срочные деловые письма и одновременно забросать телеграммами и письмами какого-то парнишку с Дальнего Востока, который написал Маршаку, что люди к нему несправедливы, что любимая девушка его оставила и что у него нет сил дальше жить.

Письма к Маршаку шли со всех концов Советского Союза. Писали и дети и взрослые, писали люди разных профессий, в том числе, конечно, уйма начинающих поэтов — старых и молодых. Все письма Самуил Яковлевич сам внимательно читал и диктовал ответ. Он находил для этого время — правда, иногда с большим опозданием — и все же никогда не доверял свою корреспонденцию постороннему лицу.

Помню, в начале нашего знакомства я как-то посоветовала Самуилу Яковлевичу придерживаться распорядка дня и даже составила ему примерное расписание. Он сказал:

— Да, это прекрасно. Но сейчас для меня неприемлемо. Я спешу. Я должен многое успеть. А дней-то моих осталось мало.

Но как я впоследствии поняла, он никогда (и в молодости тоже) не ограничивал себя рамками строгого режима. Это было не в его характере.

Работал он не просто много — он работал всегда. Не пропуская ни одного дня. В последние годы жизни, будучи очень больным, он все же не хотел делать никаких скидок на усталость. Намеченное на сегодня должно быть сделано сегодня.

Особенно придирчиво относился он к ра-

боте над прозой. Он почему-то считал прозу чуждым себе жанром и, пока писал, находился в предчувствии неудачи, сомневался.

Стихи он писал совсем иначе. Он их писал, казалось, без труда. Знаю, что тут многие начнут со мной спорить. И все-таки я себе не представляю Самуила Яковлевича, с трудом сочиняющего стихи. Он их вообще не сочинял. Они рождались сами, причем в совершенно неподходящее время. И этим нарушали все рабочие планы.

Не раз Самуил Яковлевич говорил мне:

— Вы знаете, сегодня ночью (все равно не мог спать) я сочинил вот эту штуку. Хотите, я прочитаю?

И он читал замечательные стихи. Я прямо диву давалась. Как-то я спросила:

— И вы можете сочинять стихи без пера в руке?

Он усмехнулся.

— Перо, собственно, необходимо поэту для вычеркивания. Но сначала ведь надо иметь что черкать.

Прозу и статьи Самуил Яковлевич писал по несколько страниц, затем отделявал, переписывал. Причем переписывал не один раз, а несколько. Иногда одну страницу он мог десять раз переписывать. И всегда проверял на слух. Просил кого-нибудь читать громко и внятно. Если читающий (иногда это бывала я) запнется на секунду, не разобрав почерка, то Самуил Яковлевич нервничал и резко говорил:

— Читайте сначала!

Вот, вспоминаю, я помогаю Маршаку вычитать спешную корректуру. По телефону обещали издательству наутро отослать гранки. Уже давно перевалило за полночь. Самуил Яковлевич устал, он много кашляет и много курит.

— Может быть, отдохнем минут десять? — робко спрашиваю я.

— То есть как? — Он явно возмущен и тут же прибавляет: — Если вы устали, дайте я буду читать.

Он определенно нервничает, и от этого — новый приступ кашля, во время которого он мне машет рукой, чтобы я ни в коем случае не прекращала чтения. Он кашляет, а я читаю возможно громче, и он следит по рукописи, водя лист перед самыми глазами (без очков), ни на минуту не останавливая работы.

— Читайте быстрее, — недовольно подгоняет он меня.

И вдруг откладывает рукопись и спрашивает:

— Арбуз или кавун? Что больше подходит?

От неожиданности я не сразу соображаю, что ответить. Я смотрю на Самуила Яковлевича. Он откинулся в кресло и улыбается. И куда девался только что сердитый, брюзжащий Самуил Яковлевич!

— Подумайте, голубушка!

— По-моему — арбуз, — отвечаю я, — слово передает треск при разрезании спелого арбуза. А кавун — это что-то мягкое, вроде ваты.

— Правильно, — говорит Самуил Яковлевич. — ну что ж, перекур, что ли?

Он хитро поглядывает на меня, протягивает руку к пачке с папиросами и все время повторяет:

— Арбуз, арбуз, арбуз... правильно, совершенно правильно.

За чаем он рассказал какой-то интересный случай из своей юности, увлекся рассказом и, когда я ему напомнила о работе, неожиданно заявил:

— Я сегодня решил отдохнуть. Имею я в конце концов право на отдых? Нет, серьезно. И чего вы смеетесь?

Он мог говорить часами, не зная усталости, говорить с охотой, щедро, как будто перед ним не один человек, а целая аудитория. Слушать его было наслаждением.

Но бывало и другое. В работе с Самуилом Яковлевичем не всегда все обходилось гладко, далеко не всегда это было сплошное наслаждение. Это знают все, кому приходилось с ним работать.

Трудность заключалась в том, что был, собственно, не один Самуил Яковлевич, а два. Причем один всегда находился в противоречии с другим. За всю свою жизнь (довольно долгую) я только у детей замечала такие резкие повороты в настроении, в обращении с людьми.

Властность и настойчивость сменялась удивительной покорностью. Резкость — нежностью, мудрость — легкомыслием. И поэтому всегда поведение Самуила Яковлевича было неожиданным. Нельзя было точно знать заранее, как он к чему отнесется.

Да и в творчестве Маршака, если взглядеться повнимательнее, тоже поражает наличие разнообразных настроений. Срав-

ните и по форме и по содержанию сатирические антифашистские стихи военных лет, где каждая строчка — как удар бича, с психологическим узором «Лирической тетради», создающим для читателя ту тишину, которая рождает раздумье. Сравните бравоый, беспощадный тон «Мистера Твистера» с детской лирической поэмой «Хороший день».

И в жизни то же самое. Все близкие Маршака прекрасно знали, что Самуил Яковлевич иногда бывает труден, что нету с ним сладу, что резкость его превосходит все границы. И вдруг перемена.

Все же я усвоила одно — с Самуилом Яковлевичем надо придерживаться правила: никогда не бояться правдиво отвечать на все его вопросы. Это простое правило было не так легко выполнимо. Иной раз страшно было Самуила Яковлевича рассердить, жаль было огорчить...

Часто люди про кого-то говорят: он сердитый, но отходчивый. Так вот Самуил Яковлевич был не просто отходчивым. И уж коли сердиться он умел бурно, резко, не жалея ни себя, ни другого, то и прощать, понять от души и посочувствовать он тоже умел страстно, глубоко, с полной самоотдачей, с полным забвением плохого, во всю мощь своей широкой души.

Маршак любил людей, не умеющих приспособляться. Его внимание часто привлекали люди чудаковатые, невезучие. Он им больше верил, чем людям прославившимся. Фальшивых, неискренних людей он презирал, игнорировал. Они его возмущали, ибо попросту резали его жизненный слух.

Вообще Самуил Яковлевич нелегко сходился с людьми, но когда сходился — был удивительно постоянен в своих привязанностях.

Моя дружба с ним, вероятно, многим его знакомым казалась чудачеством. И действительно, что общего у именитого писателя с закройщицей? Но он доверял мне. Меня это и радовало и смущало.

Мы о многом беседовали с Самуилом Яковлевичем.

Помню, Самуил Яковлевич говорил:

— Бывает: народ не прав в данный момент. Но в масштабе истории народ всегда оказывается прав. С отдельной личностью бывает обратное. В процессе времени она теряет свою правоту.

Помню, еще Самуил Яковлевич говорил:

— Есть люди чувств и люди страстей. Последние тоже бывают способны на подвиг, но он у них случаен. Может быть и не быть. Положиться на таких людей нельзя.

Как-то мы беседовали с Самуилом Яковлевичем о суевериях. Я призналась, что верю в предчувствия, в интуицию. И Самуил Яковлевич вдруг сказал, улыбаясь:

— И я в это верю.

А в подтверждение привел случай из своей жизни. Зашла к Самуилу Яковлевичу как-то одна знакомая, рассказала о своей тяжелой жизни и о желании покончить с собой. И когда она ушла, Самуил Яковлевича вдруг охватило сомнение: достаточно ли он убедительно с ней поговорил, не приведет ли она все-таки в исполнение то, что задумала? И он побежал ее догонять. Выйдя на улицу, он не знал, в какую сторону идти, но пошел наугад. Потом также наугад свернул на другую улицу, на третью... И вдруг увидел свою знакомую впереди.

— И вот тогда,— рассказывал Самуил Яковлевич,— я был понстине поражен. Почему из многочисленных улиц и переулков я выбрал именно эти? Что руководило мной? Ведь я совершенно не знал, в какую сторону она пошла.

И, между прочим, для той женщины разговор этот (уже на улице) был решающим.

Я привожу этот случай, потому что он показывает отзывчивость Самуила Яковлевича, его душевное отношение к людям, а также полное отсутствие глупой боязни уронить свое достоинство (чувство, свойственное очень многим людям).

И когда я сейчас вспоминаю Маршака, то я его вижу совсем не таким, как на фотографиях, чинно сидящим за массивным письменным столом. Нет, я его вижу встревоженного, беспокойного, с немного взъерошенными волосами, вечно в заботах о ком-то и о чем-то, живого, энергичного, не знающего ни минуты покоя.

В своих воспоминаниях о Качалове Самуил Яковлевич писал: «О большом человеке нельзя вспоминать как о личном знакомом. Есть опасность упустить то главное, лучшее, важнейшее в нем, что проявлялось в его творческой работе. Никакие бытовые черты, никакие эпизоды его частной жизни не объяснят нам, как достиг он в своем искусстве той высоты, которая-то и сделала его предметом многочисленных воспоминаний».

Мысль, конечно, правильная. И я сейчас, вспоминая Самуила Яковлевича, стараюсь не «упустить то главное, лучшее, важнейшее». Этим главным в нем была, конечно, поэзия, кровная преданность ей и еще — необычайная целеустремленность. Все же остальное описываешь как бы для того, чтобы перед всем этим поставил: «несмотря на это». Несмотря на болезнь, несмотря на домашние неполадки, несмотря на беспокойный характер, несмотря на все большие и малые неурядицы жизни — Маршак всегда оставался верен себе. Он всегда искал, он всегда шел вперед.

Как-то я прнехала и застала Самуила Яковлевича больным. У него было воспаление легких. Доктора предписали полный покой. Но я увидела, что о покое нет и речи. Телефон стоял возле кровати. Можно было, конечно, отключиться. Аппараты были и в кабинете и в столовой. Но Самуил Яковлевич не разрешал. И я заметила, насколько во время работы он не терпел, чтобы ему мешали, и даже мог иногда очень круто оборвать телефонного собеседника, настолько во время болезни он любил эти телефонные звонки и подолгу разговаривал со всеми. И когда ему замечали, что это вредно, что ему нужен полный отдых, он покорно, вежливо кивал, но делал и дальше по-своему.

Вообще, надо сказать, Самуил Яковлевич был великий хитрец. Это он, который не терпел у окружающих и тени лжи, сам умел безбожно всех обманывать, когда дело касалось его здоровья. Он не хотел делать скидок на болезнь, более того, он был вечно во вражде со своим физическим «я». Оно его подводило, и он ему этого не прощал. Лежа в постели, он принимал посетителей, правил корректуры, читал и просил, чтоб ему читали, и, когда близкие делали ему замечание, он с недоумением возмущался: «Ну что ж вы хотите, ведь я лежу!» — будто тем, что он согласился лечь, он и так делал большую уступку. И как только температура спадала, он был уже на ногах. Он плелся (буквально — плелся) из спальни в кабинет и только там, сидя в кресле за письменным столом, чувствовал себя на месте. Это был его капитанский мостик. И он его не бросал даже во время аварии. Он крепко держался на нем, и, кто знает, может быть, этим объясняются его многократные выздоровления после таких

болезней, когда врачи уже мало надеялись на хороший конец. Это была великая победа духа

Он любил читать вслух свои рукописи и говорил часто:

— Надо многим читать, может, кто-нибудь сделает верное замечание.

Иногда он читал свои статьи и стихи людям, мало разбирающимся в литературе. Но даже это его не смущало. Каждое мнение, каждое впечатление было интересно ему.

Часто во время работы, изменяя много раз отдельные места, подставляя другие слова, он с тревогой меня спрашивал:

— Как вам кажется, можно так оставить? А это слово тут не мешает? Давайте заменим его другим.— И тут же называл несколько слов и говорил мне: — Думайте, думайте!

Иногда я находила нужное слово. Но, правду сказать, в такие минуты я редко чем могла помочь Самуилу Яковлевичу. Его настойчивое «думайте!» совершенно парализовало мою мысль.

Когда он готовил для опубликования в четвертом томе собрания сочинений и для отдельного издания свою повесть «В начале жизни», я была в Москве. Много раз мне приходилось вслух читать эту повесть, и все же по приезде в Киев, перечитывая ее еще раз, я обнаружила несколько мест, требующих, на мой взгляд, поправок, и написала об этом Самуилу Яковлевичу. В ответном письме он писал: «...Спасибо, дорогая, за Ваши замечания по поводу моей прозы. Некоторые из них я непременно учту, но только в отдельном издании, так как 4-й том уже печатается. В нем мне удалось лишь изменить в украинской песне «там» на «тай». А вот написать «іі» отдельно от «та» я почему-то никак не могу. Надеюсь, что Вы простите меня, если в тексте останется «тай»...»

Почему я привожу эти строки? Да потому, что тут есть одна фраза, очень характерная для Самуила Яковлевича: «Надеюсь, что Вы простите меня...» В этих нескольких словах — весь Маршак с его исключительной внимательностью, уважением к собеседнику, с его желанием доставить

другому радость и наконец с его умением не считаться с тем, что «положено» и что «не положено». Для него в жизни было одно мерило — его собственное ощущение правоты. И никто ему не мог быть указчиком. И так шел он по жизни, поражая близких своей целеустремленностью и упрямством.

При всем моем желании описать Самуила Яковлевича, я чувствую, что никогда не сумею этого сделать полностью. Ибо в его поведении трогательное иногда переходило в смешное, и только близкие писателю люди понимают, что рассказывать про маршакские чудачества очень рискованно, — читатель может неправильно понять Самуила Яковлевича, как и при жизни многие неправильно его понимали.

В одном из писем Самуил Яковлевич писал мне: «...Плохо то, что у меня не один возраст, как полагается человеку, а какая-то смесь возрастов. Мне и за семьдесят, как по паспорту, и тридцать, и двадцать, и шесть».

Это и в самом деле было так.

Вот почему ему не нужно было «подлаживаться» к детям. Помню, в Ялте на пляже к нему подошла знакомая девочка лет десяти. Самуил Яковлевич говорил с ней очень серьезно, называл на «вы» и проявил большой интерес ко всяким, казалось бы, малозначащим деталям ее жизни.

Я надеялась, что он будет жить сто лет. И всегда говорила ему об этом. И он, по-детски радуясь, смотрел на меня и спрашивал:

— Да? Вы думаете? Нет, серьезно?

— Ну конечно. У вас не будет времени умереть.

Ему нужны были люди, нужна эта масса писем, летящих к нему со всех концов света. Мы жили в разных городах, виделись мало. Но Самуил Яковлевич часто писал мне. Я и сейчас по какой-то глупой инерции, приходя домой с работы, заглядываю с привычной надеждой в дырочки почтового ящика...

Г. ЗИНЧЕНКО,
закройщица.

Киев.

О НАУЧНОМ ИЗДАНИИ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА Н. К. КРУПСКОЙ

За последние годы переиздано большое количество работ Н. К. Крупской. В 1957 году впервые после длительного перерыва вновь были опубликованы ее мемуары о В. И. Ленине. Прочитав первую часть этих воспоминаний, А. М. Горький писал из Сорренто: «Дорогая Надежда Константиновна — сейчас кончил читать Ваши воспоминания о Владимире Ильиче, — такая простая, милая и грустная книга. Захотелось отсюда, издали пожать Вам руку и — уж, право, не знаю — сказать Вам спасибо, что ли, за эту книгу? Вообще — сказать что-то, поделиться волнением, которое вызвали Ваши воспоминания».

В 1960 году вышел в свет сборник статей и воспоминаний Н. К. Крупской «О Ленине». В текущем году этот сборник появился вторым, дополненным изданием. В 1963 году Госполитиздат выпустил еще один сборник работ Н. К. Крупской — «Ленин и партия».

Интересные материалы Н. К. Крупской были помещены в журналах «Исторический архив», «Вопросы истории КПСС», «Новый мир» и других.

В эти годы вышло в свет одиннадцать томов педагогических сочинений Н. К. Крупской.

Шире развернулось изучение жизни и деятельности Н. К. Крупской. Появились биографические книги секретаря Надежды Константиновны в течение многих лет В. Дридзе, исследователей С. Левидовой и С. Павлючко. Более часто стали публиковаться воспоминания людей, работавших с Н. К. Крупской.

Благодаря проделанной в эти годы работе советские люди могут более полно представить облик Надежды Константиновны Крупской как выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, изучить ее плодотворную деятельность в области народного просвещения. Сделано, как видно, уже немало, и нельзя этому не порадоваться.

Однако ряд ценных материалов Н. К. Крупской еще лежит в архивах, дожидаясь своей публикации. Широкая общественность почти совсем незнакома с ее перепиской. Письма, включенные в 11-й том

педагогических сочинений, составляют лишь незначительную часть ее эпистолярного наследия. Воспоминания о В. И. Ленине, переизданные в 1957 году, уже распроданы и отсутствуют в книжных магазинах.

Все это позволяет сделать вывод, что весьма важно собрать воедино все общественно-политические произведения Н. К. Крупской, ее воспоминания и переписку. Попутно было бы желательно подготовить и опубликовать полную библиографию работ Н. К. Крупской. Разумеется, это издание должно быть осуществлено на подлинно научной основе.

Между тем в многочисленных посмертных переизданиях воспоминаний, статей и переписки Н. К. Крупской встречаются необъяснимые разночтения.

В издании мемуаров Н. К. Крупской («Воспоминания о Ленине», Госполитиздат, 1957) можно увидеть целый ряд купюр. Из описания Н. К. Крупской отношения В. И. Ленина к созыву партийных съездов в условиях подполья оказалась опущенной фраза — обращение к молодежи конца двадцатых — начала тридцатых годов. В этой фразе говорилось: «Теперьшняя молодежь, которая не знает, что значит годами ждать возможности обсудить сообща, со всей партией в целом, самые основные вопросы партийной программы и тактики, которая не представляет себе, с какими трудностями связан был созыв нелегального съезда в те времена, — вряд ли поймет до конца это отношение Ильича к партийным съездам».

В другом переиздании воспоминаний Надежды Константиновны («В Октябрьские дни», Госполитиздат, 1957) в разделе, где речь идет о начале гражданской войны, тоже опущено важное высказывание: «17 (4-го) ноября, выступая на заседании ЦИК, Ильич говорил: «К Краснову были применены мягкие меры. Он был подвергнут лишь домашнему аресту. Мы против гражданской войны. Если, тем не менее, она продолжается, то что же нам делать?»...» Как видно, редактор произвольно снял важное ленинское положение об ответственности вождей контрреволюции в развязывании гражданской войны. Кроме того, здесь же В. И. Ле-

нин дал ясно понять, к какому времени следует относить начало гражданской войны.

Можно было бы привести и другие примеры купюр, из-за которых обедняется облик В. И. Ленина, Н. К. Крупской, характеристика событий, партий, лиц и т. д.

В современных переизданиях воспоминаний и статей Н. К. Крупской наблюдается также изменение стиля ее произведений, причем в некоторых случаях эти изменения затрагивают смысл мемуаров. В изданных в 1957 году воспоминаниях Н. К. Крупской о В. И. Ленине редкая страница не подверглась стилистической «обработке». Некоторые редакторы почему-то считают возможным заменять одни слова другими, опускать отдельные слова или вставлять новые, изменять порядок слов в предложении и т. п. Приведем отдельные примеры.

Рассказывая о себе и своих современниках, Н. К. Крупская писала: «...наше поколение подростками и еще (разрядка здесь и далее моя.— В. Г.) было свидетелями схватки народовольцев с царизмом...» Редактор же заменил подчеркнутые слова другими: «еще в юности».

Говоря о праздновании 1 Мая в ссылке, Надежда Константиновна отмечала: «А в вечером мы с Ильичем как-то никак не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демонстрациях, в которых мы когда-нибудь примем участие...» Но, очевидно, редактор был более осведомлен, в какое время суток это происходило, и вместо подчеркнутого слова вставил: «ночью».

Вспоминая о борьбе В. И. Ленина против оборончества и шовинизма в начале империалистической войны, Н. К. Крупская сообщила: «Ильичу стало страшно, что не удастся попасть на плехановский реферат и сказать все накипевшее, что не пустят меньшевики столько большевиков». Редактор же заменил подчеркнутые слова другим: «боюсь».

Характеризуя Бернскую международную женскую конференцию, Н. К. Крупская заключала: «...жизнь скоро подтвердила правильность нашей позиции. Добренский пацифизм англичанок и голландок шаг на шаг не сдвинул вперед международную акцию. Роль в скорейшем окончании войны сыграла революционная борьба и размежевание с шовинистами». Однако редактор издания 1957 года почему-то счел необходимым усилить звучание последней фразы и перед

подчеркнутым словом вставил еще «большую»

В другом переиздании («Воспоминания о В. И. Ленине», т. II, Госполитиздат, 1957) редактор следующим образом обработал текст Н. К. Крупской:

«12 марта Советское правительство переехало в Москву... 11 марта, в день переезда в Москву, Ильич написал статью «Главная задача наших дней...» («Большевик», № 2, 1936).

«11 марта 1918 года Советское правительство переехало в Москву... В день приезда в Москву Ильич написал статью «Главная задача наших дней...» («Воспоминания о В. И. Ленине», т. II, Госполитиздат, 1957).

Сравнивая тексты воспоминаний и статей Н. К. Крупской, опубликованные в последнее время, можно заметить, что купюры, «обработка» стиля в одном издании далеко не обязательно повторяются в других изданиях тех же произведений Н. К. Крупской. Поэтому в них встречаются разночтения. Сошлемся, кроме перечисленных выше случаев, на ее работу «Ленин — редактор и организатор партийной печати». Здесь имеется весьма важное свидетельство: «Тогдашний язык рабочего-передовика (речь идет о дореволюционном периоде.— В. Г.) очень смущал многих работников на местах. Они посылали нам не подлинники, а корреспонденции уже в «обработанном» виде; в результате обработки часто получалось выхолащивание из корреспонденций самого главного, стирается их рабочий облик» (Н. К. Крупская О Ленине, Госполитиздат, 1960, стр. 169). Однако в последующих переизданиях этой мемуарной работы (см. Н. К. Крупская Ленин и партия, Госполитиздат, 1963, стр. 216; Н. К. Крупская О Ленине, Политиздат, 1965, стр. 187) редактор почему-то решил смягчить смысл характеристики, данной Н. К. Крупской. Вместо подчеркнутого слова появилось другое: «часть».

Разночтения встречались и в прижизненных изданиях мемуаров и статей Н. К. Крупской. Приведем, к примеру, ее воспоминания «Беседа с Ильичем», опубликованные 22 апреля 1935 года в газетах «Правда» и «Ленинградская правда». Вот одно из таких разночтений (речь идет о 1921—1922 годах):

«Ильич режиму подчинялся, но отпосился к требованию врачей скептически...» («Правда»).

«Ильич раньше режиму подчинялся, но относился к требованию врача скептически...» («Ленинградская правда»).

К сожалению, эти разночтения некритически воспроизводятся и в современных переизданиях. Имеются и другие случаи разночтений в прижизненных изданиях мемуаров Н. К. Крупской, которые она не считала це-

лесообразным или не имела возможности исправить.

Приведенные примеры, а количество их можно легко увеличить, свидетельствуют о настоятельной необходимости научного отношения к изданию и переизданию литературного наследия Н. К. Крупской. Бережливое отношение к публикации литературного наследия Н. К. Крупской поможет советским людям еще полнее и зримее представить гигантский облик В. И. Ленина и его соратницы, жены и друга — Н. К. Крупской.

В. ГОЛУБЦОВ.

...И ЗРИМО ДАЖЕ ДЛЯ СЛЕПЫХ!

В последнее время все чаще в статьях о молодой советской поэзии стало мелькать имя Анатолия Поперечного.

Анатолий Поперечный — наш земляк. И мы с интересом следили за его творчеством. Но, странное дело, очень часто натывались на интонации и просто целые строки (а то и строфы), известные нам раньше. Уж не ошиблись ли мы? К сожалению, нет.

Вот Дм. Кедрин: «В могиле вздрогнул мастер колокольный, смешавший в тигле медь и серебро» («Избранное», 1957, стр. 123).

А вот А. Поперечный: «Мы, мы огнеупорны, словно тигли, смешавшие и медь и серебро!» («Полнолуние», 1959, стр. 20).

Павел Васильев: «А у наших коней звезды на лбу» («Избранные стихотворения и поэмы», 1957, стр. 176).

А. Поперечный: «А у наших коней да за место подков полумесяцы на ходу» («Полнолуние», стр. 44).

Павел Васильев: «Недруги, откликнитесь, если есть, в белые березы уйди, болесть» (Там же, стр. 158).

А. Поперечный откликается: «Есть еще сила, удаль есть! В березовый венник уходи, болезнь!» («Черный хлеб», 1961, стр. 54).

Павел Васильев: «Поплывет по рукам безвесельный гроб» (Там же, стр. 227).

А. Поперечный: «Потерявший дубовые весла гроб» («Полнолуние», стр. 80).

Павел Васильев: «Лентою пулеметной перекрестись, матрос» (Там же, стр. 164).

А. Поперечный: «Перекрестившись лентой пулеметной...» («Червонные листья», 1961, стр. 29).

Павел Васильев: «Заглавных букв чумные соловьи» (Там же, стр. 129).

А. Поперечный: «Чулымские чумные соловьи» («Орбита», 1964, стр. 49).

Или вот система образов и интонаций из поэмы Павла Васильева «Лето» и из поэмы А. Поперечного «Листопад» («Червонные листья»):

Павел Васильев: «И слаще, чем заря в оконце, медовая заря в ковше...»

А. Поперечный: «И та плодов тяжелых сила, и та медовая заря...»

Павел Васильев: «Река блеснет, блеснет кольцо».

А. Поперечный: «Сверкнет висок, блеснет слеза...»

Такое впечатление, что А. Поперечный цитирует по памяти своих предшественников: чего не вспомнит, заменит по собственному усмотрению.

Примеры откровенных заимствований у Павла Васильева можно бы продолжить... Но Эдуарду Багрицкому и Борису Корнилову тоже не стоит обижаться на Анатолия Поперечного.

Э. Багрицкий (обращаясь к Пушкину): «Но я благоговейно подымаю уроненный тобою пистолет» («Стихи и поэмы», 1964, стр. 315).

Поперечному (в обращении к Лермонтову) удалось эту же мысль воплотить в одной строке: «Я молча пистолет твой подымаю» («Червонные листья», стр. 18).

Э. Багрицкий: «Ну-ка, выбей перед боем ты из бочек днища!» (Там же, стр. 92).

А. Поперечный: «Выбивайте, хлопцы, боч-

кам днища кулаками!» («Червонные листья», стр. 55).

Б. Корнилов: «...сабля командарма — продолжение его руки» («Стихотворения и поэмы», 1960, стр. 41).

А. Поперечный: «Весло — продолжение руки» («Орбита», стр. 8).

Порой А. Поперечному не хватает отечественной поэзии, и он обращается к зарубежной.

Есть у Поля Элюара короткое стихотворение — всего три строчки:

Прекрасное прекрасно для счастливых,
Уродливо для скорбных
И зримо даже для слепых.

(«Стихи», 1958, стр. 35)

А вот Поперечный:

Прекрасное прекрасно для счастливых.
Уродливо для скорбных на земле.

Такую небезболезненную прививку сделал поэт своему «Винограднику» («Орбита», стр. 134). Но ведь то, что это заимствование, «зримо даже для слепых»...

К сожалению, когда поэт пытается заговорить собственным голосом, он обнаруживает часто удивительную беспомощность.

Тут и «забота повседневного труда», и «железного завода железная симфония» и т. д. И все это обильно сдобрено зауемью в таких стихах, как «Летающие тарелки», «Затяжной прыжок», «Смех» и другие.

Тревожные упреки делали поэту и А. Урбан («Знамя», № 3, 1962), и И. Денисова («Комсомольская правда». 23 января 1964 года), и Л. Левицкий («Новый мир», № 12, 1964). Видно, все эти замечания остаются втуне.

К тому, что уже говорилось профессиональной критикой, хочется прибавить следующее. Пора поэтической бездумности, обильных цитаций из других поэтов (без ссылки на них) слишком затянулась у Поперечного. А ведь отдельные его стихотворения («Старик», «О ремесле», «Родинка») свидетельствуют о том, что писать он может.

Нельзя так неосмотрительно, не по-хозяйски путать свое и чужое, так небрежно и беззаботно относиться к себе и к своим читателям.

А. ТОПОРОВ,
народный учитель.

М. ФЕДИК,
журналист

Николаев.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. Н. ВОЛЬПЕР. Псевдонимы В. И. Ленина. Лениздат, 1965. 111 стр.

В декабре 1901 года вышел в свет № 2—3 журнала «Заря»; в нем была напечатана статья «Гг. «критики» в аграрном вопросе» — статья, подписанная: «Н. Ленин». Так впервые появилось на страницах революционной печати новое литературное имя. Имя, которому суждено было накрепко войти в сознание миллионов и миллионов людей всех континентов и всех грядущих эпох. Имя, которое породило название величайшего революционного учения — ленинизм.

Ленин — самый известный, самый распространенный, но далеко не единственный литературный псевдоним В. И. Ульянова. В подполье, в эмиграции, в условиях революционной борьбы и преследований Владимиру Ильичу приходилось часто менять литературные псевдонимы и партийные клички. И за каждым из этих вымышленных имен — частица героической жизни великого человека.

И. Н. Вольпер стремится в своей книге рассказать о происхождении и истории ленинских псевдонимов. Но сколько же их было? Исследователям известны ныне, как свидетельствует автор книги, сто сорок восемь псевдонимов Владимира Ильича. Если даже из этого числа исключить разные варианты одного и того же псевдонима и не принимать в расчет различные сокращения, то все же остается около ста псевдонимов. Тех, которые известны. Но наверняка установлены еще далеко не все вымышленные имена, которыми пользовался Владимир Ильич, — ведь поиски бесценного ленинского наследия продолжают.

Автор рецензируемой книги не претендует на исчерпывающий охват темы — книга состоит из двух десятков коротеньких рассказов- глав, в сюжет которых положено раскрытие того или иного ленинского псевдонима. При каких обстоятельствах стал он Ильичом, Тулчиным, Стариком?.. Когда впервые назвался Фреем, а когда — Рихтером?.. А известна ли вам такая ленинская подпись: «П. Пирючев»?..

Пишет И. Н. Вольпер очень просто (и это, разумеется, одно из достоинств его работы), его рассказы о поисках и находках увлекают. Автор делится с читателем своими соображениями и предположениями, отнюдь не выдавая их за конечную истину, —

наоборот, он как бы зовет читателя за собой в неизведанную область исканий и догазательства. При легкости и популярности письма, книжка И. Н. Вольпера основана на строго научных данных, снабжена необходимым справочным аппаратом и вызывает полное доверие — чувствуется, что автор изучил вопрос, о котором пишет.

В этой связи уместно коснуться статьи Валентина Дмитриева «Замаскированная литература», опубликованной в седьмой, июльской, книжке журнала «Наука и жизнь». Посвящена статья псевдонимам в русской литературе. Но в том месте, где автор говорит о нелегальной марксистской литературе, он допускает и ошибки, и приблизительные формулировки. В Дмитриев сообщает, что «всего у Ленина можно насчитать около 60 псевдонимов». (Сравним это утверждение с данными, приведенными И. Н. Вольпером.) Далее среди имен большевиков, писавших под партийными кличками, назван Камо. Но насколько известно, отважный революционер Тер-Петросян, носивший кличку Камо, в печати не выступал... Что же касается Инессы Арманд, то ее литературный псевдоним — Блонина, а вовсе не Блонская, как о том сказано в статье В. Дмитриева.

...Вернемся, однако, к книге И. Н. Вольпера. От сравнения со статьей В. Дмитриева она еще больше выплывает. Познакомиться с ней интересно и полезно.

П. Подляшук.

★

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ (СОВЕТСКОЕ ПРАВО). «Советская энциклопедия». М. 1965. 512 стр.

Каков порядок рассмотрения уголовных и гражданских дел в судах? Что означает административная ответственность и как она различивается? Каковы основные положения изобретательского права? Каковы права и обязанности членов групп и постов содействия органам партийно-государственного контроля?

На эти и многие другие вопросы читатель получит ответы, ознакомившись с «Энциклопедическим словарем правовых знаний». Он также найдет там нужную справку по вопросам гражданского права, семейному за-

коподательству, о порядке наследования имущества, о личной собственности, о порядке охраны его прав и свобод.

В «Словаре» помещено более одной тысячи терминов и понятий по самым различным вопросам советского права. И хотя они прежде всего содержат практические сведения о действующем праве в них достаточно четко раскрываются основные тенденции в развитии социалистической государственности и права в современных условиях: всемерное развертывание общенародной демократии, укрепление социалистической законности, совершенствование методов работы государственного аппарата, широкое вовлечение трудящихся в руководство хозяйственным и культурным строительством.

К сожалению, не повезло в «Словаре» трудовому праву. В предисловии это объясняется тем, что в 1964 году был выпущен в свет специальный словарь «Трудовое право». Но ведь читатель, имеющий «Энциклопедический словарь правовых знаний», хочет найти в нем ответы по всем интересующим его вопросам, в том числе и по вопросам трудового права. Отсутствие сведений о трудовом законодательстве заметно снижает значение этого издания.

И еще одно замечание. «Словарь» рассчитан не только на специалистов-юристов, но прежде всего на огромную армию народных заседателей, членов добровольных народных дружин, активистов партийно-государственного контроля — на всех тех, кто в процессе своей деятельности сталкивается с применением советского права. Это обязывало авторов и издательство делать статьи предельно ясными и простыми, доступными для массового читателя. К сожалению, получилось далеко не так. В «Словаре» встречаются сложные, написанные сугубо юридическим языком статьи, очень трудные для понимания людей, не имеющих специального образования.

В целом же «Энциклопедический словарь правовых знаний» — полезное и нужное издание.

И. Яхнина.

★

И. Р. ГРИГУЛЕВИЧ. Культурная революция на Кубе. «Наука». М. 1965. 302 стр.

Одним из замечательнейших явлений в жизни новой Кубы была кампания по ликвидации неграмотности. В течение лишь одного 1961 года более миллиона кубинцев научилось читать и писать. В 1963 году, когда автор книги был на Кубе, здесь училось около двух с половиной миллионов детей и взрослых — почти треть всего населения страны. Ныне Куба стала страной сплошной грамотности.

Достижения революционной Кубы особенно ярки на фоне картины потрясающей неграмотности населения Латинской Америки: здесь в ряде стран половина жителей не умеет ни писать, ни читать. Вот они, плоды «просветительской» и «цивилизаторской» деятельности империалистов США!

А ведь совсем недавно Куба была в таком же положении. Американские империалисты и их верные наемники держали народ в темноте, травили, преследовали и истребляли талантливых представителей кубинской национальной интеллигенции, се прогрессивных писателей, деятелей искусства и науки. Долгие годы они вынуждены были жить за пределами острова. Революция вернула им родину. Из политической эмиграции возвратились: национальный поэт Николас Гильен, живший в социалистических странах, крупнейший кубинский прозаик Алеко Каррентьер, долгие годы проведший в Париже, известный литературовед Хосе Антонио Портуондо, который находился в Мексике, и многие другие. Творческая интеллигенция — писатели, художники, музыканты, артисты — теперь активно участвует в культурном строительстве.

Куба играет важную роль в литературной жизни латиноамериканского континента. На литературные конкурсы, проводимые ежегодно в Гаване, с 1959 по 1964 год было представлено около тысячи трехсот произведений, принадлежащих перу писателей Кубы и других латиноамериканских стран.

Впервые в истории остров создан благоприятные условия для развития науки, для плодотворной творческой работы ученых, для подготовки молодых научно-технических кадров.

Революция позволила кубинцам познакомиться с бессмертными творениями классиков марксизма-ленинизма. Произведения Маркса, Энгельса, Ленина сейчас изучаются в партийных школах и университетах, на многочисленных курсах и в кружках политического самообразования. В 1963 году решением руководства Единой партии социалистической революции было создано издательство «Эдитора политика». За время своего существования оно выпустило сорок шесть произведений В. И. Ленина, общий тираж которых приближается к двум миллионам экземпляров.

Революция на Кубе, пишет в заключительной главе своей книги И. Р. Григулевич, — прообраз грядущих социальных революций в странах Латинской Америки. Ее опыт в осуществлении политических, экономических и культурных преобразований имеет не только неопределимое значение для всех латиноамериканцев, но и для каждого, кому не безразличны судьбы национально-освободительного движения в этом районе мира.

С. Никифоров.

★

ГРЕГОР МЕНДЕЛЬ. Опыты над растительными гибридами. «Наука». М. 1965. 158 стр.

Эта книга не переиздавалась у нас тридцать лет. Прежние ее издания давно стали библиографической редкостью, и многие молодые естествоиспытатели знакомы с этим классическим трудом по иллюстрациям.

Гениальное краткое. Знаменитый доклад, прочитанный весной 1865 года на заседании

Общества естествоиспытателей в чешском городе Брно школьным учителем физики и ботаники Грегором Менделем, занимает всего тридцать семь страниц. Это даже не текст, а конспект доклада. Но он сродни тридцатистраничной эйнштейновской статье, излагавшей теорию относительности: в нем приоткрыта дверь в поистине беспредельный мир неведомых прежде удивительных материальных явлений. И, пожалуй, авторы многих капитальных монографий согласились бы, чтобы их научное наследство состояло вот так же из тридцати семи страниц. Лишь было бы близко по значимости.

В работе Г. Менделя читатель найдет и описания чистейших по исполнению экспериментов, и основы гибридологического анализа, и уникальный его образец. Внимательный читатель ощутит, сколь глубоко понимал сам Грегор Мендель важность изучения области, в которую он первым вторгся с «числом и мерою», и насколько — в противовес многим псевдонаучным величинам — он был искренне скромнен, оценивая сделанное им самим.

Кроме издававшихся обычно статей Г. Менделя об опытах с гибридами гороха и затем ястребинки, в книгу включены неизвестные русскому читателю и всего дважды публиковавшиеся на языке оригинала письма Грегора Менделя ботанику Карлу Нэгели — крупному ученому того времени. Эта переписка, вернее ее часть (сохранились только письма самого Менделя), воссоздает ряд деталей творческой «лаборатории» основателя генетики, подчас весьма важных и ярких. Из письма от 3 июля 1870 года, например, мы узнаем, как для контроля правильности своих представлений и расчетов Мендель поставил опыты, в которых точно установил, что яйцеклетка оплодотворяется всего одной пыльцевой клеткой (спермием). Так было сделано открытие первостепенного значения, увы, также многие годы остававшееся неизвестным.

Издание основного труда Менделя и его писем приурочено к столетию со дня опубликования его классической работы, положившей начало генетике. Кроме работ Менделя, в книгу включена замечательная статья покойного академика Н. И. Вавилова «Менделизм и его значение в биологии и агрономии», вошедшая в издание трудов замечательного биолога, осуществленное в 1935 году. В связи с нынешним юбилеем статью, посвященную развитию генетики в истекшее столетие, написал для настоящего издания член-корреспондент АН СССР Б. Л. Астауров.

В книгу включен также краткий биографический очерк, составленный доктором биологических наук А. Е. Гайсиновичем. Ему же принадлежит и комментарий.

Единственное, что вызывает недоумение и возражение — это тираж книги. Небольшая, но крайне важная книга эта издана всего в пяти тысячах экземпляров.

Б. Володин.

СЛОВАРЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. «Недра». М. 1965. 480 стр.

В нашей прессе, географической и другой литературе легко обнаружить значительный разноречивой в написании географических названий зарубежных стран. Происходит это потому, что до последнего времени у нас не было достаточно полного и хорошего словаря географических названий.

Вышедший пятнадцать лет назад «Краткий словарь русской транскрипции географических наименований стран Латинской Америки» был невелик по тиражу и к тому же получил отрицательную оценку специалистов. В «Словаре русской транскрипции географических названий», выпущенном в 1959 году, было всего лишь около шести тысяч зарубежных названий.

Поступивший ныне в продажу солидный труд — «Словарь географических названий зарубежных стран», подготовленный отделом транскрипции Центрального научно-исследовательского института геодезии, аэро съемки и картографии, под редакцией М. Б. Волостновой, — содержит тридцать семь тысяч географических названий. Это вполне удовлетворит запросы географов, картографов, преподавателей, работников печати, радио и других специалистов, соприкасающихся в своей работе с географией.

В новом «Словаре» отражены различные переименования, произведенные в молодых, освободившихся от колониального гнета государствах. Так, например, в Алжире город Орлеанвиль теперь называется Эль-Аснам, а город Бон — Аннаба. В Индонезии вместо Холландия — Сукаринпура. В ряде случаев исправлены искаженные английские названия на правильные национальные. Не Катар, а Катака (в Индии), не Аракан, а Ракхайн (в Бирме) и т. д.

Очевидно, в отдельных случаях можно было бы поспорить с составителями. Например, едва ли целесообразно устанавливать написание Лос-Анджелес вместо ранее принятого Лос-Анжелес или Лос-Анжелос. Но это дело специалистов.

Теперь редакции периодических изданий, книжные издательства, радио и телевидение получают возможность устранить разноречивой в написании географических названий.

Ю. Аристов.

★

А. СВОБОДИН. Театральные повести. «Искусство». М. 1965. 210 стр.

А. Свободин назвал свои статьи повестями, как будто стыдясь скучного обозначения критического жанра. Это не точно и в общем-то не очень нужно: статьи сами по себе достаточно увлекательны — и прежде всего потому, что речь в них идет об острых вопросах современного искусства.

Книга эта — отнюдь не теоретическое исследование, и не с теории А. Свободин начинается. Много ездивший, много повидавший, сталкивавшийся с известными масте-

рами сцены, годами связанный с небольшой периферийной труппой, А. Свободин рассказывает о том, как протекает ежедневная жизнь нынешнего театра.

При этом знакомство с театром отнюдь не ограничивается зрительным залом. Театр связан с городом, в котором он существует. Это первая и непосредственная среда, через которую осуществляется его взаимодействие с жизнью страны, общества. Вместе с автором мы присутствуем на зрительских конференциях и на репетициях, заходим в рабочие общежития и в актерские квартиры, поздно вечером прогуливаемся возле «гастронома», где в эту пору собирается городская молодежь, прислушиваемся к разговору фабричных девчонок на выставке «Образцов дурного вкуса», которую устроили в одном из рабочих клубов Новосибирска... А потом — собственные итоги, размышления, анализ того, что происходит с современным искусством, современными вкусами.

Но в конце концов мы все-таки возвращаемся в зрительный зал, потому что главное происходит здесь.

Театр, даже плохой, — организм впечатлительный и чуткий, пожалуй даже слишком чуткий. Можно жаловаться на то, что в театр некоего «нетеатрального города Энска» попадают плохие главные и слабые актеры — оттого-де театр плох и зрители туда не ходят. Но можно посмотреть глубже и увидеть, что дурные режиссеры и заштамповавшиеся актеры в конечном счете не причина, а скорее следствие того, что культурная жизнь в городе едва тлеет, что ведется она бюрократически и формально, и тогда исследование актерских штампов очень многое способно объяснить нам в том, как, какими путями происходит в театре это угасание духовного и творческого начала. Автор говорит и о том, какая духовная энергия способна это угасание прервать.

Разговор в книге А. Свободина идет о личности актера, которая не в меньшей мере, чем талант, важна в актерском деле, тем более что она — то единственное «орудие», которое способно сохранить, уберечь талант.

Не случайно положительные герои очерка «В нетеатральном городе» — актер Бабиц, режиссер Карасев — не только даровиты, но это люди с чуткой совестью, обостренной нравственной требовательностью и люди очень крепкие, потому что для защиты творчества нужен и здравый смысл, и сила.

О том, как такие люди побеждают, как дается им победа, А. Свободин пишет увлеченно, даже с азартом. Описание актерских или режиссерских «взлетов» и составляет всякий раз кульминацию его статей. Говоря об удачах И. Смоктуновского, Н. Симонова, А. Борисова, Г. Товстоногова, автор каждый раз подсказывает зрителю, как отличить настоящее мастерство от ловких и довольно многочисленных подделок под него. Ведь зрителю предстоит многое в себе

открыть и воспитать, прежде чем его слух — и музыкальный и нравственный — научится отличать истинный стиль достаточно безошибочно. И книга А. Свободина помогает в этом.

И. Борисова.

★

Н. ЯКУШИН. По градам и весям. Северо-Западное книжное издательство. 1965. 302 стр.

О творчестве известного русского писателя-народника П. В. Засодимского написано мало. Серьезный пробел в литературе об этом талантливым писателе-демократе восполняет недавно вышедшая монография Н. Якушина «По градам и весям». В книге рассказывается о нелегкой жизни П. В. Засодимского, о его активном участии в литературной и общественной жизни России, о его встречах со многими выдающимися русскими писателями: Некрасовым, Салтыковым-Щедриным, Глебом Успенским, Гаршиным и другими. За свою долгую жизнь писателю довелось много путешествовать по России, по ее «градам и весям», изучать жизнь крестьян в различных губерниях страны.

Произведения Засодимского, посвященные деревне, Н. Якушин связывает с лучшими традициями русской литературы, ибо они — плод внимательного и вдумчивого изучения кричащих противоречий русской жизни, глубоких и тревожных раздумий над бесправным положением народа, над судьбами родины.

Революционеры-семидесятники не случайно использовали книги Засодимского для непосредственной революционной пропаганды «в народе».

Засодимский с ненавистью писал о произволе кулаков, ростовщиков и деревенских лавочников, сельских старост, кабатчиков, местных скупщиков.

В рецензируемой монографии верно отмечается, что Засодимский был не в силах объяснить социальную природу кулачества, классовые корни буржуазного хищничества, хотя «рыцари наживы» у него контрастно противопоставлены всему крестьянству. Власти казначейства в деревне он изображал как нечто чужеродное и случайное в сельской жизни. Но правда берет у автора верх над иллюзиями, над стремлением подогнать под народнические догмы живую действительность.

В монографии впервые публикуется свыше пятидесяти документов и писем Засодимского и его друзей, разысканных исследователем в архивах Москвы, Ленинграда и Вологды. Эти новые документы значительно обогащают наши представления о талантливом писателе и его литературном окружении. Большой интерес представляют приведенные в книге неизвестные материалы цензуры о Засодимском.

И. Трофимов.

Р. ОРЛОВА. Потомки Гекльберри Финна. Очерки современной американской литературы. «Советский писатель». М. 1964. 378 стр.

Эта книга — своего рода хроника знакомства русских читателей с новой американской прозой. С середины пятидесятых годов, когда у нас шире, чем прежде, стали переводить американских авторов, Р. Орлова откликнулась на появление каждой заметной вещи в русском переводе. И в свою книгу она включила очерки о любимых у нас писателях — от Стейнбека до Сэлинджера. Но не только. Р. Орлова стремится расширить круг знакомств наших читателей.

Она посвящает лирический этюд Джону Херси — автору известного репортажа «Хиросима» и сатиры «Скушник детей». Она дает групповой портрет романистов, создавших оригинальные книги об американской армии во второй мировой войне («Нагие и мертвые» Нормана Мейлсера, «Отныне и во веки веков» Джеймса Джонса и другие).

В этих книгах автора интересует прежде всего их нравственная проблематика: она остается актуальной. Протест против конформизма, стадности, буржуазных стандартов жизни, а с другой стороны — попытка противостоять социальному распаду и одиночеству, поиски естественных связей.

Р. Орлова разбирает современный плутовской роман Сола Бэллау и повести Сэлинджера «Фрэнни» и «Зуи». В этих и других вещах выступает персонаж, которого американская критика прозвала «антигером»: он пытается отстоять себя как личность в равнодушном обществе просперити.

«Слабость индивида в механизированном и организованном мире, — замечает автор, — обуславливает обреченность мятежа, подчас комический характер сопротивления личности, бунт выглядит мелким, порою и жалким. Этот «антигерой» попеременно выступает то жертвой, то плугом, то уродец, то битником, то «святым простаком».

Книга Р. Орловой пестра по материалу: тут писатели разных поколений и творческих склонок. Но автор стремился показать и общее в их облике. За исходный пункт были взяты знаменитые слова Хемингуэя: вся американская литература вышла из «Гекльберри Финна».

У нас часто цитированы эти слова, относя их к прозе двадцатых годов. Но твенские мотивы трудно заметить и в современном романе. И Р. Орлова видит в Гекке символ американской литературы: свободный человек бежит от стандартного благополучия и фальшивых условностей.

Но все же меткие слова Хемингуэя она принимает буквально. Оказывается, почти все герои очерков непосредственно продолжают линию Твена, об их персонажах то и дело говорится: «как и Гек». В этом есть некоторая нарочитость. И хотя автор писал популярную, а не специальную работу, вряд ли стоило так суммарно представлять литературный процесс.

Сомнение вызывают и некоторые сужде-

ния о реализме. Р. Орлова порой словно имсет перед глазами только «Сестру Керри» и «Бэббита», забывая, что в американской литературе есть и «Прощай, оружие!», и многое другое. Реализм никак не сводим к нескольким образцам. К тому же в Америке реалисты никогда не порывали с традициями романтиков, которые были такими же отщепенцами среди самодовольных деловых людей. У американского реализма свои особенности и свой путь, автор недостаточно познакомился с этим.

Это живая книга, и, быть может, потому так заметны ее недостатки, что она побуждает идти дальше. Осваивать еще не освоенное нашей критикой в американской прозе, отказываться от предвзятых концепций. И следовать в этом Линкольну Стеффенсу, прекрасному мемуаристу, другу нашей революции. Р. Орлова очень хорошо написала о нем: «Всю жизнь он вел борьбу против «интеллектуального склероза», он менял точки зрения, если они переставали соответствовать истине, — поиски истины были для него дороже всех привходящих соображений».

М. Л.

★

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ. Ладожский лед. Стихи. Воениздат. М. 1965. 127 стр.

Новый сборник Александра Межирова составлен из стихов разных лет, намечающих словно веки, путь поэта.

В начале сборника есть стихотворение «Преводы». Заботливая и «выдавшая виды родня» снабдила мальчишку банкой сгущенного молока в первую его армейскую дорогу. Мальчик вспомнит об этой банке, «блокадную пайку глотая». Ему предстоит «страшный путь» по льду Ладоги.

Мне в атаках не надобно слова «вперед»,
Под каким бы нам не бывать огнем —
У меня в зрачках черный ладожский лед,
Ленинградские дети лежат на нем.

Так кончается стихотворение «Ладожский лед», по которому назван весь сборник.

Но в военных стихах Межиров живет не только память о трагедии — в них есть преодоление трагического. Он гордится тем, что сумел вынести военные версты, которые «везят тысячи тонн». Ему не хочется преуменьшать их тяжести: «Летчики думают, что болтанка бывает только в воздушных батальях, но танкистов болтает в танках, и еще как болтает их!»

В послевоенных стихах Межиров может как угодно далеко уходить от «военной» темы, но он не хочет и не может уйти от того, что он старшe многих «на Отечественную войну». И когда он видит, как соседи радостно съезжась, уезжают на дачу, и решает «дышать и жить иначе, чем живую», то все равно ему хочется жить по-походному, словно за баранкой на прифронтовой дороге, «так жить, чтоб много в кузове народа. Так жить, чтоб мало в кузове вещей». И чтобы не успокоиться «на поодороге» жизни «полочувствами», поэт стремится

быть верным себе такому, каким он был «в танковых атаках».

Реальность памяти — это особая реальность. Она так же абсолютна и важна, как факты сегодняшнего дня. Солдатское ощущение тебе «доверенной Земли» в мирные дни нужно не меньше, чем в военные. И жить дальше — значит продолжать путь от отметки высоты. Александр Межиров бережет свою высоту, чтобы сохранить верность себе, времени, нерасторжимой цепи, которая связала «судьбу отца и долю сына». Поэтому, когда поэт видит «в тесном кузове» мчащегося куда-то грузовика солдат, — юность снова окликает его их песней.

Стихотворением об этом заканчивается новый сборник стихов Александра Межирова.

Ю. Айхенвальд.

★

АТЕИСТИЧЕСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОВОРОККИ НАРОДОВ МИРА. Политиздат. М. 1965. 144 стр.

По пословицам и поговоркам вдумчивый читатель может проследить процесс исторического развития народа, становление его сознания, борьбу против рабских условий жизни, протест против физического и морального угнетения. Не случайно В. Г. Белинский и А. И. Герцен говорили об огромной ценности этой формы устного творчества для изучения отношения народа к религии и церкви.

Немало пословиц и поговорок, вошедших в сборник «Атеистические пословицы и поговорки народов мира», кратко и образно разоблачают самую суть религиозной идеологии. Вот, например, японская поговорка: «Небо молчит — за него говорят люди»; югославское изречение: «Следуя заповедям божьим, кончишь тем, что станешь просить милостыню его именем» и другие.

Африканская народность банту создала горькую побасенку о методах и результатах деятельности завоевателей с крестом — миссионеров: «Сначала у нас была земля, а у белых — библия, теперь у нас только библия, а у белых — земля».

В этом небольшом по объему сборнике, пожалуй, впервые дан тематический свод атеистических пословиц и поговорок, созданных народами более чем пятидесяти стран Азии, Африки, Америки и Европы. Читатель встретит в нем немало изречений, впервые переведенных на русский язык с английского, болгарского, датского, испанского, итальянского, немецкого, норвежского, польского, португальского, румынского, словацкого, чешского, шведского и других языков. Думается, что содержание некоторых тематических рубрик следовало бы определять не присутствием в поговорке того или иного слова, а руководствоваться смысловым принципом.

Но это частное замечание ни в коей мере не умаляет достоинств сборника, который с успехом могут использовать пропаганди-

сты атеизма. Его с интересом прочтут также все, кто ценит и любит меткое и острое народное слово.

Г. Ульянов.

★

П. БАБКИН. Кто. Когда. Почему. Происхождение названий на карте области. Магаданское книжное издательство. 1965. 163 стр.

Географические карты не дают ответа на вопрос о том, как родились названия городов, гор, рек, озер... А сколько оказывается, прелюбопытного таится почти во всяком географическом названии!

Небольшая, но емкая книга магаданского исследователя П. Бабкина наглядно об этом свидетельствует. Автор раскрывает географические «псевдонимы» этого обширного края. Используя различный научный и литературный материал, а также помощь краеведов-любителей, он создал своеобразный «толковый словарь». Почти каждое объяснение географического названия — привлекательная тема рассказа...

Мыс Матюшкина... Так назван этот мыс в честь моряка Федора Матюшкина. Одноклассник Пушкина по лицей, он был личностью примечательной. Поэт посвятил ему такие строки:

Счастливым путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!

Жизнь Матюшкина прошла в постоянных путешествиях, и дороги его пролегли во многих частях света. Ученый и мореплаватель, он свершил немало для развития отечественной науки.

Именем нашего современника геолога Ю. А. Былибина названы прииск и вулкан на севере области, а также улица в городе Магадане. Автор упоминает о замечательных трудах и экспедициях этого выдающегося ученого, открывшего богатейшие золотосодержащие жилы на Колыме.

Из книги П. Бабкина можно узнать, почему один из островов вблизи бухты Нагасва странно назван островом Недоразумения. Так увековечена географическая ошибка первых исследователей, поначалу принявших это место за полуостров.

Есть на севере дальнем и река — тезка африканской страны и реки — Конго. По-якутски это слово означает «спокойная».

Советские геологи дали несколько имен, нанесенным ими на карту, поэтические названия: Тапцующие Харисы, Серая Чайка, Надежда, Разлука, Верность... Кстати, эти названия — отличный пример тем, кто дает нашим новым улицам безликие номерные имена: Первая, Вторая, Третья; называет переулки по размерам: Большой, Средний, Малый; или именуется поселки по странам света: Северный, Южный и т. д.

Книга «Кто. Когда. Почему» написана лаконично, но обстоятельно, она хорошо си-

стематизирована, во всем ее содержании чувствуется, что автор отнесся к своему труду с большим тщанием. Думается, что надо всячески поощрять подобные издания. Своей познавательностью они прививают живой интерес и любовь к прошлому и настоящему родного края.

А. Таланов.

★

В. ВОЙНА. Кондуктор «Тайной железной дороги». Гарриэт Табмэн (1820 — 1913). Страницы героической жизни. «Мысль». М. 1965. 103 стр.

«Тайная железная дорога» не имела ни рельсов, ни шпал, ни вагонов. «Поездами» здесь называли группы беглых рабов, а «кондукторами» тех, кто их препровождал с рабовладельческого Юга на Север. «Поезда» шли преимущественно по ночам — через горы, леса, долины и топи. Вплавь и вброд беглецы перебирались через реки и озера. Днем прятались на потаенных «станциях» — так назывались дома свободных негров и белых, сочувствовавших беглым рабам.

В своей книжке о жизни и делах Гарриэт Табмэн — одного из кондукторов «Тайной железной дороги» — автор знакомит нас с движением аболиционистов и его лидерами: Джоном Брауном, Фредериком Дугласом и другими.

Закон 1793 года, а за ним и значительно более суровый закон 1850 года предусматривали тяжелое наказание за содействие беглым рабам. Автор приводит случаи су-

ровой расправы с активными сотрудниками «дороги», подвергавшимся длительному тюремному заключению, конфискации имущества, а на Юге даже линчеванию. Но Гарриэт Табмэн говорила о себе: «Я ни разу не позволила поезду сойти с рельсов и не потеряла ни одного из своих пассажиров».

Подвергая себя страшному риску (за ее поимку обещали 40 тысяч долларов) — сама негритянка, беглая рабыня, — она совершила девятнадцать рейсов на Юг и вывела из неволи более трехсот рабов. Эпизоды ее деятельности читаются как легендарные приключения — так велика ее отвага, так неожиданны и хитроумны приемы, к которым она прибегает в своем единоборстве с превосходящими силами противника.

Столь же легендарной кажется и ее деятельность во время гражданской войны: в тылу у врага — разведчицей, а на полях сражений — отважным солдатом. Но несмотря на то, что Гарриэт Табмэн так много сделала для победы Севера, несмотря на ее широкую известность в США и далеко за их пределами, она так и не заслужила официального признания. Правительство нашло возможным не выплатить ей содержание за службу в армии и не назначило пенсии.

Повествование о делах Гарриэт Табмэн автор тесно связывает с нынешним днем, с борьбой негров за свои гражданские права в современной Америке.

Книга написана живо и содержит много существенных сведений из истории освободительной борьбы негров.

Е. Городецкая.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 24—26 марта 1965 года Стенографический отчет. 244 стр. Цена 53 к.

А. Андреев. О Владимире Ильиче Ленине. 64 стр. Цена 8 к.

Л. Колодный. Земная трасса ракеты. 96 стр. Цена 11 к.

Л. Левшин. Дайте педагогический совет... 200 стр. Цена 19 к.

Люди большого полета. 120 стр. Цена 14 к.

В. Маевский. Когда шатаются небоскребы. 240 стр. Цена 30 к.

На огненных рубежах. 504 стр. Цена 93 к.

Наглядность в изучении истории КПСС. 232 стр. Цена 48 к

Научный коммунизм. Материалы к лекциям. 400 стр. Цена 63 к.

Организационно-партийная работа. Вопросы и ответы 160 стр. Цена 9 к.

Д. Сотериу. Электра. Перевод с греческого. 80 стр. Цена 15 к.

Умом и сердцем. Мысли о воспитании. 416 стр. Цена 54 к.

И. Б. Шевцов. Особое задание. 144 стр. Цена 18 к.

«МЫСЛЬ»

В. Алексеев, В. Макаренко. Страна тамиллов. 133 стр. Цена 19 к.

Вопросы развития экономики торговли в СССР. 135 стр. Цена 42 к.

Л. Дворжак. Мировая система социализма и развивающиеся страны. 143 стр. Цена 46 к.

А. Добровольский, Б. Залогин. Моря СССР. 351 стр. Цена 1 р. 11 к.

Э. Клопов. Ленин в Смольном. Государственная деятельность В. И. Ленина в первые месяцы Советской власти. Октябрь 1917 г.— март 1918 г. 445 стр. Цена 82 к.

П. Лавров. Философия и социология. Избранные произведения. В 2-х томах. Том I. 752 стр. Цена 1 р. 90 к. Том II. 703 стр. Цена 1 р. 90 к.

Н. Лопырев. Развитие теории производительности труда. 191 стр. Цена 62 к.

В. Немчинов. Экономико-математические методы и модели 478 стр. Цена 1 р. 76 к.

Д. Соболев. Осуществление ленинского плана электрификации страны. 79 стр. Цена 24 к.

Современный рабочий класс капиталистических стран. 375 стр. Цена 1 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Л. Аннинский. Ядро ореха. Критические очерки. 224 стр. Цена 50 к.

А. Антонович. Люди жаждут правды. Роман. 384 стр. Цена 71 к.

А. Арго. Своими глазами. Книга воспоминаний 232 стр. Цена 47 к.

А. Балтакис. Высокий потолок. Стихи и поэма. Перевод с литовского. 108 стр. Цена 18 к.

В. Берце. Наследство Роман. Перевод с латышского. 388 стр. Цена 49 к.

Я. Брыль. Птицы и гнезда. Быстрый Неман. Роман и рассказы. Перевод с белорусского. 592 стр. Цена 98 к.

Г. Гусейнзаде. В пути. Поэма. Перевод с азербайджанского. 84 стр. Цена 15 к.

А. Джонуа. Журчащий родник. Стихи. Перевод с абхазского. 88 стр. Цена 13 к.

П. Дружинин. В гостях у солнца. Стихи. 172 стр. Цена 26 к.

М. Ефимов. В краю, где солнце не заходит. Стихи. Перевод с якутского. 80 стр. Цена 16 к.

В. Канторович. Сахалинские тетради. 416 стр. Цена 81 к.

П. Козланок. Весна. Повесть и рассказы. Перевод с украинского. 236 стр. Цена 55 к.

А. Кукуллу. Выбор пути. Стихи. Перевод с татарского. 76 стр. Цена 15 к.

М. Лацис. Неоконченная повесть. Перевод с латышского. 236 стр. Цена 37 к.

Х. Мальтинский. Земляника на ладони. Стихи. Перевод с еврейского. 160 стр. Цена 19 к.

С. Мелешин. Приговорен к любви. Повесть, рассказы. 320 стр. Цена 58 к.

Е. Мин. Волна и камень. Сказки для взрослых. 144 стр. Цена 17 к.

И. Нович. Художественное завещание Горького. «Жизнь Климса Самгина». 540 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Рабин. Улица Шолом-Алейхема Повести и рассказы. Перевод с еврейского. 384 стр. Цена 65 к.

И. Сааринен. Моя Карелия Стихи. Перевод с финского. 122 стр. Цена 16 к.

Д. Улзытуев. Олений рог. Стихи. Перевод с бурятского. 132 стр. Цена 17 к.

Г. Шторм. Потаенный Радищев. Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву». 296 стр. Цена 85 к.

В. Шубладе. Мгновение разлуки. Стихи. Перевод с грузинского. 100 стр. Цена 13 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Друцэ. Листья грусти. Повесть и рассказы. Перевод с молдавского. 320 стр. Цена 64 к.

Нгуен Зу. Все живое. Стихи. Поэма. Перевод с вьетнамского. 136 стр. Цена 17 к.

Я. Райнис. Лирика. Перевод с латышского. 276 стр. Цена 32 к.

Р. Рза. Я — земля. Стихи. Перевод с азербайджанского. 240 стр. Цена 54 к.

В. Рождественский. Избранное. 448 стр. Цена 64 к.

Талый снег. Рассказы македонских писателей. Перевод с македонского. 352 стр. Цена 69 к.

Ю. Фалькбергер. Жертва огня. Роман. Перевод с норвежского. 212 стр. Цена 55 к.

Б. Чешко. Поколение. Роман. Перевод с польского. 232 стр. Цена 65 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Е. Андреев. Овечий ручей Повесть 126 стр. Цена 27 к.

А. Аренштейн. Ласточки грядущей весны. Повесть. 224 стр. Цена 39 к.

П. Бабанский. С днем рождения! Повесть. Перевод с украинского. 192 стр. Цена 41 к.
А. Дюма. Сорос пять. Роман. Перевод с французского. 560 стр. Цена 1 р. 18 к.
Л. Кассиль. Будьте готовы. Ваше высочество! Повесть. 144 стр. Цена 30 к.
А. Кондратов. Алло, робот! 158 стр. Цена 33 к.
М. Куликова. Пистоль Довбуша. Повесть. 192 стр. Цена 41 к.
А. Маркуша. 33 ступеньки в небо. 159 стр. Цена 48 к.
Нинита Кокемяка. Богатырские сказки и предания. 207 стр. Цена 39 к.
М. Прилежаева. Три невыдуманных рассказа. 112 стр. Цена 27 к.
А. Томили и Н. Тереминская. Для чего ничего? 208 стр. Цена 42 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Н. Горбунов, В. Кабанова. Расстрелянный градусник. Документальная повесть. 174 стр. Цена 25 к.
О. Гуссановская. Ищу страну Синегорию. Повести и рассказы. 224 стр. Цена 25 к.
Н. Дурова. Арена. Повесть и рассказы. 240 стр. Цена 50 к.
А. Леонтьев. Последняя радиогамма. Повесть. 143 стр. Цена 16 к.
Магомед-Расул. Хартум и Мадина. Повесть. Перевод с даргинского. 240 стр. Цена 29 к.
Л. Мартынов. Первородство. Стихи. 352 стр. Цена 60 к.
Нехожеными тропами. Рассказы о химии. 240 стр. Цена 39 к.
Б. Тартаковский. Меридиан инженера Иракова. Повесть. 176 стр. Цена 26 к.

«МУЗЫКА»

И. Балза. Михал Клеофас Огиньский. 136 стр. Цена 27 к.
Музыкальная культура Советской Молдавии. Сборник статей. 328 стр. Цена 1 р. 46 к.
А. Скрыбин. Письма. 720 стр. Цена 2 р. 45 к.
Е. Черная. Австрийский музыкальный театр до Моцарта. 172 стр. Цена 64 к.

«НАУКА»

Э. Виленская. Революционное подполье в России (60-е годы XIX в.). 487 стр. Цена 1 р. 75 к.
К. Горбачевич. Русские географические названия. 64 стр. Цена 10 к.
Д. Жантеева. Английский роман XX века 1918—1939. 346 стр. Цена 1 р. 8 к.
История исторической науки в СССР. Октябрьский период. Библиография. 703 стр. Цена 2 р. 75 к.
Ю. Калашников. Эстетический идеал К. С. Станиславского. 239 стр. Цена 1 р. 65 к.
В. Луцкий. Новая история арабских стран. 372 стр. Цена 1 р. 70 к.

Национальные традиции и генезис социалистического реализма (в литературах стран народной демократии). Сборник статей. 670 стр. Цена 1 р. 83 к.

Полное собрание русских летописей. Том 9—10. Патриаршая или Никоновская летопись. 500 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Пруцков. Русская классическая литература и наша современность. 248 стр. Цена 68 к.

М. Робеспьер. Избранные произведения. В 3-х томах. Перевод с французского. Том 1. 378 стр. Том 2. 399 стр. Том 3. 318 стр. Цена 4 р. 80 к за три тома.

А. Цейтлин. Становление реализма в русской литературе. 319 стр. Цена 90 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Второе призвание. 112 стр. Цена 20 к.
Б. Дубровин. Слова негромкие любви. Лирические стихи. 176 стр. Цена 22 к.
Л. Зорин. Палуба. Пьеса. 60 стр. Цена 13 к.
В. Иванов. Саскавий. Повесть. Перевод с маорийского. 88 стр. Цена 11 к.
Л. Иванов. Выигрывает человек 168 стр. Цена 12 к.
И. Коршунов. Все сердце—людям. 144 стр. Цена 12 к.
А. Кузнецов. Человек из легенды. 112 стр. Цена 14 к.
М. Левашов. Комендант Берлина. Документальная повесть. 264 стр. Цена 86 к.
А. Медников. Второе чудо. 432 стр. Цена 49 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Вердников, А. Кабалкин. Новые гражданские кодексы союзных республик. 136 стр. Цена 16 к.
С. Меерзон. Защита советских изобретений за границей. 100 стр. Цена 16 к.
Народный контроль в европейских социалистических странах. 168 стр. Цена 19 к.
Ф. Решетников. Современная американская криминология. 172 стр. Цена 39 к.

«АЗЕРНЕСР» (Баку)

Крылатая мудрость. Азербайджанские народные пословицы и поговорки. 139 стр. Цена 21 к.
М. Ордубади. Подпольный Баку. Исторический роман. Перевод с азербайджанского. Книга 1. 345 стр. Цена 73 к.

«ТУРКМЕНИСТАН» (Ашхабад)

А. Аборский. Ата Каушатов. Очерк жизни и творчества. 109 стр. Цена 13 к.
Б. Солтаньязов. Сумбар течет. Роман. Перевод с туркменского. 183 стр. Цена 29 к.
Д. Халдурды. Был я солдатом. Стихи военных лет. Перевод с туркменского. 92 стр. Цена 9 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

Редакция. Малый Путинковский пер., д. 12. Тел. К 9-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, Б-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30-VIII 1965 г.

Подписано к печати 4-X 1965 г.

Формат бумаги 70×108/16.

9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)

А 12807.

Зак. 2009.

Тираж 129 700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«НОВЫЙ МИР»

В предстоящем 1966 году «Новый мир» предполагает напечатать: заключительные главы романа Конст. ФЕДИНА «Костер», повесть В. АСТАФЬЕВА «Кража», новый роман А. БЕКА, роман белорусского писателя В. БЫКОВА «Мертвым не больно», повесть Н. ВОРОНОВА «Гибель такси», новые главы записок генерала армии А. В. ГОРБАТОВА, повесть Е. ДРАБКИНОЙ о В. И. Ленине, роман В. ДУДИНЦЕВА «Неизвестный солдат», окончание «Деревенского дневника» Е. ДОРОША, роман С. ЗАЛЫГИНА «Соленая падь», «Камчатские очерки» Виктора НЕКРАСОВА, исторические повести В. ПАНОВОЙ, повесть Виталия СЕМИНА «Исполнение надежд», воспоминания Анастасии ЦВЕТАЕВОЙ «Из прошлого», дневники 1941 года Константина СИМОНОВА, новые романы, повести, рассказы Ч. АЙТМАТОВА, В. АКСЕНОВА, О. БЕРГГОЛЬЦ, Г. БАКЛАНОВА, Ю. БОНДАРЕВА, Г. ВЛАДИМОВА, В. ВОЙНОВИЧА, Л. ВОЛЫНСКОГО, И. ГРЕКОВОЙ, Ю. ДОМБРОВСКОГО, В. КАВЕРИНА, Ю. КАЗАКОВА, В. ЛИХОНОСОВА, А. РЫБАКОВА, К. ПАУСТОВСКОГО, И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА, А. СОЛЖЕНИЦЫНА, В. ТЕНДРЯКОВА, Г. ТРОЕПОЛЬСКОГО, В. ФОМЕНКО, И. ЭРЕНБУРГА, А. ЯШИНА.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ

	12 мес.	6 мес.	3 мес.
Без переплета	8 р. 40 к.	4 р. 20 к.	2 р. 10 к.
В переплете	10 р. 80 к.	5 р. 40 к.	2 р. 70 к.

*Подписка принимается всеми отделениями «Союзпечати»
без ограничений.*